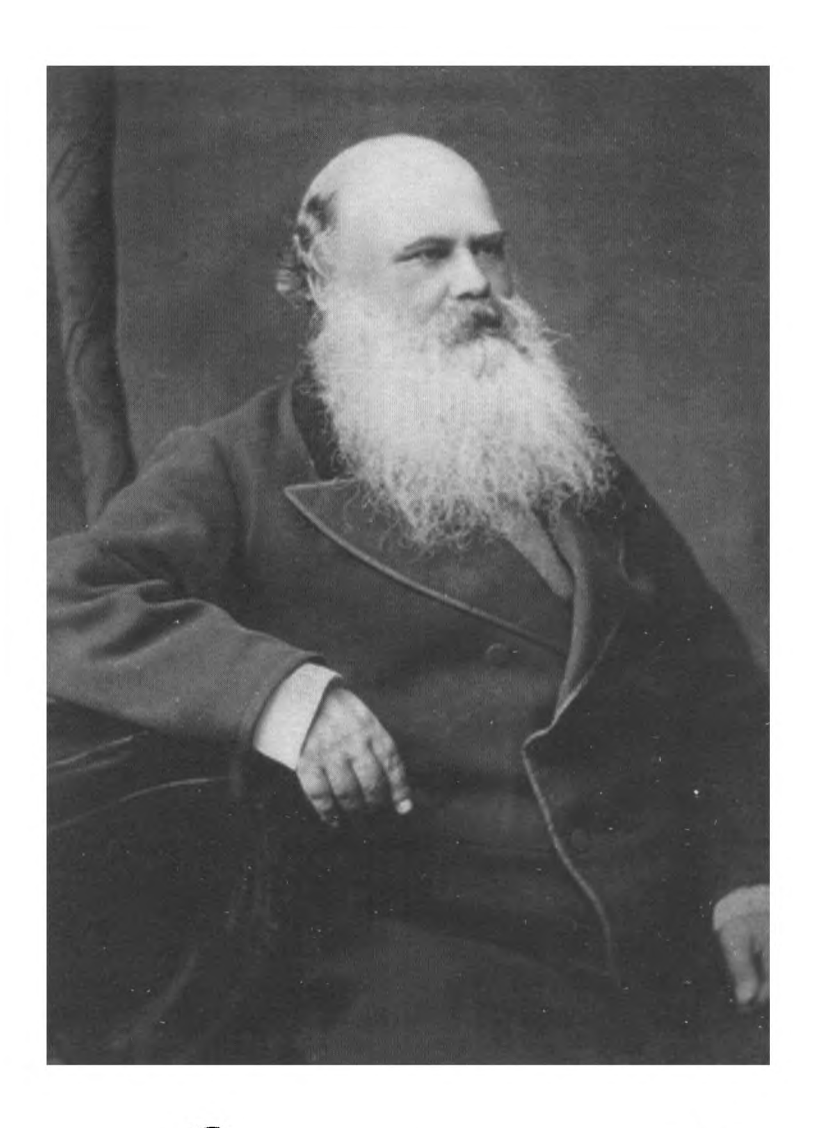
ЕГОРЬЕВСКИЙ СЛЕД В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

С. Т. СЛАВУТИНСКИЙ

ЕГОРЬЕВСКАЯ СТАРИНА

Гелиос АРВ

Егорьевский след
в русской литературе



Муниципальное учреждение культуры
Егорьевский историко-художественный музей

С. Т. Славутинский

ЕГОРЬЕВСКАЯ СТАРИНА

Рассказы из семейной хроники

Москва
«Гелиос АРВ»
2016

УДК 821.161.1
ББК 84Р7
С 29

Славутинский С. Т.

С 29 Егорьевская старина / Предисловие *Ю. А. Королевой.* — М.: Гелиос АРВ, 2016. — 480 с.

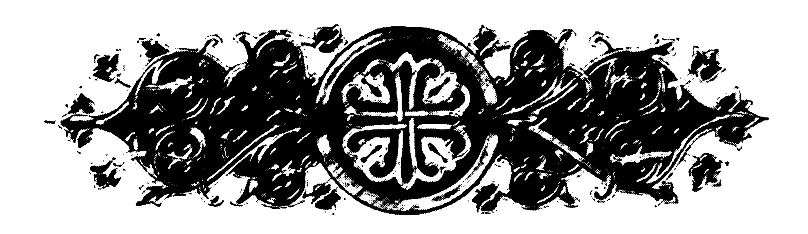
ISBN 978-5-85438-241-0

В книгу «Егорьевская старина» включены три произведения талантливого писателя XIX века С. Т. Славутинского: «Родная сторона», «История моего деда», «История моего дяди», все вместе составляющие семейную хронику писателя. Объединяет эти произведения любовь автора к своему родному краю — Егорьевскому уезду. Интересные сюжетные линии, правдивость изображения помещичьего и крестьянского быта позволят читателям, живущим в стремительном XXI веке, окунуться в историческое прошлое и получить удовольствие от чтения.

Для широкого круга читателей.

ББК 84Р7

ISBN 978-5-85438-241-0



ПИСАТЕЛЬ ИЗ ЕГОРЬЕВСКОГО УЕЗДА

Изучая историю Егорьевского края, встречаем мы имена, широко известные в нашей истории: Пушкиных, Ганнибалов, Лопухиных, Кропоткиных, Беклемишевых, Бутурлиных, — древние и знатные роды владели здесь землей и крестьянами. То мелькнет в документе имя поэта XVIII в. Нелединского-Мелецкого, то возникнет целый ряд знаменитых театральных фамилий — Рославлева, Лешковская, Гоголева. Встречаются имена и менее известные, но теснее связанные с Егорьевском. Среди них — имя писателя Степана Тимофеевича Славутинского, посвятившего наиболее значительную часть своего литературного труда егорьевской помещичьей старине и тем самобытным типам, которые нередко встречались в далекую эпоху.

Поскольку сколько-нибудь подробной биографии С. Т. Славутинского до сих пор не было опубликовано, представляется уместным привести сведения о его происхождении, предках и потомках.

Отец писателя — капитан Тимофей Степанович Славутинский, происходил из казаков Черниговской губернии, был незнатен, неродовит и небогат. Однако образование он получил в Петербурге, во 2-м кадетском корпусе. Это учебное заведение по праву считалось лучшей школой подготовки артиллерийских и инженерных кадров для

русской армии. Его история насчитывала к тому времени почти сто лет, — 2-й кадетский корпус вел свое старшинство с 1712 г. До 1800 г. он назывался Артиллерийский и Инженерный Шляхетский кадетский корпус.

Все казенные учебные заведения той эпохи, готовившие офицеров, принимали только лиц дворянского звания. Притом для определения недоросля в кадеты обыкновенно нужна была протекция или рекомендация влиятельного лица. Многие дворяне, не обладая достаточными средствами для домашнего обучения своих детей, желали дать им образование за казенный счет, а кадетских школ в то время было только три: 1-й корпус, бывший Сухопутный, 2-й — бывший Артиллерийский, и 3-й — Морской. Один из выпускников 2-го кадетского корпуса того времени, Н. В. Вохнин, впоследствии генерал-майор, вспоминал, что для определения его и брата в казенное учебное заведение после смерти отца мать и дядя хлопотали почти год, но места все не находилось, и только прямое обращение к царю во время развода решило дело. Эти обстоятельства заставляют думать, что у Тимофея Славутинского был влиятельный покровитель, хлопотавший о месте в корпусе для казацкого сына.

Тимофей Степанович Славутинский вышел из кадетского корпуса в звании прапорщика в конце 1809 г., неполных 18 лет от роду. Он был зачислен 22 февраля 1810 г. в Курский мушкетерский полк, входивший в состав Молдавской армии. В его послужном списке значатся походы в Молдавию, Польшу, Силезию, Саксонию, Францию.

В это же время в том же Курском мушкетерском полку служил поручик Василий Яковлевич Губерти, сын итальянского художника, принявшего российское подданство и много лет служившего в императорских театрах. Губерти был на 8 лет старше Славутинского, был также беден и неродовит. Нужно полагать, что молодые офице-

ры успели почти за 2 года службы в одном полку сойтись довольно близко, чтобы не потерять друг друга из виду и после перевода Губерти в Виленский, полк накануне Отечественной войны 1812 г. В чине майора Губерти участвовал в Бородинской битве, был тяжело ранен и чудом остался жив. В мае 1813 г. он был «уволен за ранами с мундиром и пенсионом полного жалованья подполковником»*, как указано в его послужном списке, а в 1814 г. поступает городничим в Коломну. Герой Отечественной войны, он стал желанным гостем во домах коломенских дворян, удачно женился и был, надо полагать, весьма доволен своим положением.

Скорее всего В. Я. Губерти и пригласил сослуживца по Курскому полку подыскать себе невесту из коломенской округи. Причем Т. С. Славутинский оказался не единственным офицером-женихом из Курского пехотного полка. Василий Васильевич Рославлев, Михаил и Иван Леотьевичи Россинские, хорошо известные в последствии в Егорьевске, служили в этом же полку и нашли себе невест в Егорьевском уезде.

Первые годы своей службы Тимофей Степанович Славутинский тщетно ожидал повышения в чинах. Только после возвращения из второго заграничного похода, в 1816 г., прапорщик Славутинский, шесть лет безотлучно находившийся на театре военных действий, дважды прошедший всю Европу, получает чин подпоручика. Впрочем, в ноябре того же года его производят в поручики, а в августе 1817 г. — в штабс-капитаны.

---

* См.: *Рындин И. Ж.* Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Тт. 1–10. — Рязань, 2002–2013. Подробнее о жизни В. Я. Губерти см.: *Ярхо В. А.* Усадьба на берегу Оки / Коломна и Коломенская земля: история и культура: Сб. ст. / Сост. *А. Г. Мельник, С. В. Сазонов.* — Коломна: Лига, 2009.

В 1819 г. нашлась невеста Тимофею Степановичу — 24-летняя девица Елена Николаевна Прямоглядова. Прямоглядовы — старинный коломенский служилый дворянский род, некогда довольно многочисленный, но со временем захиревший. Фамилия Прямоглядов встречается в списках служилых дворян Коломны и Рязани с конца XVI в. Поместный надел в северном углу Коломенского уезда принадлежал Прямоглядовым не позднее, как со времен царствования Алексея Михайловича.

Елена Николаевна, старшая из детей, получила самое скромное домашнее воспитание и жила с матерью и младшей сестрой в сельце Михееве безвыездно. Появление в родной глуши офицеров, получивших воспитание в столице, бывавших в заграничных походах, произвело большое на нее впечатление. Да и мать была рада выдать замуж хотя бы одну из дочерей, притом что приданого за девицами не было никакого. Сразу после свадьбы Елена Николаевна уехала вместе с мужем обратно в полк. Их первенец, будущий писатель, Степан появился на свет 11 января 1821 г. в селе Грайворон Курской губернии, где стоял в то время Курский пехотный полк.

Через месяц после рождения сына капитан Славутинский подал прошение об отставке по домашним обстоятельствам — умерла мать Елены Николаевны, а брат оказался под судом. Эти события через много лет были подробно изложены писателем в повести «История моего дяди», но представлены таким образом, что семья Славутинских как будто и не присутствовала при трагической развязке, а Степан Тимофеевич, по рассказам матери, знал только, что его впервые привезли двух лет от роду в родовое имение матери — Михеево.

Тем не менее, в Рязанском архиве в деле о дворянстве капитана Славутинского сохранился «пашпорт», выданный Тимофею Степановичу, в котором указано:

«Предъявитель сего, служивший во вверенном мне Курском пехотном полку капитаном и по Высочайшему приказу, прошлого февраля в 5 день сего года отданному уволен от службы по домашним обстоятельствам капитаном, с мундиром Тимофей Степанов сын Славутинский, ныне следующий на жительство с законной его женой Рязанской губернии в Егорьевский уезд, которому благоволено б было по сему виду до города Егорьевска чинить свободный пропуск и в упомянутом городе и уезде беспрепятственное прожитие до получения об отставке указа, в уверение чего сей заподписан и с приложением полковой печати дан в Черниговской губернии в городе Глухове апреля 9 дня 1821 г.

Его императорского величества всемилостивейшего государя моего армии полковник Курского пехотного полка полковой командир и кавалер Ставраков»*.

Из этого документа можно с уверенностью заключить, что семья Славутинских прибыла в Егорьевск в 1821 г., скорее всего, еще весной. Первые два года жизни будущий писатель провел в самом уездном городе, где отец хлопотал через своих бывших однополчан за брата жены. В то же время в Михееве строился новый дом, так как в старой усадьбе Прямоглядовых, с которой у матери писателя было связано так много тяжелых воспоминаний и мало приятных, семья жить не захотела.

В 1823 г. Тимофей Степанович Славутинский подает прошение о причислении его с сыном Степаном к дворянству Егорьевского уезда. Род Славутинских был внесен во II часть Родословной книги Рязанской губернии на основании 79-й статьи Жалованной грамоты. Как указано в решении Дворянского Депутатского собрания: «Во вто-

---

* ГАРО, ф. 98, оп. 38, д. 45, л. 6. Имя полкового командира сверено по изд.: *Подмазо А. А.* Шефы регулярных полков русской армии (1796–1855). — М., 1997.

рую часть родословной книги внесут роды военного дворянства по алфавиту (толкование: военное дворянство не иные суть роды, как те, о коих в именном указе блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Первого 1721 года января 16 дня указано сими словами: все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, они и их дети, потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство)». Поэтому в Списке дворян, представленном Егорьевским уездным предводителем Е. Н. Беклемишевым в 1823 г., значится «капитан Тимофей Степанов сын Славутинский, 31 года, в отставке, пребывание имеет в Егорьевском уезде. Женат, детей имеет: сына Степана 3-х лет и дочь Надежду 6 мес. За ним состоит в Егорьевском уезде 2 души и за женой его 31 душа».

Любопытна хронология принятия и исполнения решений в 20-е годы XIX в. Тимофей Степанович подал прошение в 13 апреля 1823 г., 8 декабря Дворянское депутатское собрание решило дело в пользу просителя. Славутинский заплатил 25 руб. серебром за оформление бумаг, но бумаги были получены только 28 сентября 1829 г., после повторного прошения, поданного в 1828 г.

Скудных доходов с небольшого имения Славутинским не хватало. С помощью бывших однополчан Тимофей Степанович получил место помощника надзирателя в Егорьевске, а позже служил в егорьевском уездном суде: в 1825 г. он числится секретарем, а с 1826 г. — дворянским заседателем. В эти годы семья жила в Егорьевске. В 1826 г. у Славутинских родился сын Николай, а в 1828 г. — последний сын, Тимофей. Оба они были крещены в егорьевской соборной церкви.

В 1828 г. Тимофей Степанович умер от скоротечной чахотки. После смерти мужа Елена Николаевна Славутинская переехала с детьми на постоянное житье в Михеево. Здесь, между новой, выстроенной отцом, усадьбой и ста-

рой заброшенной дедовской, родился неизбывный интерес будущего писателя к трагическим историям жизни его предков по материнской линии. Их судьбам он посвятил наиболее значительные свои произведения, которые собраны в настоящем томе: «История моего деда» и «История моего дяди».

В старой усадьбе Прямоглядовых хранились с давних времен древние родовые грамоты, старинные книги и картины петровской и елизаветинской эпох. Все это сильно действовало на воображение мальчика, так как замкнутая жизнь среди старых дворовых людей, то и дело вспоминавших господ Прямоглядовых, тоска матери по умершему мужу и отсутствие сверстников в усадьбе не предоставляли мальчику возможностей для обычных детских игр. Братья были совсем малы, а сестра, видимо, умерла младенцем, так как о ней после 1823 г. нет никаких упоминаний. Мать неохотно отпускала от себя старшего сына, боясь потерять и его. Сама же покидала усадьбу только для поездок на богомолье.

В 1834 г. Степану Славутинскому исполнилось 13 лет, нужно было дать сыну образование. Выбор был невелик: без связей можно было устроить сына только в Рязанскую гимназию, которая, впрочем, считалась одной из лучших губернских гимназий, и выпускники ее без труда поступали в Московский университет. Не желая расставаться с сыном, Елена Николаевна переехала в Рязань вместе с младшими детьми — Николаем и Тимофеем.

Рязанская гимназия была открыта в 1804 г. В 30-е годы XIX в. она занимала два здания: старое, деревянное, на Астраханской улице, и новое, каменное, одно из лучших в Рязани. В те же годы вместе со Степаном Славутинским в Рязанской гимназии учился и поэт Я. П. Полонский, подробно описавший годы учения — учителей и порядки в гимназии в очерке «Школьные годы». Вот, как он описы-

вал новое гимназическое помещение: «...вернувшись с вакации в Рязань, мы, в конце августа, очутились в новом здании с помещением для пансионеров и с классами, на которых еще лежала печать барских хором, — дорогие обои, золоченые багеты, двери из дуба или красного дерева с бронзовыми ручками»*.

Для поступления в гимназию в то время необходимо было знать грамоту и счет, принимали детей всех сословий, кроме крепостного, но учебники, учебные принадлежности и мундир покупали родители учеников, поэтому учились, в основном, купеческие и дворянские дети и редко — мещане. «Дворяне, — вспоминает те времена Я. П. Полонский, — сходились с мещанскими и купеческими детьми, иногда дружились, и так как мальчики низших сословий, в особенности самые бедные, нередко отличались своею памятью и прилежанием, случалось, что беднейшие из них брали на время учебные книжки у дворянских сынков, а дворянские сынки ездили к ним в их домишки готовить уроки или готовиться к экзаменам. Товарищество, вообще, было недурное, хотя жалобу на товарища никто не считал чем-то вопиющим или достойным порицания»**.

Нужно сказать, что хорошее поведение ценилось гимназическим начальством куда больше нежели успехи в учебе. Это ясно видно из того случая, который положил конец учению Степана Славутинского. Будущий поэт Полонский принял в нем непосредственное участие и подробно изложил его в очерке о гимназических годах: «Раз меня призывает Ляликов, инспектор, и говорит: “Вы знаете, где живет отец Слаутинского?” — “Близ церкви Бориса и Глеба, в собственном доме”. — “Ступайте к отцу и скажите ему, что сын его исключен из гимназии”».

---

* *Полонский Я. П.* Проза. — М.: Советская Россия, 1988.

** Там же.

Хотя Слаутинский и был ниже классом, хоть я и мало знал его, но такое поручение сильно меня огорошило. Я должен был исполнить роль бумаги или письменного извещения самого неприятного содержания. Тяжело мне было поехать в дом для того, чтобы поразить старого отца. У меня дрожали колена, когда толстый, рыхлый старик, с водянистыми выпуклыми глазами, седой и лысый, в халате вышел ко мне в переднюю, не подозревая, зачем я пришел к нему. Заикаясь, я передал ему, что мне было велено. Несчастный отец весь задрожал и стал плакаться на судьбу свою.

Степан Тимофеевич Слаутинский, впоследствии замечательно даровитый повествователь, был исключен из гимназии не за лень, не за шалость, а за свои амуры. Говорят, что на него жаловался отец одной девушки, и, вероятно, недаром: я не раз видел Слаутинского по вечерам, стоящего на тротуаре и разговаривающего с какою-то девушкой в окно. Не успели его исключить, как он уже увез ее и на ней женился»*.

Полонский ошибся, полагая, что видел отца Славутинского. Это был дядя писателя, Петр Степанович Славутинский, имевший чин коллежского регистратора. Он взялся помочь вдове брата в определении сыновей в учебные заведения и некоторое время жил вместе с племянниками в Рязани. Дело было непростым из-за ошибки писца: внося в метрическую книгу егорьевского собора запись о рождении младшего брата писателя, Николая Славутинского, он не вписал имени и отчества отца, а в запись о рождении самого младшего, Тимофея Славутинского, не вписал фамилии отца. Вообще разного рода ошибки допускались в документах часто и были делом обыкновенным. Так, в гимназии Степан Тимофеевич Славутинский числился Слаутинским, без «в», из-за чего после поступления

* *Полонский Я. П.* Проза. — М.: Советская Россия, 1988.

на службу ему пришлось исправлять документы. Даже Полонский, знавший Славутинского почти всю жизнь, читавший его повести в журналах, видевший его книги, и тот писал фамилию писателя с ошибкой.

Впрочем, эти канцелярские происшествия не оказали серьезного влияния на дальнейшую судьбу писателя. Исключение из гимназии и ранняя женитьба определили ее направление твердо и безжалостно. Степан Тимофеевич должен был содержать семью на собственные доходы, которых у него не было. В мае 1839 г. Славутинский, в возрасте 18 лет, поступил писцом в Рязанскую палату Гражданского суда на копеечное жалованье. А в августе 1840 г. у него рождается первенец — сын Николай.

Кто была та барышня, что послужила причиной исключения будущего писателя из гимназии и стала его женой, достоверных сведений обнаружить не удалось, известно только ее имя и отчество — Анна Николаевна, указанное в метрических свидетельствах детей Славутинского. Можно лишь сделать предположение, что это была Анна Николаевна Хомякова, дочь действительного статского советника Николая Васильевича Хомякова, раненбургского дворянина. Основанием к такому заключению служит запись о крещении старшего сына Степана Тимофеевича Славутинского — Николая*. Восприемниками записаны статский советник Степан Ефимович Лошаков и капитанша Елена Николаевна Славутинская, мать писателя. В материалах по истории дворянских родов, собранных И. Ж. Рындиным, в сведениях о роде Лошаковых указано, что восприемниками на крестинах его старшей дочери в 1823 г. были Николай Васильевич Хомяков с дочерью Анной Николаевной, причем крестили девочку в Openоямской Никольской церкви в Рязани, как и детей

* ГАРО, ф. 98, оп. 38, д. 45, л. 41.

Славутинского*. Возраст крестной матери в этом случае был явно мал, но и Степан Тимофеевич стал крестным отцом своего младшего брата, Тимофея, в 5 лет. Другим аргументом в пользу этой версии служит тот факт, что за женой Славутинский получил в приданое землю с крестьянами в деревне Таптыковские Выселки, находившейся на границе Сапожковского и Раненбургского уездов, и в деревне Нестерово Егорьевского уезда**.

Следует полагать, что именно отец невесты помог 18-летнему зятю получить место в палате Гражданского суда. Получить место сразу и без протекции было невозможно, а тесть служил товарищем председателя палаты Гражданского суда. Так началась чиновничья карьера будущего писателя. Степан Тимофеевич прослужил в Рязани 20 лет, дослужившись до должности старшего чиновника по особым поручениям при рязанском губернаторе.

Именно в рязанский период жизни Славутинский начал заниматься литературой. Первые литературные опыты писателя относятся к 40-м годам XIX в.***. Тогда интерес к беллетристике и поэзии охватил тесное и немногочисленное дворянское общество губернского города, после посещения Рязани в 1837 г. цесаревичем Александром в сопровождении В. А. Жуковского, чей поэтический талант был признан беспрекословно. Жуковскому был представлен гимназист Яков Полонский, который по заданию директора гимназии, кстати родственника поэта, напи-

---

* См. *Рындин И. Ж.* Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии Тт. 1–10. — Рязань, 2002–2013.

** ГАРО, ф. 98, оп. 38, д. 45, л.91.

*** *Черняк Я. З.* Предисловие к книге С. Т. Славутинского «Генерал Измайлов и его дворня». Рукопись. РГАЛИ, ф. 2208, оп. 2, е.х. 62. К сожалению, Черняк не указывает источники, на которых он основывает свое предположение, однако его добросовестность как исследователя позволяет с уверенностью положиться на это утверждение.

сал приветственное стихотворение на приезд наследника престола. Стихотворение понравилось и Жуковскому, и его августейшему воспитаннику, и Полонский получил от будущего императора награду. Этот случай сделал поэзию и литературу модной темой в рязанских гостиных. Мало-помалу сложился Рязани и литературный кружок, в котором главную на ту пору роль играла Н. Д. Хвощинская, печатавшаяся в петербургских журналах под псевдонимом «В. Крестовский». Хотя Хвощинская и скрывала свои литературные занятия, весь город знал и о ее писательстве, и о зависимости благополучия ее семьи от гонораров Крестовского.

В 1851 г., в возрасте 30 лет, Славутинский сделал первую попытку поместить свои произведения в печати. Он послал несколько своих стихотворений М. П. Погодину, редактору московского журнала «Москвитянин». В этом журнале уже печатал свои стихи Я. П. Полонский. Славутинский понимал слабость своих поэтических творений, но страстно желал войти в мир литературы. Поэтому, помимо стихов, он предложил Погодину и себя в качестве сотрудника московского журнала. Стихов Погодин не напечатал, сославшись на необходимость одобрения содержания духовной цензурой, но предложил стать рязанским корреспондентом «Москвитянина». Обрадованный любезным приглашением, Славутинский сразу же предлагает план работы: «С начала мая начнутся мои поездки по уездам для произведения следствий, и я буду иметь счастливый случай собрать много любопытного о разных местах губернии и о городах ее. В июне я буду в Егорьевске и Касимове, городах, где особенно развивается фабричная деятельность. Уезды этих городов обильны преданиями, в которых есть замечательные оттенки исторических событий. Так, например, северные части Егорьевского уезда, прилегающие к Владимирской губернии, сохраняют еще

воспоминания о Иоанне Грозном: в селах Вышелес и Тугалес были станы Ловчего пути, где он охотился. Есть и еще предания (одно из них замечательно библейским характером) о Иоанне Грозном в Рязанской губернии, которое я надеюсь сообщить вам в непродолжительном времени»*. Программа, предложенная Славутинским, подходила под направление журнала, но была далека от настоящих интересов писателя. Главной темой его творчества стали сложные и взаимозависимые отношения сословий крепостной России. Именно в 1850-е годы Степан Тимофеевич, усердно принявшись за литературный труд, нашел свою особую дорогу в литературе. Начиная с 1858 г., в «Русском Вестнике» одна за другой появляются его повести: «История моего деда», «Читальщица», «Мирская беда».

Эти повести обнаружили непривычный для привилегированного сословия взгляд на общественную жизнь, где центральное место занимала психология крестьянского «мира» (общины). «История моего деда» — повесть о помещичьих тяжбах, главные герои которой — дворяне Егорьевского уезда. Однако их судьбы тесно переплетены с судьбами дворовых и крепостных крестьян, именно «мир» является той движущей силой, которая или усугубляет, или гасит конфликты помещиков. В повести «Читальщица» Славутинский рассматривает судьбу крестьянской девушки, оторванной с детства от «мира» и воспитанной в городской среде, где для нее нет места. Эта девушка, оставшись сиротой, возвращается в дом деда, но, не будучи в состоянии стать полноправной частью «мира», живет для «мира», полностью полагаясь на его волю и милосердие. Рассказ «Мирская беда» раскрывает взаимоотноше-

* См. письмо С. Т. Славутинского к М. П. Погодину от 28 апреля 1851 г. РО РГБ. Фонд Погодина, оп. 2, е.х. 30, 31. Корреспонденций Славутинского в «Москвитянине» за вторую половину 1851 г. обнаружить не удалось. Их, вероятно, не пропустила цензура.

ния крестьян внутри «мира», беспристрастно выявляя его особенности.

Обстоятельное и последовательное повествование медленно, но верно рисует перед читателем целостную картину жизни дореформенной крепостной России, в которой сословия не отделены непреодолимой стеной социальной изоляции, а живут и взаимодействуют, являясь единым организмом. Принятый Славутинским угол зрения на общественные отношения исключал возможность выделения одного или нескольких сильных характеров, что впоследствии критики часто объясняли ограниченностью его художественного дарования. Тем не менее, тонкая наблюдательность и чуткость позволили Славутинскому создать замечательные психологические этюды. В первых же повестях писатель обнаруживает богатый опыт и глубокое знание жизни разных сословий.

Осенью 1857 г. в Рязань приехал новый учитель географии Александр Петрович Златовратский*. Этот молодой человек происходил из духовного звания, учился в Петербурге в Главном педагогическом училище и имел близкое знакомство с передовыми демократическими течениями столицы. Новое лицо в провинциальном обществе всегда вызывало любопытство, нового учителя стали приглашать на вечера, чтобы послушать его рассказы о столичной жизни, и Златовратский скоро познакомился с рязанскими литераторами, ведь именно литература считалась тогда самым передовым, в гражданском смысле, занятием. Славутинский, узнав, что новый учитель приятельски знаком с сотрудником редакции журнала «Современник», решил попытать счастья в авторитетнейшем столичном журнале. Но помня злоключения своих руко-

---

* Очерк о жизни А. П. Златовратского см.: *Коршунов М. С.* Избранные работы по истории просвещения на Северном Кавказе. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013.

писей в прошлые годы, он хотел точно знать, что к его труду отнесутся с вниманием.

Знакомым Златовратского был Николай Александрович Добролюбов, талантливый критик, ведущий библиографический отдел. Добролюбову тогда шел 21 год, но его имя уже было известно многим и за пределами столицы. Необычайно добросовестный и трудолюбивый, Добролюбов не только писал критические и библиографические материалы для «Современника», но и вел множество редакционных дел, отвечал, единственный в редакции, на все полученные письма, читал все присылаемые рукописи. Он знал Славутинского по его первой публикации в «Русском Вестнике» в 1857 г. — трем довольно слабым стихотворениям, а также по его переводам из Беранже и Байрона, которые он получил от А. П. Златовратского.

Славутинский послал Добролюбову первые главы нового романа «Правое дело», и они понравились и молодому критику, и редактору журнала Н. А. Некрасову. Однако содержание этого романа, основанного на материалах следствий, которые производил Славутинский, вряд ли могло быть пропущено цензурой без серьезных правок и сокращений. Так и случилось: главы «Правого дела» пролежали в редакции «Современника» больше года и были возвращены автору по его настойчивой просьбе.

Несмотря на неудачу с «Правым делом», Славутинский и Добролюбов прониклись взаимной симпатией с первых же писем, и добрые отношения критика и писателя не прерывались до самой смерти Добролюбова в 1861 г. История их отношений дошла до нас в переписке: в архиве Пушкинского Дома сохранились 33 письма (21 письмо Славутинского и 12 писем Добролюбова)*.

---

* Переписка была опубликована: *Княжнин В.* Добролюбов и Славутинский // Историко-литерат. сб. «Огни». Т. 1. — Петроград, 1916.

Знакомство с молодым петербургским критиком стало важной вехой в судьбе Славутинского. Передовые столичные революционно-демократические идеи были для рязанского чиновника, выросшего в егорьевской глубинке, новы и во многом чужды. Ведь они формировались под влиянием западной философии и мало имели общего с той провинциальной помещичье-крестьянской жизнью, которая окружала Славутинского и которую писатель понимал глубже и тоньше теоретиков революционно-демократического движения. Было и другое коренное отличие мировоззрения Славутинского от передовой столичной публики: едкое злословие обличителей претило ему, так как он не отделял себя от той чиновничьей и помещичьей массы, которую клеймили Герцен и Чернышевский.

Но Славутинского привлекли в Добролюбове смелость идей и вера в возможность изменить общество через слово. Их отношения литературоведы советского периода воспринимают как отношения проповедника и паствы, где в роли проповедника, конечно же, критик. Но нужно понимать, что к моменту знакомства Степан Тимофеевич Славутинский имел за плечами 19 лет службы, 13 из которых он занимался следствиями по крестьянским делам в самых разных уголках Рязанской губернии. Двадцатитрехлетний Добролюбов же — недавний выпускник Главного педагогического института, безусловно, образованный, талантливый, с большим багажом различных идей и теорий, но — не опыта.

Чувствуя себя новичком на литературном поприще, Славутинский внимательно и с уважением относился к мнению редактора влиятельного журнала. По собственному признанию, Славутинский, «недавно и невзначай как-то начавший писать», не чувствовал настоящей идейной близости ни с одним из общественно-политических направлений, существовавших в журнальных редакциях.

А ведь направление журнала, то есть по сути редакционная кружковая партийность, слишком часто служили основанием для принятия рукописи. Знакомство с одним из редакторов и репутация журнала склоняли Славутинского к мысли о сотрудничестве с «Современником», а опыт подсказывал, что «кто платит, тот и музыку заказывает».

Прочные связи в журнальном мире необходимы были Славутинскому, поскольку в нем давно зрело желание оставить службу. Причиной к тому было постоянное неудовлетворение: часто следствия, которые производил писатель, так ничем и не оканчивались за неявкой свидетелей из благородных сословий или непредставлением требуемых документов. Дворяне, своими действиями доводившие крестьян до демонстративного неподчинения, запугивали или подкупали уездную администрацию, едва ли не полностью зависевшую от воли богатых помещиков. Между тем, и дворяне, и крестьяне ждали, что вот-вот будет проведена реформа, вследствие которой крестьяне будут освобождены от крепостной зависимости. Обстановка в Рязанской губернии была тяжелой: помещики боялись лишиться дохода с крепостных и часто злоупотребляли сохранявшимся еще правом, крестьяне твердо были уверены в скором освобождении и часто отказывались исполнять губительные для них распоряжения помещика или управляющего, а губернская администрация страшилась крестьянских волнений и предупреждала их жестокой расправой с «бунтовщиками». Следствия о причинах бунта производились уже после расправы, когда крестьян силой вынуждали отказаться от своих требований. Самое большее, чего удавалось добиться Славутинскому во время следствия — снять обвинение в неповиновении или подстрекательстве с непричастных к делу крестьян. И даже это требовало от следователей изрядных усилий. Сама правовая система

была такова, что результаты следствия, как бы изобличительны они не были, редко давали основание для отстранения помещика от управления имением и передачей его в опеку. Но все-таки был положительный момент в следствиях — их результаты всегда изобличали длительные систематические злоупотребления помещика или управляющего. Рязанский исследователь А. Дорошкевич разыскал в областном архиве дела, которые вел Славутинский, и убедился в деятельном и добросовестном отношении писателя к служебным обязанностям*. Однако общая атмосфера бездействия губернской власти не могла не наложить отпечаток и на старшего чиновника по особым поручениям при губернаторе.

В 1856 г. в губернии была проведена ревизия, результаты которой привели в итоге к назначению новых губернатора и вице-губернатора. Среди многочисленных записей о служебных, административных и финансовых нарушениях встречается и имя Славутинского: в ходе проверки выяснилось, что он «доносил в губернское правление, будто бы у него нет дела, по которому посылали к нему подтверждение, тогда как оно было ему поручено»**. Впрочем, проступок этот не имел никаких последствий для Славутинского и, видимо, был не из тяжких.

В апреле 1858 г. в Рязань прибыл новый вице-губернатор М. Е. Салтыков, известный больше как автор «Губернских очерков» Н. Щедрин. Об этом знали заранее, и многие ждали его именно как литератора. Но он приехал, в первую очередь, как администратор и энергично взялся за дело. Едкая и резкая манера нового начальника выговаривать подчиненным произвела на Славутинского самое

---

* См.: *Дорошкевич А.* С. Т. Славутинский // Ученые записки РГПИ. — Рязань, 1941.

** Цит. по: *Дризен Н. В.* Салтыков в Рязани // Исторический Вестник. — 1900. — № 2.

дурное впечатление, и на долгое время он вынес неприязнь к М. Е. Салтыкову. Эта неприязнь была взаимной, хотя не имела реальной конфликтной основы в служебных делах, но стала одной из причин скорой отставки.

К этому времени и родственные связи Славутинского в Рязани и Егорьевске оборвались. В начале 1840-х годов умерла мать писателя, Елена Николаевна. Младший брат Тимофей был отдан на воспитание, видно при посредничестве дяди Петра Степановича Славутинского, во 2-й Московский карабинерский полк. Средний брат Николай служил в Рязани, начав карьеру с должности канцеляриста, но мечтал переехать в столицу. В 1857 г. у Славутинского умерла жена, и писатель в возрасте 36 лет остался с шестью детьми: сыновьями — Николаем (18 лет) и Александром (17 лет), и четырьмя дочерьми — Надеждой (16 лет), Еленой (14 лет), Зинаидой (9 лет) и Елизаветой (6 лет).

Единственной старшей родственницей писателя была младшая сестра матери Любовь Николаевна Житовская. Ее муж, сын первого Егорьевского учителя — Егора Житовского, служил в 1820–1830-х годах в Егорьевском уездном земском суде, а в 1840-х был переведен в Рузский уезд.

Дождавшись, когда сыновья закончат в отличие от отца полный курс в Рязанской гимназии, Славутинский подал в отставку и в мае 1859 г. переехал в Москву, намереваясь прокормить себя и детей литературными трудами. Аттестат Рязанской гимназии давал сыновьям право поступить в Московский университет без экзаменов, и оба выбрали юридический факультет.

Выбор Славутинского пал на Москву еще и потому, что здесь жила его рязанская знакомая по литературному кружку — княгиня В. А. Вадбольская, урожденная Оболенская. Немного старше Славутинского, вдовая и бездетная, она тоже стала писать в зрелом возрасте. В 1857 г.

в «Русском Вестнике» был напечатан под псевдонимом Криницкий ее роман «Узкий путь». В 1861 г. в «Библиотеке для чтения» были напечатаны «Записки холостяка» Вадбольской, заслужившие, по свидетельству А. П. Златовратского, горячее одобрение А. Ф. Писемского. Сложно сказать, какие отношения связывали представительницу знатнейших титулованных родов с мелкопоместным дворянином, но по переезде в Москву Славутинский нанимает квартиру в Гагаринском переулке в доме княжон Оболенских. К тому же он вкладывает часть своих, весьма скудных, нужно заметить, средств в «Русскую газету», с которой сотрудничала В. А. Вадбольская. Позже хлопочет об устройстве романа Вадбольской в книжный магазин при редакции «Современника» в Петербурге. Вместе они перевели и издали несколько немецких и французских учебников по истории и литературе, среди которых особо следует отметить три тома «Очерков из истории и народных сказаний» Грубе, выдержавшее 8 переизданий. А первый рассказ Славутинского, напечатанный в «Современнике», посвящен княжне Н. А. Оболенской.

Московский период жизни Славутинского — это время бурного развития журналистики. Одна за другой появлялись и исчезали газеты. Редакции твердо держались выбранного общественного направления, порождая довольно закрытые и категоричные кружки, полемизирующие друг с другом. В Петербурге тон задавал радикальный «Современник» Некрасова, а в Москве — либеральный «Русский Вестник» Каткова. Славутинский печатался в обоих. В то же время он сотрудничал с «Русской газетой» С. А. Поля, «Московский Вестником» А. Н. Плещеева, «Нашим временем» Н. Ф. Павлова.

С 1860 г. по приглашению Добролюбова Славутинский писал для «Современника» «внутренние обозрения» — особый жанр новостного обзора. Однако серьезный и

нейтральный тон, понравившийся редакции журнала в повестях нового сотрудника, совершенно не подходил, по мнению Некрасова и Добролюбова, для «внутренних обозрений». Славутинского упрекают в «лирическом тоне», «розовом колорите» его корреспонденций. Не отрицая недостатков своих работ и признавая авторитет столичных редакторов, Славутинский все же отстаивает свою точку зрения: он решительно протестует против необоснованного систематического злословия по поводу общественной жизни. «Я, право, не знаю, что тут хорошего — толковать все обществу, что оно — поганое и ни к чему не годное», — отвечает он Добролюбову*. Каждый из спорщиков остался при своем мнении, а потому сотрудничество не продлилось долго. Впрочем, на личную симпатию эти идейные разногласия никак не повлияли.

Будучи в начале января 1860 г. в Москве, Добролюбов проводил у Славутинских чуть ли не все вечера. Взрослые дети писателя — Николай, Александр и Надежда — по возрасту больше подходили молодому критику, нежели его петербургские коллеги. Да и развлечения у вчерашних провинциалов были проще и веселее. К тому же радушная атмосфера большой семьи напоминала Добролюбову то время, когда он и его братья еще не осиротели.

Вернувшись в столицу Александр Николаевич, согретый гостеприимством Славутинского, писал: «Приехавши в Петербург, я нашел, что здесь как-то скучнее, церемоннее, холоднее живется. В скучные вечера, в которые мне выпадает дилемма или сидеть в своем углу, или отправляться в общество ученых мужей — трактовать о возвышенных материях, — мне часто вспоминается уютный московский уголок, в котором, если хочется, можно

---

* Письмо Славутинского Добролюбову от 1-й половины марта 1860 г. Опубликовано в историко-литературном сборнике «Огни» (Петроград, 1916).

с приятностью, несколько вечеров сряду, врать например, такой же вздор, каким наполнено вот это письмо. Такого уголка я здесь до сих пор не завел себе. Здесь все смотрит официально, и лучшие мои знакомые удивятся, если вдруг откроют во мне, например, юного котенка, желающего прыгать и ластиться. Здесь я должен являться не иначе как суровым критиком, исправным корректором и расторопным журналистом»*.

Круг общения писателя в Москве был невелик. Кроме княгини Вадбольской, у него бывали А. Н. Плещеев, Н. Ф. Павлов и С. А. Поль. Жить открыто и на широкую ногу Славутинскому не позволяли средства. Доходы от никем не управляемого имения были ничтожны и делились на двоих с братом Николаем, жившим в Петербурге. (К этому времени младший брат Тимофей Тимофеевич Славутинский исчез из поля зрения архивных документов.) «Русская газета» оказалась весьма неудачным капиталовложением, а квартира нужна была большая и хорошая, ведь с ним жили и дети. По сравнению с Рязанью жизнь в Москве была очень дорогой. В письмах писателя в редакцию «Современника» постоянно появляются просьбы о высылке денег в долг и жалобы на безденежье. Впрочем, в письмах А. Н. Плещеева к Добролюбову те же мотивы звучат не реже.

Несмотря на это, 1860-е годы — пик известности Славутинского. Его повести и рассказы получили доброжелательные отзывы не только московских и петербургских критиков, но и в зарубежной прессе. В бельгийской «Independence Belge» была помещена «корреспонденция» из Петербурга с отзывом на публикации рассказов в «Русском вестнике».

---

* Письмо Добролюбова Славутинскому от 13 февраля 1860 г. Там же.

Летом 1860 г. Славутинский уезжает за границу. Он давно уже страдал болезнью печени, и врачи настойчиво отправляли его на воды, утверждая, что если не лечить сейчас, то он может в скором времени умереть. Однако поездка за границу — удовольствие из дорогих. Расчетливо собирая гонорары по московским и петербургским редакциям, Славутинский решил попытать счастья: выиграть в карты деньги на поездку, — и проиграл крупную сумму. Выручил писателя А. Н. Добролюбов, тоже уезжавший лечиться, — попросил редакцию выслать московскому обозревателю деньги в счет будущих обозрений.

Писатель уехал один на четыре месяца в Карлсбад (ныне Карловы Вары, Чехия), оставив семью на попечении старшего сына. Лечение, несомненно, помогло. Вернувшись в Москву, Славутинский снова принимается за работу — «внутренние обозрения» для «Современника» и роман «Беглянку». Однако в редакции за время его отсутствия произошли изменения — во главе оказался вернувшийся из Лондона Н. Г. Чернышевский, а Некрасов и Добролюбов были все еще за границей. Чернышевский давно хотел передать «внутренние обозрения» петербуржцу Г. З. Елисееву. Со Славутинским его не связывали ни личное знакомство, ни идейная близость. К тому же «обозрения» трудно проходили через цензуру. В октябре 1860 г. «Современник» поместил последнее обозрение Славутинского.

Литературоведы советского периода склонны объяснять решение Чернышевского идейной рознью между писателем и редакцией, а также связывают последующую работу Славутинского в «Нашем времени» и «Русских ведомостях», с его уходом в либерально-охранительное направление. Если первое утверждение не лишено оснований, то сотрудничество Степана Тимофеевича с Н. Ф. Павловым не имеет с идейной борьбой ничего об-

щего. Писателю нужны были деньги, и он печатался там, где его печатали.

Несмотря на уход из «Современника», разрыв с революционно-демократическими силами был неокончательный. В 1861 г. имя Славутинского вновь появляется на страницах герценского «Колокола». Если 4 года назад он был упомянут в связи с делом о жестоком усмирении бунта в селе Деднове, то на этот раз поводом стали его собственные дочери. Набравшись идей об эмансипации женщин, скорее всего от братьев, девицы Надежда и Елена Славутинские стали приходить на лекции брата Николая по примеру петербургских дам, посещавших университетские лекции. Начальство Московского университета решительно воспротивилось этим посещениям и пригрозило исключить студента Николая Славутинского, если его сестры продолжат посещать лекции. Отец-писатель ездил объясняться с попечителем университета и, будучи не особенно подобострастным, с возмущением выслушал рассуждения попечителя о том, что его дочери ездят в университет «дразнить студентов». Вся эта история, естественно, была в виде анекдота пересказана во множестве писем и, в конечном счете, увековечила себя на страницах «Колокола». Не до смеха было только отцу передовой молодежи: он готов был на все, чтобы сын получил университетское образование.

Сестры Славутинские прекратили все же ходить в университет вместе с братом, но злоключения отца на этом не закончились. Николай Славутинский стал членом подпольного революционного кружка П. Г. Заичневского*.

---

* Подробнее о кружке Заичневского и роли Н. С. Славутинского в нем см.: *Лемке М. К.* Очерки освободительного движения 60-х гг. — СПб, 1908; *Козьмин Б. П.* Из истории революционной мысли в России. — М., 1961 г.; Сподвижники Чернышевского / Сост. *Ю. Куликов.* — М.: Молодая Гвардия, 1961.

После возвращения писателя из-за границы семья Славутинских жила в доме Т. П. Пасек, родственницы Герцена. Наверняка Степан Тимофеевич был осведомлен о деятельности сына, который немало времени тратил на перевод запрещенных в России сочинений западных социалистов. Кружок Заичневского действовал с определенным размахом, печатая в частных литографиях нелегальную литературу под видом университетских лекций. Издания продавались задешево, а выручка шла на поддержку нуждающихся студентов. Помимо этого, кружок участвовал в организации воскресных школ для московских рабочих, и Николай Славутинский был в числе студентов-учителей. Члены кружка нередко собирались у Славутинских: читали «Современник» и «Колокол», восхищались Чернышевским и Добролюбовым. Как относился к этому отец-писатель, сказать трудно. С одной стороны, идеи Заичневского, одного из пламенных сторонников революционного террора, не могли ему быть близки, а с другой — С. Т. Славутинский был человеком страстно увлекающимся, к тому же много пострадавший от строгости цензурного комитета. Многое из того, что говорили в его квартире приятели сына, он, видимо, списывал на категоричность молодости.

В июле 1861 г. Заичневского арестовали, и почти год, пока длилось следствие, он находился в заключении в Москве. У него были при себе письма и бумаги, которые он хотел передать товарищам, однако к арестанту не допускали посетителей. Тогда Надежда Степановна Славутинская, по собственной ли инициативе или по просьбе брата, представившись невестой Заичневского, добилась разрешения на свидание и вынесла бумаги. Об этом стало известно, и в квартире Славутинского был обыск.

Осенью того же года по всей России студенты, недовольные ужесточением университетских правил, устроили демонстрации. Николай Славутинский был арестован за

то, что на могиле Т. Н. Грановского произнес речь неблагонамеренного содержания. Естественно, что арест привел бы к исключению из университета, если бы отец-писатель не сумел выхлопотать прощения. Чего стоили Славутинскому эти хлопоты и кто ему помог добиться прощения по высочайшему повелению — неизвестно. Может быть, пошли в ход связи княгини Вадбольской. Но 6 февраля 1862 г. студент Николай Славутинский был восстановлен в университете с обязательством впредь подчиняться всем университетским правилам.

Вместе с Николаем во время студенческих беспорядков был арестован и выслан из Москвы Алексей Петрович Зарин, впоследствии кандидат Петербургского университета. В апреле 1863 г. Надежда Славутинская вышла за него замуж, приехав вместе с братом в Петербург. Николаю Славутинскому удалось все же закончить университет и поступить чиновником в Министерство юстиции.

В середине 1860-х годов он жил или часто бывал в Петербурге, причем находился под негласным надзором. Своего увлечения социалистическими и коммунистическими идеями Николай Степанович не оставил. В Петербурге он вошел в число постоянных посетителей «Знаменской коммуны» Слепцова — довольно известного эксперимента по организации жизни самостоятельных женщин. В. А. Слепцов, малоизвестный сегодня писатель-шестидесятник, вместе с секретарем редакции «Современника» и пятью девицами, зарабатывающими на жизнь литературными трудами, поселились в одной просторной петербургской квартире с целью создать общежитие. Конечно же, совместное проживание мужчин и девиц будоражило фантазию обывателей, и о коммуне выдумывали разные небылицы.

Николай Славутинский встретил в этом кружке свою жену — Надежду Ивановну Лермантову, оставившую

тоже свой след в литературе — детскую повесть «Хромой бес».

Еще одна дочь Степана Тимофеевича — Елена — вышла замуж за Сергея Андреевича Поля, редактора злополучной «Русской газеты», изрядно опустошившей карман писателя.

Безденежье не позволяло Славутинскому дать младшим дочерям — Зинаиде и Елизавете — порядочное домашнее воспитание. В 1861 г. он обращался к попечителю петербургского учебного округа П. П. Вяземскому с ходатайством о помещении дочерей в гимназию на казенный счет.

Нужно сказать, что состояние дел Славутинского было угрожающим еще в Рязанский период. В 1840-х годах заложенное в опекунский совет Михеево чуть не пошло с торгов из-за неуплаты процентов, а после переезда в Москву и потери пая в «Русской газете», семья жила только на литературный заработок отца.

Доход от егорьевского имения почти весь уходил на уплату по ссуде. Основную ценность Михеева составляли луга, сдаваемые в наем, и каждый сезон Славутинский ездил в Егорьевск для заключения сделок. Усадьбы, построенной его отцом, не стало еще в начале 1840-х годов. Скорее всего, она сгорела, ведь пожары не были редкостью. Их немало видел и сам писатель за время службы. Эти впечатления легли в основу серии очерков «Пожары и поджоги в провинции», опубликованной в газете «Наше время» в 1862 г. Тема стала актуальной в связи с серией поджогов в Петербурге, сильно взволновавших общественность. В том же году очерки были изданы отдельной книгой и получили одобрительные отзывы, в том числе и за рубежом. В этой книге есть рассказ и о поджоге, случившемся в Егорьевске в конце 1848 г.

В 1864 г. умер Н. Ф. Павлов, газета закрылась, и Славутинский остался без верного куска хлеба. Единственный выход писатель видел в получении места, тем более, что чин его был не малый, и в прошлом по службе он нареканий не имел, а наоборот, трижды был отмечен «за ревностную службу и особые труды». Второй его сын — Александр — тоже выпустился из университета и должен был вступить в службу. В это время в жизни Славутинского появляется новый покровитель — генерал Александр Максимович Дренякин, известный тем, что жестоко расправился с бунтовавшими в Пензенской губернии крестьянами. Славутинский, прекрасно знавший, как происходят усмирения бунтовщиков, сочувствовал Дренякину, которого в газетах и в гостиных изображали жестоким кровавым убийцей. Степан Тимофеевич и сам бывал в его положении в бытность своей службы в Рязани. Часто случалось, что совершенно незнакомые люди требовали от писателя отчета в его действиях во время произведения следствия, путая процедуру следствия с предшествующей разбирательству «экзекуцией», на которой почти никогда следователи не присутствовали. Дружба Славутинского с Дренякиным продолжалась до самой смерти писателя.

В это самое время Дренякин получил назначение генерал-губернатором в Гродненскую губернию. Он предложил Славутинскому служить мировым посредником в Северо-Западном крае. Сын Александр получил место в Гродно, сын Николай — в Вильне. Туда же переехал и Сергей Андреевич Поль, чтобы занять должность главного редактора «Виленского Вестника».

Нужно сказать, что обстановка в Северо-Западном крае после отмены крепостного права была неспокойной. Набирало силу националистическое польское движение, часто принимавшее гротескные формы, а в то же время

поземельное устройство белорусских и литовских крестьян сталкивалось с многочисленными сговорами и подлогами с целью обезземеливания крестьян и превращения их в наемных батраков. Этот путь был выгоден польской шляхте и разным дельцам, часто из евреев, получавших вознаграждение за ведение этих дел. Славутинский по мере своих сил и полномочий старался помешать этому процессу. Впечатление от службы мировым посредником нашли отражение в книге «Волости моего первого участка», вышедшей 1879 г. после серии публикаций в «Русском Вестнике».

Еще до приезда в Вильну С. А. Поля, Славутинский начал сотрудничать с «Виленским Вестником». В 1867–1868 гг. были опубликованы отрывки романов «Из записок помещика Петухова» и «Чужое добро», а также «Литовские предания и сказки». Уже при Поле Славутинский поместил в газете очерки «Беглые заметки о быте литовцев Ковенской губернии» и «Губернии Виленского генерал-губернаторства». Изложенные в этих очерках факты резко высвечивали злоупотребления польского дворянства в вопросе поземельного устройства крестьян. Позиция писателя навлекла на него неудовольствие польской партии. Под влиянием сложившейся политической ситуации губернатор Северо-Западного края Потапов вынуждал отступиться, но Славутинский, чувствуя свою правоту, в 1873 г. подал в отставку.

Относительно обеспеченная жизнь в Виленской губернии, благополучная карьера сына — все пошло прахом. Славутинский уехал в Москву, где стал искать литературного заработка. При содействии генерала Дренякина пытался получить место в акцизном управлении Харьковской губернии. Однако неудачи его преследовали. Московские редакции стали закрытыми клубами, где у него не оказалось добрых знакомых. В Харькове места

не было. Приехав по делам имения в Егорьевск в августе 1874 г., он потерял документы. А через месяц у него в Белгороде украли все деньги, полученные от сдачи михеевских лугов. Больше года Славутинский жил, не имея своего угла, то в Москве — у дочери Надежды, то в Харькове — у родственников зятя С. А. Поля. Наконец, ему нашлось место в акцизном управлении, но Славутинский прослужил в нем меньше года: с 12 ноября 1874 г. по 24 марта 1875 г.

Последние годы жизни писателя прошли в Острогожске. Здесь он служит агентом Харьковского земельного банка и вновь отдается литературному труду. В 1875 г. выходит в 5-й и 6-й книжках «Отечественных записок» новый роман Славутинского «Капитон Перелетов», в котором он развивает тему взаимоотношений крестьянского «мира». Этот роман не лишен литературных достоинств, и тема в разгар народнического движения была на острие момента, но критика царственно игнорирует писателя, не вхожего в столичные редакции.

В последующие годы писатель сотрудничает с «Древней и новой Россией» и «Историческим Вестником». Редактором этих изданий был известный популяризатор истории С. Н. Шубинский — не особенно удачливый, но увлеченный своим делом настолько, что меценаты находились для его журналов всегда. На страницах «Древней и новой России» были опубликованы: документальный роман «Генерал Измайлов и его дворня» и очерки о крестьянских волнениях в Рязанской губернии.

В 1876 г., в возрасте 55 лет, Степан Тимофеевич женится вторым браком на 20-летней дочери титулярного советника Марии Александровне Григоревской. Венчание происходило в соборной Успенской церкви Нового Оскола, откуда была, по-видимому, родом невеста. От этого

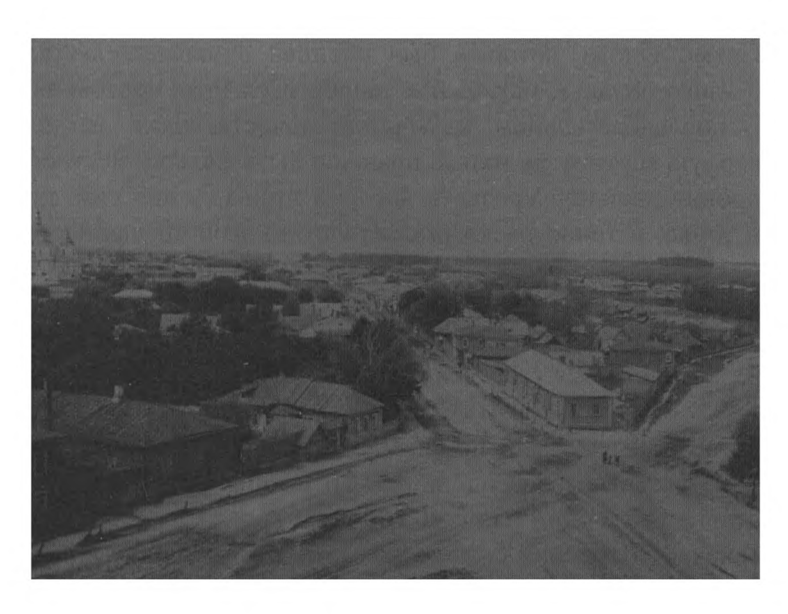
брака родились трое детей — Анна (1877 г. р.), Михаил (1881 г. р.) и Илья (1883 г. р.).

Доходов писателя едва хватало на содержание новой семьи. Славутинский снимал в Острогожске небольшой, довольно тесный для большой семьи дом. К тому же с ним жила одна из его дочерей — Зинаида, в замужестве Черокова. Неудачный брак и наследственная предрасположенность к психическим заболеваниям привели к тому, что Зинаида Степановна страдала психозом с манией преследования. Она обратила свои переживания в ненависть к отцу, которого обвиняла перед всем городом то в изнасиловании, то в попытках отравить ее. Конечно, горожане понимали, что несчастная женщина глубоко больна, и в ее обвинениях нет ни капли правды. Но положение отца от этого легче не становилось. Зинаида часто ездила на извозчике по городу без цели, и, беспокоясь о ней, Славутинский не только платил извозчикам, но и нанимал человека, чтобы тот издали следил за его дочерью. Случалось, что дочь без причины уезжала в другой город, и писателю приходилось ехать ее забирать — то в Славянск, то в Курск.

Часто Степан Тимофеевич думал о том, чтобы поместить дочь в приют для умалишенных, но условия содержания душевнобольных были так страшны, что он не решался несмотря на открытую враждебность к нему больной дочери.

В этой тяжелой атмосфере Славутинский все чаще мысленно уходит в прошлое, вспоминает свое детство, родные места в Егорьевском уезде, тех людей, что жили там. В майской книжке «Русского Вестника» за 1880 г. был помещен очерк «Родная сторона», посвященный воспоминаниям о Егорьевском уезде. В нем писатель дает обширную и довольно подробную картину жизни уезда, сильно окрашенную ностальгическим чувством.

Летом того же года Славутинский вновь побывал в Егорьевске по делам своего запущенного имения. На этот раз город поразил писателя непропорциональным размахом промышленности. «Русский Манчестер» — так называет Егорьевск Славутинский. Но не радует старого писателя бурный рост фабричного производства в маленьком, глухом когда-то, городке, всегда на его памяти испытывавший нехватку земли. Егорьевск катастрофически перенаселен. Жителей в нем, уездном городе, никак не меньше, чем в некоторых губернских городах, и все трудовые ресурсы сосредоточены на ничтожной, по сравнению с обширной территорией уезда, площади. А между тем, дешевый местный лес нещадно сводился фабриками для приведения в действие паровых машин. Темпы уничтожения лесов заставляют думать писателя, что в скором времени топлива для фабрик уже не будет, и хозяева их закроют, а крестьяне, бросившие прежние свои занятия, промысловые и земледельческие, останутся ни с чем; почва, и раньше не особенно плодородная, с исчезновением лесов станет еще менее пригодной для сельского хозяйства. Положение фабричного люда в новой, капиталистической формации до того показалось ему бесправным, что Славутинский прямо называет его «крепостным». Писателя удивляет, что незаметны еще враждебные отношения «капитала к труду». Впрочем, через 12 лет вражда эта достигла такой остроты, что «капиталу», то есть фабрикантам, пришлось хлопотать о переводе пехотного полка для усмирения недовольства «труда», то есть рабочих. Городская полиция уже не могла самостоятельно с этим справиться. Впечатления от поездки Славутинский хотел опубликовать в виде «Писем с дороги», однако они так и не появились в печати, скорее всего из-за цензурного запрещения.



Егорьевск. Улица Зарайская.
Фотография из фондов ЕИХМ

Других попыток обратиться к современным темам Славутинский уже не делал. Последние годы он посвятил семейным воспоминаниям и сюжетам прошлого. Предвидя скорый конец, он решается взяться за ту семейную историю, которая всегда занимала его воображение: историю его дяди по матери — Иоасафа Николаевича Прямоглядова, который был обвинен в укрывательстве беглого солдата, осужден и лишен всех прав состояния. В последовательном, вдумчивом повествовании он дал верную картину не только нравов и быта мелкопоместной провинциальной среды, к которой принадлежал сам, но и тонко, и точно раскрыл психологию этой среды, часто без пощады высвечивая мелочные и праздные мотивы в натурах, в общем положительных. Талантливо изображен Славутинским крестьянский «мир», на глазах которого разворачивается трагедия Иоасафа Прямоглядова.

В «Историческом Вестнике» увидело свет самое дорогое для автора сочинение — «История моего дяди». Этот роман высоко оценил Я. П. Полонский, смело поставив его в одни ряд с «Семейною хроникой» С. Т. Аксакова. Полонский сожалел только, что «публика, никем не руководимая, на эти записки, полные драматизма и бытовых картин старого крепостного времени, не обратила никакого внимания»*.

«История моего дяди» — последнее прижизненное произведение Славутинского. Писатель скончался 17 сентября 1884 г. в Вильне вследствие тяжелой болезни. После его смерти старший сын опубликовал в «Историческом Вестнике» воспоминания отца о польском мятеже в Гродненской губернии. Осталась незаконченной драматическая трилогия в стихах о Смутном времени.

О смерти писателя писали в виленской, московской и петербургской печати. Но лучше всех он нем отозвался

* *Полонский Я. П.* Проза. — М., Советская Россия, 1988.

Я. П. Полонский: «Всю свою жизнь до старости он оставался человеком, страстно увлекающимся и женщинами, и картами, и поэзией, и даже службой. В то же время он был и практическим дельцом, и горячим патриотом, и правдивым повествователем».

Имя С. Т. Славутинского, хотя и негромкое, никогда не забывалось. Его произведения упоминаются в работах видных литературоведов — А. Н. Пыпина, Ю. М. Лотмана, Б. М. Мейлаха. Произведения Славутинского переиздавались трижды.

В 1937 г. в ленинградском издательстве «Academia» вышла документальная повесть «Генерал Измайлов и его дворня». Текст был подготовлен литературоведом Я. З. Черняком, исследователем творчества Н. П. Огарева и его литературного окружения. Издание должен был предварять обширный критико-биографический очерк о Славутинском, но накануне выхода книги Черняк был обвинен «коллегами» в «космополитизме», и его имя, по обычаю той эпохи, было изъято из сведений об издании. Очерк сохранился в виде рукописи и находится в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Редактор-составитель серии «Русские повести XIX века» Б. М. Мейлах включил С. Т. Славутинского в 1956 г. в число писателей-шестидесятников, достойных внимания советского читателя, наряду с В. А. Слепцовым, Н. В. Успенским, П. И. Мельниковым-Печерским, Н. Д. Хвощинской и др.

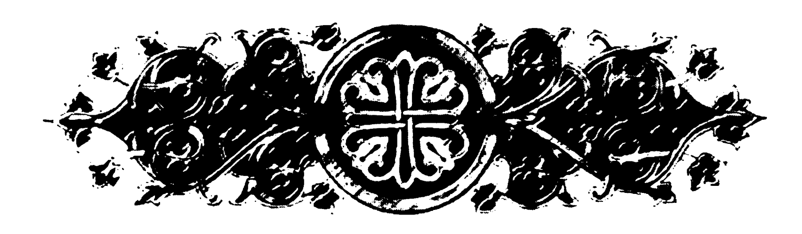
Последнее по времени советское переиздание повестей С. Т. Славутинского было предпринято в 1985 г. издательством «Современник» в сборнике «Из провинциальной жизни», куда, помимо произведений Славутинского, вошли еще четыре рассказа другого писателя-шестидесятника — И. В. Селиванова.

В наше время интерес к творчеству Славутинского нарастает: переиздаются его произведения, его жизни и творчеству посвящаются научные работы. И это не удивительно, ведь бесконечно прав был В. Г. Белинский, когда писал: «Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой все — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы».

Ю. А. Королева

РОДНАЯ СТОРОНА

Карта Егорьевского уезда, 1792 г.



РОДНАЯ СТОРОНА

I

Отец мой был уроженец Черниговской губернии, а я родился почти в Малороссии (в селе Грайворон, Курской губернии), но не тамошние места привык я считать родными.

Когда мне было года два от роду, меня вывезли в Рязанскую губернию, в сельцо Михеево, Егорьевского уезда. В этом имении, принадлежавшем по семейным нашим преданиям роду моей матери около трехсот лет, провел я все мое детство. Жизнь тихая, безо всяких тревог, без лишних с чужой стороны развлечений и впечатлений, полная доступность детскому наблюдению простого быта, деревенского и соседского, предания и рассказы о старых временах, о прежних людях, воспитали там меня окончательно, положили прочные основы моему характеру, который и сохранил в себе навсегда черты чисто русские... Я недаром могу считать имение матери настоящею моею родиной: тамошние места, речка, озера, поля, луга — луга особенно мною любимые, — милы мне и теперь чрезвычайно, хотя уже давно их не вижу.

Не веселы мои воспоминания о роде моей матери, ныне уже угасшим, о близких ей людях; может быть, и совсем я обойду их в моих записках. Но я хочу рассказать с некоторою подробностью о людях, какие окружала меня

или встречались мне тогда, а также и об окрестных с моею родиной местностях. Я ничего не забыл о них. Да и нельзя забыть: здешние люди и места, на которых они живут и жили их предки, замечательны во многих отношениях.

Начну, прежде всего, с народонаселения Егорьевского уезда, но тут придется несколько захватить Коломенский и Зарайский уезды, потому что наше родовое имение лежит на границе трех этих уездов.

II

Егорьевский уезд — самый обширный в Рязанской губернии; какое широкое пространство он занимает — указывается уже тем, что его ограничивают восемь уездов губерний: Рязанской, Московской и Владимирской. Равнина низменная, почти везде без холмов, расстилается тут, и во время моего детства очень густо покрывали ее хвойные леса. Через эти мрачные леса тянутся малые, но иногда довольно глубокие реки с вязким, тинистым дном, с плоскими, болотистыми берегами. К стороне, граничащей с Рязанским и Касимовским уездами, где площадь Егорьевского уезда особенно низменна, находится много больших озер соединяющихся посредством протоков. Неприглядна, мрачна здешняя природа, да и почва чрезвычайно скудна, — вся сплошь песчаная, во многих местах состоящая из сыпучих песков.

В эту сторону, столь бедно одаренную производительными средствами, не привлекательную, потому что нигде не оживляют ее великие реки-кормилицы, только чрезвычайная нужда могла загнать на постоянное житье русского человека, любящего широкий простор.

Однако Егорьевский уезд довольно густо населен. Во многих местах, промеж даже самых густых лесов, иногда на сыпучих песках, деревни расположены в весьма близком расстоянии одна от другой. Надо, впрочем, заметить, что эти

деревни небольшие, нередко всего дворов в десять-двадцать, да и вообще в Егорьевском уезде нет ни одного такого селения, каких особенно много в малороссийских губерниях, какие есть и во всех прочих уездах губернии Рязанской. Малый размер здешних деревушек, расположение их во многих местах кучами, самый вид изб и усадеб крестьянских, — конечно, все это, в связи и с другими коренными признаками, — достаточно указывает откуда родом населивший здешние неприглядные места русский люд. Но об этом после.

Хоть и загнанное на теперешние свои места несомненно нуждою егорьевское население жило на них и просторно, и привольно; значит, привольно, когда лишь у незначительной части его — у плотников и пильщиков, живших в глуби уезда и всего более по окраине, смежной с Касимовским уездом, оказывалась склонность, и то ненадолго, покидать дома свои для отходной промышленности. По крайней мере, так было во время моего детства.

Немаловажные причины доставляли егорьевскому простому народу домашнее, так ему любезное, приволье.

Здешние крестьяне по большей части были помещичьи, но крепостная зависимость не была для них особенно отяготительна. Места здешние, решительно непригодные для устройства барщины, лесистые, глухие, низменные и некрасивые, отнюдь не привлекали сюда помещиков на житье постоянное, даже временное; только в одном углу уезда, между уездами Коломенским и Зарайским, где находилось и наше родовое имение, держалось около десяти помещичьих усадеб, но и тут водились помещики, так сказать, не коренные, не барщинные хозяева, а потомки дворянских родов, исстари здесь обжившихся. Поэтому крепостные егорьевцы везде, кроме двух-трех имений помещичьего уголка, были на оброке и весьма необременительном, который мало того что собирался доморо-

щенными старостами, а не управляющими из немцев или поляков, но и отбывался иногда, как я слышал, натурой, разною дичиной, сушеными грибами или даже изделиями кустарного производства: кадками, кадушечками, ушатами, ведрами. Стало быть, никакие помещичьи порядки не побуждали здешних крестьян ни к добыванию на чужой стороне средств для оплаты повинностей, ни к тому, чтобы вне дома под предлогом какого-нибудь отходного промысла искать некоторого отдыха от барщинной работы, всегда бывшей тягостною. Но я полагаю, что эта замечательная домоседность егорьевского крестьянина зависела также от того, что он жил и издавна обжился на просторе не полевом и луговом, а лесном, и что пред ним не было многоводных широких рек, особенно сильно развивающих в прибрежных жителях склонность к подвижности, к перемене мест.

Как же проживал егорьевский народ в своем лесном просторе? На чем добывал он себе хлеб насущный, весьма скудно доставляемый тощею родною землей? На чем добывал все-таки необходимые денежные средства для оплаты барского оброка и казенных податей, для удовлетворения всяких своих потребностей, как бы ни мало они были развиты? А проживал он в то именно время, о котором говорю, хотя и не богато, но и не бедно: кустарное производство разных поделушек из подручного, легко доступного леса давало ему достаточные средства на все для него необходимое. Притом нисколько не истомленный крепостными порядками, при весьма заметной, как бы прирожденной ему, независимости характера, он довольно рано выказал склонность к мануфактурной и фабричной промышленности, чему особенно благоприятствовало близкое соседство промышленных местностей Владимирской губернии, а также и то, что в этих местностях мануфактурным и фабричным делом занимались преимущественно люди еди-

новерные здешнему народонаселению, коренные исстари старообрядцы.

III

В пору моего детства я знал, кроме города Егорьевска, только тот угол Егорьевского уезда, в котором находилось наше имение, но и тогда я видал жителей самых глухих местностей уезда — именно в нашем же имении. Оно хоть и маленькое, но обилует лугами очень хорошего качества, так как луга эти ежегодно весной «понимаются» разливами реки Оки, а у нас исстари водилось, что крестьяне наши гоняли свой скот безвозбранно и на господских лугах вплоть до Троицына дня, после же покосов отава на господских лугах отдавалась в их же полное распоряжение: вот поэтому коренастые, суровые обитатели глубины и окраин уезда, где лесные луга по причине крайне тощей почвы весьма скудны травой, ежегодно пригоняли своих коров в наше имение и отдавали их нашим крестьянам на прокорм на все лето, а особенно в осеннюю пору. Конечно, таких посетителей нашего маленького Михеева было не много, но они являлись из разных местностей и, хотя сторонились от господской усадьбы, я все-таки очень заметил их крупные черты, по крайней мере, черты их наружности. Потом, по поступлении на службу к рязанскому губернатору, мне доводилось несколько раз заезжать в разные срединные и окраинные места егорьевского уезда, и, таким образом, я довольно хорошо познакомился с тамошним народонаселением. Постараюсь изобразить здесь особенно отпечатлевшиеся в моей памяти характерные черты этого народа; начну же, прежде всего, с описания его поселков, а окончу посильными моими соображениями насчет того, откуда и по каким причинам появился он в здешней неприглядной и непроизводительной стороне.

Селения егорьевских крестьян, как я уже упоминал, большею частью весьма мелкого размера по количеству дворов. Везде они как-то беспорядочно расположены: то несколько их делятся кучами в самом близком расстоянии одно от другого, то раскиданы по одиночке по обширному пространству лесков и лесов. Обыкновенно эти небольшие деревушки выстроены очень хорошо. У всякого дворохозяина непременно две избы, а у иных, семьянистых, бывает их по три и более. Почти все избы из крупного леса, просторны, высоки, довольно светлы и с дымовыми трубами. Притом большая часть изб крыта тесом, а остальные — дранью; соломой же, по совершенному недостатку ржаной соломы, даже надворные постройки не покрываются. Усадьбы широко занесены и на них много разных построек, срубленных тоже из хорошего леса. На этих просторных усадьбах, всегда обгороженных длинными жердями и плетнями, садиков почти вовсе нет и огородов мало, но зато разведены хмельники, по крайней мере, так было в мое время. И, естественно, что деревушки этой глухой стороны, где крестьяне вовсе тогда не обладали имущественным достатком, все-таки были хорошо выстроены и обстроены: всякого леса было вдоволь про всех, под рукой был и свой (то есть собственно барский) и чужой, а при постановке изб, при обстройке усадеб ни откуда не представлялось препятствий в добывании нужного для всего этого леса.

В описанных мною деревушках проживает народ видный, высокорослый, коренастый и здоровенный; недаром долговечные люди, дождавшиеся не только внуков, но и правнуков взрослых, — старики, которым перевалило далеко за сто лет, — бывали здесь, в мое время, вовсе не в редкость. Наружность этого народа поистине замечательна.

Овал лица довольно продолговатый, но вместе с тем это — лица широкие, с крупными и весьма правильными

чертами; словом, здешние люди, как говорится, личмяные. Выражение же лиц всегда очень серьезное, даже суровое и мрачное; такое вообще впечатление производят егорьевцы на постороннего наблюдателя, особенно своими карими, глубоко впалыми глазами, своим упорно-пристальным, тяжелым взглядом. Да и стрижка темно-русых, часто совсем черных, волос на голове как-то усиливает суровость физиономий егорьевцев: самые маковки у них гладко выстрижены, а волоса надо лбом низко, почти вплоть над бровями, спущены и ровно прострижены от одного виска до другого. Кстати, мне говорили некоторые местные священники, что раскольники (которых в Егорьевском уезде много) живут здесь весьма давно и завелись еще до Никоновского времени, что они потомки стригольников; и это мнение священники основывали именно на выстриженных маковках егорьевцев. Конечно, при полном отсутствии всяких других доказательств насчет происхождения здешних старообрядцев (поповщинской секты, по Рогожскому кладбищу) от древних новгородских стригольников, указание на выстриженные маковки егорьевцев как на характерный признак этого происхождения крайне недостаточно и просто произвольно.

На происхождение егорьевцев указывают, по-моему мнению, на котором, впрочем, я отнюдь не настаиваю, иные, гораздо более характерные признаки.

Егорьевский народ не помнит, откуда он появился на теперешних своих местах: ни прямо, ни стороной не довелось мне слышать, чтобы в сознании его представлялась какая-нибудь связь нынешней его жизни с прошлою, отдаленною и давнею? Однако исторические воспоминанья ему не чужды, хотя, конечно, они весьма отрывочны и смутны. К слову, он припоминает только, что был когда-то по всей русской земле великий погром от Татарщины, да еще памятен ему царь Иван Васильевич.

В здешних местах, около сел Туголес и Вышелес (самые названия которых так характерны), находился «второй стан царского ловчего пути», куда и наезжал нередко грозный царь для охоты и где в один из таких наездов утопил он в каком-то озере любимого своего стременного, чем-то его прогневившего. Очень может быть, что это народное воспоминание указывает и на происхождение егорьевцев: не от тех ли они новгородцев, сотни семейств, которых выводил на поселение в московские «низовые места» еще дед Грозного, Иван Васильевич Третий, не оттого ли довольно часто видал я здесь, даже в домах некоторых местных помещиков, на старинных иконах Спасителя изображения соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, и нередко тоже между здешними народными именами попадались мне имена Савватия, Саввы и других святых, наиболее чтимых в северных местностях России? Пожалуй, не без значения тут и сохраняющееся в одном купеческом семействе города Егорьевска предание, что род их происходит от князей, «от Воротынских что ли» (отчего и прозываются эти купцы Князевыми), — предание, конечно, очень темное и даже странное, но, тем не менее, указывающее, что и в купеческих здешних семействах, как известно, всего менее сохраняющих родовые предания, остались еще воспоминания о происхождении их предков, издалека идущем.

Разумеется, все эти указания, по крайней отрывочности и темноте своей, сами по себе очень слабо говорили бы за происхождение Егорьевцев от Новгородцев, но в связи с другими имеющимися у меня в виду фактами и они имеют некоторое значение. Факты же заключаются в следующем.

Во всех соседственных уездах трех губерний: Рязанской, Московской и Владимирской, очень много сел, даже деревень, с народонаселением в несколько тысяч душ, а в Егорьевском уезде таких селений вовсе нет; егорьевские

селения, как я уже говорил, мелкие, а это ясно указывает на характер северных поселков. Кроме того, в Егорьевском уезде сельские церкви часто стоят отдельно от селений, в расстоянии нескольких верст от них, и называются эти места погостами. Название это решительно неизвестно во всех прочих уездах Рязанской губернии; да притом такое название, очень распространенное в бывших областях Великого Новгорода и имевшее там особенный смысл именно потому, что вокруг погостов происходили торги, ярмарки, в Егорьевском уезде не имеет этого смысла, ибо около здешних погостов, как теперь, нет торгов, так и прежде не было, даже не могло быть: здешний народ не был торговым, да и дорога к его поселкам была не безопасна. Вообще в выше указанном характере деревушек егорьевских, в расположении церквей, отдельном от селений, и в названии таких мест погостами, мне кажется, всего более сказывается происхождение здешнего народа из областей Великого Новгорода.

Затем на то же указывает «высокая» речь на «о», особенно употребляемая в тех селениях, которые прилегают к уездам Владимирской губернии. Правда, сами владимирцы говорят большею частию на «о»; но думается, что Егорьевское население сохранило тут свой родной говор, а не усвоило чужой от соседей. Это соображение я основываю на том, что жители Касимовского уезда, а также тутошние инородцы, совсем обрусевшие, — мещари, мордва — даром, что живут издавна в близком соседстве с владимирцами, все-таки говорят мягким говором, совершенно подходящим к говору московскому.

Наконец, даже по физиономиям своим, особенно же по выражению их, егорьевцы кажутся мне весьма близко подходящими к типу коренных новгородских русских людей.

Я хоть и не настаиваю на мнении моем о новгородском происхождении егорьевцев, однако, скажу, что мне приятно

было бы, если б оно подтвердилось. По семейным нашим преданиям, род матери моей новгородский, да и теперь еще есть в Новгородской губернии дворянские фамилии нам родственные (например Дворяшины). Мать моя часто говорила мне об этом и не раз упоминала, что в Егорьевском уезде чуть ли не весь народ выходец из Новгородских областей.

Может быть, поэтому, всегда с равней молодости мне были симпатичны егорьевцы, даром что физиономии их так суровы и мрачны, даром, что пугавшая меня в детстве «слава» о склонности их к разбойничеству была мне особенно известна, ибо в нашем семействе жило еще тогда предание о том, как прабабка моя (родом Бологовская) чуть было не попалась в руки разбойников при поездке во Владимирскую губернию. Слыхал я тоже не раз, что самый город Егорьевск, вскоре после возведения его из простого села в достоинство города, был закрываем двукратно, вследствие часто случавшихся в нем грабежей и убийств. Да и недаром сложилась народная поговорка о егорьевце, что он, дескать, хороший человек: сам режет, а говорит: «Не бось».

IV

Не знаю, откуда были родом крестьяне нашего маленького Михеева. Она не носила на себе родовых признаков столь резко заметных у жителей срединных и прочих окраинных местностей Егорьевского уезда. Речь михеевцев — чистый говор московский; физиономии — совершенно открытые, с голубыми или серыми глазами, со взглядом, нисколько не суровым и мрачным, напротив того, очень веселым; стрижка русых волос, пожалуй и это возьму в расчет, ни малейше не походила на ту, какую видал я у коренных егорьевцев; наконец, и то замечательно, что в Михееве никогда не было раскольников.

Народ в окрестных селениях, да и вообще в нашем углу, тоже не походил на истых егорьевцев — ни говором, ни наружностью, ни принадлежностью к расколу, ни даже трудовыми своими занятиями. Да вот хоть бы эти занятия: на мой взгляд, они чуть ли не особенно сильно выражают разницу во всем между обитателями нашего «угла» с прочим народонаселением Егорьевского уезда. В теперешнее время по всему этому уезду благодаря знаменитым бумагопрядильным фабрикам Хлудовых, устроенным в городе Егорьевске с 1844 года, весьма сильно развился фабричный труд; простой народ не только из окрестностей Егорьевска, но даже из срединных и окраинных местностей уезда стремится на фабрики, дома также занимается выделкой разных дешевых тканей из бумажной пряжи, но народ нашего угла почти вовсе не выказывает подобного же стремления: он занимается, как и прежде занимался, земледельческим трудом, да приторговывает дома (впрочем, больше прежнего), довольно мало пускаясь на сторону для любимой им торговли.

Всему этому главнейшими причинами, конечно, и родная земля, хотя не очень производительная (вовсе не черноземная, а супесчаная, что называется серая), но тем не менее, пригодная для обработки и дающая почти постоянно порядочные урожаи, а главное — тут под рукой большая река, все еще покуда судоходная (с прискорбием пишу: «все еще покуда», — мелеют чрезвычайно, совсем изничтожаются наши реки-кормилицы), по реке же обширные заливные луга и свои, и чужие.

Все это может доставлять и дома хорошие прибытки; вот отчего домоседничает весьма значительное народонаселение в нашем угле, не увлекаясь притом к фабричной деятельности, чему конечно нельзя не порадоваться.

Приволье подручных промыслов, приволье даже местности, на которой живет здешний люд, впрок ему пошли и в

физическом, и в умственном отношениях. С удовольствием вспоминаю молодцеватый вид, красивые, оживленные бойким взглядом лица здешних мужчин (женщины же далеко не так красивы); еще с большим удовольствием вспоминаются мне многие черты их замечательной смышлености, их своехарактерного умственного развития; некоторые из них я и приведу здесь.

Прежде всего, отмечу развитие грамотности среди народа вашего угла, тем более замечательное, что оно совершалось полстолетия тому назад, при всей силе крепостного права и на средства самим народом выбранное. На деревушку нашу, состоявшую менее чем из двадцати дворов, считалось уже слишком сорок лет тому назад более десяти грамотников, между которыми были и взрослые мужики. В соседних селениях: Макшееве, Зарудне, Маливе и проч., тоже было тогда не мало грамотников. Распространению грамотности много содействовали «читальщицы», церковнослужители, дьячки и пономари, а также и церковные сторожа из отставных солдат. Особенно потрудились именно читальщицы, которых много было тогда в селе Деднове и в других селениях Зарайского уезда.

Читальщицы — не ханжи святоши, не те темные личности, которые под покровом внешней набожности и в формах, особенно привычных народу, добиваются целей своекорыстных. Это почти всегда молодые девушки, сознательно отрешившиеся ото всякой мысли о брачной семейной жизни и пожелавшие во искупление грехов ближних своих «потрудиться» на миру, непременно на миру, трудом простым и бескорыстным. И труд их точно прост и бескорыстен, хотя за него они и не отказываются от вознаграждения, принимая, впрочем, его лишь в таком размере, в каком оно надобится им в данную минуту для поддержания скудной одинокой их жизни. Соблюдая совершеннейшую чистоту во всем житии своем, они являются тотчас

же всюду, где нужна их помощь, и не только к своим односельцам, но и к чужим людям из окрестных деревень: они ухаживают за ослабевшими одинокими стариками и старухами, за больными, за отходящими из жизни земной, они читают Псалтирь по усопшим (отчего и прозываются вообще в народе читальщицами), они обучают грамоте подростков и малолетков обоего пола. Пример их чистой духовно-прекрасной, истинно христианской жизни всегда пред глазами народа, всеми сторонами своего высокого достоинства, и остается не бесплодным, как можно заметить это легко из того именно, с каким уважением и любовью относится к ним весь народ, даже порочные из него люди. Так было и так поддерживалось долго в мое время, когда я часто навещал наш угол Егорьевского уезда. Не знаю доподлинно, из личных наблюдений, что сталось теперь с читальщицами, впрочем, слышал, что они еще существуют, и, дай Бог, чтоб отнюдь не умалялось число их против прежнего, чтоб и не искажались нисколько чисто нравственные черты их общего характера, чтобы, наконец, не было им помехи в одной части их общеполезного в народной жизни труда, именно в распространении грамоты.

Жители села Деднова, да и всех больших селений приокской стороны в Зарайском и Коломенском уездах, — народ весьма подвижный и, может быть, чересчур бойкий. Почти каждый из них не один раз на своем веку побывал на чужой стороне, во многих больших городах и видал много хорошего и дурного, и, пожалуй, соблазнительного видал всего больше. Вообще же оторванность часто с самого раннего возраста от домашней семейной жизни, везде на чужой стороне встречающиеся худые примеры слишком разгульного житья-бытья, даже самый род промысловых занятий мужчин из вышеуказанных селений, — по крайней мере занятий наиболее этим людям доступных и ими крепко облюбованных в то время, про которое теперь я

вспоминаю, — то есть служба по «винной части», по откупам, или же служба лоцманами, водоливами на барках и «коноводами» при них, — все это создавало здесь характеры крайне подвижные, разгульные смолоду и в зрелом возрасте, а под старость крутые и даже очень жесткие. Само собою разумеется, что под старость эти бойкие люди проживали уже дома, и тут в высшей степени резко выказывались все дурные стороны их характеров, особенно же, если под конец промысловой их деятельности им не поудачилось, если не сдержали они вовремя свой разгул и удалились на родину с пустыми руками. Упреки совести за греховные дела, укоры и от собственного здравого смысла, и от осуждения сторонних людей за то, что вся жизненная бойкость впрок не пошла вследствие излишнего разгула, — ожесточали их чрезвычайно, отчего в семьях своих нередко они становились истыми мучителями, и, тем более, что нередко же воспоминания о прежнем веселом житье страшно соблазняли их, и они из последних денежных средств своих предавались разгулу, хотя недолговременному, но, тем не менее, крайне накладному для семейных. Вот в этих-то семьях нарождались и вырастали те будущие труженицы, те читальщицы, которые не только по смерти своих родителей, но иногда и при жизни их пускались на подвиг искупления грехов их.

Конечно, грамотность, передаваемая читальщицами имела чисто религиозный характер: тут все было основано на изучении Часослова, Псалтыря и наиболее употребительных молитв. Азбуки и книги гражданской печати вовсе не были в ходу. Счету читальщицы тоже не учили.

В этом же роде передавали грамотность и отставные солдаты, сторожа при сельских церквах. Не знаю опять-таки, как теперь, а назад тому лет сорок и даже больше церковными сторожами были всегда отставные, престарелые и израненные солдаты, и непременно грамотники; по край-

ней мере, ни в одной церкви по соседству от нас не было неграмотных сторожей, и я даже слыхал от местных священников, что сторожа должны быть грамотниками, хотя и не помню почему так. Бог весть когда, где и как сами они ознакомились с грамотой. Но как люди престарелые, всегда одинокие, на своем веку испытавшие много всякого горя, видавшие смерть близко и спасавшиеся от гибели только чудом Божьим, они были набожны чрезвычайно и вели жизнь безупречную во всех отношениях. Имея обязанность охранять церкви, поддерживать в них и вокруг них порядок и чистоту, высоко ценя эту обязанность, они никогда не отходили от церквей, им даже и пищу доставляли прихожане. И вот в сторожках своих они преподавали грамоту, преимущественно мальчикам, употребляя для этого тоже Часослов и Псалтырь. Народ очень уважал этих старых служак, не отдыхавших и под старость продолжавших всеусердно служить Богу и миру. Крестьяне чрезвычайно охотно отдавали к ним на выучку детей своих, хотя старые эти служаки были обыкновенно люди суровые и на вид, и по всему обхождению своему.

Наконец распространяли в народе грамотность и церковнослужители, дьячки и пономари. Они делали это уже по иным побуждениям, чем читальщицы и церковные сторожа: домашняя нужда заставляла их делаться наставниками. В то время и даже в нашем угле, где народонаселение отличалось зажиточностью, доходы причтов были очень невелики, и по большей части поступали они натурой. Притом доходы эти делились так: священник получал половину изо всего, затем диакон (тогда все приходы в нашем угле имели диаконов) получал из второй половины тоже половину, остальное же делили промеж себя поровну дьячок и пономарь. Конечно, доля их была уже весьма незначительна и часто совершенно недостаточна для содержания семьи. Поэтому многие дьячки и понома-

ри всячески старались заполучить к себе учеников. Однако народ не очень охотно отдавал к ним детей своих на выучку, и именно потому, что они почти всегда обучали по азбукам гражданской печати. Отчего же дьячки и пономари не придерживались Часослова и Псалтыря, уж право не могу объяснить.

Распространенность грамоты в окрестном с нашим имением народе — факт действительный, и он особенно замечателен в двух отношениях: во-первых, грамотность эта возникла и развилась безо всяких влияний со стороны, никто и никого к ней не обязывал, сам народ сознал, что она для него полезна и необходима; во-вторых, чисто религиозный характер ее давал тогдашним грамотникам сильную нравственную поддержку. Мне отрадно вспомнить здесь, что за мое время во всем нашем околотке крупные преступления — убийства, разбои, грабежи, были совершенно неизвестны.

Кстати, я должен указать здесь, что грамотность всего более была распространена в приокских губерниях, в Коломенском же уезде и в нашем углу она была менее значительна. Для приокских больших сел была особенная тому причина: тамошний народ постоянно отлучался на сторону, да и промыслы его там преимущественно вращались около «винной части», для которой совершенно необходимо было уменье не только считать, но и хорошо читать и писать. Но в нашем околотке и неграмотники отличались большою смышленностью, способностью к торговле, к промыслам, к мастерствам, даже и к механике. Вспоминаю теперь довольно многих неграмотных крестьян из соседних с нами селений: Маливы, Зарудни, Поповки, Макшеева, Нестерова, Сельникова, Тимирева, которые промыслом, мастерством, торговлей достигли хорошей зажиточности, особенно же памятен мне крестьянин села Маливы (Егорьевского уезда) Андрей Степанов, человек

тоже неграмотный, по наружности даже простоватый, но очень ловко занимавшийся торговлей и составивши себе значительный для того времени капитал тысяч в тридцать. Почти все коренные михеевцы, кроме переселенцев из деревни Тарбеихи и кроме еще двух семей явно нерусских, а по всей вероятности происходивших от полонянников из областей Речи Посполитой, очень выгодно торговали (большею частью в складчину, по три, четыре человека) дедновскими лугами, дедновским сеном, ездили также в приволжские места за рыбой и вообще занимались всякой мелочной торговлей, отнюдь не покидая в то же время коренного своего земледельческого труда. Живо вспоминается мне при этом ловкость михеевцев, уменье их взяться тотчас же за трудное и непривычное им дело. Привезли, например, в село Макшеево, куда мы были приходом, новый большой колокол, кажется слишком в триста пудов. Это было в пятницу — базарный день в селе Деднове, когда михеевцы уже непременно отправляются туда по разным домашним надобностями и торговым делам. И вот в Макшееве без михеевцев не сумели-таки повесить колокол: лишь когда явились наши крестьяне, «пошел» он сразу, не только без неудач, но и без задержек, так хорошо принялись за дело эти молодцы.

Михеевцы отличались веселым характером. Все большие праздники, а также и храмовые, праздновались в Михееве широко и долго, уже не менее трех дней; особенно же весело справлялись: Покров Богородицы (1-го октября), Рождественские святки, Светлая неделя, Масленица, Троицын и Духов дни и храмовые праздники (Николины дни зимой и весной). В Николины дни бывало, что называется разливанное море всегда и во всех домах, даже незажиточных. Тогда наше крошечное Михеево переполнялось и гостями, чужим людом из окольных селений, всего же более из Зарудни и Маливы, с жителями которых михеевцы ис-

стари жили уж, не знаю почему, в особенной приязни и во всегдашних ладах. Но кроме больших и храмовых праздников, михеевцы проводили очень весело воскресные дни в ту именно пору, что заступала за прекращением весенних полевых работ и тянулась до начала уборки хлебов: тогда в послеобеденное время и вечерами составлялись хороводы с песнями и плясками и часто это веселье продолжалось до поздней ночи. С удовольствием вспоминаю, что оно происходило почти всегда в виду господского дома, иногда даже на барском дворе, и это не по приказанию, не по зову, а по добровольной охоте. Хорошо тоже бывало при уборке лугов в Михееве, когда тамошние крестьяне косили свои собственные, а также снятые ими дедновские луга, часть которых вплоть подходила к нашей деревне, или когда участвовали по найму в уборке господских лугов, всегда снимаемых сторонними людьми. Труд этой уборки совершался чисто по-праздничному: молодые женатые мужчины, молодые женщины, холостые парни и девушки выходили «ворошить» сено, собирать его в копны, «кидать» в стога, в лучшей своей одежде, да и пожилые мужики и бабы заметно принаряжались для этой работы; при ворошении сена обыкновенно раздавались веселые песни; в ясную погоду молодой народ и даже средних лет мужики и жены их всегда заночевывали на лугах, и тут раскладывались, по закате солнечном, больше костры, вокруг которых водились хороводы и шло веселье долго, до полночи.

На последних днях Масляницы, когда по давно заведенному обычаю михеевцы отправлялись большим поездом в село Маливу на катанье, они всегда бывало заезжали на барский двор попросить матушку, чтоб отпустила с ними барчонка, то есть меня, и матушка соглашалась, отпускала, только непременно в сопровождении нашего старого кучера Петра Леонтьева. И на Светлой неделе она отпускала меня для катанья по широкому разливу Оки и нашей речки,

затоплявшему всю окрестную луговую равнину и окружавшему нас весной с трех сторон. Правда, она решалась на это трудно, а все-таки решалась, только сама выходила вблизи посмотреть, как маленькая флотилия михеевцев, состоящая из ледок и утлых челнов, отправлялась с православным людом на гулянье, да наблюдала, чтоб я был в хорошей лодке, с надежными и трезвыми людьми, да приказывала при этом и просила, чтоб отнюдь не отплывали далеко от деревни, — и во все время гулянья тоскливо дожидалась на берегу возвращения флотилии.

V

В версте от нас было село Макшеево, куда мы были приходом. Это помещичье селение (где в мое время помещики никогда не жили) не велико, в нем не более 150 душ мужеского пола, да и вообще, само по себе оно ни чем не замечательно. Но для меня село Макшеево довольно интересно уже потому, что дед мой Николай Михайлович П-в, выведенный мной в рассказе: «История моего деда» под фамилией Туренина, воинственно и удачно защищал свою водяную в Михееве мельницу от посягательств на разорение ее со стороны злобной и страшно жестокой помещицы села Макшеева, фамилии которой я теперь не помню. Замечательно же в этой борьбе именно то, что она велась не в форме многокляузной и многобумажной тяжбы, а чисто на феодальный лад: на мельничной плотине нередко происходили между михеевцами и макшеевцами всегда под личным предводительством деда и лихой его соседки сильные побоища. И это не осталось без последствий для будущих поколений — и теперь крестьяне этих селений, даром что ближайшие соседи, как-то все не ладят между собой.

Вот еще что особенно памятно мне в селе Макшееве: в каменной церкви его, построенной, должно быть, в конце

прошлого столетия, находятся такие редкости, каких я не видал нигде в церквах средней полосы России.

Верстах в двух от нашего Михеева было село Малива. Оно гораздо больше Макшеева, в нем, кажется, уже до тысячи душ; впрочем жители его ничем особенным не отличаются от прочих крестьян вашего угла, да и вообще оно нисколько не замечательно ни в торговом и промышленном, ни в бытовом и историческом отношениях. Но для меня село это очень интересно: в детстве и в ранней моей молодости меня чрезвычайно привлекали в него старый бор и остатки усадьбы князя ...ского, того злого человека, который загубил моего деда и которого я вывел в вышеупомянутом рассказе под неудачно выбранной фамилией: Любецкий.

Старый бор этот, подходивший одним концом своим почти вплоть к церкви села Маливы, был не велик, — вряд ли занимал он более десяти десятин. Явно, что это был лишь остаток бора. Но и занимая такое малое пространство, он всем своим видом вполне соответствовал названию, с которым обыкновенно соединяется представление о громадном величавом лесе. Довольно близко я видел много лесов в Рязанской, Владимирской, Московской, Тульской губерниях; но решительно нигде я не видал таких великанов деревьев, как в Маливском бору: тут были дубы и сосны в два и в три обхвата, то есть в окружности своей имевшие более сажени. Разумеется, Маливский бор был очень редок, такие огромные деревья не могли расти в тесноте, и несмотря на то, внутри он был сумрачен, даже темен, ибо в тени дубов очень густо и довольно высоко росли кусты орешника и другие мелкие деревья лиственных пород. Теперь Маливский бор уже не существует; он сведен окончательно, кажется, более тридцати лет тому назад, и жаль мне его, старого, чрезвычайно жаль: в сумрачной тени его я часто бродил, когда еще был

ребенком и потом в ранней моей молодости; тут дышать и глядеть на все так было хорошо, тут думалось так плавно и спокойно. Кстати, по народному преданию, Маливский бор вырос на крови татарской, а когда и по какому случаю пролилась здесь кровь татарская и, конечно, русская, предание не говорит: оно темно, как было темно когда-то внутри старого Маливского бора.

Большое седо Дедново (три церкви, много постоялых дворов, лавок, трактиров; до десяти тысяч жителей обоего пола), находящееся в семи верстах от Михеева, тоже интересно и даже по многим отношениям. Оно имеет важное значение для повседневной жизни нашего угла: десятки деревень Егорьевского уезда, особенно же вышеупомянутые мною, в нем покупают все, что им нужно, и в нем же продают свои сельские произведения и изделия своей мелкой промышленности, да больше и негде купить и продать: в этой местности нашего уезда, на пространстве, должно быть, до тридцати квадратных верст, нигде, кроме Деднова нет ни еженедельных базаров, ни больших годовых ярмарок. Потом оно заслуживает внимания по промыслам своих жителей, по умственному их развитию, по многим чертам их домашнего быта, сохранившего, несмотря на отлучки каждого дедновца на чужую сторону, коренные черты старинной русской жизни, по своим преданиям, документам и остаткам старины, а также по положению своему при пресловутом помещике А. Д. Измайлове и по катастрофе, разыгравшейся в нем перед самым освобождением крестьян от крепостной зависимости.

Дедновские и михеевские земли, именно луга, сходятся чересчур близко, так что первая из них подходит почти под самые окна целой половины нашей деревни, а это обстоятельство имело и имеет большое влияние на соседские отношения обоих селений. Прежде, до генерального размежевания земель, то есть до 1767 года, не так было, и,

конечно, было гораздо лучше для взаимного спокойствия михеевцев и даже дедновцев. А спокойствие нарушалось нередко. Михеевцам нельзя было уберечься, чтобы скот их собственный и принимаемый ими на прокорм не заходил иногда на дедновские луга, столь близко к ним подходящие. И вот со стороны дедновцев — большие претензии на потравы, да и постоянные попытки отомстить за них. Доходило тут и до разбора в судах (всего чаще), и до кулачной расправы.

Когда стал заведовать Михеевым мой отец, он нашел нужным в видах соседского спокойствия устранить разом возможность потрав дедновских лугов скотом михеевским, для чего провел вдоль всей нашей границы с Измайловскими землями широкую и глубокую канаву. Но со временем ежегодные половодья позатянули илом эту канаву, сделали ее уже неглубокою, и потравы, греха таить нечего, опять начались, только уже в незначительной степени, отнюдь не всем скотом михеевским.

Я любил, бывало, смотреть на главную из церквей дедновских, стоящую на левой стороне Оки, где сосредоточено наибольшее население села: по ее массивности, да и вообще по виду, она казалась мне тогда чрезвычайно древнею. В действительности, она, должно быть, построена только в XVII столетии. Иконостас ее, как говорили мне, древний, но по близорукости моей я не мог хорошо разобрать этого. Колокольня кажется древнее самой церкви. На ней часы со старым «московским боем», по которому счет времени идет от восхода солнца и до заката. Другая древность, дедновская, может быть, уже не существует в настоящее время, и если это так, то об этом нельзя не пожалеть. Назад тому лет сорок, в Деднове бережно сохранялся старый ботик, который у местного народонаселения слыл царским корабликом, на котором будто бы плавал император Петр Великий; таких ботиков в России несколько, и старейшинство между ними, кажется, еще не определено положительно; кто зна-

ет, может быть, дедновское старое суденышко имеет право на это старейшинство. Кстати, в Зарайском уезде есть и теперь помещики Брандты, ведущие свой род от первого кораблестроителя в России.

Изо всех прочих деревень нашего угла упомяну еще село Горки. Само по себе это небольшое помещичье селение, расположенное на берегу болотистой реки Цны, нисколько не замечательно. Но в его деревянной, очень старой церкви есть большая редкость, как говорил мне бывший помещик села Горок Ф. И. де-Медем, человек образованный, и словам которого можно было вполне верить. Древность эта — иконостас, на котором уже едва можно различать все изображения. По словам г. де-Медема, горецкий иконостас в прежнее старое время, еще до великого князя Ивана Васильевича Третьего, украшал соборный храм Москвы, когда же знаменитый Аристотель Фиоравенти построил в Москве новый собор, то устроен был для него и новый иконостас, а старый перемещен был в соборную церковь города Коломны; затем, по упразднении отдельной Коломенской епархии, тот же самый иконостас, как пришедший в крайнюю ветхость был перевезен будто бы в село Горки, приход которого был тогда весьма незначителен и беден.

Вслед за упомянутыми селениями я должен сказать несколько слов и о двух монастырях, находящихся недалеко от нашего имения. Во-первых, о Радонежском, или Радовицком по местному произношению, монастыре. Он расположен в лесистой и болотистой местности Егорьевского уезда, на границе с той частью Рязанского уезда, которая слывет под названием «Мещоры». Я не был в нем, но много рассказов о нем слышал. Это — монастырь древний, служивший передовым постом русской колонизации в стране, заселенной финским племенем мещорою, которое довольно долго сохраняло свою независимость. Мне приходит на мысль, что учреждение царства Касимовского в местности, столь близкой к поселениям Мещоры, обусловливалось

политическими расчетами Московского правительства не столько по отношению к царству Казанскому, сколько по отношение к дикому, свободолюбивому мещорскому племени.

Очень памятен мне и другой монастырь, более к нам близкий чем Радонежский, и куда мать моя, страшно тоскуя после смерти моего отца, возила меня часто...

Это Голутвин монастырь Коломенского уезда, основанный Сергием Радонежским. Местность, на которой он расположен, прекрасная. Он стоит на луговом мысу, у самого впадения в Оку Москвы-реки. Отсюда так хорошо представляются две большие реки, широкие пространства лугов, множество селений на берегах двух рек и, наконец, большой город Коломна, с полуразвалившимся кремлем, с многочисленными церквами и несколькими монастырями, как в самом городе, так и окрестностях.

VI

Города, как и все живые человеческие организмы, должны иметь каждый своеобразную физиономию, и это так законно обусловливается не только разницей топографического их положения, но и разницей жизни, отдельных промыслов, даже повседневных занятий и всего общественного и умственного развития их горожан. Так это и везде, но не у нас. В нашем отечестве города и великороссийских губерний, и даже северо-западного края, хорошо мне известного, различествуя между собою по топографическим условиям, очень нередко и во многом как-то походят один на другой. Этот характер наружной формы и внутреннего содержания так общеизвестен, что нечего и распространяться о нем даже в поверхностном описании. Но были и есть исключения. В числе таких исключительных городов — их же вовсе не так много — состоял и город Егорьевск до последнего своего большого пожа-

ра (кажется в 1868 году), а особенно до постройки в нем огромных бумагопрядильных фабрик купцов Хлудовых.

В обозначаемое мною время город Егорьевск имел своеобразную физиономию, совершенно оригинальную между всеми соседними и несоседними городами Рязанской, Московской и Владимирской губерний.

Весь городок состоял собственно из трех только улиц и то неровных: срединная, главная и лучшая, была гораздо длиннее двух остальных и странно как-то выходила таким образом с обоих своих концов прямо в чистое поле. Затем между этими тремя улицами было еще несколько маленьких переулков. Наконец, три довольно просторные площади пересекали главную улицу. Вот и весь тогдашний Егорьевск. Уже из этого видно, что он был очень невелик. Да так оно и подобало: во-первых, потому что тогдашнее население Егорьевска вряд ли простиралось и до двух тысяч душ обоего пола, а во-вторых, потому что «конфирмованным» планом отведена была под город чересчур малая площадь, что и повело впоследствии к большим затруднениям, даже, может быть, и к пожарной катастрофе 1868 года, ибо с сильным увеличением постоянных и временных жителей в городе с тех пор, как завелись тут фабрики, егорьевцы очень тесно стали строиться на своих дворовых местах, которая вздорожали в продаже чуть не до московских цен. В настоящее время площадь города, должно быть, распространена, так как он гораздо подался во все стороны.

Бывало, остановись на любом перекрестке срединной главной улицы Егорьевска и оглянувшись кругом, увидишь в самом близком от себя расстоянии поля, окружающие город, и лес, замыкающий поля и близко подходящий отовсюду. И так это было хорошо: с сероватым цветом всех городских построек серовато-желтые поля и темно-зеленые хвойные леса чрезвычайно гармонировали.

Сероватый цвет егорьевских построек зависел именно оттого, что все они были деревянными, за исключением только одного каменного пребезобразного купеческого дома, который, по правде сказать, был тут совсем не кстати.

Дома егорьевских коренных жителей, купцов и мещан, по самой постройке их имели весьма оригинальную наружность. Они были не малы, большою частью не только о трех, но и о пяти, семи окнах (лесу в окрестностях города было изобильно и доставался он чрезвычайно дешево); притом все они казались особенно массивными и неуклюжими именно потому, что были неладно построены, или, лучше сказать, неладно сложены из весьма крупных бревен. Да и вообще как-то мрачен был вид этих старинных домов по причине чрезмеру малых, не симметрично, чуть не под самою крышей, прорубленных окон и слишком высоких, с низко спущенными концами, крыш, а также по причине дворов с темными навесами и с воротами всегда, даже днем, затворенными. Мрачное впечатление, производимое этими домами на всякого постороннего человека, усиливалось и темно-сероватым колоритом, облекавшим все сверху до низу, и тем еще, что вся довольно тесно скученная масса домов почти нигде не разнообразилась, не оживлялась садами и огородами, ибо самая почва под городским поселением, чрезвычайно песчаная и тощая, не дозволяла их разводить.

Над многими воротами, а то над калитками, висели на подкладке из белой бумаги, литые медные кресты восьмиугольной формы. Признак характеристический: дома с такими крестами принадлежали истым, коренным издавна старообрядцам.

Движения на улицах и площадях егорьевских, движения везде в городах хоть временно проявляющееся, почти вовсе не было даже и в базарные дни (да и базары самые малые собирались только один раз в неделю). Город был решительно беден по части торговли и промышленности.

Недаром в нем не было так называемых «рядов», то есть гостиного двора. Немногие лавчонки на одной главной улице помещались в низких, тесных и темных подвалах под вышеописанными домами, и все они, даже и те, что были украшены над входами полосками красного кумачу (признак продажи тут и «красного» товара) походили на какие-то звериные логова. Недаром тоже сложена была в народе поговорка о егорьевцах: «Кто ты таков? — Егорьевский купец. — Куда едешь? — В степь. — Зачем? — Побороваться (то есть, побираться, нищенствовать)».

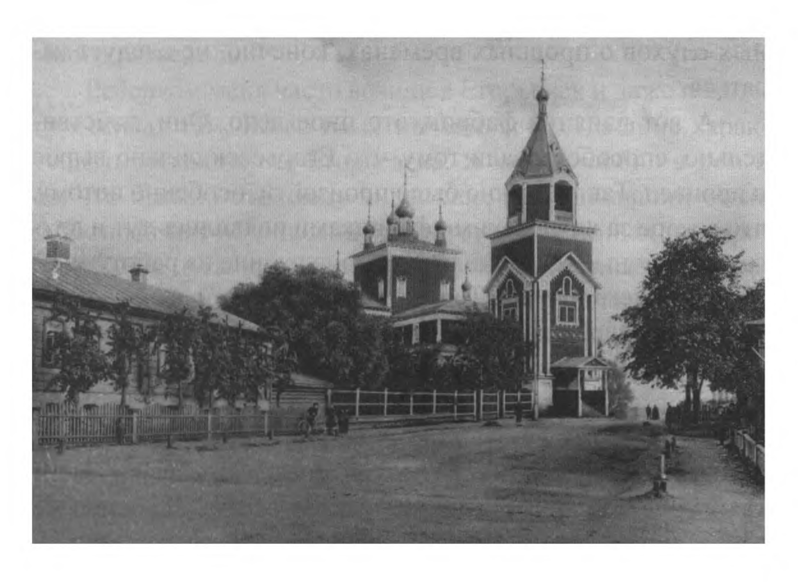
Оно и понятно, почему не было в Егорьевске торговли: город был в стороне от больших и малых городов, от всяких проезжих трактов. Притом он стоял в самом углу своего уезда, протянувшегося от него широко и далеко. Окрестные немногочисленные и немноголюдные селения были совершенно бедны сельскими произведениями. Помещиков было мало в уезде, да и те, что тут жили, наезжали в Егорьевск лишь по самонужнейшим делам, производившимся у них в тутошних присутственных местах. Оттого собственно для случайно приезжих по тяжебным делам «просителей» долго-долго были в городе один только трактир (купца Кира Шведова) да два постоялых двора. А аптека не заводилась здесь еще дольше, до тех пор, пока не пошли в ход хлудовские фабрики.

Тогдашний Егорьевск, городок маленький, весь деревянный, ничем не казистый, мрачный и бедный, сильно нравился мне и в то время, когда я стал взрослым человеком и видел все города Рязанской губернии, а также многие другие, когда умел уже сравнивать представляющиеся мне явления общественной жизни и подводить итоги под мои наблюдения. Всегда как-то олицетворял я Егорьевск, воображал его в виде отдельного живого существа. И то было не фантастическое представление: действительно, городок этот чрезвычайно совмещал в себе все родовые черты его-

рьевца, коренного жителя егорьевских глухих темноцветных лесов.

Егорьевск преобразован в город из села Высокого; из-за разбойничества скоро был закрыт, но затем восстановлен в качестве города. Надо думать, что в упорно преследуемом администрацией решении преобразовать таким образом, возвеличить, что называется, село Высокое, участвовало не одно лишь соображение, что оно было «экономическое» селение, то есть бывшее монастырское, но и воспоминание о том, что оно принадлежало знаменитому роду бояр Романовых. Так говорит местное предание, и, должно быть, оно верно. В егорьевском каменном соборе находится резной из дерева образ великомученика Георгия, пожертвованный, как мне сказывали, Романовыми, и, помнится, самый герб этого города представляет то же изображение. Кроме того, в Егорьевске исстари чествуется Никитин день (15-го сентября), по всей вероятности, в память о боярине Никите Юрьевиче Романове, о том «Микитушке Романовиче», который так великолепно прославлен в одной из народных былин о грозном царе Иване Васильевиче. Кстати сказать, в день 15-го сентября, собирается каждогодно вокруг стоящей за городом кладбищенской церкви во имя Св. Никиты мученика ярмарка, которая теперь довольно значительна по оборотам, но и прежде всегда бывало многолюдна по стекавшемуся сюда изо всего Егорьевского и даже из соседних уездов народу.

Весьма заметное улучшение Егорьевска во всем наружном его виде, главнейшим образом, зависело от устройства в нем хлудовских бумагопрядильных фабрик, привлекших сюда много стороннего народа и давших местным жителям возможность подручно добывать деньги и работой от фабрик (собственно размоткой на дому так называемых «шпуль»), и продовольствием фабричных рабочих. Однако и прежде заведения фабрик, еще в тридца-



Егорьевск. Красный Георгиевский собор.
Фотография из фондов ЕИХМ

тых годах, город этот уже пооживился: явились в нем новые лавки, новые трактиры и постоялые дворы, усилилась ярмарка в Никитин день, стали заметны купцы-торговцы с порядочными капитальцами. Отчего именно пооживился так город, доподлинно не знаю; правда, были какие-то темные слухи на счет этого, да мало ли что говорят, и темных слухов о прошлых временах, конечно, не следует касаться.

А вот влияние фабрик, это иное дело. Они, действительно, способствовали тому, что Егорьевск сильно вырос и процвел. Так и должно было произойти, особенно потому, что вскоре за хлудовскими фабриками появились тут и другие фабричные заведения, тоже привлекшие на работу много стороннего народа. Теперь в Егорьевске более двадцати тысяч жителей (конечно, считая и фабричных рабочих). Теперь здесь, кажется, больше домов каменных и много домов двухэтажных (нижний этаж каменный, верхний деревянный, как любят строиться егорьевцы), много тоже порядочно снабженных разными товарами лавок, много трактиров и даже гостиниц; на улицах всегда, особенно же в праздники, очень заметное движение, и расхаживает и разъезжает разный люд, довольно нарядный, а под час чересчур веселый. Ярмарка в Никитин день, говорят, дошла до миллионного годового оборота, да и базары собираются многолюдные. Наконец, для вящего доказательства насколько усилилось теперешнее промышленное и торговое значение Егорьевска, соединила его с Москвой железная дорога (кстати сказать, преотвратительно построенная, на ней так трясет, как будто едешь по обыкновенной ухабистой дороге).

Все это хорошо, но есть и оборотная сторона у этого кажущегося благосостояния, которую не следует скрывать. Вот, например, дороговизна в Егорьевске на все необходимые предметы жизненного продовольствия, ко-

торые продаются по ценам московским, несмотря на то, что качества они плохого. Вообще всякому небогатому человеку, не имеющему никакого отношения к местным фабрикам, здесь очень тяжело жить. Притом и нравственность егорьевских жителей, говорят, сильно пострадала. Оно и понятно: кабаков и трактиров в городе уж чересчур много развелось.

Ребенком меня часто возили в Егорьевск и даже по долгу я живал там. Живо памятны мне все тогдашние характеристическая черты Егорьевска. Я как-то любил в нем и то, что бывало отовсюду виден лес, напоминавший столь любезный мне Маливский бор, и то, что на улицах так просторно. Не пугали нисколько и суровые, мрачные физиономии егорьевцев, я привык к ним с самого малого возраста. Но особенно я любил кладбище вокруг церкви Никиты-мученика, оно очень хорошо было засажено деревьями, в тени которых росла высокая трава, и там я находил много цветов, простых, но в Егорьевске вообще редких.

Однако в прошлом году летом, проехав на лошадях верст пять-десять по Егорьевскому уезду, я везде видел уже малые кустарники вместо лесов и бедность почвы выказывалась тут как-то особенно резко, гораздо резче чем прежде. С другой стороны, меня поразило и то, что во многих небольших деревушках, через которые я проезжал, поразвились трактиры на манер городских, с вывесками, с какими-то надписями, с шумливым народом, гуляющим в них, — трактиры, которым ни почему не подобало бы здесь быть, так как в деревушках этих нет ни базаров, ни ярмарок, ни торговых и промышленных заведений, а притом и обозы тут не проходят; значит, трактиры, не заменившие кабаков, которые остались сами по себе, а дополнившие число увеселительных мест, существуют только для местного населения. Так отразилось в Егорьевском уезде, на быте простого народа, живущего в малых и по-видимому

весьма бедных деревнях, широкое развитие фабричного труда в Егорьевске, в этом городе, начинающем слыть русским Манчестером...

VII

Отрадно всякому вспоминать свои родные места, поэтому собственно и пишу о них.

Да и как было не любить их! Светлая речка, быстро бегущая по бело-песчаному дну; зеленые луга далеко-широко раскинувшиеся; темный Маливский бор; две белокаменные церкви, обе явственно от нас видные; вся наша деревушка хорошо обстроенная, с длинными усадьбами, с хмельниками на них; в виду пять деревень, тоже хорошо выстроенных: все это представляло простую, но истинно стройную и прекрасную картину. Тут привольно, спокойно, хорошо было жить.

А время весеннего половодья, с широким разливом вод, а время уборки лугов, этой бодрой, веселой, нарядно-праздничной работы, о, как оживлялись тогда мои родные места!

Но не мрачны были эти места и осенью, даже в позднюю осень. Сквозь густые туманы, стоявшие над нашею равниной в продолжение всего пасмурного утра, при частых мелких дождях, что сеют да сеют бывало чуть не во весь день, ярко просвечивали везде кругом нас зелень озимых полей, зелень близко лежащих лугов, тускло-светлые полосы захолодевших речки и пруда, что всей окрестности придавали оживленный вид. А на деревне почта всегда в то время веселье: деревенские парни женились, деревенские девушки выдавались на сторону, радостное движение всех этих свадеб близко доходило до нашей усадьбы. Да и зимой не скучно, а хорошо было: вот, например, наш ближайший сосед П. Я. Зверев часто ездил на соседние дедновские озера к рыбакам и всегда брал меня с собой; я

очень любил эти поездки. А на святках как бывало весело, но о том я расскажу, может быть, после. Только метели, разыгрывавшиеся обыкновенно с конца января и во весь февраль, заносившие нашу на отлете усадьбу огромными сугробами, омрачали зимнее наше житье, но и тогда предстояло для меня удовольствие: после каждой снежной бури, вокруг разных надворных построек, вокруг садовой изгороди было столько гор, холмов, переходов и перелазов и так завлекательно для меня было бродить тут по насту.

Когда же переселились мы на постоянное житье в Рязань, с каким нетерпением спешил я в Михеево, хоть на самое короткое время! Но особенно усиливалось это нетерпение, как только я взбирался на Перевицкую гору.

С Перевицкой горы, находящейся от Михеева верстах в двадцати пяти, оно не видно, зато уже хорошо видно соседнее нам Дедново. По извилинам, крутизнам, промоинам горы трудно всегда спускаться, надо было ехать очень осторожно, стало быть, медленно, а меня так и тянуло, так и подмывало в широкую луговую равнину, по которой проходилось пробираться в ваше имение; даже и виды с Перевицкой горы не соблазняли меня заглядеться на них и из-за того помедлить тут хоть с полчаса.

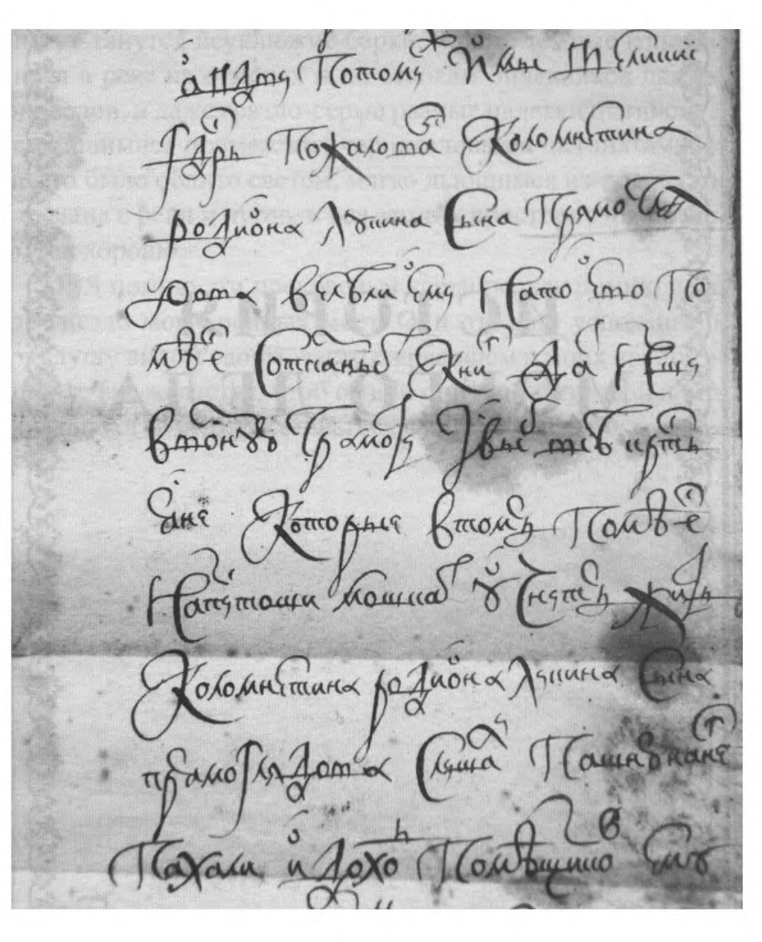
А виды восхитительные, чудные.

Справа Ока, сначала проходящая под крутым обрывом горы, а потом излучисто выбирающаяся на ширь луговой равнины, и на Оке множество барок; неподалеку от обрыва горы, на другом берегу Оки, два больших, рядом стоящих села: Верхний и Нижний Белоомуты; дальше на том же берегу и такие же большие села: Ловцы, Любичи, Борки, и, наконец, Дедново; прямо под горой у въезда на луга рытвины, промоины, озерки от половодья и промеж них, бывало, всегда цыганские таборы; с левой стороны — ряд холмов со многими небольшими деревнями.

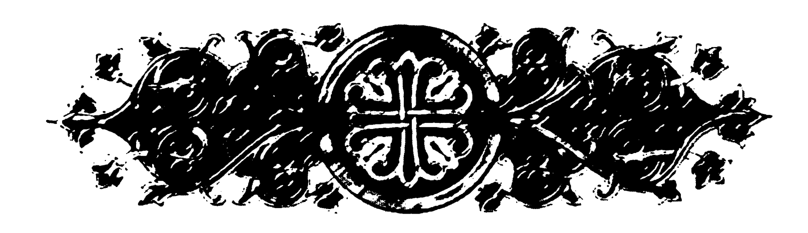
На зеленом-зеленом фоне этой картины как хорошо обозначались белокаменные церкви, с их ярко блещущими куполами и крестами, и нововыстроенные дома в селах; затем ярко же блещущие полосы большой реки, по которой плывут-тянутся неуклюжие барки, и даже темные копошащиеся в реке на отмелях и по откосам бичевников партии коноводов, и даже грязно-серые рваные палатки цыганские, с вертящимися промеж них черноголовыми цыганятами! И все это было облито светом, мягко льющимся из-под легкого тумана с реки и лугов, и все это так просторно, оживленно, так хорошо.

О! Я помню эти прекрасные картины, как помню и самое гнездо моих родных мест. Они отрадно успокаивали мою душу видом своим, часто оживавшем в моих воспоминаниях. Так желается, чтоб ожили они в памяти моей и в те минуты, когда буду расставаться с тяжкой жизнью.

ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДА



Фрагмент царской грамоты на право владения землей в Коломне, выданная родоначальнику дворянского рода Прямоглядовых Родиону Лукину.
ГАРО, ф. 98, оп. 30, д. 48, л. 21.



ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДА

Не купи село, купи соседа.
Русская пословица

История моего деда, отца моей матери, несколько похожа на повесть Пушкина «Дубровский». Для более резкого сходства недостает в ней такого лица, каков сын Дубровского; был сын и у деда, только не являлся он мстителем за отца, да и человек он совсем других свойств, как будет видно из *другого отрывка моих записок* *. В истории моих родичей, деда и дяди, отражается довольно яркими чертами оригинальная сторона внутренней русской жизни в конце *прошлого столетия**, которую совсем почти заслонили внешние исторические события.

Считаю нелишним сказать предварительно, что в этом рассказе все имена по большей части вымышленные.

I

Дед мой, *Николай Михайлович Туренин**, был дворянин Московской губернии, хотя не первостатейного боярского происхождения, однако же старинного дворянского рода. Рассказывала мне мать моя семейное предание, что, начиная с Ивана Туренина, с которого крымские татары содрали живьем кожу, не было ни одного из его потомков, кто бы повел и кончил жизнь спокойно. Теперь род этот уже пре-

* Все сноски приведены в конце книги, в «Комментариях».

секся со смертью *Иоасафа Туренина**, самого несчастного, может быть, из всех его представителей.

После отца, убитого *в Прусской войне**, дед мой остался четырехлетним ребенком, под опекою своей матери и родного дяди, *Зиновия Туренина**. Мать деда моего была из богатого и значительного рода Борисопольских, но женщина совершенно безграмотная, что в тогдашнее время, то есть в первой половине XVIII столетия, было еще не редкостью. Дядя же, Зиновий Туренин, был *премьер-майор**, когда-то занимавший в Сибири важное место и выехавший оттуда с большим обозом, у повозок которого, по преданию, все что обыкновенно бывает из железа, было серебряное. Говорили, что Зиновий Туренин снарядил свой обоз таким образом потому, что правительство в тогдашнее время, когда еще не знали *билетов сохранной казны на неизвестного**, обращало особенное внимание на выезжавших из Сибири чиновников. Должно быть, Зиновию Туренину, несмотря на строгие осмотры, удалось вывезти из Сибири большое богатство, конечно накраденное всяческим лихоимством; все знали об этом при его жизни, но по смерти его никто не наследовал его имущества, — и куда оно девалось, никому не известно. Зиновий Туренин был старый холостяк, надменный, раздражительный до бешенства, скряга и мстительный. Он как раз повздорил с матерью моего деда, и ссорам и тяжбам между ними конца не было. В фамильном архиве, доставшемся мне вместе с бедным имением после родных, нашел я огромные кипы бумаг, относящихся до этой междоусобицы. Я имел терпение заглянуть в начало и конец этого тяжелого и темного процесса, — и каких диковинок не вскрылось передо мною! Тут есть обвинения в расточении и расхищении имения малолетнего, в беспорядочном образе жизни, в безграмотстве, малоумии, всяческой безнравственности, даже в безбожии, — и все это пересыпано жалобами на личные оскорбления, нанесенные укоризнами и ругательствами; выставляются свидетели против свидетелей, предъявляются

отводы от показаний под присягою, и при этом выставлены, разумеется, в самом скандалезном виде целые биографии этих лиц. Пожива была подьячим тогдашнего времени от такого дела! Чем оно кончилось, я не добрался, но, кажется, одолел Зиновий Туренин, ибо при жизни еще матери моего деда он был уже один опекуном ребенка. Следствия всего этого были самые неприятные для моего деда: сначала мать его была причиною потери значительного участка прекрасной луговой земли, с которой теперешний владелец, *граф Т.**, получает хороший доход; потом дед Зиновий не только заложил, но и продал самым бессовестным образом часть его имения. Это обстоятельство, как мы увидим дальше, будет причиною гибели молодого Туренина.

Про первое обстоятельство стоит тоже рассказать подробно. Это было вот как: возле имения моего деда, частичка которого принадлежит еще мне, находилось огромное поместье *генерала И-ва**, лица, получившего известность в самом начале царствования Екатерины II. Во время генерального межевания поверенный генерала с землемерами сумели так хорошо распорядиться, что И-в оказался единственным владельцем общих дач, и владения его примкнули с одной стороны к самым почти окнам изб моего деда. Когда происходило такое ловкое межевание, мать деда моего выехала посмотреть, чем таким занимаются землемеры на ее лугах, и в акте об отмежевании дачи было записано, что «госпожа такая-то присутствовала при сем и никакого спора не предъявила».

Таким образом, по милости матери и дяди дед мой еще ребенком начал уже разоряться. Достигши девятнадцатилетнего возраста, он из сержантов гвардии, в которую, по обычаю того времени, был записан еще в колыбели, перешел, уж не знаю почему, в драгуны и, сделав *поход до Серебряных прудов**, селения Тульской губернии, вышел в отставку прапорщиком и уехал в Петербург. Между тем его мать и дядя Зиновий умерли, и, не стесняемый уже ничем, он начал

вести крепко разгульную жизнь. Этот образ жизни, вероятно, скоро и окончательно разорил бы его, если бы не навязался ему на шею большой процесс с соседним *помещиком Зарудиным**, которому дядя Зиновий Туренин продал часть имения своего племянника во время его малолетства. Дед мой усердно занимался этим делом. Он был молодец собою, умен, ловок и, по временам, очень деятелен. Процесс он выиграл, но прежняя расточительная жизнь и издержки по делу чуть было не поглотили всего имения его. Женитьба спасла его вовремя. Он женился в Петербурге на прекрасной девушке, *Надежде Ивановне Д-ной**, и небольшое приданое ее помогло ему вывернуться из беды. А главное, жена его была женщина весьма умная и не без характера: она скоро дала понять своему мужу, что незачем да и не по средствам жить им в Петербурге, — и вот переехали они на житье в деревню.

Я забыл сказать, что у деда моего было имение незначительное, всего каких-нибудь душ полтораста или около двухсот, раскиданных в разных местах. Была еще у него большая земля в Саратовской губернии, жалованная его предкам царями, но он продал ее, всю без остатка, как было сказано в акте, за двести рублей и полагал, что весьма выгодно сбыл с рук имение, не приносившее никакого дохода. Он поселился в своем старом, родовом *сельце Малееве**. Сельцо Малеево расположено невдалеке от великолепного *села Драчева**, в версте от Оки, по берегу маленькой речки, на которой построена дедом моим мельница. С правой стороны селения тянутся обширною равниною богатые луга, замыкающиеся вдали темной полосою дремучего бора; с другой стороны видны полосы обработанных полей, составляющих лучшую часть земли всего уезда. В иных местах возвышаются небольшие холмы с хорошо выстроенными деревнями, с живописно раскиданными зелеными рощами. Когда едешь из Драчева большою столбовой дорогою, изрытою весенними разливами Оки, виды, представляющиеся отовсюду, превосходны, полны тихой, идиллической прелести: большая река течет из-

вилисто в песчаных, обрывистых берегах, кое-где покрытых густыми рощами; с высоты открываются разом и отчетливо девять окрестных селений, в том числе имение моего деда. Оно виднеется над широким пространством лугов, как зеленый островок, все затопленное развесистыми ивами и другими деревьями крестьянских садиков, сквозь которые весело прорезываются чистые, трехоконные домики, все крытые тесом; а по обеим сторонам от него рельефно выдаются белые каменные церкви сел *Мохова и Лимавы**. Задушевно и горячо люблю я эту сторонку и, как подъезжаю к ней, чуть лишь завижу зеленый островок, всегда чувствую, что охватывает меня доброе, тихое, немножко грустное настроение.

В этом-то краю поселился мой дед с своею молодой, прекрасною женой. Казалось, это была благоразумная мера в его положении, но вышло не совсем так. Дед мой переехал на житье в деревню вовсе не с целью хозяйничать. Не таков был его характер, чтоб он мог весь предаться занятиям земледельческим, требующим терпеливого внимания, отчасти мелочно хлопотливым, отчасти скучным и весьма нередко у нас, даже в настоящее время, неблагодарным. Его воспитание, прежняя жизнь и привычки, а в особенности примеры окольных помещиков, нисколько не содействовали развитию в нем способности хозяйничать. Самая жена его не могла в этом случае иметь на него влияния быстрого и прочного; может быть, впоследствии она полегоньку и преобразовала бы его, но на первых порах это было трудно. Я упомянул о примерах окольных помещиков. Эти, немногочисленные впрочем, помещики были почти все без изъятия гуляки и уж никак не люди, с толком занимавшиеся чем-нибудь дельным. Время было тогда такое, что между жившими в имениях помещиками, даже владевшими порядочным состоянием, вовсе не было людей образованных. В том крае большая часть имений была на *оброке**: притом близость Москвы и Рязани увлекала постоянно тамошних дворян в жизнь городскую, жизнь ничтожную, пустую и

развратную, в которой безобразно смешивались невежественные, жестокие, грубые пороки древней Руси с полуутонченным развратом поверхностной образованности.

Вот как проводил жизнь дед мой: завел он большие стаи собак, борзых и гончих, большую часть мужчин нестройной деревни нарядил в охотничьи костюмы и с увлечением пустился травить волков, лисиц и бедных зайцев. Конечно, не весь год можно было заниматься этим делом, зато у него были другие, подобные же занятия. В соседстве с ним жило несколько помещиков, таких же собачников, как и он, которые в пору, непригодную для охотничьих разъездов, частенько собирались к нему покозырять. Кроме того, раза два-три в год дед мой отправлялся с женою в *губернский город** к семейным праздникам тамошнего вице-губернатора Петра Захарьевича Колымагина, который был очень дружен с ним. Петр Захарьевич уважал деда моего. Вообще в тогдашнем провинциальном обществе дед мой пользовался заметным значением. Не то чтоб он был богат, знатен или силен по связям своим; нет — состояние он имел, как уже выше сказано, незначительное, роду он был старинного дворянского, но не знатного, важных связей никогда не имел да и не хлопотал об них; несмотря на все это, повторяю, он пользовался всегда некоторым значением, и этим был обязан своему характеру.

Характер его был недюжинный. Он обладал прекрасными, даже высокими свойствами, такою добротою, что даже довольно многочисленные враги его признавали ее. Люди, нуждавшиеся в его помощи, никогда не встречали отказа. Иногда доброта эта походила на безрассудство, так что Надежда Ивановна, сама очень добрая женщина, должна была подчас бороться с его влечением оказывать помощь всякому просящему. Дом его был наполнен странниками, бедными дворянами, дворянками и всякими приживальцами, кроме шутов, которых, вопреки тогдашним обычаям, он терпеть не мог. Главною чертою его характера была правдивость в

действиях и словах да верность в дружбе, доходившая до самоотвержения; снискать же его дружбу было нелегко, хотя и легко было сойтись с ним за охотой, за игрой, за какою-нибудь пирушкой. Вообще он отличался необыкновенной терпимостью, пускал к себе в дом без разбору всех своих соседей, — а между ними немного было людей, выкупавших нравственными качествами полный недостаток образования, но он никому не оказывал пренебрежения. Со всем этим он был величаво смел и пылок; когда же страсть увлекала его к чему-нибудь, то не было препятствия, которое могло бы остановить его на полдороге.

Итак, дед мой, живя в своем имении, вовсе не хозяйничал. Кроме тех причин, на которые я указал выше, причин, зависевших от его характера и положения в тогдашнем обществе, была еще одна: страстно любимая им жена не давала ему долгое время детей, и он говаривал: «Не для кого беречь мне свое добро».

По соседству с дедом жили два человека, имевшие сильное влияние на его судьбу: один, *Сергей Андреевич Берсенев**, потомок знаменитого боярского роду, «захудевшего» со времен великого князя Василия Ивановича; другой, князь *Александр Александрович Любецкий**.

Первый, живший от деда моего верстах в пятнадцати, был ему искренним другом, несмотря на то что характеры их во многом были различны. Сергей Андреевич, как и он, добрый, благородный человек, отличался игривым, насмешливым умом, тогда как в характере моего деда веселости было очень мало. Всегда почти неразлучные, вместе они охотились, пировали, вели жизнь свободную и разгульную, с той только разницей, что Берсенев хоть и имел уже за сорок лет, отдавался удовольствиям со всем увлечением молодости, — в деде же моем, моложе его годами десятью, и посреди разгула было что-то задумчивое.

Другой сосед деда, князь Любецкий, старый холостяк, живший от него верстах в двух, в селе Лимаве, был человек

совсем иного разбору. Он имел девятнадцать тысяч душ крепостных крестьян и *бригадирский чин**, что в тогдашнее время придавало ему в том краю огромный вес. Зачем с такими средствами жил он в деревне? Про это никому не было известно, но в деревне вел он жизнь роскошную, окруженный толпою бедных дворян, терпеливо и подобострастно сносивших за его хлеб-соль все причуды его надменного, властолюбивого, до бешенства вспыльчивого характера. Впрочем, сколько ни старались угождать ему люди, они немного тем выигрывали в его глазах. Как часто, бывало, пересолит в подлой лести своей какой-нибудь приживалец, — и князь быстро, как коршун, налетит на него, смутит его наглою, злобно-насмешливою речью, осмеет, разобидит словами, мало того, прикажет еще своим холопам сделать какую-нибудь мерзость над несчастным приживальцем: потравить его, будто невзначай, собаками, напустить ночью на него медведя и тому подобное. Правда, что все это происходило не в самом доме князя, он не любил кутить, не любил чересчур шумных забав, в доме у него все было чинно и важно; все проделки с бедными, попавшими под княжескую опалу приживальцами, делались в одном из многочисленных грязных флигельков, где ночевывали они, или в каком-нибудь темном месте обширного парка. Парк этот составился из вековых громадных сосен и дубов бора, который, по народному преданию, вырос на крови татарской. Князь даже редко глядел на эти проделки; для его ленивого *сплина** довольно было убеждения, что приказание в точности исполнено. Несмотря на дурное обращение князя со своими приживальцами, которые видали от него и благостыню-то немногую, они, как ночные бабочки вокруг огня, так и толпились во дворе его, всячески подличая перед ним и всегда готовые по его приказанию чуть не в огонь и в воду. Таково было тогдашнее время. Бедным «малодушным» дворянам, жившим по соседству с такими сильными людьми, как князь Любецкий, нельзя было не поддаваться их власти. Хотя все в этих отношениях было пропи-

тано духом рабства, лести и подлости, однако был в них и залог некоторого покровительства, некоторой двусмысленной безопасности против других владельцев, менее сильных, но все-таки опасных при неизбежном соседском столкновении с ними. По понятиям того времени, для бедняков такая роль не казалась нисколько предосудительною; хотя кто и «шляхетского» (как говорили тогда) был происхождения, однако все охотно, даже с радостью, унижались перед патронами.

Дед мой и Сергей Андреевич Берсенев были тоже знакомы с князем Любецким; им нельзя было бы отделаться от этого знакомства, потому что в продолжение известного времени князь состоял *уездным предводителем дворянства**. Званием этим он как-то особенно гордился: никогда, бывало, при удобном случае не преминет выставить напоказ всем и каждому, что он, князь Любецкий, магнат, бригадир и вельможа и по роду, и по связям, и по богатству, взял на себя трудное звание уездного предводителя дворянства «собственно ради пользы общественной». Зато он и распоряжался деспотически в своем уезде. Уездные чиновники и дворяне (кроме деда моего и Берсенева) считали себя постоянно какими-то подчиненными князя, как бы вассалами его. Он вмешивался не только в дела, производившиеся в присутственных местах, но и во все то, что случалось в домашнем быту дворян; голос его почти всегда решал эти дела окончательно и безапелляционно. Такою ролью главного, верховного распорядителя в уезде князь, без сомнения, был обязан отчасти званию предводителя дворянства. Звание это, тогда недавно созданное и введенное в общественную жизнь, не совсем еще привилось к ней и было слишком неопределенно в своих границах, в своих отношениях к другим властям и местным учреждениям. Понятно, что такой человек, как князь Любецкий, облекшись в это новое и неопределенное звание, опираясь притом на свое имя, род, чин, богатство и на связи с тогдашним *московским генерал-губернатором, графом О.**, постарался придать

себе сколь возможно более значения. Впрочем, князь Любецкий ко всем помещикам своего уезда, не принимавшим на себя роль приживальцев, был большею частью вежлив и вообще довольно хорош. Он говаривал обыкновенно, что обязан, по званию своему, быть как можно вежливее с дворянами, избравшими его своим предводителем и «главою», и подавать им пример в жизни общественной. Во всяком случае, по тогдашнему времени он был человек образованный, по крайней мере, с внешней стороны; несколько поездок в молодости за границу, пребывание, хоть и недолгое, при дворе Екатерины, смягчили его обращение с людьми, не подходившими прямо под его влияние, — смягчили до того, что, будь дворяне его уезда посамостоятельнее, отношения к ним князя, несмотря на его природный характер, были бы не слишком тяжелы.

Дед мой и Берсенев далеко не были с князем Любецким в таких отношениях, в каких были с ним все остальные помещики одинакового с ними состояния и положения. Оба они так умели поставить себя в глазах князя, что ему ни в каком случае не приходилось своевольничать с ними, а им терять когда-либо собственное достоинство. Как именно успели они в этом, не дошло до меня, но факт был положительный и тем более достоверный, что он повлек за собою много бедствий для деда.

Князь Любецкий заметно тяготился некоторым принуждением, которое невольно вкралось в обращение его с дедом и Берсеневым, но тем не менее поддерживал с обоими знакомство приязненное. Никогда не позволял он себе с ними ни одной из тех ядовито-насмешливых выходок, к которым влекла его не столько собственная неукротимость, сколько рабская угодливость и возмутительная терпеливость окружавших его клиентов. С дедом моим он в особенности был очень хорош; несмотря на свою надменность, он нередко посещал его дом, всегда был внимателен к жене его, старался делать ей маленькие угождения, почти

ежедневно присылал узнавать о ее здоровье и весьма часто из прекрасных оранжерей своих отправлял к ней цветы и фрукты.

Итак, князь Любецкий и дед мой жили добрыми соседями. Однажды случилась между ними незначительная размолвка; она не повела за собою никаких особенных неприятностей, даже не прервала между соседями обычных отношений, но, кажется, именно с этой эпохи началась тайная вражда князя к деду. Сама по себе размолвка эта была так ничтожна, что про нее можно было бы и не упоминать здесь; но повод к ней, в котором есть характеристические черты тогдашнего времени, побуждает меня рассказать с некоторою подробностью все происшествие.

То было время замечательное. Только что уняли тогда яростные волны страшного пугачевского мятежа, но под улегшеюся поверхностью еще тлел огонь и кое-где прорывался порою. Во время весенних разливов рек на прибрежные селения нападали разбойничьи шайки, состоявшие нередко из пятидесяти и даже из ста человек. Часто шайки эти, которые свободно разъезжали по большим рекам в *косных лодках**, осмеливались пробираться в глубь страны, верст на десять и на пятнадцать от берега. Тогда в злополучных селениях, подвергавшихся разбойничьему посещению, редко избы крестьянские оставались целы; разграбив село, напившись допьяна и уходя к своим лодкам, разбойники обыкновенно зажигали деревни с обоих концов. Помещикам и управляющим при наездах разбойничьих приходилось очень плохо: удалая шайка, нисколько их не жалеючи, мучила, пытала, терзала несчастных, вынуждая признания о скрытом имуществе, а иногда из единой только потехи. Случалось нередко, что злодеи-гости насмерть сжигали своих хозяев на малом огне. Конечно, такие проделки не проходили даром, начальство принимало строгие, по большей части действительные меры; но спокойствие и безопасность не скоро восстановились в нашем крае.

В то время, которое я описываю, по нескольким уездам губерний Московской и Рязанской знаменит был своими отважными, дерзкими до безумия разбойническими подвигами беглый крестьянин *села Ловцова** по прозванию Веревкин. Шайка его была не очень велика, всего человек пятнадцать; зато эта немногочисленность вознаграждалась дикою, стремительною отвагою тех, которые принадлежали к отчаянной шайке, в особенности самого Веревкина; случалось, что он один выходил на разбой. В тех краях, где он разбойничал, и теперь еще живут в памяти народной рассказы о его проделках. Говорят, что ему не раз приводилось быть окружену со всех сторон солдатами и понятыми, что однажды даже и совсем попался он в руки поимщиков, — только всегда, бывало, ловко вывертывался из беды, «глаза отводил» и пропадал на месте, словно сквозь землю проваливался.

Про эти поимки вот еще что рассказывают: на Веревкина часто выходили облавой; для этого обыкновенно собирали из всех сел по Оке очень много народу, иногда человек тысячи по две. Вот и окружат, бывало, понятые лес или часть леса, в которой предполагалось на ту пору местопребывания разбойника — но никто из чиновных людей никогда не сопровождал понятых; обыкновенно бедняки эти пускались в лес на поимку, а чиновный люд оставался в каком-нибудь ближнем селении; впрочем, для содействия поимщикам и для направления их поисков командировались *сотские**, *десятские** и даже человека два-три *инвалидных солдат**. Разбредутся поимщики кучками по всему лесу, прошатаются в нем с раннего утра до глубокой ночи (и такие прогулки продолжались иногда по нескольку дней сряду) и воротятся голодные, усталые, измученные. Узнав о безуспешности поисков, чиновники страшно разгневаются на сотских и десятских, угостя́т их вдоволь добрыми тумаками, а подчас и горячими розгами, да и разъедутся по домам; в свое время разразятся над ними самими за ту же безуспешность строжайшие выговоры высших началь-

ников, а разбойник все погуливает на свободе... На одной из таких облав был странный случай, объяснимый только паническим страхом безоружных понятых, пущенных с одними кулаками на поимку отчаянного разбойника в те самые места, которые были преисполнены славою его молодецких подвигов. Побродив довольно по лесу, этак уже к вечеру, понятые собрались все в большую кучу и расположились на полянке потолковать о том о сем; вдруг из чащи леса выходит Веревкин, вооруженный кистенем и с парой пистолетов за поясом, но один-одинехонек, да как гаркнет зычным голосом: «Шапки долой, ребята!» — одним махом шапки слетели с голов. Тогда Веревкин вошел в самый круг понятых и, заметив между ними новые лица молодых парней, высланных в облаву заместо отцов, начал их расспрашивать, что, дескать, отцы-то ваши делают. Наговорившись с ними вдоволь, вздумал он спросить понятых: «А что, ребята, чай, помучились порядком, искавши меня?» — «Как же, батюшка, — отвечали они, — и то помучились. Вот вчерась и нонече бродили-бродили по лесу! А вышли-то ни свет ни заря, да и не евши весь день пробыли». — «А почто так?» — спросил опять разбойник. «Да не посмели без приказу сотского хлебушка с собой взять». — «Ах он, мироед этакой! — сказал Веревкин. — Да вот я разочтуся с ним... Розог ребята... давай-ка сюда сотского!..» И высек Веревкин бедного сотского не на живот, а на смерть.

Кто знает, по какой именно причине не отправлялись чиновники лично для поимок Веревкина? Задабривал ли он их наперед деньгами, или, что вернее мне кажется, боялись они его пуще огня, хорошо знавши безумную отвагу всей его шайки. Главный притон Веревкина был в глубине Рязанского уезда, в крае, называемом Мещерою, среди густых лесов, разросшихся на низменной, болотистой местности. Со вскрытием рек и до конца мая он разгуливал большею частью по Оке, около Коломны и богатых сел, расположенных по берегу. В это время ему случалось соединяться с

другими шайками и предводительствовать над ними; тогда он становился дерзок и опасен до крайности. Против него высылались даже небольшие отряды солдат, но как-то всегда вовремя успевал он избегнуть погони и расставленных ему сетей. Восемь лет гулял он таким образом по белу свету, но наконец романическая прихоть погубила его: он влюбился в жену к-ого помещика Беркутова, увез ее и был пойман оскорбленным мужем.

С этим-то разбойником столкнула судьба и моего деда. Ему вздумалось во что бы то ни стало поймать удальца. Вот случай, подавший повод деду моему принять на себя трудное дело изловления Веревкина.

Верстах в двенадцати от сельца Малеева, на самом берегу Оки, жил помещик Омшаров, считавшийся с дедом моим в каком-то родстве. Это был человек довольно богатый, разжившийся, как ходили толки в народе, по особенному случаю. В молодости своей, когда он служил еще в драгунах, довелось ему сопровождать в Сибирь партию разбойников, пойманных на Волге. Во время пути вздумал он покровительствовать одному из колодников, а тот, под пьяную руку, разболтал ему, где находится часть награбленных сокровищ. Само собою разумеется, что Омшаров воспользовался ими. Вероятно, вследствие этой причины (другой же нельзя предполагать) он несколько раз подвергался пожарам: гумно, деревня, леса его частенько поджигались. Но раз, во время половодья, сделано было более серьезное покушение на собственность и даже на жизнь Омшарова. В самое *Фомино воскресенье**, вечером, когда дворовые люди пошли в *застольную** ужинать, а в господском доме осталось только при семействе Омшарова несколько старух да подрядчик-плотник, драчевский крестьянин Федор Иванов, — целая шайка разбойников нагрянула в гости к Омшарову. К счастью, все окна в нижнем этаже каменного дома были заперты изнутри железными ставнями, заведенными помещиком издавна и, как видно, недаром. Да к счастью тоже, перед самым этим

нашествием напала на подрядчика Федора сильная оторопь: он и пошел запереть дубовые, обитые железными полосами двери в сенях. Только что вложил он вторую запорку, как вдруг услыхал стук в двери.

— Кто там? — спросил Федор.

— Отпирай! — раздался чей-то повелительный, громовой голос. — Отпирай!.. с указом от государыни!..

И вслед за этим Федор Иванов услышал на дворе движение большой толпы.

— Ступай в кухню, — отвечал он, — там люди ужинают. — Пришли кого-нибудь оттуда доложить барину... А так не пущу... кто вас знает...

Раздались страшные ругательства и крики. Федор Иванов опрометью побежал к Омшарову.

— Арсений Иванович! — закричал он. — Разбойники пожаловали! Что делать!.. Пропали мы!..

Но Омшаров был человек с твердым характером; он нисколько не потерял головы. Схватив саблю и два пистолета, вооружив тоже Федора каким-то старым бердышом и ружьем, он кинулся в верхний этаж и вовремя попал туда. В двух местах были приставлены лестницы к окнам. Скоро в окне, около которого расположился Омшаров, показался человек в треугольной офицерской шляпе с перевязью через плечо. Одним ударом огромной руки, на которой надета была перчатка с раструбами, он вышиб одиночную раму и хотел было прыгнуть в комнату, но Омшаров так сильно хватил саблею по этой руке, что она отделилась в комнату, а человек полетел наземь. Вслед за этим Федор Иванов выстрелил в толпу разбойников, и выстрел его был удачен: один из толпы повалился мертв на траву. На селе ударили в набат. Тогда раздался общий крик разбойников: «Вода! вода!» (Крик, означавший у разбойников, что предприятие не удалось и надо бежать. — *Примеч. автора*) — и все они стремительно бросились назад. На другой день на берегу Оки нашли след большой косной лодки и офицерскую треугольную шляпу.

Вот за это-то покушение на родных своих дед мой и вздумал изловить Веревкина, которому приписывались тогда все разбойничьи подвиги. Николай Михайлович объявил о своем намерении князю Любецкому, как предводителю дворянства; а ему поручено было тогда от генерал-губернатора предложить дворянам принять особенные меры к ограждению поместий своих от нашествий разбойнических, держать дневные и ночные караулы по селениям, располагать на известных расстояниях пикеты. Услышав о намерении своего соседа, князь пришел в восторг. Зная его предприимчивость и решимость, князь наперед был уверен в успехе.

Не имею сведений, как именно принялся дед мой за свое предприятие, но знаю только, что оно не удалось ему. Разбойник решительно ускользнул от всех его поисков и, мало того, к крайней досаде деда, прислал ему записку, в которой объявлял насмешливо, что напрасно хлопочет Николай Михайлович, барин добрый и хороший, изловить его, Ваську Веревкина, который ему никакого худа не сделал, что Николай Михайлович век будет искать его, да не найдет, а он, Веревкин, если б захотел только, так не однажды мог бы убить его во время поисков, и что, впрочем, он пощадил Николая Михайловича, жалеючи больше его барыню Надежду Ивановну, прекрасную собою и добрую к своим людям. Записку эту доставил деду старик Мокеич, сидевший в Драчевском бору на его пчельнике, к Мокеичу же принес ее сам Веревкин. Дед, прочтя оригинальное послание, страшно разгневался, еще раз пустился искать Веревкина, но Веревкина и след простыл. Он перебрался в свой главный притон, в Рязанский уезд, и только через несколько месяцев был пойман помещиком Беркутовым.

Эта неудача в предприятии, сделавшаяся весьма гласною, много бесила деда, тем более, что князь Любецкий вскоре после того в присутствии дворян, собравшихся в его доме, стал упрекать деда моего, говоря, что, рассчитывая на полный успех мер, принятых Николаем Михайловичем Турениным, он писал об этом к генерал-губернатору,

но теперь, к крайнему прискорбию своему, видит надежды свои несбывшимися. Дед вспыхнул и довольно запальчиво отвечал, что он ловил разбойника по собственной воле, а не по препоручению начальства и по делу этому ни перед кем не считает себя в ответе.

Князь тотчас постарался замять разговор и успокоить деда. Но с этих пор некоторая холодность вкралась в их отношения: князю неприятно было выслушать дерзкий ответ своего соседа при многих свидетелях. Но года с полтора после этого происшествия все еще обстояло благополучно.

Незадолго до случая, имевшего столь пагубное влияние на бедного моего деда, раз, перед самым обедом — это было на первый Спас, то есть 1-го августа 178... года, — шибко вбежал в комнату деда юродивый Вася, крестьянин из села Драчева, и, подбежав к хозяину, который только что хотел садиться за стол, обнял его, прильнул к плечу его своею всклоченною головою и горько заплакал. С трудом отделался дед от объятий юродивого, насилу унял этот горький, ребяческий плач и наконец из отрывочных диких речей Васи, беспрестанно прерываемых слезами и молитвами, едва мог разобрать зловещее предсказание... Беда грозила Васе и самому Туренину, но в чем должна была заключаться эта беда, нельзя было распознать из несвязных слов юродивого. Этот случай произвел сильное впечатление на всех, бывших тут, и на деда, нисколько не изъятого от предрассудков народных. Особенно была потрясена этим Надежда Ивановна. К счастью, вечером приехал Сергей Андреевич Берсенев и всегдашнею своею веселостью разогнал хандру, навеянную пророчеством юродивого.

Прошло две недели. Все было тихо и спокойно. Жизнь деда текла по-прежнему. На *Успеньев день** он ездил в село Мохово к заутрени, после которой отправился тотчас домой: священник не хотел служить ранней обедни, а собирался часа через четыре отслужить позднюю. Часу в восьмом утра опрометью прибежали к деду сильно перепуганные дворовые

люди: «Батюшка, Николай Михайлыч!.. церковь горит!..» — кричали они. Дед в ту же минуту вскочил на лошадь и со всеми взрослыми людьми своей дворни кинулся в Мохово, которое, я забыл сказать выше, находится в одной только версте от сельца Малеева. Он прискакал туда, когда деревянная церковь еще не вся была объята пламенем, а колокольня стояла совершенно не тронутая огнем. Спасти строение без помощи пожарных инструментов не было никакой возможности: все, случившиеся на пожаре, старались только спасти церковную утварь. Добрый священник, отец Егор, действовал с тем самоотвержением, какое только могло быть внушено глубокою, сильною, горячею верою. Подвергая величайшей опасности жизнь свою, он вынес из алтаря святые дары и несколько местных образов. Другие, в том числе дед мой и юродивый Вася, тоже забыв об угрожавшей опасности, спасли много икон и церковных принадлежностей. Наконец пламень охватил всю церковь, и уже нельзя было не только войти в нее, но даже и стоять к ней близко. А между тем колокольня все еще оставалась цела. Тогда священник вместе с юродивым кинулся отвязывать колокола. Тщетно дед мой хотел остановить отца Егора, — он не стал слушать слов, вырвался из рук его и в каком-то отчаянном самозабвении бросился на явную смерть. Колокольня уже дымилась и чадила, когда они вошли в нее, чтобы спасать колокола. Несчастные успели отвязать только два колокола, как вдруг ветхое здание вспыхнуло, народ застонал от ужаса... Церковь и колокольня разгорались все ярче и ярче и скоро рухнули; страшно обезображенные тела священника и юродивого были вытащены из-под груды пылавших бревен. Юродивый был уже мертв, священник жил еще сутки. Он уже лишился способности говорить, черты лица его слились в одну безобразную массу, но в последние часы жизни своей бедный старик не забывал своего сана: чуть приподнимая правую руку, он складывал слабо пальцы свои в крестное знамение и беспрестанно благославлял предстоявших.

Потрясенный случившимся, подавленный смутным, мрачным предчувствием, дед мой к обеду воротился домой.

— Вот, Надя, — сказал он жене своей, — половина предсказаний Васи сбылась. Что-то теперь мне посылает господь!..

Надежда Ивановна заплакала.

— Не плачь! — продолжал он, — воли божией не минуешь... А быть беде...

В это время в доме у него было несколько соседей, и в том числе Сергей Андреевич Берсенев. За обедом дед ничего не ел и не пил. Он молчал, погруженный в печальное раздумье; никакие усилия Надежды Ивановны и Николая Андреевича не могли рассеять этой мрачной думы. Вечером соседи уселись играть в *квинтич**, любимую игру того времени. Дед не стал играть и ходил по комнатам, все о чем-то думая.

Часу в десятом ночи любимый слуга деда Николай Гуреев вбежал в комнату в страшных попыхах и рассказал, что цыгане табора, который за несколько времени перед тем расположился на землях князя Любецкого, любившего тешиться их песнями и плясками, явились на луга малеевские, навивают на воза сено, принадлежащее деду, и, конечно, пользуясь темнотою ночи, свезут воровски свою добычу. Такие проделки и не со стороны даже цыган были в то время нисколько не редкостью. Не редкостью также были и распоряжения, сделанные дедом тотчас же по выслушании рассказа о дерзком покушении на его собственность.

Как я уже сказал, дед мой имел характер весьма пылкий, предприимчивый, готовый на мгновенные решения. Было не в его духе воздержаться от наказания похитителей на том основании, что эти цыгане, нахлынувшие на луга его с воровскими намерениями, сидели некоторое время на землях князя, что князь любил их и жаловал гораздо больше, чем многих из дворян-приживальцев, что эти цыгане, конечно, не пустились бы на такое дерзкое предприятие, если бы не подметили неудовольствия князя на Туренина...

Словом, дед решился, но нет, это выражение не годится тут, ибо можно подумать, что решению предшествовало рассуждение, — просто вздумал мгновенно распорядиться самосудом, отомстить безотлагательно за наглый набег.

Проворно собрал он своих дворовых, человек двадцать молодцов, велел всем им садиться на лошадей и вооружиться арапниками, а некоторым взять и охотничьи ружья, заряженные *бекасинником**. Предводительствуя снаряженною таким образом партией, вместе с Сергеем Андреичем Берсеневым, который во что бы то ни стало хотел разделить с приятелем своим опасности похода и предстоявшие лавры победы, дед стремительно пустился на луга свои.

Ночь была безлунная и беззвездная. Туман, поднимавшийся от Оки и Драчевских болот, затоплял густою, волнистою мглою луговую равнину, где происходило цыганское воровство. Моросил мелкий, но частый дождик. Словом, то была ночь, вполне пригодная для приключений. В такую пору, казалось бы, нетрудно было подобраться близехонько к похитителям и врасплох напасть на них, но топот с лишком двадцати лошадей вовремя долетел до чуткого цыганского слуха, и, бросив свою добычу, цыгане стремглав кинулись наутек. Они скакали врассыпную. Дед мой, может быть, удовольствовался бы столь дешево доставшейся победой, но вдруг, когда, наскучив преследованием, он начинал уже отставать, раздался выстрел из толпы бежавших, выстрел, вероятно, холостой, но все же явно направленный в противников. Это была искра, брошенная в порох. Опрометью кинулся опять дед со своим маленьким отрядом догонять дерзких цыган, но они, видимо, достигли уже места, где могли укрыться под надежную защиту: в каких-нибудь двухстах саженях виднелся освещенный дом князя Любецкого. Нельзя было перехватить цыган, и Николай Михайлович воинственно скомандовал своему отряду пустить несколько зарядов в догонку скакавшим без памяти грабителям. Расстояние между партиями оставалось уже невели-

ко, и некоторые выстрелы, видно, были довольно удачны, потому что вслед за ними раздалось из толпы преследуемых несколько болезненных стонов.

Довольный вообще исходом дела, Туренин воротился домой в весьма хорошем расположении духа.

На другой день и в один почти час князь Любецкий и дед разменялись письмами по поводу вчерашнего происшествия. Дед горячо высказывал князю свое негодование на воров-цыган, настоятельно просил или, лучше сказать, требовал, чтоб он унял их. Сверх того, довольно резко упрекнул он князя в том, что тот своими поблажками цыганам был сам некоторым образом причиною их дерзости. С своей стороны князь писал, что постичь не может, по какому случаю вчера ночью вблизи самого его дома раздавались выстрелы; что он, к крайнему удивлению своему, узнал от людей, будто бы это добрый сосед его, Николай Михайлович, с толпою вооруженной дворни, был на его землях и нарушил этими выстрелами спокойствие его владений. «Выстрелы эти не пропали даром, — прибавлял он в письме, — от них пострадали двое из цыган, живущих на моих землях и известных мне за людей чрезвычайно смирных и безответных. Я прошу Николая Михайловича объяснить мне всю эту историю как следует; я сам покуда никак не верю рассказам о том, что такой наезд на мои владения произведен добрым соседом. Но как бы там ни было, всякий может быть уверен, что я умею защищать находящихся под моим покровительством людей от своеволия тех безрассудных, которые действуют иной раз под влиянием винных паров, явного сумасшествия, а может быть, и дурного общества». Письмо это, как видите, ни в чем не походило на письмо деда, где просто, без обиняков и полутемных намеков, высказывалось негодование на покушение воров-цыган, где откровенно был высказан общий взгляд деда на всю эту историю и где так же откровенно, хотя и немного грубо, требовалось прекращения дерзких поступков любимцев князя.

Легко можно было представить себе, каков был гнев Туренина при чтении письма князя Любецкого, и он тотчас же отвечал на это заносчивое послание с своею обычною прямотой: он начал с того, что на землях князя вчера ночью был никто иной, как он сам, Туренин, и по его-то именно приказанию пущено было вдогонку воров-цыган несколько ружейных выстрелов; потом изъявлял сожаление, что пострадало только двое негодяев; далее говорил, что на все клеветы князя глядит с презрением, и в заключение напрямик объявил, что не боится никаких угроз и, в случае нужды, уймет буянов, а если понадобится, так и самого князя.

Надежда Ивановна, все соседи и даже Сергей Андреевич Берсенев были вполне уверены, что дед теперь — пропащий человек. Князь, думали они, представит генерал-губернатору письмо его, в котором так откровенно, так рыцарски сознался Туренин в своем наезде с вооруженными людьми на княжеские земли. Дед и сам тревожно ожидал последствий. Но странная вещь! Князь никому не пожаловался, оставил второе его послание без ответа, и дело, грозившее сделаться весьма важным, окончилось ничем. Мало этого: казалось, оно принесло некоторую пользу обиженному, потому что с того времени крестьяне его стали жить гораздо спокойнее, избавясь от воровства княжеских цыган, которые нередко, бывало, похищали у них кур, уток, белье и прочее. Кроме того, поля и луга его уже не вытаптывались охотничьими наездами князя, которых в прежнее время нельзя было не терпеть. Итак, все шло благополучно, даже лучше, чем прежде, и только одно обстоятельство указывало на перемену отношений между соседями: они перестали видеться. С этих пор в доме князя никогда не упоминалось имени Туренина, между тем как Туренин с своим закадычным другом Берсеневым далеко не были так скромны: они везде порядком честили князя.

Прошел месяц; все было по-старому, как вдруг Надежда Ивановна опасно занемогла. На беду, лекарь попался плохой:

не раз в день прилетал он на тройке деда из Коломны, лечил, казалось, усердно, а толку было мало. Наконец положение бедной больной стало так дурно, что уже не было почти никакой надежды на ее спасение, сам лекарь не скрывал этого. Дед мой пришел в отчаяние. Грозившая потеря была для него тем ужаснее, что со смертью жены не оставалось у него ни одной привязанности: ни детей, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни даже близких родственников у него не было.

В это-то тяжелое время он внезапно увидел участие с той стороны, откуда никак не мог ожидать его. У Любецкого уже несколько лет жил в имении немец-доктор, весьма искусный. Он явился к больной по поручению князя и привез от него к деду вежливое письмо. В этом письме князь изъявлял сожаление о болезни Надежды Ивановны, присоединяя, что посылаемый им доктор, по всей вероятности, окажет ей пособие.

Разумеется, доктор князя, имевший вообще хорошую репутацию в околотке, был принят с величайшею радостью и, действительно, стал спасителем Надежды Ивановны. Он хлопотал около нее без устали, следил неусыпно за всеми явлениями болезни и спас ее. Через неделю после его появления больная вышла из опасности и в непродолжительное время встала с постели. Безмерна была радость мужа ее: он плакал, как ребенок, глядя на выздоравливающую, которая, тихо оживая, расцветала с каждым днем прежнею красотой.

И, конечно, то не пора была для деда помнить какое-либо лихо на князя Любецкого. Напротив, он позабыл не только неприятные впечатления последней ссоры с ним, но даже и все дурные стороны гордого соседа. Теперь он охотно видел в нем человека доброго, который своим участием спас жизнь любимой жены его, спас через это все радости его жизни.

Князь и после этого был деликатен, как человек хорошо воспитанный, да при том он, верно, хотел досыта наиграться в великодушие. Узнав, что Надежда Ивановна совсем встала с постели и может принимать, он первый приехал

к Турениным поздравить с счастливым исходом болезни. Нечего много рассказывать о том, как все это было принято Николаем Михайловичем; словом, прежние добрые, соседские отношения до такой степени упрочились, что уже никому не приходила на мысль возможность разрыва.

Через несколько времени после того, как Надежда Ивановна совсем выздоровела, дед мой с восторгом узнал, что месяцев через шесть-семь она будет матерью. Тогда жизнь стала представляться ему полною безграничного счастья. На ту пору и другие обстоятельства сильно его тешили. Урожай в имении был отличный. Он успел тогда же продать очень выгодно лес при *К-ском имении** и вырученными деньгами не только покрыл самые тяжелые долги, но их достало еще на выгодную покупку небольшой деревушки *Бучнеихи**, при которой было много отличного строевого леса. Впоследствии эта-то деревушка и спасла в самую пору Надежду Ивановну от окончательного разорения.

Услышав о беременности Надежды Ивановны, князь Любецкий сам назвался крестить ребенка. Казалось, судьба так устроила все обстоятельства вокруг моего деда, что его первенец должен был появиться на свет для полного счастия всей семьи.

Этот счастливый ребенок был горемычная мать моя, которая так нерадостно провела всю жизнь свою и так тяжело ее окончила.

II

«Миреный друг — не друг», — говорит старая правдивая пословица. Скоро неважный случай нарушил навсегда доброе согласие между дедом моим и князем Любецким. Роковая ссора эта навлекла на деда моего много тяжелых, неотразимых бед.

Однажды, в начале сентября, князь пригласил деда и неразлучного с ним Берсенева отправиться в отъезжее поле.

Ежегодные осенние выезды князя на охоту всегда были великолепны. С ним выступали в поле огромные стаи отличных борзых и гончих собак, толпы прекрасно одетых псарей и доезжачих, множество приживальцев, которым на ту пору выдавались нарядные охотничьи кафтаны, и все вообще соседние дворяне; даже несколько человек старинных его знакомых, большею частью людей очень богатых, с своими охотниками и собаками, приезжали сюда издалека. Князь был страстно предан охоте; собакам его житье было гораздо лучше, чем приживальцам и даже любимым холопам.

И в этот раз он так же пышно, как и всегда, выехал в отъезжее поле. Погода стояла прекрасная; предположено было провесть на охоте дней шесть сряду, обедая, ужиная и ночуя в палатках. Тогдашние русские люди высшего сословия были не неженки: проводить по нескольку дней с раннего утра до темной ночи на коне, гоняться, скакать сломя голову за зайцами, волками и лисицами, ночевать в холодную пору в палатках или под открытым небом, — все это было в то время делом привычным, легким и чрезвычайно приятным.

Ровно шесть дней князь и его гости охотились отлично. Между тем вся обстановка охоты удалась превосходно: обеды и ужины были роскошны, палатки весьма удобны, погода постоянно благоприятна, даже морозов по ночам не было. Вечерами, перед ужином, часа два-три играли в карты; когда же князь принимал участие в игре, она принимала огромные размеры. Нельзя сказать, чтоб он любил это занятие, — вообще он играл редко, почти всегда проигрывал, но оставался невозмутимо хладнокровен при самых значительных проигрышах; тогда даже как-то особенно смягчался его характер, трудно узнать было в нем того человека, который во время охоты не мог сдерживать своего бешеного пыла и от ничтожнейшей ошибки одного из несчастных псарей безумно предавался гневу.

Кстати, будет здесь упомянуть о порывах его злобы. У него каждая вина была виновата, и потому он бесчеловеч-

но и беспощадно терзал провинившихся слуг своих. От неистовых наказаний его не один несчастный сошел в могилу. С дворовыми, с крестьянами своими и вообще даже с простолюдинами, он был жесток по особенному убеждению. Часто говаривал он дворянам своего уезда, что если бы все они держали, подобно ему, крепостных своих в «ежовых рукавицах», разбойничьи шайки не были бы так велики. По его мнению, прощать виновного было бы опасно и несправедливо, ибо строгостью только может держаться порядок. Как предводитель благородного дворянства, он, князь Любецкий, считал себя обязанным внушать дворянам подобные правила для поддержания общественного спокойствия. Вследствие этого убеждения, князь, вообще не отличавшийся храбростью, не боялся быть строгим до жестокости... может быть, отчасти и потому, что вокруг его особы, кроме толпы приживальцев, всегда готовых душу свою положить за него, находилось множество шляхтичей польских, татар, цыган, арапов, — всякой подлой сволочи, безгранично ему преданной. В самом деле, невзирая на бесчеловечное обращение с своими крепостными, у него не было беглых. Давно как-то пробовали было бежать человек шесть из его дворовых, так барин употребил все возможные средства, ничего не щадил, ни хлопот, ни денег (а он вовсе не был расточителен), чтобы только беглых этих залучить опять в свои руки. Случай помог ему. Четверых из этих несчастных поймали вместе с небольшою шайкою воришек, к которой они пристали. Князю Любецкому, магнату-бригадиру и предводителю дворянства, стоило только захотеть, чтоб уездные власти отдали пойманных людей ему на расправу. В продолжение целой недели каждый день терзал он их для примера своей дворне орудиями пытки, бывшими в таком употреблении у наших помещиков во времена еще не очень давние. Истерзанных, еще дышащих бедняков отправили наконец в уездный острог, где они вскоре померли; семейства же их после долгого пребывания в тюрьме были

сосланы в Сибирь. После этой страшной кары уже никто не смел бегать от князя Любецкого. Впрочем, надо сказать, что дворовые вообще были довольны своим князем: содержание им давалось отличное, а дела почти никакого, — чего же им больше?

Но возвратимся к охоте, которая на этот раз шла очень удачно. Князь был необыкновенно весел и доволен всеми своими псарями, доезжачими, приживальцами, а особенно собаками, которые, к великому его восхищению, обскакали и посрамили всех собак Туренина, Берсенева и всех прочих дворян, участвовавших в охоте; правда, проиграл он довольно большую сумму денег, но для него это ничего не значило.

Утром, на седьмой день, еще взяли небольшое поле, которое, впрочем, не совсем было удачно, и к обеду отправились уже на отдых в дом Любецкого.

Поезд возвращавшихся охотников был шумен и весел. Псари и доезжачие шагом ехали впереди и распевали песни; за ними тянулись приживальцы; потом важно и величественно ехал князь с своими гостями и товарищами. Дед мой и Берсенев никак не могли отделаться от обеда князя.

Сажень за сто до усадьбы хозяин опередил поезд. Ему хотелось приехать несколькими минутами прежде своих гостей, чтобы принять их. Между тем остальная толпа охотников медленно приближалась к дому.

Въехав на двор, гости были неприятно смущены представившеюся им сценой. У самого крыльца огромного дома князь бешено кричал и грозил. Перед ним стоял на коленях старик-псарь; он дрожал всеми членами; лицо его выражало совершенный ужас. Дело было в том, что любимая собака князя, порученная особенному присмотру старика, околела, может, и от недосмотра, оставив, впрочем, на утешение своего хозяина несколько слепых щенят. Несчастный псарь лепетал какие-то оправдания, которые трудно было разобрать; князь не хотел ничего слушать.

— Плетей! Кошек! — кричал он неистово. — Я тебя проучу! В плети его!

Несколько человек бросились опрометью на провинившегося товарища, и через минуту он уже лежал у ног князя, трепетно ожидая казни.

Между тем гости, подъехав к крыльцу, слезали с коней.

— Господа! — сказал им князь. — Прошу вас обождать несколько минут, пока я расправлюсь с этим проклятым...

Вероятно, он не хотел сказать последними словами, что просит гостей своих присутствовать при наказании псаря. Не думается мне, чтоб он желал сделать их невольными свидетелями отвратительной сцены, а кажется, выразился так неопределенно потому, что не время ему было приискивать и взвешивать выражения. Как бы то ни было, дед мой вспыхнул при словах князя и сказал громогласно:

— Да чего ж тут ждать? Я не привык и не хочу смотреть, как секут человека... Любоваться, что ль, этим?.. Смотри, кто хочет! Пойдем, Сергей Андреевич!

И они с Берсеневым пошли в дом, за ними и прочие гости, кроме приживальцев.

Князь промолчал, но зато бедного псаря снесли от крыльца на рогожках.

Вошед в дом и поздоровавшись с гостями, князь сказал наконец деду, по-видимому, совершенно спокойным тоном:

— Кстати, любезный сосед! Неужто в самом деле ты подумал, что я хочу угостить вас наказанием мерзавца-холопа? — Потом, не дав времени отвечать, он добавил: — Впрочем, я еще не знал до сих пор, что ты такой сердобольный человек...

— Грешен и я, в чем все грешны, — отвечал дед, — но уж как там ни провинись человек, а мучить я его не стану, да и мерзкой потехи из наказания не сделаю...

Князь опять ничего не возразил на эти слова, но лицо его изменилось, и, закусив губы, он поспешно отошел прочь. Со всеми в тот день он был чрезвычайно приветлив

и будто совсем позабыл про размолвку с дедом. Сели за стол: обед шел, как следует. Дед мой был как всегда беззаботен и добродушен; в памяти его не осталось никакого неприятного впечатления; он сделался даже к концу обеда оживленнее обыкновенного. Но князь с приметным усилием участвовал в общем разговоре. Его густые, седые брови хмурились не раз, и во впалых глазах вспыхивал зловещий огонь; он злобно и украдкою взглядывал на Туренина, который вовсе не замечал этих взглядов. Уже после окончательного разрыва, последовавшего за сценой, которую я описываю, Сергей Андреевич припомнил, что лицо князя во время обеда предвещало ужасную бурю.

Разговор все время шел, разумеется, об охоте. Князь восторженно хвалил свою околевшую собаку. Воспоминания его были истинно трогательны.

— И вот пропала, бедняжка, — говорил он плачевным голосом. — Ох уж этот мерзавец Сенька!.. Ну, да не пройдет еще ему это даром.

Дед опять не утерпел. Увлекаясь своим добродушием, не размыслив, на беду, что заступничество за Сеньку еще сильнее повредит бедняку этому, он промолвил:

— Эх, князь! ведь уж наказан Сенька; чай, ведь, как досталось! ну и довольно!.. С одного вола двух шкур не дерут...

Но видно, уж слишком много накипело злобы на душе князя, да и старая месть еще не умолкла; он не выдержал и, обратившись к деду, закричал страшным голосом:

— Да что ж это, государь мой!.. шутить, что ли, позволяешь ты со мной, или опекун ты мне достался?.. Как ты смеешь осуждать всякое мое действие, мешаться в мои дела, учить меня в моем доме?.. Ты опять забылся!..

— Как забылся? — возразил дед еще довольно хладнокровно. — Я всегда помню. Редко забываю, чего и другие стоят... Да и толковать тут нечего, скажу напрямик: собаки — все-таки псы поганые, и не подобает, грех великий перед богом, мучить людей за какую-нибудь дрянную собачонку.

Князь выслушал до конца этот ответ, но с последним словом он, как бешеный, вскочил со своего места.

— Ах ты нищий!.. мужик!.. — кричал он. — Так-то платишь ты за мое терпение!.. Холопья душа твоя заставляет тебя вступаться за холопов!.. Вот я тебя!..

— Врешь ты!.. — отвечал дед. — Душа моя не холопья... Я недаром русский дворянин исконный... Врешь ты, князишка!.. И не таковский я, чтобы терпеть обиды...

Ярость князя уже не знала пределов. Он рванулся было к своему противнику, хотел, казалось, растерзать его. Туренин поднялся с места и стал среди комнаты. Одна рука его сжалась в огромный кулак, другую он положил на свой охотничий большой нож, заткнутый за пояс. Атлетическая фигура деда и грозный вид его возбудили в князе инстинкт самосохранения. Он отскочил и в ту же минуту кинулся в другую комнату, крича как бешеный:

— Эй, люди!.. сюда!.. все ко мне!.. арапников!.. бей его!.. бей в мою голову!..

Между тем не только Берсенев примкнул к деду и обнажил свой охотничий нож, но его окружили и прочие гости, конечно, кроме приживальцев, которые жались в уголке ни живы ни мертвы от страха. Вбежали люди князя, но, видимо, перепуганные, не зная, что делать, они толпились у дверей комнаты, в которой происходила эта сцена. Князь был решительно вне себя от ярости: он рвал на себе волосы, топал ногами, кричал, как неистовый, и уже невозможно было разобрать, что заключали в себе его крики: брань ли, угрозы ли или приказания слугам. Сцена, видимо, грозила быть кровавою. Услышав суматоху и шум в доме, люди деда, Берсенева и других дворян, вооруженные арапниками и охоничьими ножами, сбежались со всех сторон и, толпясь сзади людей князя, сильно напирали на них. Крестьяне и дворовые деда вообще очень любили его за милосердное с ними обращение. Легко можно было предвидеть, что при малейшей угрожающей ему опасности они кинутся, очертя

голову, к нему на выручку. Тогда бог знает, что могло бы произойти.

Появление этого подкрепления и вообще грозные признаки бурной сцены подействовали на князя, и он перестал подстрекать к борьбе людей своих.

— Слушай ты, князь! — вскричал дед мой, покрывая громким голосом весь этот шум. — Ты ведь знаешь меня... знаешь, что не дамся живой никому в руки... На ругательства твои я плюю, да и счеты у нас равные... Но прогони ты сейчас же всю твою челядь, а не то, клянусь богом, расплачусь с тобою так, что будет памятно и другим князькам, тебе подобным!..

Вслед за этим раздались голоса Берсенева и других гостей:

— Полно, князь, полно, ради господа!.. Что за грех такой!.. Да не стыдно ли?.. Ты и нас оскорбляешь... Мы не дадим его в обиду... Тут поножовщина выйдет... Да что ж это такое?..

Минуты с две князь простоял молча, потупив глаза в землю. Потом, молча же, махнул он рукой холопам своим. Они вышли вон.

— Господа!.. — сказал князь, обращаясь к гостям. — Прошу у вас извинения. Сейчас все это кончится... Господа Туренин и Берсенев!.. Надеюсь, вы теперь оставите меня в покое... Но и вас, как хозяин дома, как христианин, прошу извинить меня... Прощайте! не поминайте лихом на прежнем хлебе-соли... Полагаю, что и вы, как я, считаете оконченным приязненное знакомство между нами...

Проговорив наскоро и глухим голосом эти слова, он вышел проворно из комнаты. Последняя речь его была очень ловка, однако не имела того действия, на какое он, может быть, рассчитывал.

— Старый лукавец!.. — молвил дед вслед уходившему князю. — Ох, как уж разумею я тебя!.. Нет, снявши голову, по волосам не плачут... я ли виноват в том, что здесь случи-

лось? Извиняться вздумал!.. О, старая лиса! Да знакомство твое мне не нужно, и дома твоего видеть не хочу... Ох, кабы ты не стар был!..

И, отыскав шапку, он побрел вон из комнаты; за ним пошел и Сергей Андреевич Берсенев; прочие же гости все еще стояли посередине комнаты, поглядывая друг на друга в явной нерешимости: оставаться ли им в доме Любецкого или последовать примеру Туренина и Берсенева.

В дверях комнаты Берсенев остановился.

— Ну что, господа? — сказал он насмешливо, обращаясь к нерешительной толпе дворян. — Разве вам хочется еще отведать хлеба-соли гостеприимного, ласкового сударь-князя Александра Александровича Любецкого?

Они ничего не отвечали на задирательный вопрос и по-прежнему молча поглядывали друг на друга. Впрочем, на другой день двое из них ранехонько выбрались из усадьбы князя, приказав его дворецкому поблагодарить хозяина за хлеб-соль и доложить, что им никак нельзя оставаться долее и ждать пробуждения князя.

Так кончилась эта сцена, имевшая столь пагубное влияние на дела деда, на всю остальную жизнь его, и даже, может быть, на самую участь его рода.

Воротившись домой, он хотел было утаить от Надежды Ивановны новую ссору свою с князем; но по лицу мужа своего и людей, сопровождавших его на охоте, она все угадала, и Туренин не мог уже более скрывать от нее истины. Горько плакала она, слушая этот печальный рассказ; страшные предчувствия овладели мгновенно ее душой. После истории с цыганами она тоже опасалась дурных последствий, но далеко не так, как теперь. Напрасно дед и Берсенев уговаривали ее, тщетно повторяли они, что в настоящую минуту решительно бояться нечего, что история с цыганами могла бы кончиться гораздо хуже, если б пришлось разделываться законным порядком. Бедная Надежда Ивановна не слушала их; она каким-то инстинктом

любви угадывала все горестные последствия этой новой ссоры.

Недели две спустя явился к деду *заседатель нижнего земского суда** Урываев и потребовал у него уплаты по предъявленной ко взысканию от князя Любецкого закладной на деревню Туренина Волтуховку, в которой было восемьдесят три души, со всею принадлежащею к ней землею, лесом и «всякими угодьи». Закладная эта была дана князю покойным Зиновием Турениным.

Любопытна история этого акта.

Зиновий Туренин давным-давно еще, перед отъездом в Сибирь, продал *отцу моего деда*, *а своему родному брату**, всю часть имения, доставшуюся ему после отца; но впоследствии он наследовал (вместе с братом же) бывшую во владении родной сестры их Анны и состоявшую в деревне Волтуховке четырнадцатую часть того же имения. Эту часть братья не делили, потому что она была весьма невелика. Таким образом, Зиновий Туренин мог считать себя владельцем в известной части по Волтуховке. В конце своего попечительства над племянником своим он заложил всю вообще Волтуховку, как вполне принадлежащее ему имение, князю Любецкому за девять тысяч рублей и деньгами этими один воспользовался. Вскоре после этого он умер, и дед мой, не отказавшись заблаговременно от наследства, принимал через это на себя обязанность платить все его долги. Между тем он и не подозревал о существовании закладной на Волтуховку. Молодость, беспечность характера и совершенная неопытность в делах не допустили его, тотчас же по выходе из-под опеки, справиться, в каком положении находится его имение. К тому же князь, после совершения закладной, как будто позабыл о ней и ни разу, пока дед жил в Петербурге, не напомнил ему ни о платеже процентов, ни об уплате всей суммы. Конечно, такая забывчивость могла иметь основанием и чистый расчет, ибо заложенное имение было весьма ценно, — не по числу душ, но

по строевому, отличному лесу, сбыт которого, по близости Оки, был очень удобен. По возвращении деда из Петербурга в имение князь сказал ему как-то полушутя, полусерьезно, что он имеет от Зиновия Туренина закладную на Волтуховку и что лишь недавно узнал, что Зиновий нисколько не имел права закладывать всего имения. Затем князь добавил, что, конечно, никогда не воспользуется этим актом, хотя ему и прискорбно потерять довольно большую сумму по милости бессовестного обмана со стороны Зиновия Туренина. Дед с обычною своею пылкостью и добродушною правдивостью возразил князю, что и нельзя воспользоваться фальшивым актом, да притом он уверен, что князь как человек благородный никогда не позволит себе этого. Объяснившись таким образом, он и не подумал просить князя, чтобы тот, на всякий случай, формально признал ничтожность фальшивого акта. Он считал все это дело совершенно поконченным.

К несчастью, теперь оказалось, что дело не было покончено. Хотя по самому существу закладной нельзя было иметь опасений касательно исхода тяжбы, тем более что и срок, поставленный законом для представления ко взысканию закладных, уже истек; однако же дед мой, не пренебрегая делом, оставив на этот раз обычную свою беспечность, взглянул на него серьезно. Ему хорошо было известно правосудие в тогдашней России. Он знал также, что если князь Любецкий задумал пустить в ход этот документ как имеющий действительную силу, то уж, конечно, не пожалеет никаких средств для достижения предположенной цели во что бы то ни стало разорить своего врага.

Он решился вести дело сколько возможно осторожнее, но на первых же порах поступил вовсе неосторожно: опять-таки не утерпел, чтобы в данном Урываеву отзыве на исковое прошение не выразиться весьма резко о намерениях князя воспользоваться чужою собственностью на основании незаконного документа.

Затем он тотчас же отправился в *уездный город**, чтобы переговорить о деле с уездными властями. *Судья и капитан-исправник** были люди хорошие в частной жизни, правдивые в отправлении обязанностей своих и честные, то есть не бравшие взяток, может быть, впрочем, потому, что оба имели достаточное состояние. По прежним отношениям к ним и вообще по их качествам деду казалось, что он может говорить с ними откровенно. Но оба они приняли его с крайнею принужденностью, выслушали с видимою робостью и унынием, все озираясь по сторонам, как будто у них за спиною стоял сам князь Любецкий, — и ничего положительного не обещали. Только судья, на которого дед особенно надеялся, с соболезнованием покачивая головою, сказал вполголоса, что дело, начатое князем, пожалуй, кончится не в пользу деда и что не лучше ли ему примириться как-нибудь с его сиятельством, испросив у него прощение. Дед запальчиво отвечал на последнее предложение и стал было допытываться, в чем состоят опасения судьи, но никакого толка не добился: судья решительно отказался от объяснений, даже заметно тяготился разговором. Туренин вспылил, попрекнул смущенного судью, назвал его законопродавцем и, как исступленный, вышел из комнаты.

Кстати сказать, что все чиновники того уезда, где состоял предводителем князь Любецкий, были в полной у него подчиненности. Не столько его богатство, сколько имя, звание, связи с генерал-губернатором, наконец, характер крайне властолюбивый и настойчивый, приучили этих чиновников беспрекословно повиноваться ему. Еще тогда в России необоримо сильны были предания, предрассудки, произвол, злоупотребления, во всем обходившие закон; еще слаба, даже ничтожна была вера и старших представителей общества в собственное свое достоинство, в призвание человека, в долг честного гражданина... Вот, например, как происходили в К-ском уезде дворянские выборы с тех пор, как князь Любецкий стал предводителем: созовет он, быва-

ло, к себе в дом всех дворян уезда и объявит им, что ему желательно иметь судьею, исправником и прочее вот таких-то и таких-то. Все тут же соглашались с ним (даже Туренин и Берсенев), и дело кончалось без протестаций и противоречий на самих выборах. Этот порядок избраний в К-ском уезде, нарушавший всякую личную свободу, возбуждал в губернском городе удивление в мудрой распорядительности князя Любецкого, который умел устранять все шумные и неприличные столкновения мнений. Некоторые предводители стали стремиться к введению и в своих уездах такого же порядка, но немногие из них могли этого достигнуть: трудно было совокупить в себе разом, подобно князю Любецкому, столько качеств, внушавших подобострастное уважение в тогдашнем обществе. И вот избранные таким образом чиновники на первых же порах становились в полную зависимость от князя. Как же должны были смотреть эти чиновники на то дело, в котором князь Любецкий являлся истцом? Бедный дед напрасно попрекнул судью, назвав его законопродавцем: судья этот не был нисколько хуже других. Вечером дед мой позвал к себе на совет знаменитого дельца, *секретаря уездного суда**, который поздно вечером, крадучись явился к нему на квартиру; но и от него не добился дед никакого толку, несмотря на то что тут же дал ему взятку и сильно подпоил. Секретарь наговорил ему с три короба всякой всячины, помянул многое множество указов, бестолково перебрал тьму статей и узаконений, рассказал несколько юридических фактов, вовсе не подходящих к настоящему делу, и закончил свои разглагольствования неопределительными уверениями, что, дескать, нечего особенно бояться этого дела, но что, впрочем, многое будет зависеть и от того, как его поведут да как посудят...

Речи секретаря не могли успокоить деда, напротив, они внушили ему новые и живейшие опасения. Для него было ясно теперь, что князь Любецкий всех предупредил о своем иске, что кругом дела сплетена уже какая-то темная

интрига, в которой чуть ли не замешаны все уездные власти, потому что ни один из чиновников не только не обещал взять его сторону, но и не намекнул ему ни на одну меру, за которую следует приняться, чтоб иметь какой-либо успех. Туренин возвратился в Малеево с горьким убеждением, что ему предстоит страшная, безнадежная тяжба.

Через неделю снова явился к деду Урываев и объявил ему, что отзыв его на исковое прошение князя оставлен судом без уважения за допущение укорительных выражений, а ему, Урываеву, поручено истребовать от г. Туренина на удовлетворение князя Любецкого полную сумму, в которой заложена Волтуховка со всеми причитающимися на сумму эту *процентами и рекамбией**, или же немедленно описать заложенное имение. В первую минуту гнева дед хотел было прогнать заседателя, но тот стал жалобно просить его не гневаться, а принять в уважение его несчастное положение и милостиво рассудить, может ли он не исполнить приказаний начальства. Деду нельзя было не согласиться с этим. Оставив мысль об изгнании Урываева с бесчестием, он попытался уговорить его отсрочить по крайней мере исполнение поручения, но бедный заседатель со слезами умолял Николая Михайловича не погубить его, несчастного, и дозволить описать имение, без чего нельзя будет ему и домой воротиться, униженно прибавляя, что его сиятельство князь Александр Александрович со света его сживет. Надежда Ивановна поддержала заседателя: она хорошо понимала, что ему невозможно не исполнить поручения, притом же она опасалась, как бы отсрочка в описи имения не повела еще к обвинению мужа ее в сопротивлении власти. Как ни кипело у деда на сердце, он решился уступить на первый раз своему врагу. Урываев приступил к описи имения, а Туренин тотчас же поскакал в Рязань на совет к Петру Захарьевичу Колымагину.

Колымагин принял горячее участие в положении деда. Он вполне понял все насилие, всю неправоту притязаний

князя Любецкого; но вместе с тем видел, что под рукою у него нет никаких средств пособить приятелю, тем более что и дело его должно было производиться в присутственных местах другой «провинции». Впрочем, он дал ему несколько наставлений, как вести дело: приказал составить для него несколько прошений и докладных записок, которые дед должен был представить разным лицам в Москве; Колымагин посоветовал ему немедленно отправиться туда, снабдив его письмами к своим московским знакомым, которые, по мнению его, могли быть полезны Туренину, и в заключение высказал моему деду, что лучше всего было бы примириться с князем. Дед хорошо знал Колымагина и потому не мог относить этого совета к неблагородным побуждениям, но отвечал на него решительным отказом.

В Москве Туренин хлопотал без устали, — но теперь он имел тяжбу уже не с Зарудиным, а с человеком чрезвычайно сильным; князь Любецкий и в Москве предупредил его. Дед везде был принят холодно: его выслушивали кое-как, не давали никакого совета, не делали никаких указаний, не высказывали своих мнений и выпроваживали его со словами: «А вот посмотрим! Пусть дело пойдет своим порядком, не перескакивайте инстанций, ведь там разберут дело», и т. п. Большая часть этих господ были важны, как языческие жрецы и, как они, выражались таинственно. И ни у одного из них не дрогнуло сердце при виде жертвы преследований сильного человека, ни в одном не пробудилось негодование на притеснителя и желание помочь угнетаемому; ни в одном не промелькнула мысль, как пагубно для целого общества такое нарушение права, такое наглое проявление произвола. До того ли им было? Их занимали иные вопросы: временные, жалкие, но близкие к их сердцу, не совсем-то благородные, но им дорогие.

Наученный горьким опытом, дед мой как раз понял речи этих господ и ясно увидел, что ему остается мало надежды на беспристрастие будущих судей своих. Скоро

один знакомый Колымагина намекнул ему, каким образом действует здесь против него князь Любецкий: князь успел сильно очернить своего противника, рассказав в преувеличенном, лживом виде образ его жизни и характер, в особенности же его рыцарский наезд и погоню за цыганами. Этот поступок мог так легко представить деда в дурном свете, а вместе с тем выставить князя человеком необыкновенно великодушным. В подкрепление слов своих князь показывал отрывки писем Туренина, по правде сказать, несколько грубоватых и уже чересчур откровенных. Наконец, самый отзыв деда на исковое прошение князя мог внушить ложное понятие о характере Туренина.

Итак, бедный Туренин не много успел и в Москве, и он не стал уже дальше искать покровительства. Скрепя сердце и возложив все упование на бога, он стал питать какую-то смутную надежду на правосудие: иной раз ему думалось, что ведь есть же, должны же быть на Руси святой и законы, права оберегающие. В мрачном расположении духа воротился он домой. Новости, какие он узнал там, были свойства вовсе не успокоительного. Волтуховка была описана, оценена и уже назначена в продажу. Уездные власти поторопили делом беспримерно. Мошенник секретарь, с которым советовался дед мой, был главным поверенным князя и услуживал ему донельзя. Надо прибавить, что все чиновники, участвовавшие в этом процессе, остались премного довольны милостями великодушного князя.

Между тем князь Любецкий еще не вполне был доволен исходом дела. Он говорил: «Да если я и отниму у этого проклятого Туренина Волтуховку, так разве это достаточное наказание за все его дерзости? Нет, этого мало!.. Ведь он не один раз оскорблял меня... Я сказал, что он нищий, и докажу, что он нищий! Я доконаю его! Тут надо поступать по русской пословице: "Бей мужика не дубьем, а рублем..." Небось, это будет чувствительно ему, ведь уж дети пошли...»

Стали также поговаривать соседи, что будто при продаже Волтуховки не выручится на торгах вся сумма взыскания и как бы не пришлось тогда Николаю Михайловичу проститься и с Малеевом. Эти господа громко осуждали деда, утверждая, что сам он виноват в своем несчастии, зачем, дескать, осмелился он, ничтожный дворянин, затрогивать такое лицо. Редкий жалел горемычного Туренина, один только Сергей Андреевич горевал вместе с ним... Таким образом, общественное мнение было не только на стороне силы, но даже насилия.

В это же самое время еще одно обстоятельство бесило деда. Цыгане князя стали почти каждую ночь производить хищнические набеги на его владения. Проученные им однажды, они делали теперь эти набеги так ловко и осторожно, что не было никакой возможности изловить их на месте преступления.

Скоро Волтуховка была продана. На торгах она, как и ожидали, не покрыла суммы взыскания и окончательно осталась за князем Любецким. Через месяц после этой продажи он подал новое прошение, в котором говорилось, что Туренин с намерением нарушить его интересы продал лес, принадлежащий Волтуховке, и довел имение до малоценности; поэтому князь просил произвести дознание о продаже упомянутого леса, а для полного удовлетворения его претензии подвергнуть описи другое имение Николая, Михайлова сына, Туренина. Это второе дело было еще незаконнее первого, но и оно получило свой ход. Однако князь не спешил им: цель его была, очевидно, достигнута, ему хотелось дотла истощить все средства деда, донять его, сжечь на медленном огне.

И пошло это новое дело тянуться да тянуться. Начались беспрерывные дознания, исследования, доследования, преследования, освидетельствования порубок, выправки, справки, требования объяснений, доказательств, и стало все это свиваться и путаться в нескончаемой массе бумаг.

Дед мой должен был беспрестанно кататься то в свой уездный город, то в Москву, то бог знает куда для справок по архивам, для подачи прошений, разных отзывов и докладных записок. Но все это как-то не удавалось ему, то дадут ему справку не полную, то совсем почти не относящуюся к делу. Неудачными оказывались тоже прошения и отзывы, ему возвращали их с надписью то за неправильное написание высочайшего титула, то за необозначение местожительства и имени того, кто сочинял и набело переписывал эти несчастные прошения. Проклятая приказная челядь, писавшая и переписывавшая их, бывало, как назло, оставит да оставит какую-нибудь лазейку для юридической придирки, и вовсе неожиданно окажется какая-нибудь почистка в титуле или неоговоренная поправка в самом тексте прошения. Я забыл сказать, что дело по новым притязаниям князя Любецкого шло вместе с старым процессом о закладной; дед мой ни за что не хотел оставить его, потеря Волтуховки еще более подстрекала его к отыскиванию своего права на нее.

К этим двум делам прибавилось еще несколько других. Сначала пошел в ход иск секретаря уездного суда о причиненном ему оскорблении. Уверенный, что вся приказная путаница происходит от недобросовестности этого секретаря, дед мой не вытерпел: обругал его довольно жестко, погрозился даже обломать всю свою палку о его согнутую спину. Потом началось дело о порубках, производимых малеевскими крестьянами в лесных дачах Волтуховки. Троих из этих крестьян поймали и засадили в острог. Все это страшно взволновало бедного деда, оттого больше, что он сознавал болезненно свое бессилие отомстить за обиды и защитить людей, ему подвластных, от несправедливого угнетения. Словно зверь в клетке, ходил он теперь, весь опутанный юридическими, хитро сплетенными сетями.

Средства Туренина истощались; ему нечем было жить. Заложить имение он не мог: вследствие неполного удовлет-

ворения упомянутого иска наложено было запрещение на все имение Туренина. В это время у несчастного уже было трое детей, — и стал он крепко задумываться. Он видел уже близко беду неминучую. О себе одном он не стал бы тужить — одна голова не бедна, но страшна казалась ему бедность, потому что от нее страдали еще четыре дорогие ему существа. Кинул совсем он свои прежние забавы: псовую охоту, рыбную ловлю и пчеловодство. Прежде так он любил все это! Он сделался угрюм и молчалив; целые дни ходил по комнате молча, понурив голову. Неохотно говорил он даже с женою своею и Берсеневым.

А время между тем шло, минуло уже три года. Князь Любецкий стал заметно стареть и слабеть, но не слабела ненависть его к соседу. Он распространил это злобное чувство на всех крестьян Волтуховки за их добрую память о прежнем помещике. Раз, заехав в свое завоеванное имение, он приказал созвать мир.

— Ну, братцы! — сказал он крестьянам ласковым голосом. — Вот и я к вам приехал. Рады ли вы иметь меня помещиком?

— Слушаем-ста, батюшка государь, ваше осиятельство, — отвечали все они простодушно.

— Ах вы сиволапые, неучи! — закричал князь. — Я вас спрашиваю: рады ли вы мне?..

— Как же!.. как же, батюшка!.. оченно рады, — отвечали робким голосом передние мужики.

Князь замолк и сел на завалинку избы, принадлежавшей старосте. Подумав несколько минут, он снова спросил их:

— А не имеет ли кто-нибудь из вас жалоб на Николая Туренина, вашего прежнего помещика? Если он кого-нибудь изобидел, скажите мне, я ваш теперь владелец и заступник... И сила у меня есть, все сдеру с него!

— Много были довольны мы прежним-то помещиком, ваше осиятельство! — возразил староста Митрофан. — От-

цом родным был завсегда... да сотвори ему господи всякую милость!.. Так, что ли, ребята?

— Так! так! — крикнули крестьяне хором. — Создай ему господи!.. Отца бы с ним не надоть, вот уж барин-то был!..

Князь свирепо взглянул на них, проворно встал с завалинки и уехал домой Он уже никогда после того не заглядывал в Волтуховку.

Тотчас после этого посещения стали выгонять поголовно на работу в дальнее село старого и малого, мужика и бабу из Волтуховки. При деде они были на оброке, князь оброк усилил, да обложил еще тяжелыми повинностями. А тем крестьянам, которых дед любил или которые его особенно добром помнили, куда как тяжело приходилось! Староста Митрофан был сменен тотчас же после вышеописанного случая; в избу его, где он жил зажиточным крестьянином, был переведен лимавский бобыль; пчельник у прежнего старосты отобрали, сам он был сделан на старости лет пастухом, а дочь его, Аксинья, крестница Надежды Ивановны, отдана была в работу секретарю. Как болело сердце бедного деда, глядя на такую участь волтуховцев! Но не было средств помочь им. Скоро еще случилось в имении князя происшествие, удвоившее страдания этих людей.

Был у деда кучер, уроженец волтуховский, по имени Антон Никитин, малый молодой и, как говорится, разбитной. Любил он дочь старосты Митрофана, Аксинью, да, на беду, не успел жениться на ней, пока Волтуховка принадлежала Туренину. Когда деревня эта перешла к князю, он посадил Антона во двор, обложив его оброком, и не дозволил ему жениться на Аксинье. За явную приверженность его к деду, выражавшуюся и в речах, и в частых отлучках в Малеево, Любецкий возложил на Антона свою княжескую опалу и несколько раз сек его немилосердно. Но это не прошло даром.

Однажды к вечеру — это было в мае 179... года — князь Любецкий вздумал отправиться за десять верст в *Г... мона-*

*стырь** на богомолье. Ночью загорелся его огромный дом в Лимаве. Люди, бывшие с ним, увидели далекое, но сильное зарево и догадались, что пожар у них в имении. Узнав об этом, князь поскакал в обратный путь, но уже было поздно, дом догорал, и вся огромная масса строений, составлявших усадьбу, жарко пылала. К большему еще огорчению князя, сгорела и его большая любимая собака, какой-то особенной породы, которая, неизвестно почему, сама бросилась в огонь.

На другой день князь начал домашнее следствие. Оказалось, что пожар произошел от явного поджога. Подозрение пало на Антона; его схватили и чего-чего ни делали, чтоб исторгнуть признание: секли кошками по нескольку раз на день, кормили селедкой в жарко натопленной бане, а пить не давали. Сам барин много раз допрашивал его, обязываясь честным словом, что ничего не сделает ему в случае признания.

— Твое, твое это дело! — говорил князь. — Ты поджег дом мой!.. Ну, да бог с тобой... сознайся только. Ведь я знаю, поджег ты меня не по своему разуму, а по научению злодея моего, Николая Туренина. Скажи только всю правду, дам награду тебе.

Но Антон не пожелал его наград, не сознался ни ему, ни чиновникам, приезжавшим в Лимаву для официального исследования; под конец даже вовсе перестал отвечать на вопросы. Затем посадили Антона в острог, попал туда и бедный старик Митрофан.

От этой истории плохо пришлось и малеевским крестьянам. Их затаскали на допросы по подозрению в соучастии с Антоном. На самого деда князь не посмел изъявлять подозрения потому ли, что во время пожара Туренин находился в Москве, или уже побоялся чересчур преследовать свою жертву. Скоро Любецкий выстроил себе новый великолепный дом, а в парке поставил прекрасный памятник своей погибшей собаке, которая, по его уверению, пожертвовала жизнью для спасения своего хозяина.

Соседи деда толковали об этом событии по-своему. Они удивлялись великодушию князя, не изъявившего подозрений на заклятого врага своего. Надо сказать здесь, что все соседи (конечно, кроме Берсенева) уже давно начали удаляться от моего деда. Удивляться ли этому? Он перестал быть их товарищем и не разделял более забав, которым предавались они; разорение слишком заметно отражалось в его домашнем быту и хозяйстве; это был опальный человек, который смело, но безуспешно боролся с гигантом... а сердце человеческое так устроено вообще, что отчего бы ни происходило несчастие человека, оно всегда имеет в себе что-то отталкивающее. Таковы, по крайней мере, чувства грубой толпы. Но дед еще раз вздумал попробовать счастья. Решился он отправиться в Москву, а там, может быть, и подалее, чтобы принести жалобу на князя Любецкого, высказать в этой жалобе все, что на душе его лежало камнем, невыносимо тяжелым.

В Москве тогда было очень весело. Особенно оживляли ее беспутные, дерзкие, почти безумные, но удалые похождения двух лиц. Один *был И-в**, об котором я буду говорить сейчас; другой *знаменитый князь З.**, брат еще более знаменитого человека в конце царствования императрицы Екатерины II. Одна уже игра его производила страшное впечатление: он ставил иногда *семпелем**, на одну карту, по десять тысяч червонцев. Удаль, красота, приветливость и щедрость его привлекали к нему каждого, не исключая и простолюдинов. В свете он имел огромный вес и делал иногда добро. Около него постоянно увивались, изгибаясь, люди различных положений в обществе. Деду посоветовали первоначально обратиться к нему; но он не решался, душа у него не лежала к заискиванию милостей у патронов, которые, по внешним нормам своим, все-таки смахивали на князя Любецкого. Покуда дед раздумывал, идти или не ходить к князю З., случилось происшествие, которое имело окончательное влияние на его раздумье.

В происшествии этом играл главную роль И-в. Это был человек замечательный. Впоследствии когда-нибудь я постараюсь познакомить с ним читателей покороче, а теперь скажу о нем только несколько слов. Ему было тогда с небольшим двадцать лет; он был очень хорош собою, широкоплеч, высок ростом, сложен богатырски; с круглым румяным лицом, с вьющимися русыми волосами, с глазами темно-голубыми и бойкими; этот молодой человек представлял собою вполне русский тип; его родственники возлагали на него большие надежды... И они могли легко сбыться, как сбывались в то время подобные надежды. Состояние он имел огромное, и замечательно то, что, тратя безумно деньги, он все-таки не разорился. Его окружала везде толпа молодых негодяев-паразитов, крупных и мелких. Он был страшно развращен; с самых ранних лет научился презирать человечество и никогда не знал чувство долга. Одно ему нужно было: забавы и потехи; он искал их во всем и повсюду. Самые дерзкие, как и самые обыкновенные, его поступки имели всегда вид какой-то особенной удали; но крупные потехи его редко были безвредного свойства. Бояться ему было нечего: он имел такую родню, которая вытащила бы его со дна морского; притом и дружба его с князем З. придавала ему немалое значение в обществе.

Около этого времени И-в назвался обедать к купцу первой гильдии, весьма богатому фабриканту, у которого он частенько занимал деньги. И-в очень любил русские песни; после обеда, чтоб угодить своему знатному гостю, хозяин приказал позвать песельников, своих фабричных. Этот хор очень понравился И-ву; он кинул им на водку пятьсот рублей.

— Ай да спасибо! утешил! — говорил он, трепля купца по плечу. — Постой же, и я тебя угощу!

И тотчас же послал за своими песельниками, псарями. Они мигом явились, отлично пропели несколько русских песен, привели в восторг всех слушателей.

— Ну, брат, — сказал И-в хозяину, когда псари окончили пение, — давай же денег моим песельникам!

— Слушаем-с, батюшка, Лев Дмитриевич, извольте, и наша денежка не щербата, — отвечал купец, вынув из кармана золотой.

— Как! — вскричал запальчиво И-в. — Я твоим пятьсот рублей дал, а ты!.. Дай по крайней мере столько же! Экая ты скотина бородатая, братец!

Купец начал кланяться и улыбаться.

— Да помилуйте-с, — несвязно говорил он, — ведь оно-с, эдаким-то манером, многонько будет... — Но, видя, что И-в начинает гневаться, поспешно прибавил: — Если вашей милости угодно, так не соблаговолите ли сами из той суммы-с, которую изволите быть должны мне, а то, ей же богу, мы теперича не при деньгах.

— Ах ты подлец, купчишка! — закричал разъяренный И-в. — Вот проучу я тебя, жидомор! Эй вы! в арапники его! да хорошенько!..

И песельники И-ва пребольно высекли бедного купца.

На другой день много было разговоров об этой истории. Купец хотел жаловаться, кричал: «Жив не хочу быть, коли моя верх не возьмет!» Даже родные И-ва несколько струсили, но князь З. обработал это дело по-своему. З. призвал к себе купца и объявил ему, что если он осмелится рот разинуть, то как раз найдет себе место там, «куда Макар телят не гоняет». Купец хорошо знал, что такое князь З., и история кончилась ничем. О такой благополучной развязке весь город, к забаве своей, узнал на другой же день.

Деда же моего не тешило это происшествие. Он тут же принял решение не искать покровительства у князя З. и никуда не жаловаться на Любецкого, но это многого стоило ему. Трое суток сряду он никуда не показывался, а все ходил, задумавшись, по комнате, не говоря ни слова, почти не принимая пищи и не засыпая ни на минуту; наконец собрался он ехать домой и перед отъездом купил себе дву-

ствольное ружье и пару пистолетов. В это короткое время он весь поседел, глаза его ввалились, лицо осунулось и приняло какой-то болезненный темный цвет.

Дома он стал заниматься стрельбою в цель, что сильно озаботило Надежду Ивановну. Ей не понравилось новое занятие мужа, и, предчувствуя недоброе, она стала неусыпно наблюдать за всеми поступками мужа. Не решаясь сама войти с ним в объяснения, она обратилась к Сергею Андреевичу Берсеневу, рассказала ему свои опасения, не скрыла своих печальных предчувствий и просила у него совета. Берсенев встревожился. Новые занятия друга показались ему очень странными. Зная душевное его расстройство, он пустился было в расспросы, но не добился никакого толку от Туренина. Тогда ужасные подозрения запали в сердце Берсенева, он уже не скрывал их от Надежды Ивановны, и они решились вместе и постоянно наблюдать за Николаем Михайловичем.

К увеличению их тревоги дед стал часто отлучаться из дому, то верхом, то пешком, вооруженный ружьем и пистолетами, и жена его с ужасом заметила, что он по большей части направляется к имению Любецкого. Нельзя было предполагать, чтоб охота была целью его прогулок: он и в прежнее время не любил охотиться с ружьем, да и зачем бы ему заряжать его пулями? Как только исчезал он из дому, сердце бедной Надежды Ивановны сжималось смертельною тоскою; она в отчаянии бросалась на колени перед образом Спасителя и долго, усердно молилась об избавлении мужа ее от гибели.

Настала осень, время, в которое князь Любецкий любил когда-то охотиться; теперь он сильно одряхлел и уже редко пускался в открытое поле. Осень эта была дождливая и неблагоприятная для охоты; но однажды выдался денек, вполне для нее пригодный. В этот день дед опять стал собираться куда-то. Он приказал оседлать лошадь, взял ружье, пистолеты; он торопился куда-то... Тогда страшная тоска овладела Надеждой Ивановной; она не выдержала. Стре-

мительно кинулась к мужу и, дрожа всеми членами, стала уговаривать его остаться дома.

— Что ты, Надя?.. — возразил он с неудовольствием. — Перестань говорить пустое. Мне нужно... Я еду прогуляться, я поохочусь...

Надежда Ивановна горько заплакала, уговаривая его.

— Ради господа! — говорила она, рыдая. — Послушайся меня, останься!.. Нет, не могу я терпеть такой муки...

Деду стало жаль ее; он взял за руку Надежду Ивановну и повел ее в другую комнату. Там начал он уговаривать ее, но она не слушала его увещаний и все продолжала плакать и просить, чтоб он остался дома.

«Нет, нет! я поеду!» — упорно твердил он. Она кинулась перед ним на колени и, обхватив его ноги, с воплем твердила, что не пустит его. Гнев начинал одолевать Турениным, он хотел было оттолкнуть ее, но не мог: у него на это недостало духу.

— Да что ты, в самом деле, Надя? — сказал он, смягчаясь. — Опомнись! Бог с тобою!

— Я знаю, куда ты идешь! — исступленно вскрикнула она. — Я все угадала! Ты убить его хочешь!..

Он вздрогнул и страшно побледнел. Голова его опустилась на грудь. Между тем Надежда Ивановна стояла на коленях и со слезами обнимала его ноги.

— Ох, все знаю! — изнемогая, твердила бедная женщина. — Да что ж ты хочешь с нами-то сделать!.. Не губи себя... не губи детей малых... меня, горькую!.. Пощади нас!..

Глубокая печаль наполнила душу деда. Он колебался, сила воли покидала его, невмочь становилось ему бороться со скорбью любимой жены, матери его детей. И он сказал ей с смущением:

— Слушай, Надя... не стану перед тобою таиться. Правда, я задумал... Но, ради господа, пойми ты!.. Ведь нет другого средства отделаться от врага заклятого... Ну, пропаду я, да вас избавлю от гонения. Наследники, наверное, не бу-

дут вести такого дела... Пропаду я, да вы-то не останетесь без куска хлеба!.. Вижу, что не совладаешь с ним законным образом, так надо своим судом рассудить...

— Нет! нет!.. спаси тебя господи от такой мысли! — с жаром возразила она. — Не поможешь ты нам... душу свою только загубишь!.. Да разве мне можно будет жить после этого!.. А что с детьми будет? Нет, убей меня лучше! не сойду с этого места и тебя не пущу!.. Поклянись мне!.. Господи!.. помоги мне вразумить его!..

Потом, обхватив еще крепче его ноги, она стала кричать: «Нянька! нянька! Наталья!.. Дети!.. Приведите сюда детей!..» Обессиленная душевным волнением, она упала на пол; он мог теперь свободно уйти, но надо было быть зверем, чтоб это сделать; он остался. Надежда Ивановна почти без чувств лежала у ног его; между тем привели мать мою и двух других малюток. Туренин не выдержал, слезы хлынули из глаз его, и он дал жене торжественную клятву.

Сцена эта не прошла даром для Надежды Ивановны: она заплатила за нее нервическою горячкой. Болезнь была тяжела и опасна, но она вынесла ее. Легко можно представить себе, что все это страшно подействовало на душу деда; положение его было истинно жалкое. Грусть, доходившая по временам до совершенного отчаяния, ненависть к непримиримому врагу, печальная картина лишений, на которые обречено было его семейство, — все это омрачало ум его и наполняло душу невыносимыми, жестокими страданиями. Самая клятва, данная жене, — не мстить врагу, ложилась на сердце его тоскою невыразимою. Расстроенному его воображению беспрестанно представлялись все бедствия и полная гибель семьи.

Между тем Надежда Ивановна оправилась от болезни. С великою горестью увидела она, в каком страшном состоянии находится ее муж. Ничто не могло извлечь его из мрачного уныния; он перестал заниматься процессом; целые дни ходил, бывало, по комнатам, бледный, утомленный и с вскло-

коченными волосами; по ночам почти не спал или забывался только на несколько минут сном тяжелым и прерывистым. На вопросы отвечал односложными словами и часто несвязно, сам же никогда и ни о чем не спрашивал. Перестал он ласкать детей своих, перестал даже молиться, только, расхаживая по комнатам, шептал про себя: «Дух праздности... уныния...» Видно, он уже начинал смутно сознавать, что одолевавшее его уныние окончательно погубит его.

Посоветовавшись с Сергеем Андреевичем, Надежда Ивановна решилась уговорить мужа ехать в Рязань, с тою будто бы целью, чтобы посоветоваться о деле с Колымагиным. Конечно, она нисколько не рассчитывала на пользу такого совещания, но думала, что поездка порассеет глубокую задумчивость, в которой находился ее муж. Она упросила Берсенева ехать вместе с ним. Не без труда склонили деда на поездку. Несчастная Надежда Ивановна не воображала, что ускоряет страшную развязку, которой инстинктивно боялась.

В начале декабря Туренин отправился в Рязань. Само собою разумеется, что Колымагин не мог оказать ему никакой помощи по делу, принявшему самый дурной оборот; оставалось только жалеть о горестном положении, до которого был доведен его приятель.

На ту пору в Рязани были дворянские выборы, время и теперь весьма шумное, но тогда еще более бестолковое, потому что на выборы стекалось иногда тысяч до двух дворян. Претенденты на главные должности, бывшие тогда в удивительном почете, привозили с собою целые толпы избирателей, которых они на ту пору, на свой счет, одевали, кормили и поили.

Итак, в Рязани было шумно и весело. Берсенев старался по мере возможности рассеивать своего друга; случалось им быть в собрании и в театре, который и тогда уже существовал в Рязани; но все эти увеселения не только не тешили и не развлекали Туренина, напротив, еще усугубляли его хандру. Однажды Сергей Андреевич убедил его при-

нять участие в одной из попоек; но винные пары до такой степени усилили мрачность духа деда, что всю ночь надо было присматривать за ним из опасения, чтоб он не наложил на себя рук.

Выборы кончились; жизнь губернская потекла по-старому. Дед мой и Берсенев собирались уже домой, как однажды — это было дня за четыре до рождества Христова — их обоих пригласили на вечер к одному из главных служебных лиц губернского мира. Когда они воротились оттуда, с несчастным дедом моим сделался в ту ночь первый припадок сумасшествия, той страшной болезни, которою он прострадал около двенадцати лет. Старик Петр Леонтьев, слуга его, бывший с ним в Рязани, рассказывал мне, что это сумасшествие произошло от особенной причины. Передаю этот рассказ, как любопытное предание. В том доме, куда отправились дед и Берсенев на вечер, кто-то был сердит на Сергея Андреевича за его невыносимую насмешливость. Дед, окончив игру, сел в уголок, задумался и спросил себе стакан воды. Слуга, который подал воду, войдя в переднюю проговорил будто бы: «Эх, жаль! не тому попалось. Думали, что Сергей Андреевич спрашивает!..» По мнению Петра Леонтьева, болезнь деда произошла именно от этого стакана воды, предназначенного Берсеневу. Но, конечно, причина сумасшествия Туренина заключалась в той страшной печали, которая овладела им во время несчастного процесса.

По первому известию о болезни мужа Надежда Ивановна прискакала в Рязань и с ужасом увидела, что сталось с ним. Он не узнавал ее! Ум его совершенно затмился.

Его беспрестанно мучили видения. Он воображал себя призванным для отмщения какому-то странному существу, которое мелькало перед ним, беспрерывно изменяясь и извиваясь, как змей, а он все гнался за этим видением, все готовился нанести ему удар, но оно исчезало, и больной впадал в исступленное состояние.

Егорьевск. Часовня Святого Николая, 1883 г.
Фотография из фондов ЕИХМ 1883 г.

Но мне трудно и больно останавливаться на этих воспоминаниях: они слишком близки моему сердцу.

Безмерна была печаль Надежды Ивановны. Однако, несмотря на то что душа ее так болела, бедная женщина не теряла присутствия духа и, воротившись домой с помешанным мужем, сделала все необходимые распоряжения. Сергей Андреевич вызвался провожать их; Колымагин дал своих людей. И привезли безумного Туренина в Малеево, где он не узнал детей своих, так дорогих и милых ему в былые дни.

Впрочем, старшая дочь его, то есть моя мать, всегда имела на него чрезвычайное влияние. Сперва она боялась его, но впоследствии почувствовала своим детским инстинктом, что он не сделает ей вреда; и малютка могла удерживать его от порывов бешенства. Надежда Ивановна обрадовалась этому и старалась воспользоваться благодетельным влиянием своей дочери на несчастного. Не раз спасала она его от больших бед. Расскажу один случай: прошло несколько лет после помешательства деда, мать моя подросла, ей было уже десять лет, и влияние ее на больного отца с каждым днем все усиливалось. Раз гуляла она в саду и вдруг увидела ужасную сцену. Отец ее, подкравшись сзади к дворовому человеку, который рубил дрова, выхватил у него топор и, одолев его после недолгой борьбы, пригнул его голову к колоде и занес над ней топор. К счастью, победа слишком восхитила его. Он медлил и улыбался с торжеством, озираясь кругом. В эту минуту мать успела подбежать к нему и спасти человека от явной смерти. Больной, услышав голос дочери, выронил из рук топор.

Каких средств не употребляла Надежда Ивановна для излечения мужа!.. Сколько раз предпринимала она с ним поездки ко святым мощам, горячо молилась, говела и делала посильные приношения! Не раз возила его в Москву для совета с тамошними докторами. Эти предприятия стоили ей чрезвычайных пожертвований; не однажды под-

вергалась она опасности лишиться жизни, потому что с несчастным мужем ее делались такие припадки бешенства в дороге, что одна только помощь божия могла спасти ее от погибели. Все усилия остались тщетными, — ни молитвы, ни правильное лечение у докторов, ни *симпатические средства**, к которым она считала необходимым прибегать. Болезнь была упорна; впрочем, раз или два в год она покидала деда на самое короткое время; он приходил в себя, но не на радость для семейства: тело и дух его были так слабы, что никто не узнал бы в нем прежнего Туренина, которого прямой и сильный ум уважался всеми.

В припадках же сумасшествия он обладал необыкновенною физическою силой. Разные странности рассказывала мне про него мать моя. Часто осенью в дождливую погоду или зимою в сильный мороз он выбегал из дому в одной байковой куртке, останавливался у какой-нибудь стены или сарая и простаивал таким образом суток по двое, не сходя с места, не принимая пищи, устремив глаза к небу и произнося какие-то непонятные речи. Свести его с места силою не было никакой возможности, а от увещаний он приходил в ужасную ярость...

К концу одиннадцатого года страшно напряженный организм его стал заметно ослабевать, и самые припадки сделались гораздо тише. Жена начала надеяться и опять повезла его в Москву. Но бедной женщине как будто суждено было своими распоряжениями ускорять роковую развязку.

В Москве она остановилась на каком-то подворье. Комната, в которой поместили деда, имела одно из окон прямо над воротами; на дворе стояло несколько возов с сеном, и одна из телег приходилась как раз под окном комнаты, которую занимал дед. Больного оставили одного. Он воспользовался этим и, выбив раму, выпрыгнул из окна. Конечно, он не мог ушибиться, упав на сено; но на возу лежало несколько сухих хворостин, и какой-то острый сучок попал ему по челюсти и пронзил насквозь правую щеку. Больного

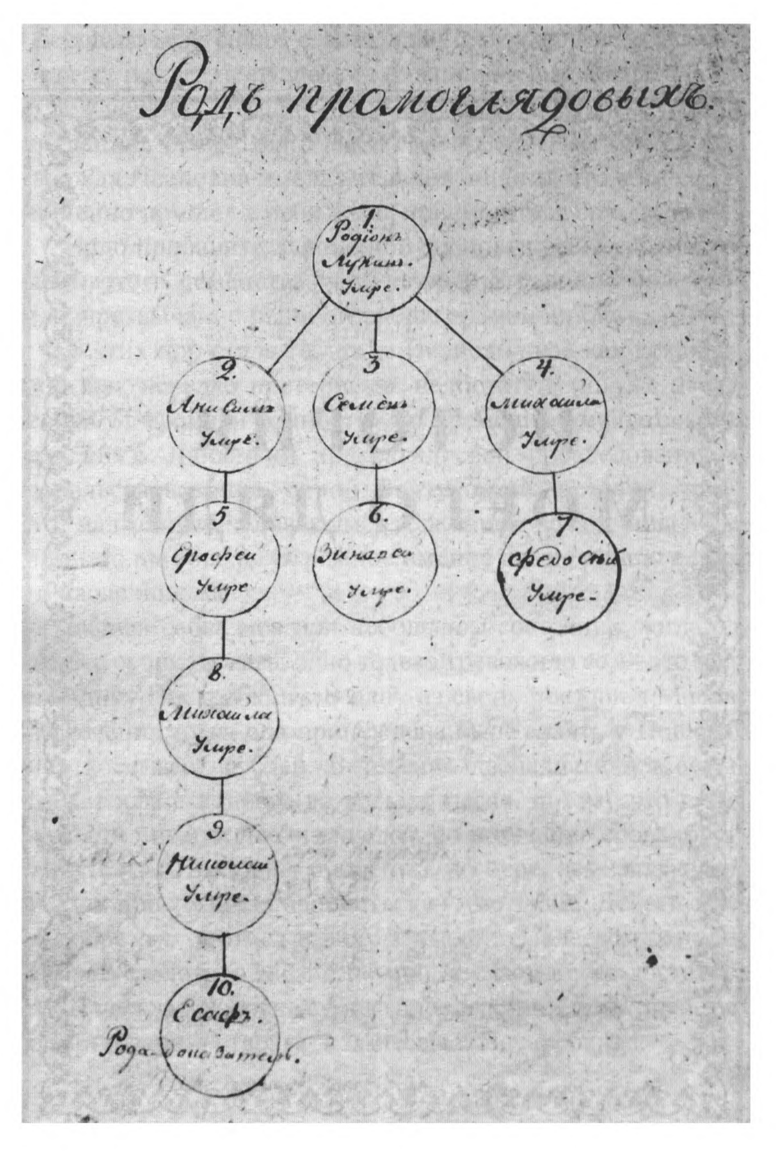
в беспамятстве сняли с воза; рана оказалась не опасною; когда же привезли его домой, она сильно разболелась. Скоро вся челюсть отвалилась у несчастного, и он в тяжких страданиях скончался. Недели за полторы до его смерти Надежда Ивановна имела утешение видеть, что муж ее совершенно пришел в себя и мог приобщиться святых тайн.

Надо прибавить для полной верности рассказа, что все члены этого семейства, измученные страшною болезнью деда, чрезвычайно были огорчены его кончиною.

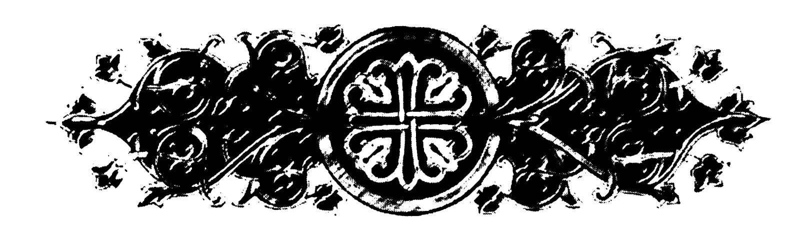
С этих пор стала Надежда Ивановна кое-как доживать свой век, нередко претерпевая недостатки, но уже избавленная от крайней бедности. Со времени помешательства деда князь Любецкий прекратил свои преследования и, удовольствовавшись одной Волтуховкой, оставил тяжбу. Этот надменный человек умер года за три до кончины погубленного им соседа. Огромное имение его не пошло в прок его наследникам.

Бедная бабка моя при небольшом состоянии могла однако же существовать; одно только тревожило ее — это долг помещику Поскребкину. В одну из своих поездок в Москву для лечения мужа она принуждена была занять у Поскребкина восемьсот рублей. В течение двенадцати лет сумма эта выросла с лишком до восьми тысяч, потому что г. Поскребкин никогда не соглашался, по истечение срока, брать от Надежды Ивановны проценты, но переписывал заемное письмо, присоединяя проценты к сумме займа. Действуя таким образом, он имел в виду завладеть Малеевом, которое называл «золотым дном»; но оно, к счастью, не досталось ему. Надежда Ивановна сумела впоследствии, конечно не без пожертвований, отвратить замыслы г. Поскребкина.

ИСТОРИЯ МОЕГО ДЯДИ



Родословная дворян Прямоглядовых.
ГАРО, ф. 98, оп. 30, д. 48, л. 9.



ИСТОРИЯ МОЕГО ДЯДИ

Злополучная участь дяди моего, родного брата моей матери, *Иоасафа Николаевича П-ва** представлялась мне часто, волновала меня чрезвычайно, и я не раз порывался рассказать печальную историю, хорошо мне известную, во всех подробностях. По настоящему, надо было бы сделать это вслед за напечатанным, слишком двадцать лет тому назад, рассказом о деде моем Николае Михайловиче П-вом. Однако какое-то властное побуждение все останавливало меня от этого.

Иногда, сознавая в себе, даже с некоторым смущением, эту странную мою нерешимость, я начинал усиленно думать, все стараясь уяснить ее коренную причину, и именно для того чтобы преодолеть ее. И долго казалось мне, что я еще слишком страстно настроен, что еще слишком ненавистна мне память о *князе ...ском**, так злобно и каверзно погубившем деда и весь род его. «Стало быть, — рассуждал я, — нельзя же мне при таком настроении духа соблюсти полную беспристрастность, полную истину, столь необходимые при повествованиях не беллетристических, а чисто бытовых». Но теперь ясно вижу, что тут было совсем иное: я просто напросто не понимал тогда истории моего дяди: болезненный образ его выступал перед моим воображением не в надлежащем освещении, и значение разных событий, доведших дядю до погибели, вообще было затемнено для меня не только вышеуказанными ошибочными моими предположениями, но и самими подробностями всей исто-

рии, слишком резко, как-то угловато выдававшимися и раздражавшими меня чрезвычайно. Впрочем, хорошо, что я долго промедлил: тяжкое чувство воспоминания о старом зле угасло, и уже не помешает быть вполне беспристрастным в рассказе.

I

Приходится говорить, прежде всего, о родных моих местах. Надо же познакомить читателей хоть несколько с той старинной помещичьей усадьбой *в сельце Михеево**, где родичи моей матери с давних пор жили постоянно и где перевелись они наконец.

Я уже не застал старую усадьбу, но слышал о ней много, да и все-таки видел в детстве моем кое-какие остатки ее, которые в настоящее время совсем исчезли.

Усадьба, собственно родовая, *П-ская**, была большая, очень просторно занесенная, и со многими постройками. Когда она устраивалась в том виде, в каком еще была во время происшествий, закончивших существование старого рода П-вых, русские помещики, и не очень богатые, везде широко селились и обустраивались.

Немало пустырей из-под разных прежних построек застал я на обширном пространстве. По многим, тут же лежавшим пням, больших и небольших, давно уже срубленных деревьев, заметно было, что здесь находился большой сад с аллеями, конечно из лип, тогда так любимых, даже чтимых за целебные свойства своего цвета помещиками срединных великорусских губерний. Но между деревьями вокруг новой помещичьей усадьбы в Михеево, заведенной моим отцом уже в гораздо меньшем против прежнего размере, старых лип вовсе не было, а остался с одной стороны двора только ряд огромных берез, да отдельно и не близко от нового дома стояло несколько таких деревьев, которые, должно быть, тоже ограничивали когда-то старый господ-

ский сад. Надо сказать, что прежний помещичий дом, а также почти все хозяйственные и другие усадебные постройки, равно как и тот большой сад, все это почему-то было сведено до тла как раз после катастрофы с дядей Иоасафом Николаевичем. Вообще, оставшиеся при мне признаки старинной усадьбы: пустыри с мусором на тех местах, где были постройки, рытвины какие-то, заросшие крапивою и чернобыльником, полусгнившие огромные пни, да и эти огромные же березы, со мшистою корою на стволах, с низко опущенными, как у плакучих ив, ветвями, производили печальное впечатление и оттого более, как кажется мне, что новая усадьба нисколько не прикрывала остатков старой, почему и сама она имела вид, как бы полуразрушенной.

Мне рассказывали, что старый господский дом в Михеево был велик, даже чересчур велик, отнюдь не по семье П-вых, которая во всех трех последних ее поколениях состояла из немногих членов. Но по тогдашним понятиям, бывшим в ходу между почти всеми помещиками с достаточным сколько-нибудь состоянием, в П-ском доме завсегда проживали бедные родственники и неимущие дворяне-знакомцы: стало быть, этот излишний простор был тогда даже совершенно необходим. О внутреннем расположении и обстановке дома при строившем его, прадеде моем Михаиле Ерофеевиче П-м, я не имею понятия: от того времени из мебели, например, а также из посуды ничего не осталось, должно быть потому, что дом этот был совсем заново омеблирован дедом моим, Николаем Михайловичем, когда он перебрался в Михеево на постоянное житье. Впрочем, я все-таки нашел несколько предметов, указывавших, на вкусы и на умственное развитие дворянского семейства, проживавшего в старинной михеевской усадьбе. То были книги и картины. Я нашел тут много книг и славянской, и гражданской печати; все последние — елизаветинского, екатерининского времени, и даже печатанные при Петре Первом. И довольно замечательно: по большей части книги

гражданской печати были содержания исторического или сельскохозяйственного. Кроме того, здесь находился большой архив старинных бумаг: царских жалованных грамот на земли, купчих крепостей, раздельных актов, рядных записей, условий на постройку мельниц, планов и межевых книг по генеральному межеванию 1767 года, черновых прошений и отписок по тяжебным делам и, наконец, масса циркулярных распоряжений тогдашних московских властей о принятии мер против чумы и против разбойников.

Немало интересовали меня и картины из старого михеевского дома. В мое детство их налицо состояло около тридцати, но прежде было гораздо больше. Все они изображали апостолов и из верховных и из семидесяти, призванных верховными к великому делу распространения новой религии. Живопись этих картин (а не икон, как признавалось в нашем доме) была не высокого достоинства; однако некоторые из них и в художественном отношении были действительно весьма недурны. Особенно помню лица апостолов-евангелистов: Матфея, Луки, Иоанна и Марка, да еще одного из семидесяти — Варфоломея. Выражение этих лиц спокойное, величавое, именно величавое, было передано сильно, недаром же памятно мне про это даже и теперь.

Кто из старых русских художников, конечно не доморощенных, писал эти картины, кто из моих предков и по какому поводу заказывал их, мои домашние не могли мне объяснить.

Кажется, по этим остаткам книг и картин можно заключить, что семья П-вых принадлежала издавна и последовательно к дворянским семьям, отнюдь не уклонявшимся от образования. Так и должно быть: П-вы, исконные помещики в тамошней местности, проживали недалеко от Москвы; а притом, они состояли в связях родства или доброго знакомства со многими богатыми и знатными родами.

И материальные средства П-вых были довольно обширны: еще прадеду моему, Михаилу Ерофеевичу, принад-

лежало в разных губерниях до тысячи душ; впрочем, дед мой, Николай Михайлович, после разгульного своего житья в Петербурге уже имел в своем владении гораздо меньше, а под конец его жизни, вследствие несчастной тяжбы с князем ...ским оставалось у него, считая тут и приданое жены, только с небольшим сто душ, но и из этого остатка бабка моя для уплаты долгов, накопившихся во время упомянутой тяжбы, принуждена была продать свою последнюю приданную деревню.

Не могу, кстати, не упомянуть, что усадьба П-вых находилась в весьма близком расстоянии от сельца Михеево, почти сливалась с ним. До некоторой степени это доказывало добрые патриархальные отношения между старинным дворянским родом и подвластными ему крестьянами. Я замечал, что в прежнее время, до отмены крепостного права, отдаленно от селений держались усадьбы лишь тех помещиков, у которых крестьяне состояли постоянно на барщине, при которой, как известно, крепостные вообще находились не в цветущем состоянии, что и сознавали они, что иногда и выводило их из терпения.

Да! С отрадным чувством вспоминаю, что у моих предков, со стороны моей матери, отношения к крепостным их крестьянам были нисколько не утеснительные и, стало быть, отличались действительно патриархальным характером. Оттого михеевцы наши, жители небольшой деревни, занимались всегда разными промыслами, а их смышленость, некоторое развитие, особенно же зажиточность, были очень заметны. Недаром исстари, в тогдашнюю глухую для народного образования пору, водились между ними грамотники, чем, конечно, обуславливалась и эта способность их к промысловым занятиям на стороне. Недаром, исстари же, домашняя их жизнь представляла удобства, не часто, далеко не везде, и в настоящее время существующие по великороссийским деревням. Мелкий поселок михеевцев, шедший длинной, ломаной линией по одному только

берегу нашей шибко бегущей речки, был обустроен хорошо: почти каждый крестьянский двор всем своим внешним видом указывал и на зажиточность, и на домовитость своего хозяина, ибо кроме просторных, по большей части крытых тесом двух изб, кроме всяких хозяйственных построек, особенно нужных в крестьянском быту, тут были и впереди и сзади двора огороды, хмельники, бани, овины и пчельники. Вообще, маленькое по численности своего населения Михеево (в мое детство в нем было всего до семидесяти *ревизских мужеского пола душ**) казалось довольно большой деревней.

Прямо перед окнами крестьянских изб, в виду также и господской усадьбы, как раз за речкою, тянулась широкая луговая равнина, ежегодно «понимаемая» весенним разливом Оки и вдали замкнутая туманной полосою Дедновского бора. Приятно было смотреть на эту равнину и во время половодья, и в летнюю пору, и даже осенью. По крайней мере, на меня широкий ее вид, всякое на ней движение, вполне мирного характера, действовали всегда успокоительно.

В этом родовом имении П-вых, постоянно благоустроенном по зажиточности крестьян (и оттого возбуждавшем зависть в некоторых соседних помещиках), в этой местности вообще скудного Егорьевского уезда, местности довольно производительной и промысловой, разнообразной и красивой, а притом густо заселенной народом смышленым, бойким, — весело, спокойно можно было бы жить дворянской семье, имевшей почти до самого конца своего достаточно хорошие материальные средства. Но не так пожилось тут последним представителям старинного рода П-вых.

II

Страшная, долговременная болезнь моего деда и зависевшая оттого печальная домашняя обстановка производили на детей большое влияние, чрезвычайно вредное для

развития их физических и нравственных сил: единственный сын и две дочери Николая Михайловича П-ва были очень болезненны, а притом как-то неестественно, не по детски склонны к мрачной задумчивости. Особенно же это было заметно на сыне (дяде моем) Иоасафе Николаевиче. Еще в начале отрочества он выказывал много странного.

Начать с того, — он был необыкновенно дик и нелюдим. Надежда Ивановна (мать его), начавшая после кончины мужа посещать соседей, никогда не могла взять его с собою по причине упорного, непреодолимого его нежелания; в приезды же гостей в Михеево он всячески старался не показываться им на глаза, запрятывался где-нибудь в доме, в саду или же убегал в деревню. Он был дик до того, что и от взрослых домашних как-то все сторонился; он был гораздо более дик, чем *Миша Г-в** (его побочный брат), у которого, при всей неблагоприятной для нормального его развития домашней в Коломне обстановке, нашлось много постоянной энергии в характере, через что Миша, отнюдь ни с кем мирно не сближаясь, все-таки сталкивался с людьми, его окружавшими, и даже как будто искал столкновений. Дядя-же, Иоасаф Николаевич, в детстве своем был так необщителен, что редко игрывал и с дворовыми своими сверстниками, а от деревенских мальчиков пугливо убегал, вынося их присутствие только при тех случаях, когда Надежда Ивановна брала его с собою на страстно им любимую рыбную ловлю в речке, в мельничных прудах и в прилегавшем к Михееву озере.

Этою же дикостью характера приходится объяснять его тогдашнее отношение к матери. Она любила его, видимо, больше, чем своих дочерей, даже страстно любила, берегла во всем, не спуская с него глаз, баловала через меру, исполняя малейшие и самые причудливые его желания; а этот, столь любимый сын, никогда не умел или не хотел отвечать выражением нежности на материнскую любовь, хотя при всяком заметном для него случае огорчения матери при-

ходил он в такое возбужденное состояние, которое болезненными своими припадками внушало Надежде Ивановне тревожные и горестные опасения.

Насчет баловства матери и исполнения ею всех причудливых желаний странного мальчика, — что рассказывавшие мне о нем признавали главнейшей причиною последовавших бедствий, — никаких особенно характерных подробностей не передавалось, и все наивно сводилось только на одно: на дозволение мальчику предаваться потехе, в которой действительно проявлялось нечто очень диковинное. Потеха эта началась рано и продолжалась настолько, что точно могла произвести глубокое впечатление на детскую душу.

Еще в возрасте от семи до десяти лет маленький Иоасаф стал уединяться в каком-нибудь отдаленном, глухом, густо заросшем уголке сада, а то и уходил на пчельник за садом, где «сидел» старик Мокеич, которого, по-видимому, он очень любил. Затем облюбовал он особенно «Облонье», кочковатое, кое-где мшистое место за пчельником над болотистой частью главного мельничного пруда, где в редком расстоянии одна от другой росли огромные, дуплистые ветлы и ольхи. Надежде Ивановне крайне не нравились эти последние прогулки, и она всячески старалась удержать его от них, но всегда с непреодолимым тоже упорством мальчик настаивал на своем и продолжал туда ходить. Наконец, в возрасте за десять лет он как будто еще более полюбил Облонье, посещал его ежедневно, и не в летнюю только пору, но даже осенью. Впрочем, осенью он уходил туда уже не один, а в сопровождении дворовых мальчиков; они были нужны ему для помощи в той именно потехе, к которой он тогда чрезвычайно пристрастился. Обыкновенно, Иоасаф оставался на Облонье до вечера, иногда до поздней ночи, и Надежда Ивановна была вынуждена уступать странной блажи сына, должно быть из опасения, как бы противоречием его воли не довести его до болезни.

И вот, как начинали спускаться сумерки, мальчик приказывал своим товарищам устраивать возле какого-нибудь старого пня, на который усаживался, большой костер из сухих ветвей.

Разгоравшееся пламя, вспышки, переливы огня, окрестность, омраченная волнистыми тенями сумерек, то странно укладывавшимися между кустами, то мрачно подступавшими к костру, то быстро убегавшими куда-то, отражение красноватого пламени на предметах, на лицах, в формах скользящих и фантастических, треск сгорающих ветвей, звонкие детские голоса, шелест и шорох в кустах, и какие-то иногда смутные гулы ночи, — все это должно было страшно возбудительно действовать на воображение чересчур нервозного мальчика, и без того болезненно напряженное (я сам знаю, до какой степени могло быть сильно такое действие, ибо испытал его несколько раз на себе). Но Надежда Ивановна, как не тревожилась сначала из-за потехи сына, додумалась, что это занятие бодрит его, ибо он так оживленно командует окружавшими его мальчиками, таким смелым тут является, а это-то по соображениям ее и нужно было, как подготовление для его будущей жизни уже взрослым человеком — придется ли ему служить в военной службе или же проживать дома среди помещиков-соседей, которые так любят развлечения, требующие много физической силы и ловкости.

Я не знаю, как шло домашнее образование моего дяди; впрочем, думаю, что вряд ли успешно: детское воображение его было слишком наполнено фантастическими представлениями. По всей вероятности, если бы он оставался всегда дома, болезненное развитие его духа, начавшееся в раннем возрасте, рано же принесло бы свои плоды: или расстроило бы совершенно физическое его здоровье, или довело бы его быстро до умственного расстройства, которое во время было бы замечено. И так уж, конечно, было бы гораздо лучше и для него самого, и для его близких. Но в истории дяди все сплеталось как-то особенно.

Когда Иоасафу П-ву исполнилось от роду ровно двенадцать лет, крестный отец его, *Николай Захарович Апухтин**, счел необходимым вмешаться в дело окончательного его образования. Он сам приехал в Михеево за мальчиком, чтобы отвезти его в кадетский корпус, куда он был записан заранее. И не будь сильной настойчивости со стороны Апухтина, вряд ли решилась бы Надежда Ивановна расстаться с любимым сыном: она не прочь была от того, чтобы сын, уже совсем на возраст, поступил бы в военную службу, но ей казалось ужасным поместить такого слабого здоровьем мальчика в военно-учебное заведение, в котором, как было общеизвестно, обращались с воспитанниками крайне сурово. Очень долго противилась она Апухтину, все высказывая, что сердце ее предчувствует тут какую-то беду. Но старик не внял всяким мольбам матери уже потому, что хорошо подметил, как сын ее изнежен и избалован. Он настоял-таки на своем, убедив окончательно Надежду Ивановну тем, что сам будет постоянно и заботливо наблюдать за положением крестника в кадетском корпусе. Обещанию этому она должна была поверить, не говоря уже о том, что Апухтин был искренним другом ее мужа, он, и по своему служебному положению (кажется, он был тогда уже сенатором), и по родственным отношениям своим к *известному Руничу**, мог пользоваться некоторым значением даже в учебном мире военного ведомства.

Итак, Апухтин увез тогда в Петербург моего дядю, захватив также с собой двоих сыновей Николая Андреевича Берсенева, да и Мишу Г-ва, — первых для помещения в кадетский же корпус, а последнего, чтобы пристроить к какому-нибудь коммерческому делу.

Не знаю я, как учился и в кадетском корпусе Иоасаф П-в, пробывший там что-то очень долго, чуть ли не более восьми годов, но, должно быть, тамошнее учение его было опять-таки неудовлетворительно: по окончании курса он был выпущен «для определения к штатским делам» с чи-

ном коллежского регистратора, а известно, что так всегда выпускали из кадетских корпусов лишь таких кадетов, которые по успехам в науках были уже совсем плохи. Впрочем, может быть, и физическая болезненность Иоасафа П-ва воспрепятствовала выпуску его в военную службу.

Что же касается до положения дяди в кадетском корпусе, то Апухтин вполне сдержал свое обещание. Он заботился о своем крестнике как истинный родной. Конечно, мальчику и при всех тогдашних суровых порядках в корпусах было очень сносно и ничто не могло его там ожесточить. Но, тем не менее, корпусное воспитание не оказало хорошего влияния на нравственную природу михеевского дикаря, оно нисколько не дисциплинировало его дикий характер, а притом не придало ему и должной силы даже для простой деревенской жизни, как это и обнаружилось очень скоро.

Впрочем, мне рассказывали тоже, что на Иоасафа П-ва во время его пребывания в кадетском корпусе имел самое нехорошее влияние побочный брат его Михаил Николаевич Г-в. Но никакими фактами это не подтверждалось, да и трудно предположить даже то, именно как могли тогда входить между собой в сношения молодые люди, из которых один воспитывался в стенах строго-замкнутого военно-учебного заведения, а другой занимался извозничеством.

III

Иоасаф Николаевич П-в возвратился домой, не предупредив о том свою мать. Приезд его в Михеево был совершенной неожиданностью.

К тому времени Надежду Ивановну очень состарили, почти совсем одолели в физической силе и немощи преклонных лет, и заботы по дому, переполненному, как и прежде, большой дворнею, разными приживальцами, а всего более состарило, одолело то, что она не смогла позабыть горестные события при жизни своего несчастного мужа. Как и пре-

жде, добрая, милостивая старушка сделалась мало-помалу брюзгливою, о чем-то всегда тоскующею, на все ропщущую и нередко всеми недовольную. Может быть, это происходило оттого, что разлучили ее «насильно» с сыном, на котором, чуть ли не со времени его рождения, сосредотачивались все ее надежды. Но от слишком долгого отсутствия сына надежды эти все больше и больше потухали и заменились, наконец, безотрадным, почти гневным ожиданием его возвращения. И уже по этому, может быть, она встретила любимого своего сына вовсе не радостно, даже как будто тоскливо.

Старшей сестры (моя мать), с которою в детские годы Иоасаф довольно ладил, он не застал уже дома; за полгода до его приезда она вышла замуж, а вскоре потом уехала с мужем в Черниговскую губернию, где и пробыла слишком три года. А с младшей сестрой он никогда не ладил, не смотря на то, что характер ее, тоже склонный к фантастичности, казалось, и подходил к его характеру. Эта сестра отнеслась к брату при первой встрече его с особенно заметным равнодушием, даже с каким-то оскорбительным пренебрежением.

Но и крепостная домашняя прислуга приняла молодого михеевского барина не хорошо, без малейшего проявления радости; напротив того, она выказала в отношении к нему явно преувеличенную, совершенно тогда неосновательную боязливость. Прислуга эта, нисколько не запуганная барским с ней обращением, почему-то, с первого же взгляда, порешила об Иоасафе Николаевиче, что «уж больно горденек молодой барин, знать, и на всю-то жизнь понахватался чужого духа, — и навряд можно будет уживаться с ним»...

Кстати, тут скажу: предположение о гордости Иоасафа Николаевича, появившееся у михеевской прислуги на первых же порах, было довольно странно, ибо у молодого человека решительно ни в чем не выражалась такая черта характера, черта, вообще, очень крупная, так сказать, прямо бьющая в глаза; однако все: и приживальцы, и соседи-поме-

щики, и даже мать, считали Иоасафа Николаевича высшей степени горделивым; — так наивные тогдашние люди объясняли мрачную его сторону. Впрочем, Бог весть, ошибались ли они или же внутренним чутьем своим верно угадывали.

Самый дом, да и вся столь знакомая родная усадьба, должно быть, показались новому хозяину неприветными, холод на душу наводящими: недаром на первых же порах по возвращении домой не однажды проговаривал он, ни к кому не обращаясь, а как то бы с самим собою рассуждая, что, однако, было подслушано домочадцами: «Тюрьма какая-то здесь, — даже тяжко дышать, — ничуть не лучше прежнего»…

Эта последняя ссылка на что-то «прежнее» не приятна была домочадцам: они так понимали ее, что барин осуждает всю прошлую жизнь в родительском доме.

«Ну, и за что, про что охаивает, инда родителей своих трогает, баловник этакий!» — говорили они об этом промеж себя и с приживальцами.

Господская усадьба в Михееве, в то время уже очень обветшалая, должна была показаться Иоасафу Николаевичу чрезвычайно мрачною оттого больше, что все не кровные ему в этой усадьбе пугливо сторонились от него, а кровные — мать и сестра, глядели как-то не радостно. Он видел — и тяжко почувствовал все это. Вырвавшись, наконец, из стен, в которых так горьки были и неволя, и полная отчужденность от всего родного, привычного с юных дней, он не находил дома той отрады, о какой, наверное, страстно мечтал. Простора же, свободы деревенской покуда еще не мог он подметить, — и скорбное, томящее чувство охватило его мгновенно и на беду до конца не покинуло.

Но и сам он был причиною, что явилось это скорбное чувство. Уже первая встреча его с матерью и с сестрою указывает на то резко и твердо.

Он вошел в михеевский свой дом, как после только что оконченной и недолгой прогулки, на которой ничто не об-

ратило его внимания, про которую нечего было ему рассказать. Очень холодно поздоровался он с матерью и сестрой, прошептал как-то мимоходом, что, вот, «Слава Богу, живы и здоровы», потом, ни о чем не расспрашивая, ничего не рассказывая, начал говорить, что очень устал от долгой дороги и что заснуть ему тотчас же хочется; ни с кем же из домашней прислуги и из приживальцев даже и слова он не промолвил.

Надежда Ивановна была поражена тогдашней холодностью сына. Она не вытерпела и сразу стала на то жаловаться и своим домашним, и посторонним лицам.

— Разве можно так домой вернуться? — говорила она, — а восемь годов не видалися!.. В восемь годов — что я о нем передумала, как горевала!.. А он словно чужой... Коли там позабывал про нас, оно и не мудрено: пожалуй, и некогда было вспомнить, — так дома-то, при первой-то встрече, как бы всего не вспомнить!.. А еще — и это главное для меня, — хоть бы про то порассказал: как там, в корпусе-то, было, как маялся, и как там учили... Ведь я обо всем этом думала, думала!..

Под этим «все» старушка подразумевала многое-многое, отчего часто ныла душа ее, переполненная тоскою о единственном, любимом сыне, которого «насильно» оторвали от нее. Она не могла не огорчаться до глубины души при виде этой неестественной холодности сына, выказанной им при возвращении домой после столь продолжительной разлуки.

Он с неспокойной душою возвратился в родные места. И это могло быть очень заметно для простых людей, окружавших его дома. Но, конечно, не будучи в состоянии определить причину и степень этого беспокойства, — не могли они сострадательно извинить молодому человеку того чересчур не сообщительного, невесть от чего мрачного обращения со всеми, которое, всего скорее, и истолковали крайне брезгливой горделивостью, с особенной силой

пробудившеюся в Иоасафе Николаевиче при виде совсем обветшалого родительского дома, при виде всей скудной обстановке в этом доме.

И в дни, последовавшие за возвращением, Иоасаф Николаевич вел себя, как чужой, как постоялец на короткое время, и притом, как постоялец крайне капризный. Ни с того, ни с сего он часто менял свое перемещение в доме и, таким образом, обошел больше половины комнат. Ему нигде не жилось, должно быть, все казалось, что везде-то ему мешают. И ни чем, что тогда было во всеобщем ходу у наших помещиков, он не занялся: ни псовой охотою, ни верховой ездой, ни посвящением соседей, ни хозяйничаньем по дому и по имению. А между тем, последнее занятие, хотя бы и мало соответствовавшее его незрелой и крайне не опытной молодости, очень бы нужно было по Михееву. Правда, Михеево чуть не спокон веку состояло на оброке и, стало быть, не представлялось в нем тех забот, какие неминуемы были в барщинных имениях; но две хозяйственные статьи требовали и тут помещичьего наблюдения, помещичьих распоряжений. Во-первых, половина лугов находилась всегда в непосредственном господском пользовании — частью убиралась для надобностей усадьбы, а частью сдавалась ежегодно посторонним съемщикам, и вот, тотчас после того, как разлив Оки спадал с лугов михеевских (об эту-то пору и вернулся домой Иоасаф Николаевич), надо же было барину внимательно осмотреть эти луга, чтобы расценить их подесятинно и затем вовремя «заказать», то- есть запретить для пастьбы деревенского скота, запустив уже «под траву» для сенокошения, назначив также заранее, какие десятины для усадьбы убирать и какие можно выпустить в отдачу. Во-вторых, водяная мукомольная мельница, на которой «сидел» мельник, обыкновенно из коломенцев, знатоков по этой части, тоже находилась в пользовании господском, и всегда после половодья требовалось много хлопот по исправлению всего перепор-

ченного водою в плотине и в мельничном стане. Надежда Ивановна, пока была в силах, сама распоряжалась по обеим вышеозначенным доходным статьям, но уже года за три до возвращения сына, вынуждена была она предоставить все в распоряжение приказчику, Петру Леонтьеву, человеку, хоть и честному, верному, но крайне бесхарактерному и не умевшему ладить с крестьянами. Иоасаф Николаевич должен бы был тотчас же приняться тут за дело, на что и надеялась его мать, о чем и просила она его несколько раз, но он, как приехал в Михеево, ни разу не изволил побывать ни на лугах, ни на мельнице, — не только не побывал, но и не пообещал взглянуть на хозяйственные статьи, составлявшие довольно значительную часть в тогдашнем годовом бюджете П-вых.

Все это было неприятно Надежде Ивановне. А впрочем, она еще не очень сетовала на то, что сын не хочет заняться хозяйским делом, что даже вовсе не обращает на него внимания, она кручинилась собственно о том, что Иоасаф: «вот ничего-таки не порасскажет, как все там, в Питере было», что «он и говорить-то с матерью почти что не желает», что он «прячется ото всех, словно невесть каких бед где-то понаделал».

Последнюю черту в домашнем поведении сына старушка верно подметила. Точно: он как будто прятался от всех. Не говоря уже о том, что он решительно не хотел, хоть бы единожды, объехать соседних помещиков, — когда кто нибудь из них навещал михеевскую усадьбу, он тотчас уходил из дому и бродил по окрестностям до отъезда гостей; если же гости оставались ночевать, и тогда не доводилось им увидеть нового михеевского помещика, так как он отправлялся к священнику села Маливы, где и заночевывал. Иоасаф Николаевич даже с особенным каким-то намерением сторонился от людей, равных ему по общественному положению. В воскресные дни и в большие годовые праздники он уезжал к обедне не в свою приходскую церковь в

селе Макшеево, а в церковь села Маливы, тогда уже состоявшего в казенном ведомстве, и где нельзя было встретить соседей помещиков. А это обстоятельство очень огорчало Надежду Ивановну, она не могла понять, как это можно ездить к обедне в чужую церковь, да и не вместе со своей семьей. Наконец, и эта беспрерывная перемена комнат для жилья в своем собственном доме, на которую, как на причину всегдашнего беспорядка, очень гневалась младшая сестра Иоасафа Николаевича, тоже указывала, до некоторой степени,что михеевский дикарь-барин и у себя прячется от самых близких ему людей.

Надежда Ивановна, хоть, видимо, и недовольная сыном, недаром она многим и часто жаловалась на него, все-таки его любила, хоть, может быть, и меньше прежнего. Я даже предполагаю, что наверное так: она любила тогда уже не столько его самого, сколько будущее родной семьи. Впрочем, она постоянно заботилась о всяческом спокойствии сына: и чтобы домашний стол приготовлялся по его вкусу, по его желаниям, которые она и старалась угадывать, так как сам он никогда их не выказывал, и чтобы в выбираемой им для себя комнате все было расположено и устроено, как ему хочется, и чтобы домашняя прислуга угождала ему на каждом шагу. И все это отнюдь не приводило к внутреннему ладу в доме. Конечно, всего более мешал тут Иоасаф Николаевич полнейшим невниманием к заботам о нем же, да и сама Надежда Ивановна мешала именно тем, что никак не могла воздержаться от попреков сыну за непонятную эту нелюдимость его, за решительное его уклонение от всякого хозяйственного дела по имению, младшая же сестра уже и слишком пылко выказывала свое неудовольствие на «причуды» брата.

Старушка все-таки была права. Чутким материнским сердцем она верно угадывала в то время, что сын ее, этот нелюдимый дикарь, от всех и от нее самой диковинно сторонящийся, не то что прихотничает или скучает дома в семье, но именно тоскует о чем-то, а если тоскует, то, стало

быть, болеет душою. И много страдала она из-за того, да не смогла тут «делом разобраться», все не додумывалась, чем бы унять окончательно эту тоскливость. Ей казалось одно лишь возможным с ее стороны: постоянной твердой настойчивостью насчет того, чтобы принялся он хоть сколько-нибудь за хозяйство, отвлечь его от тоскливых мыслей. Но, должно быть, в этих настойчивых стараниях своих она ошибалась: по всей вероятности, лучше было бы, если б оставила она сына в совершенном спокойствии, ни с чем к нему не приставая, как, наверное, она и сделала бы при прежних душевных своих силах, при прежней своей проницательности. Но все же старушка была права. Во всех отношениях ее к сыну, несомненно, выражалась искренняя заботливость только о нем одном. А этот сын и младшая его сестра, конечно, были неправы: он, в этой странной тоскливости своей, она, в своем пылком неудовольствии на брата за безурядицу в доме; оба они были слишком эгоистичны, только самих себя видели…

Иоасаф Николаевич точно тосковал и, разумеется, не по жизни в кадетском корпусе и не о том, что уже нет вокруг него разнообразного движения большого города; такой тоски не могло быть в нем, в человеке сыздавна сосредоточенном в самом себе. Он тосковал о чем-то ином, непонятном не только для других, но и для него самого. Кто знает, может быть, то было смутное сознание бессилия собственной воли, того бессилия, которое зародилось в нем вследствие душевных потрясений во время страшной болезни его отца, а развилось сначала дома, от возможности предаваться потехе, чрезмерно подавлявшей воображение, а потом среди казенной обстановки кадетского корпуса, от горько почувствованного одиночества; но, может быть, тут сказывалось и общее ослабление душевных сил по причине каких-либо вредных влияний, в роде, например, предполагаемого от сообщества с Михаилом Г-вым. Но я решаюсь и то думать, что в тогдашней тоскливости моего несчастно-

го дяди участвовало, до некоторой степени, и болезненное предчувствие рокового конца для него, последнего представителя угасающего рода. Предположение мое может показаться странным, мистичным, но я не отрешусь от него…

IV

Иоасаф Николаевич скоро узнал, что его нелюдимость для всех в дому неприятна: однажды сестра его прямо в глаза ему и очень запальчиво высказала, что его «всегдашние причуды все вверх дном в доме поставили, а нелюдимость его, добрых людей начинает от них отбивать», что и было на самом деле. Он ничего не ответил на эти обвинения, но, как видно, тогда же решился как можно меньше оставаться дома. И вот, пустился он бродить по окрестностям Михеево с ружьем, как будто для охоты, и всегда один одинешенек.

Сильно была встревожена этим Надежда Ивановна; ей вообразилось, что ее дикарь — Есаня, истосковавшись совсем, задумал покончить с собою самоубийством, как сделал это незадолго перед тем какой-то молодой человек из зарайских дворян. Не добившись никакими убеждениями, чтобы сын оставил свои «опасные» прогулки, она придумала, наконец, подослать к нему для постоянного, бдительного за ним наблюдения дворового малого, Макарку, которого хоть и не жаловала вообще за разные его проказы, но считала по его смышлености, как нельзя более способным не только исполнить в точности ее поручение, но и понравиться барину.

Выбор сделан был удачно. Макарка, расторопный, веселый и даже умный малый, очень годился для такого дела. К тому же поручение барыни пришлось ему с чего-то по нраву — и он так ловко принялся за него, что сразу пристроился, а затем и подладился к мрачно-задумчивому, ни с кем неласковому барину. Макарка даже полюбил барина, как и доказал это на деле впоследствии. Полюбил его и Иоасаф Николаевич, и, должно быть, потому именно, что

вообще противоположные характеры всего скорее сходятся. Но в этом сближении моего дяди с крепостным малым (кстати сказать, ровесником ему по возрасту) тоже проявилось что-то роковое.

Затем, в непродолжительном времени, прислуга михеевской господской усадьбы стала подмечать, что между молодым барином и Макаркою образовалась какая-то тайна, что недаром же Макарка все уводит барина из окрестностей Михеево в чужие места, по направлению к Маливскому бору и куда-то дальше, что эти прогулки делаются вовсе не для ружейной охоты, что, наконец, недаром Макарка «след заметает», ничего не рассказывает о прогулках, а однажды прогнал и даже поколотил мальчонку, подосланного подсмотреть, куда от Маливского бора дальше пойдут эти охотники, всегда возвращавшиеся домой с пустыми руками. Из всего этого прислуга предположила нехорошие шашни, и вдруг какая-то случайность разом открыла в чем дело. Оказалось, что михеевский барин познакомился слишком близко с солдаткою Маринкою, проживавшею в одной из деревень, принадлежавших к бывшему маливскому имению князя ...ского.

Знакомство это сладилось очень просто и через самого Иоасафа Николаевича. Набродившись как-то до изнеможения, он зашел в первое попавшееся ему на глаза жилье, чтобы попросить воды напиться, а хозяйка жилья, одиноко в нем проживавшая, приняла его чрезвычайно ласково и сразу полюбилась ему. Но михеевская дворня именно Макарке приписала и первое свидание, и последовавшее за тем знакомство, приписала потому, что малый-то был очень шаловлив по части любовных похождений.

Услужливые дворовые женщины не преминули тотчас же доложить старой барыне о таких нехороших проказах.

А старая барыня сильно прогневалась. Может быть, на этот раз ей особенно горько припомнился подобный же грех покойного ее мужа; но ее взволновало и то, что связь

сына с этой солдаткою, о красоте и разгуле которой было известно во всем околотке, могла очень попрепятствовать созревшим уже тогда у Надежды Ивановны планам: женить сына, чтобы таким образом поскорее сделать его настоящим помещиком, настоящим семьянином-хозяином.

Надежда Ивановна немедленно же и с большей горячностью высказала сыну все свое неудовольствие на его связь с развратной «хамкой», на его поведение, которое может вовлечь его в пагубу, которое, во всяком случае, даже и без пагубных последствий должно будет показаться всем честным людям крайне зазорным.

И странно: Иоасаф Николаевич выслушал упреки матери тихо, вполне покорно, каялся искренно в проступке, просил со слезами прощения и за себя, и за Макарку, который в глазах Надежды Ивановны был «особенно» виноват. Впрочем, совершенно успокоенная полным раскаянием сына, Надежда Ивановна тотчас же простила обоих виновных.

Однако скорехонько стало видно, что за улаживанием этого неприятного дела, не водворилось в доме спокойствие, как надеялась было старушка. Последствия, быстро развившиеся, показали, что тут все как-то происходило на беду…

Во-первых, очень легко послушавшись матери в деле немаловажном, Иоасаф Николаевич не сделался покорнее в отношении других и самых простых ее требований. Так, опять он отказывался наотрез посетить соседей. Впрочем, предлогом для этого отказа он выставлял сначала именно то, что ему теперь некогда разъезжать по гостям и принимать гостей, так как он хочет непременно дополнить самостоятельным трудом свое образование, слишком недостаточное по причине частого его нездоровья в кадетском корпусе.

— Но ты еще успеешь позаняться этим, — заметила старуха .

— Успею сойтись и с соседями. Это немудрено — стоит только сделаться завзятым охотником с борзыми да гончими, а не то пуститься в карты играть, всего же лучше в выпивке отличиться… — довольно резко возразил он.

Старушка обиделась:

— Разве я посылаю тебя к соседям для картежной игры, для выпивок этих? Да с чего ты взял, что наши соседи картежники да пьяницы?.. Грешно так-то зря отзываться о добрых людях! То-то я вижу, очень уж ты горденек приехал из этого немецкого Питера.

Он ничего не ответил на это, и Надежда Ивановна не стала с ним больше спорить, потому что он все-таки обещал делом позаняться.

И пошло все по-прежнему, то есть как все сложилось в П-ском доме вскоре по возвращении Иоасафа Николаевича. Он был так же необщителен, угрюм, холоден со всеми. Но одну новость можно было заметить в его домашнем образе жизни: он перестал менять комнаты, облюбовал себе наиболее отдаленную от всех прочих жилых и чуть ли не самую худшую — и никуда уже не выходил из нее.

Мать не оставила его и теперь без наблюдения и наблюдала лично. Сначала казалось ей, что все идет довольно благополучно. Иоасаф Николаевич, точно, принялся за чтение книг, привезенных им в немалом количестве, и читал их, по-видимому, с большим усердием. Вскоре хватился он и за домашние старые книги, которые, однако, на первых же порах ему не понравились. Тогда достал он себе от маливского священника все части *Четьи-Минеи**. Огромные книги эти всего более заняли его: за ними он сидел постоянно, вслух все читал их, когда был один в своей комнате, и не редко проводил за этим чтением большую часть долгой осенней ночи.

Конечно все это заметила мать — и опять встревожилась. Она соображала, что угрюмая задумчивость сына сделалась в последнее время особенно мрачною от чтения ду-

ховных книг, от которых, как она слыхала от приживальца, старичка Суховеркова, многие расстраивались в уме. А ей так памятна была душевная болезнь ее мужа, да и подозревала она несколько, что Есаня ее отчего-то душевно порасстроен. И в самом деле, признаки какого-то нового состояния души этого несчастного человека были так очевидны: задумчивость его усилилась до высшей степени, так, что по целым дням он иногда ни с кем не говорил и на самые простые вопросы не отвечал, есть он стал чрезвычайно мало и неохотно, а это долгое чтение по ночам уже указывало на начавшуюся бессонницу, почти всегда несомненную предвестницу умственного расстройства.

Так заканчивались эти попытки молодого человека дополнить свое образование самостоятельным трудом, постоянным чтением, чему было порадовалась старушка мать. Теперь она решительно не знала, что сделать ей с сыном.

А между тем настала поздняя уже октябрьская осень. На ту пору редко появлялись заморозки, все больше дожди сеяли да сеяли. Ночи стояли темные претемные. В михеевской усадьбе как-то еще мрачнее и глуше стало, может быть, потому особенно, что уже никто в нее не наезжал. В это-то время беспокойство Надежды Ивановны о сыне достигло высшей степени, вследствие новой перемены в ежедневных занятиях Иоасафа Николаевича.

Он вдруг оторвался от всяких книг, покинул свое уединение и опять пустился бродить по окрестностям Михеево. Как ни уговаривала его мать, представляя, что и холодно, и сыро, и так неприглядно теперь в полях и лугах, он ничему не внимал и уходил непременно.

Опасения старушки были очень основательны, гораздо основательнее, чем при первых прогулках Иоасафа Николаевича, — теперь он выходил из дому явно уже без мысли об охоте, хотя и брал всегда с собою охотничье ружье, так как выходы свои пригонял к вечеру, когда начинались уже сумерки, а возвращался уже ночью, иногда даже очень

поздно. Скрепя сердце, Надежда Ивановна решилась опять приставить к сыну для наблюдения расторопного Макарку, наказав ему, однако, строго-настрого, чтобы уже отнюдь не осмеливался он провожать барина к Маринке.

Сначала Иоасаф Николаевич был крайне недоволен, что Макарка тоже участвует в его прогулке. В продолжение нескольких дней он все прогонял его от себя.

— Подослан ты, шпион! — кричал он, — подослан подсматривать, мешать тоже. А как это глупо! Что захочу, никто, ничем не помешает…

Мало-помалу он допустил-таки к себе Макарку, но не по-прежнему, никогда уже не говорил с ним и даже как будто вовсе не замечал его.

Впрочем, скоро Макарка понадобился ему. Он стал захаживать уже на одно только место, на любимое свое Облонье, где, наконец, опять принялся за потеху, которую так любил, бывало, в пору своего отрочества.

На старом каком-нибудь пне усаживался он, подзывал к себе Макарку, а тот уже знал, что ему делать. Проворный малый устраивал огромный костер и зажигал его. Работа, нельзя сказать, чтобы была легкая: часто дождь мешал, да и трудненько было развести большой огонь в костре из отсыревших сучьев. Но барин не дозволял позвать кого-нибудь на помощь, строго приказывал он, чтобы Макарка один хлопотал, и тот так усердствовал, что костер-таки разгорался, пылал ярко и долго. И так прихватывалось много ночной поры.

О чем тогда думал мой бедный дядя, всматриваясь в омраченную глубокими тенями осенней ночи местность, и при дневном свете дикую, неприглядную? Видно было только одно, что душу его сильно охватило какое-то расстройство. Он так неспокоен был, часто и порывисто схватывался со своего пня, начинал говорить, рассуждать о чем-то с самим собою, и вообще, волнение его было так чрезвычайно, что даже пугало Макарку.

И вот что странно — теперешнее зажигание костров на Облонье уже не удовлетворяло Иоасафа Николаевича. Он уже не видел в нем того, что так оживляло, бодрило его, как, по крайней мере, думала мать. Всякий раз, уходя домой, он говорил самому себе, видимо чем-то недовольный:

— Нет! Это не то. И вовсе не того бы надо…

Слова постоянно были одни и те же, конечно, и тайный смысл их был одинаков. Но этот смысл так и остался неразгаданным.

Что вышло бы из этого нравственного состояния, если бы оно еще продолжалось при всей тогдашней обстановке дяди, конечно, нельзя наверное сказать, но можно с основанием предполагать, что окончилось бы оно в самом скором времени окончательным умопомешательством. И повторяю, если б так случилось, было бы гораздо лучше, по крайней мере, болезнь была бы вовремя замечена, а там она не представила бы особенно опасных явлений.

Как раз при наставшем после долгой осени первозимье, приезд в Михеево гостя издалека вдруг оживил Иоасафа Николаевича, вызвал в нем энергию и, таким образом, как будто вывел его из душевного состояния, близкого к сумасшествию.

V

В один из прекрасных дней первозимья лихая коломенская тройка с колокольцами и бубенчиками, с громким посвистом молодого ямщика подкатила к крыльцу П-ского дома. Из саней проворно выскочил молодой человек в лисьей, крытой синим сукном шубе, подпоясанной красным шелковым кушаком. То был нежданный негаданный гость, Михаил Николаевич Г-в.

Его сразу все узнали — и хозяева дома, и прислуга.

Он очень вырос, возмужал лицом и всем станом. Это был уже мужчина годов под тридцать, в полном развитии

сил, молодцеватый и красивый, хоть и нехороша была его рыжая, клочковатая бородка, к тому же костюм столичного щеголя-купца уже ничуть не напоминал в нем того невзрачного, деревенского жителя, который в мешковатом кафтанчике восемь лет тому назад уехал с Апухтиным в Питер. Словом, Михаил Николаевич Г-в, против прежнего, совершенно изменился; однако все его узнали. Да и как было не узнать? Большие синие глаза с зорким, упорно-пристальным, смелым до дерзости взглядом были те же, что и прежде, равно как и голос, несколько глухой, и речь, резко твердая, медленная, отрывистая.

И никто ему не обрадовался, кроме Иоасафа Николаевича, который, как только увидел его, с чрезвычайным восторгом и волнением кинулся к нему на шею; да пожалуй, можно сказать, что обрадовалась и Надежда Ивановна. Старушка приняла своего питомца приветливо, хотя и без особенной излиятельности, может быть потому, что в течение с лишком восьми лет ни одного письма она не получила от него.

Он привез всем хорошие, ценные подарки. Уже это могло указывать, что он хотел добром вспомнить свое сиротское житье в Михеево, что он хотел задобрить в отношении себя всех, с кем прежде жил так неладно. А притом со всеми он был на речах очень вежлив и ласков. Однако ни столичные гостинцы, ни ласковые речи не произвели на людей, невзлюбивших его еще мальчиком, ни малейшего в его пользу впечатления. Все поблагодарили за подарки, но словно остались недовольны и ими, как были недовольны слишком явно, в самый раз его неожиданному приезду. В михеевской дворне, у которой, как видно, были свои общие традиционные понятия о характерах чужих людей, порешили скорехонько, что Миша-Белый (это прозвище завсегда оставалось за ним в Михеево) наверняка все таков же, каким и прежде был, даром, что сделался как есть питерским купцом, что Миши-Белого, как он там не подлаживайся ко

всем, всякий, кто его знавал еще парнишкою, остерегаться должен по той самой причине, что он чисто начисто волчьей природы: не пристал к дому с первоначала, ну и никогда-таки добром не пристанет.

И это довольно странное предубеждение против Миши-Белого росло и развивалось с каждым днем. Скоро начались в дворне оживленные толки насчет того: «Зачем, дескать, он сюда явился? Долго ли погостит у нас? И чем таким станет крутить-мутить в доме?» Толки эти, занимавшие решительно всех михеевских домочадцев, не могли не дойти до Надежды Ивановны, владычествовавшей в своем господском дому патриархально и всегда знавшей все, что в нем происходит. И на нее произвели они немалое впечатление. Тотчас же ей самой пришло на мысль: «А зачем это, в самом деле, приехал Миша?» Какое-то смутное подозрение вдруг встревожило ее. Она решилась спросить питомца о настоящей цели его приезда и о том также, долго ли он думает погостить в Михеево.

Он, видимо, обиделся.

— Матушка сударыня, — сказал он, хоть и тихим, ровным голосом, но очень нахмурившись, — а кажись бы, никого я не обеспокоил тем, что в Михеево это заехал.

— Да я вовсе не о беспокойстве, — продолжала старушка, — видишь, по правде сказать, мне как-то странно; ведь с самого отъезда в Питер хоть бы единым словечком весточку о себе подал, — ну и думалось: стало быть совсем отрезанный ломоть, ан, вот поди, вдруг словно с неба свалился! Ты поверь, я нисколько не тягощусь, я даже рада, что вижу тебя таким молодцом и в достатке, а все же хотелось бы знать: что такое вдруг напомнило тебе об нас?

— Известно-с, уж это так заказано издавна, — отвечал он, и раздражение его явно стало прорываться наружу, — известно, должен же я помнить, что здесь меня, сироту, кормили, одевали-обували, на ноги тоже для дела поставили… А захотелось побывать и на родимой стороне, хотя там нет

ни кола, ни двора, ну вот и сюда заехал. Вы и сами, как встретили-то, кажись, ничего супротив не имели, барин же, Иоасаф Николаевич, так и очень милостиво приняли меня. А коли изволите, сию же минуту уеду…

Но Надежда Ивановна как будто и не слыхала последних слов насчет отъезда; ее особенно заинтересовало упоминание о приеме Миши Г-ва Иоасафом Николаевичем. Она вдруг сообразила, что сын ее, столь холодный в обращении со всеми родными, что-то уж чересчур обрадовался Мише, на которого он должен был смотреть, как на чужого, и это внезапное соображение пошло почему-то и дальше.

— Скажи-ка ты мне, по всей откровенности, — спросила она, смотря на него опять-таки подозрительно, — ну с чего такого мог Есаня…. Нет! Впрочем, я не про то хотела… Ох, да уж спрошу напрямки: стало быть, там, в Питере, видались вы частенько, и надо быть очень сошлись… Ну, как же это? Вот об этом-то я и хотела бы знать досконально.

Этот вопрос окончательно раздражил Г-ва.

— Оно и точно-с, по одной-то статье стою я, пожалуй, хуже нищего, почитай, что хуже собаки, так и не пристало бы михеевскому барину водиться с таким-то… А как быть, греху этому тяжкому простить придется, матушка-сударыня, а хоть бы вы и прогневаться изволили, так дело-то уже сделано… А больше про сие самое ничего не скажу, — отвечал он с недобрым, ядовито-насмешливым выражением и в голосе, и в самих словах.

— И понять не могу: что тут такое? Да, бог же с тобой, если ты… — старушка, однако, не договорила, разом прервав разговор. Вероятно, она уже покаялась, что как-то невзначай его затеяла.

Разговор имел последствия.

Тотчас же заметили домашние, что после того Миша-Белый прошел в комнату Иоасафа Николаевича, долго с ним беседовал, и, должно быть, беседа была секретная,

потому что все время продолжалась она при наглухо затворенных дверях, и все шепотом. Затем вдруг Иоасаф Николаевич непривычно громким голосом отдал приказание, чтобы лошадей ему скорее закладывали.

Надежда Ивановна сильно всполошилась, когда услыхала об этом неожиданном приказании.

— Да куда же ты, Есаня? И как же это вдруг, не сказавшись наперед? — заговорила она с тревогою, спешно войдя в комнату сына.

— Миша уезжает, а я еду провожать, — отвечал Иоасаф Николаевич.

— Это еще что такое! Выдумки какие-то! Прогоняют его, что ли отсюда?

— Матушка-сударыня, — промолвил Г-в, — уж как же быть, надобно мне уехать беспременно. Здесь-то что же мне проживать? Я ведь докладывал, что заезжал в ваше Михеево только для того, чтобы поблагодарить за все прежние милости… В Питере же у меня промысел, которым хлеб добываю.

— Ну, голубчик, — сухо возразила старушка, — ты-то уезжай, твоя воля, насильно мил тебе не будешь, и то сказать… А тебе, Есаня не след… Да нет же! — добавила она, уже с ласкою обращаясь к своему питомцу, — как это и тебе, Миша, вздумалось покидать нас ровно по всполоху? Сам рассуди: ну, как перед обедом отъезжать, да и в дальнюю еще дорогу? От хлеба-соли нельзя отказываться. И вспомнить же должен, что приглашают тебя к хлебу-соли не в чужом же дому… Вот пообедаешь с нами и поезжай с Богом. А Есаню, голубчик, пожалуйста, не неволь к дальним проводам…

— За хлеб за соль ваши, — отвечал он тихо, но с особенной, резкой твердостью, — за хлеб за соль поблагодарил я, как умел, а уехать, уеду сейчас же. Так оно порешено, и никто не удержит. Коли вы не прикажете лошадей мне дать, я и пешком уйду… Так-то-с. А насчет проводов, я Иоасафа

Николаевича с собою не подзывал, и как ему будет угодно-с...

— Что же ты... мучить, что ли меня хочешь? Я поеду, провожу, хочу, хочу проводить! Я же велел запрягать. И разве не могу, не имею воли и в этом доме! — вскричал Иоасаф Николаевич в чрезвычайном волнении, которое испугало Надежду Ивановну.

— Ах, поезжайте, больше ни слова не вымолвлю, — прошептала она и вышла из комнаты.

Сначала старушке было только обидно и как хозяйке дома, и как матери, но вдруг и страшно показалось ей, что Есаня пойдет куда-то вот с этим «сорвиголовою», о котором она не могла теперь и подумать без негодования. Не решилась она, однако, опять пойти для переговоров с сыном и отправила к нему свою любимицу Елизарьевну, вдову камердинера своего мужа, чтобы она, женщина ловкая и степенная, упросила барина вернуться домой поскорее, как только проводит он Мишу Г-ва до Коломны, куда, по предположению Надежды Ивановны, отъезжал теперь ее «неблагодарный» питомец.

Но посланничество ловкой Елизарьевны ровно ни к чему не повело. Иоасаф Николаевич явно рассердился, как только заговорила она о поручении своем к нему от барыни, не захотел и дослушать ее мягких, жалобных речей и даже ногами на нее затопал, а Миша-Белый, по своему обычаю, стал «сбивать ее с толку».

— А ты, Елизар Елизарыч, — так вот обозвал меня, матушка-барыня, — рассказывала степенная любимица Надежды Ивановны, — а ты доложи, что мол, вернется барин, когда ему надобно это будет, сам ведь рассудить может о том, не птенец же он махонький да бескрылый. Ну, и то, пожалуй, доложи, что в самой Коломне, да и вокруг Коломны премного есть монастырей мужских и женских, так, мол, захотят тоже пообъехать монастыри, богомолье, вишь, у них на уме. А при таких-то речах вдруг как захохочет! Это

все он, матушка, это все он, выродок этакий ехидный, прости Господи!

После того Надежда Ивановна и не пыталась больше переговариваться. Лишь одно пришло было ей на мысль из особенной предосторожности: она хотела приказать, чтобы Макарка отнюдь не смел отправляться с барином, но барин ему именно и велел ехать за кучера. Старушка не воспротивилась этому, а затем даже и не взглянула в окно, когда молодые люди выезжали со двора.

Это было еще первое распоряжение Иоасафа Николаевича, явно сделанное в противность воле матери, распоряжение, тем более неприятное для нее, что прежде он, хоть и настойчивый чрезвычайно насчет своих домашних занятий, никогда и ничего не делал по дому самовластно, предоставляя все решительно матери, столь уж давнишней домовладыке.

Впрочем, беда была не в этом непокорстве Иоасафа Николаевича, как бы резко не началось оно, и даже не в дальнейших, еще более непокорных его поступках, а именно в том оказалась беда, что по причине всех этих поступков бедная мать как-то совсем отвлеклась от первоначальных своих предположений о душевном расстройстве сына.

VI

Надежда Ивановна предчувствовала, что поездка для проводов Миши Г-ва поведет к чему-то недоброму; так оно и случилось. Недаром Иоасаф Николаевич вернулся домой только на четвертый день.

Нехорошо провел он время в Коломне. Надежда Ивановна удостоверилась в этом вполне.

На другой же день после отъезда сына, видя, что он не возвращается, и беспокоясь из-за того, она отправила приказчика михеевского, Петра Леонтьева (родного брата кучера того же имени) с приказанием, разыскать и упросить

барина, чтобы «сделал божескую милость», ехал бы домой немедленно, так как, дескать, старая барыня нездорова (она и в самом деле прихворнула от волнения и огорчения по поводу последней истории). Через него-то и узнала все Надежда Ивановна.

Петр Леонтьев исполнил, однако, свое щекотливое поручение не во всей точности. Он разыскал барина очень скоро, а переговорить с ним, отнюдь, не решился и даже на глаза ему не показался. Поступил же он так по самой необходимости.

Иоасаф Николаевич все время был не один; Михаил Г-в держался при нем безотлучно. Подступиться к Иоасафу Николаевичу оттого еще было труднее, что молодые остановились не в гостинице (тогда в уездных городах их и не существовало), даже не на постоялом дворе, а у какого-то разудалого ямщика-троечника, почему-то хорошо знакомого Г-ву. И тут «всего было», — шло такое веселье, что михеевский приказчик, все-таки вертевшийся около дома ямщика и потому знавший, что там происходит, даже диву дался.

И как было не подивиться? Этот молодой барин, дичившийся всех в Михеево и, помимо недолгой своей блажи с Маринкою, ведший дома жизнь самую тихую, скромную, почти что монашескую, вдруг выказывает шумную, на все безудержную удаль, какой уже никак невозможно было бы ожидать от него. И где выказывает удаль эту? В чужом-то городе, на чужих-то людях, которые, глядя на него, с издевкою проговаривали Леонтьичу: — А вишь ты, молодой барин ваш весело начинает погуливать, ну, и вам надо ждать, куда весело будет.

Старому служителю дворянского дома, в котором, по причине особенно тяжких и печальных обстоятельств, уже издавна все шло тихо, скромно и очень чинно, в высшей степени было неприятно слышать такой отзыв чужих людей о новом своем барине, и, хотя он видел, что молодого человека втянул и втягивает в кутеж Миша-Белый, тем

не менее, и то ему показалось, что это не впервой уже так, что «Есафу-то Николаевичу за привычку такие нехорошие дела, что, надо быть, еще в Питере подкатился к нему с этим Мишка-Белый, недаром же так и обрадовались они друг другу, свидевшись в Михеево».

По возвращении домой Петр Леонтьев ничего-таки не таил от барыни: ни про все коломенское разгулье, ни про то, что слышал от чужих людей о барине, ни про свои вышеуказанные предположения и выводы, которые, пожалуй, были и не безосновательны. А старушке барыне и в голову не пришло попрекнуть приказчика за неточное выполнение всего ее наказа. Новая неожиданность со стороны сына поразила ее. Она даже слегла в постель, разнемогшись уже очень серьезно.

Но возвратился Иоасаф Николаевич в должном порядке, прямо сказать, нисколько не пьяный. Только на лице его, всегда бледном, очень худощавом, с правильными, несколько женственными чертами, заметны были следы крайнего физического утомления, а притом, и темносерые глаза его, прежде всегда прямо и пристально устремляемые на того, с кем он начинал говорить, — характерный признак членов его рода — были теперь полузакрыты и как бы робко потуплены в землю.

Войдя в переднюю, он, видимо, собирался с духом, чтобы спросить встретившего его лакея, где находится мать, в диванной или в спальне? И только после довольно продолжительного раздумья решился войти в ее комнату.

Она тяжело привстала с постели и, не говоря ему ни слова, заплакала.

— Простите… вы, конечно, уж знаете… — прошептал он, но вдруг громко и твердо добавил, — не мог же я, матушка, забыть, что он брат мне по отцу. Да я и люблю его.

— Есаня! — возразила старушка, — можно бы помнить, что он брат тебе, можно бы признавать это хоть перед целым светом и без того, что у вас там было.

— Что ж… он желал весело проститься… он так просил… — промолвил Иоасаф Николаевич уже опять робким голосом.

И ничего больше не было сказано.

Надежда Ивановна, женщина очень умная, давно привыкла управлять душевными своими движениями, когда вдруг случалось ей находиться в трудных обстоятельствах, и на ту пору она была еще в силах преодолевать гневное свое раздражение против сына, хотя в глазах ее он был виноват чрезвычайно. Но она легко тогда сообразила, что попреки ее сыну ни к чему не поведут, разве только породят в нем тайное неудовольствие, которое при случае скажется в порыве непокорства ее воле, подобно тому, что проявился при проводах Михайлы Г-ва. «Благо сам повинился, — порешила она, — так лучше оставить его без выговоров, да и смотреть, что дальше будет».

А кстати, и Макарка, строго допрошенный, много успокоил ее; он клялся, божился, что хотя барин и покутил с Мишей-Белым, который уже уехал в Питер, но больше ничего худого не было, и барин к Маринке не заезжал, и даже об ней не вспомнил (об этом-то особенно крепко старушка допрашивала).

Затем в михеевской господской усадьбе все пошло тихо, гладко и несравненно лучше прежнего. Иоасаф Николаевич вдруг изменился окончательно. Он стал обходительнее со всеми и как будто веселее, уже не сидел все время в своей комнате, охотно разговаривал с матерью, рассказывал ей и про кадетское житье-бытье и про дом Апухтиных и уклонялся отвечать только на вопросы об отношениях своих к Г-ву — как и где сблизился и почему так сильно полюбил этого человека, столь несходного с ним по характеру.

Такая перемена в сыне (впрочем, очень странная и по внезапности ее, и потому, что она произошла как раз после событий, выказавших в молодом человеке черты нехорошие) несказанно обрадовала Надежду Ивановну, и она в

первый же хороший зимний день весело предложила Иоасафу Николаевичу съездить вместе с нею к *уездному предводителю дворянства Андрею Ивановичу Повалишину**. Молодой человек отговаривался сначала, просил отложить на некоторое время поездку, но это противоречие его было непродолжительно, и он согласился ехать тогда же.

В эту первую поездку сделали даже два визита: от Повалишина заезжали к ближайшим *соседям, Змеевым**, а вскоре потом объехали всех прочих соседей. И все обошлось так хорошо. Новый михеевский помещик, о котором уже начинали было соседи думать неблагоприятно, все-таки понравился им, несмотря на его неразговорчивость, даже какую-то дикость (что впоследствии было истолковано в смысле неукротимой его гордости); он был недурен собой, да заметили все по тихой вежливости его речей и приемов, что он привычен к хорошему обществу.

Прошло несколько месяцев, и все было безмятежно, вполне благополучно. Повеселела старая михеевская усадьба. Опять стали посещать ее соседи, и уже ни разу не прятался от них Иоасаф Николаевич. Правда нападала иногда на него тоскливость, мрачная, как и прежде, но Надежда Ивановна уже не тревожилась, так как подобное настроение скоро проходило. Старушка опять стала рассчитывать, что план ее о женитьбе сына, об окончательном устройстве его судьбы, удастся теперь непременно. Она уже не сомневалась, что в этом важном деле, о котором она думала денно и нощно, сын беспрекословно послушается. Стало быть, надобно было только подыскать ему добрую жену, что оказывалось, однако, не легким делом, так как в соседних помещичьих домах не было подходящих невест.

Весна настала, первая по возвращении Иоасафа Николаевича домой. Разлив Оки, *нашей речки** и окрестных озер уединил тогда михеевскую господскую усадьбу довольно надолго от всех соседей помещиков; но оттого не скучнее в ней стало. Пора половодья всегда особенно оживляла наше

Михеево. Плаванья на «острова», лов остатков от разбитых ледоходом зазимовавших на Оке барок (этим «береговым» правом михеевцы очень пользовались), гулянья во всю Святую неделю на лодках и челнах по широкому разливу, — все это возбуждало в михеевцах расторопную, бодрую, смелую и веселую деятельность, и тогдашнее их веселье сочувственно отзывалось в господской усадьбе; там с раннего утра до поздней ночи рассказывалось о разных происшествиях с жителями нашей деревни, о похождениях их при вышеуказанных занятиях, об удачах и неудачах, даже о случаях при праздничной гульбе, — и шли обо всем этом нескончаемые разговоры и толки. Так бывало прежде, так было и при новом михеевском барине.

Он веселился на ту пору, как никогда, конечно, не было в его жизни. Он плавал и на «острова», катался ежедневно в лодке по разливу вокруг Михеева, — дальше, на самое «стремя» Оки, Надежда Ивановна упросила-таки его, отнюдь, не пускаться; и уже нисколько не дичился михеевских своих крестьян, так что охотно входил в их интересы и даже принимался иногда за разбор их споров и мелких ссор. Радовала его вполне эта простая и мирная крестьянская жизнь со всеми ее подробностями, которую он еще недавно как будто и не замечал вовсе, радовала до того, что о своем родном гнезде, о Михееве, он отзывался уже с чрезвычайным восторгом. Радовалась и Надежда Ивановна, глядя на все это, но, бедная, она не заметила, что этот восторг чересчур уже силен, что, может быть, он и не по силам для этой больной и уже много расстроенной души.

Спала полая вода с михеевских лугов, и настало время для хозяйственных распоряжений по «заказу» этих лугов, по расценке их и по распределению — что оставить для потребностей господской усадьбы, что пустить под отдачу съемщикам; всем этим, по желанию матери, с большой охотою занялся молодой михеевский барин.

Тогда Надежда Ивановна уже совсем уверилась, что сын ее стал как иной человек, что прежняя блажная хан-

дра никогда не проявится в нем, почему и решилась переговорить с ним «окончательно» о своем задушевном плане насчет его женитьбы. Но она опять очень ошиблась. Иоасаф Николаевич и слышать не хотел о женитьбе; притом он выказал такое огорчение, что можно было и очень тому подивиться.

Как ни тяжело было матери отказаться от столь желанного плана опять на неопределенное время, она только раз поговорила о том, и то не настойчиво.

Но и от такого малозначащего разговора, который к тому же не возобновлялся, осталось в Иоасафе Николаевиче впечатление тягостное и очень продолжительное. Тотчас после того он стал удаляться от матери и от всех, и вообще тоскливое настроение духа вдруг воротилось к нему. И уже не одна мрачная печаль замечалась в этом настроении, но и какое-то постоянное раздражение. Он был недоволен всем и всеми, при малейшем противоречии его воле вспыхивал в нем сильнейший гнев и раза два-три в отношениях его к домашней жизни проглянуло что-то крутое и суровое.

VII

Прошел покос, пора веселая и оживленная, но Иоасафа Николаевича не развлекло общее веселье. Он был мрачен, раздражителен и по-прежнему не склонен к дельным занятиям. И вдруг вывел его из этой апатии наезд пьяного дедновского бурмистра на михеевские луга для отгона скота нашей деревни. Молодой человек воспламенился было чрезвычайно и хотел бежать на луга со своим двуствольным ружьем, да к счастью Надежда Ивановна уговорила его предоставить самим михеевцам защитить свой скот от нападающих.

Затем по желанию матери он отправился к генералу Измайлову с жалобою на бурмистра и на дедновцев, и тогда-то случилось то роковое происшествие, которого Наде-

жда Ивановна уже никак не ожидала, считая повод к нему навсегда устраненным.

На возвратном пути из *горецкой усадьбы генерала Измайлова** Иоасаф Николаевич вдруг приказал свернуть с дороги на Дедново и Михеево на ту, которая вела в Коломну.

— А куда ж это теперича поедем? — возразил кучер Петр Леонтьев, остановив лошадей на перекрестке дорог.

— В Коломну мне надо. Ну, пошел же! — крикнул Иоасаф Николаевич.

— Хоша воля ваша барская, — опять-таки возразил кучер, сыздавна привыкший откровенно объясняться со своими господами, — ну, да как же ехать в Коломну, когда барыня ждет не дождется?... И лошади тоже устали. Нет уж воля ваша!

И он поворотил на дорогу в Дедново.

Стремительно схватил барин за шиворот ослушника кучера, перегнул его с козел вовнутрь коляски, избил нещадно и с неестественною силою выкинул бедняка через дверцу наземь. А тем временем Макарка уже успел подобрать вожжи, выпавшие из рук оторопевшего Леонтьича, и уселся на его месте во всей исправности.

— Макарка!.. Знаешь дорогу в Коломну?.. — чуть внятным от волнения голосом проговорил Иоасаф Николаевич.

— Знаю! — во весь голос гаркнул Макарка и шибко погнал четверню старых, но хороших лошадей михеевской господской усадьбы по направлению к городу.

Петр Леонтьев так был избит, что насилу дотащился до Михеева. Было время позднее, после ужинов, когда он явился к Надежде Ивановне и доложил обо всем, много плачась и жалуясь на столь большую обиду, нанесенную ему, старому и верному служителю. Но, выслушав доклад, барыня на Леонтьева же напустилась с горькими попреками за то именно, «как мог он довести дело своими глупыми противоречиями

до того, что, вот, барин взял да и уехал с этим негодяем Маркою, отчего теперь и неведомо будет, с кем, и как компанию поведет Иоасаф Николаевич в Коломне, когда и куда оттуда отправится?» И долго попрекала она Леонтьича, говоря ему, что по глупости своей не понимает он, какой беды наделал, а беда выйдет великая, неминучая.

Упрямый кучер, отнюдь, не понимал, за что это его же, разобиженного, так бранят-тачают, и много жаловался уже на саму барыню. Но не до него теперь было всем в михеевской дворне.

И точно: все там переполошились, и гораздо-гораздо более, чем было после неожиданной поездки барина с Мишею-Белым. Побои Петру Леонтьеву страшно перепугали прислугу. Особенно дворовые замужние женщины ужасались и волновались.

— Ах, матушка-барыня, — говорили они Надежде Ивановне, и поодиночке, а иной раз, собираясь и на общую жалобу, — ах, и как же будет тепереча? Барин-то драться зачал!.. Известно, воля ваша барская, а допреж сего николи так-то не бывало… Ведь, пожалуй, со свету сживет!..

Но и приживальцы (которых на ту пору оставалось уже немного): дальний родственник, старичок Суховерков, молоденькая Бегичева и какая-то Анна Петровна, тоже сильно заволновались. Все они, особенно же кривая и пресердитая Анна Петровна, стали приставать к Надежде Ивановне, — как, дескать, изволит она посоветовать и приказать, «что им-то, горемыкам, делать тепереча? При такой горячности Есафа Николаевича как бы и им худа не вышло? И не лучше ли, дескать, будет, если хоть бы на время поразъехались они из Михеева, их же добрые люди где-нибудь все-таки примут».

В этом беспокойстве михеевских домочадцев проявлялось нечто вроде общественного мнения, или, лучше сказать, общественного чувства. Надежда Ивановна отнеслась к нему без малейшего раздражения, хотя дело шло о близком ей человеке.

Осторожно уговаривала она всех, чтобы не тревожить чересчур, «вот, мол, приедет Есаф Николаич, так она тотчас же и порядком ему выговорит за то, что руку поднял на верного служителя и притом решительно воспретит обижать этак-то людей; да наконец, барин — добрый, кроткий человек, а что вспылил он невзначай, грехом как-то это содеялось, и уж, конечно, нельзя еще того ждать...»

Она успокаивала других, а сама страшно беспокоилась и печалилась. Ясно было, что опять все пошло на разлад в семье, и как-то странно, без всякой особенной причины. Ну, как же, в самом деле, после свидания с генералом Измайловым, окончившегося так благополучно (про что рассказал ей кучер), сын вместо того, чтобы обрадовать ее этим известием, вдруг уезжает, невесть зачем, в Коломну... Стало быть, таил же он на уме что-нибудь нехорошее...

Она догадывалась о причине этой внезапной поездки; тут дело шло уже не о кутеже с Михайлою Г-вым, «а должно быть, надумался, — и видно было, что думает-думает о чем-то, — опять навестить ту проклятую хамку, которая, может статься, и колдовством приманивает его к себе». Эта мысль о «хамке» представлялась старушке неотразимо, и казалась ей — в высшей степени ужасною.

И что было тут поделать? Ни о посылке за непослушным сыном, ни о своей поездке за ним нельзя было и думать. Оставалось, скрепя сердце, ждать и ждать, что будет дальше, да «Господу Богу надо теперь молиться по всяк час, чтобы миновалось безвредно лихое напущение это от проклятого колдовства»...

VIII

А между тем, Иоасаф Николаевич стремглав бросался к тому, о чем он думал давно и трудно, все с более и более разгоравшеюся страстностью.

Хотелось бы выяснить, как это сделалось.

Когда мать строго упрекнула его за Маринку, он тотчас же покаялся и совсем разорвал связь, еще далеко не окрепшую. Можно было подумать при этом, что дело, начавшееся случайно и прекращенное так разом — простая, ничтожная шалость молодого человека. Но уже по тому, в каком настроении духа очутился он после того, следовало бы заметить, что нелегко он переносил этот разрыв. Впрочем, возвращаясь из Коломны, после кутежа с побочным своим братом, он не заехал к удалой солдатке, хоть это было и по дороге; а во-вторых, все его затем поведение, когда он был так спокоен, сообщителен со всеми и даже весел, казалось, уже несомненно доказывало, что страсть его к этой женщине совершенно исчезла. Соображая все это, невольно признаешь очень странным психическим явлением, что страсть, совсем исчезнувшая, без малейшего внешнего повода пробудилась с непреодолимой силою.

Я полагаю, что неосторожно, не в пору сообщенное со стороны матери намерение приступить к исполнению плана насчет женитьбы все-таки не могло быть тут побудительною причиной. Конечно, главнейшая причина лежала гораздо глубже. То была, действительно, страсть роковая, и не по одним только последствиям ее, а по самой ее сущности. То была страсть человека, совершенно еще неокрепшего в умственных своих силах, человека по природным своим качествам способного увлечься чрезвычайно всем, что с первого же разу могло подействовать властно на его слишком живую, болезненно развившуюся, фантазию... Но, может быть, и тот разговор с матерью насчет женитьбы, после которого он стал опять мрачен и раздражителен, несколько посодействовал беде, по крайней мере, ускорил ее; впоследствии было дознано, что как раз затем и начались потаенные беседы Иоасафа Николаевича с Макаркою все об удалой солдатке.

Впрочем, он ничего тогда не говорил насчет намерения своего опять сблизиться с Маринкою. Он только расспра-

шивал: «Где она? что поделывает? весело ли ей, бедной? Или же нехорошо живется: доводится не песни распевать, а мозолить руки на черной, тяжелой работе у чужих людей?..» Он все жалел о ней, расспрашивая, так жалел, что волнение его было очень заметно и для Макарки, который надивиться не мог тому, что барин чересчур уже беспокоится из-за этакой «самой простой бабенки».

Но вот михеевский барин на перепутье — в Коломне. Он ни на минуту не остановился бы там, но надо же было выкормить усталых лошадей. И как же он сердился на это промедление, как торопил Макарку, чтобы скорее запрягал «проклятых кляч»! Бедный Макарка все время, пока выкармливались лошади, не знал, куда и деваться от порывов нетерпения и гнева барина. Затем, как тронулись в путь, даром что пришлось проехать не более восьми верст, крепко досталось михеевским старым коням. Вплоть до деревни, подле которой проживала солдатка Маринка, грозно понукаемый барином, Макарка летел сломя голову.

На ту пору Маринка была дома, в своей «хибарке», стоявшей на отлете от небольшой деревушки за малым леском — у вершины глубокого, длинного, заросшего густыми кустами оврага, конец которого входил в другой большой и темный лес. Эту удобную по местоположению «хибарку» удалая солдатка выстроила как-то беспрепятственно со стороны казенных крестьян на денежки, добытые от всякой кутящей братии, всего же более от молодых купчиков торгового города Коломны, куда она в базарные дни отправлялась с большой охотою и откуда, однако, к ночи всегда домой возвращалась хозяйничать, заниматься своими какими-то делами.

И в самом деле, Маринка, несмотря на весь свой солдатский разгул, была хозяйка домовитая. В «хибарке» ее, по наружности весьма неказистой, хорошо все было устроено, прилажено и прибрано, да и просторно, даже чересчур просторно для одной жилицы.

Кстати, должно быть, домишко Маринкин, в котором было три комнатки: две светлых, с оконцами, а третья совершенно темная, имел два выхода — один прямо на дорогу, неподалеку от которой стоял этот домишко, а другой — из темной комнатки чрез темные же сени, с несколькими чуланами, да через задний, совсем пустой, дворик с калиткою, как-раз на крутой обрыв в тот овраг, о котором выше сказано.

Поговаривали в околотке, что у солдатки Маринки иногда по ночам бывают гости, нехорошие люди, что иногда эти гости слишком шумно гуляют, ссорятся и озорничают, и что при таких случаях Маринка спасается от них через какой-то особый выход из своего жилья в темный овраг, где ее уж никак нельзя найти. Вообще и сама разгульная солдатка, уроженка не той деревни, подле которой она жила, и жилье ее диковинное, походившее снаружи не на избу, в сторонке построенную, а на какую- то громадную кучу соломы и хворосту, — довольно давно уже были отмечены в толках окрестных крестьян и не добром поминались...

В этот-то страшный притон спешил теперь Иоасаф Николаевич, увлекаемый и разгоревшейся в нем страстью и несчастною судьбою.

Маринка встретила его радостно — это было очень заметно; но внезапному приезду после столь долговременной разлуки она как будто вовсе не удивилась.

— А я так и знала, — крикнула она, когда он выскакивал из коляски, — а я так и знала, что темноглазый мой барин не забудет-таки меня и заедет, беспременно заедет!.. (Рассказывая об этом свидании, Макарка всего более дивился тому, «ну, как могла она знать, что барин беспременно заедет к ней, видно, и впрямь была она колдовка настоящая...»)

Прекрасная лицом, статная, подвижная, как ртуть, с развязною, находчивой речью, ласковая притом бесконечно, а пуще всего веселая, веселая до того, что веселость ее

сообщалась неотразимо всякому, кто был с нею, — она, конечно, должна была иметь чрезвычайно сильное влияние на болезненно-впечатлительную натуру моего дяди.

Встреча была искренно-нежная и жаркая. Эта женщина, такая обольстительная и внезапно обрадовавшаяся, этот молодой человек, до высшей степени возбужденный страстью, — я готов был бы сказать про эту их встречу, что сама по себе она так хороша, что, глядя на нее, нельзя не увлечься радостным чувством, если б не знал, чем все это кончилось.

Миновали восторги встречи, и резко выглянули только не для Иоасафа Николаевича иные стороны в характере удалой солдатки.

— А привез ты мне гостинцев? — стала она спрашивать у своего «темноглазого» барина, — ехал, ведь, из города, ну, как бы не привезти… Ан не привез, не надумался!.. Чай, и угощеньица разного нету с собой?.. Вишь, совсем налегке! А едет в такой колымаге, что можно бы добрый воз всякой-всячины наложить… Эх ты, а еще барин, и молоденький такой, а за бабами гоняешься!.. Есть ли деньги-то при тебе, по крайности, на угощеньица?

Денег у него оказалось очень маловато на покупку всего, что было нужно по ее расчету.

— Ну, это не важность, — сказала она, — давай-ка, что у тебя есть, а я своих добавлю, у меня еще не все перевелися, какие недавнышко добыла, — и при последних словах, громко смеясь, плясом прошлась она по комнатке.

Потом проворно стала она распоряжаться, и кое-что в этих распоряжениях должно было бы показаться очень странным, очень подозрительным; но михеевский барин как будто и не слышал, что она говорила.

Во-первых, она приказала Макарке немедленно же ехать в Коломну, там оставить на постоялом дворе, или где он знает, коляску и тройку лошадей, а на четвертой скорехонько, «вскачь», воротиться сюда, в хибарку, с куплен-

ными угощеньицами; во-вторых, тут же объявила, что эту четвертую лошадь; «здесь-то, на всякий случай, надо будет поставить, уж нечего делать, в сенцах»; что наконец барина и Макарку продержит она у себя во весь завтрашний день, а пожалуй, и на всю следующую ночь, — «продержала бы и дольше, больно хотела бы продержать», да вишь ты, еще нельзя, покуда не распорядилась она насчет приездов «темноглазенького баринка».

Все так и сделал Макарка, как велела ему эта бойкая женщина, которой слушался он пуще, чем барина. Впрочем, он и сам додумался, чем дополнить предусмотрительные, «на всяк случай», распоряжения хозяйки притона; оставив коляску и тройку лошадей у знакомого коломенского ямщика, он вернулся к хибарке на самой худшей лошади, чтобы не так убыточно было, если уж придется тут пропадать.

Денег дано было Макарке довольно; он привез много «хорошего» вина и много всяких закусок, и тотчас же началось угощенье, веселье шумное и разгульное.

Но Макарке было не весело. На ту пору, в первый еще раз, показал он, что искренно и твердо предан своему барину. Не выходили у него из ума слова Маринкины насчет того, что надо припрятать лошадь в сенцах, что она, Маринка, хочет продержать у себя барина во весь завтрашний день, а пожалуй, продержит и во всю следующую ночь. Он решился наотрез отказываться от угащиванья хозяйки и сладкою водочкою, и хорошим вином. Сидя на пороге калитки, над обрывом в овраг, он все всматривался в лес, неоглядно раскинувшийся по обе стороны оврага и на ту пору, от белесоватой мглы июльской ночи, казавшийся темным-претемным; он все вслушивался в забиравшиеся иногда в глубь оврага какие-то гулы. Невольно оторопь охватывала молодого парня, хотя и шаловливого, но очень приобыкшего к тишине михеевской господской усадьбы, да притом и очень сметливого.

Правда, хибарка Маринкина была хорошо знакома ему с той самой поры, как барин сознакомился с хозяйкою; но тогда барин захаживал сюда только днем, оставался ненадолго и сам поспешал уходить перед вечером, да и хозяйка, бывало, всегда выпроваживала его от себя. А теперь она оставляет барина на две ночи; ночью же все это место кажется таким глухим, «нехорошим» местом, да и те загадочные слова Маринки, сказанные перед посылкою его в Коломну и на которые барин почему-то не обратил ни малейшего внимания, –– все это возбуждало в малом тяжкую подозрительность и сильнейшую робость.

Раза два-три, вслед за выходом к нему хозяйки для угощенья, он провожал ее вовнутрь хибарки, «чтобы посмотреть на своего барина». И не успокаивал, а еще больше тревожил его барин.

Иоасаф Николаевич то лежал на сдвинутых скамьях, закинув руки за голову, с закрытыми глазами и о чем-то думал, — думал, наверное, что было заметно по напряженно-сдвинутым бровям, по судорожным движениям рта, по тому, наконец, что все лицо его по временам вдруг становилось не то что сердитым, а «страшным»; то вскакивал и начинал пылко целовать Маринку, да упрашивать ее, чтобы пела, «веселее пела»; а то вдруг, приказав ей замолчать, опрометью выбегал во входную со стороны дверь, как будто для того, чтобы присмотреться и прислушаться к чему-то. «И, Бог его знает, что с ним тогда было, только навряд, чтобы оченно запьянел, того ничуть-таки нельзя было заприметить…» — так вообще рассказывал Макарка о тогдашнем странном состоянии Иоасафа Николаевича.

А удалая солдатка все «вилась» вокруг темноглазенького своего барина и на чудные порывы его волнения как будто не обращала никакого внимания, может быть, и потому, что уж слишком хорошо знала его чудный характер.

И вот Макарка, посмотревши еще раз на барина своего, когда он показался ему особенно «чуден», уже совсем

поддался тоскливому своему страху и решился немедленно переговорить «обо всем» с хозяйкою.

— Марина Прокофьевна, — сказал он, выпив на этот раз полный стакан вина и по неотступной ее просьбе и ради смелости, так как он чувствовал, что оторопь вконец его одолевает, — буду просить теперича, в ногах буду валяться, — барина-то нашего пожалейте…

— Как это пожалеть? — спросила она, вдруг понахмурившись, и уже не веселым своим голосом.

— Да уж больно чуден становится, захмелел, что ли… Оно бы ничего, случалось и дома так-то: чудит, чудит… А неровен час, чудить здесь-то, как-быть, вовсе не приходится, здешнее место… не в осуду будь сказано, ох, и больно-то оно глуховато!..

— Вижу, куда ты гнешь, ну и что ж такое!.. А подумал бы: коли было бы чего бояться, не задержала бы. Про нынешнюю ночь нечего и калякать, тоже и назавтра, надо быть… А на всяк случай, для завтрашней ночи… Эх, да никого-таки сюда не пущу! И отбиться можно: нас трое, — я, ведь, тоже за себя постою, у нас же два топора есть, а с ними лежит и большой нож отточенный… А не моги и приставать ко мне из-за этого! Я за все отвечаю!

Уже другая она была, как это говорила: стоит на одном месте, как вкопанная, голова позакинута вверх, лицо бледное и строгое-строгое, а глаза, широко раскрытые и устремленные на темный лес, страховито горят…

Всю эту ночь Макарка не смыкал глаз и только с началом рассвета маленько соснул. Когда же проснулся и увидал хозяйку, а барин тогда еще не вставал, прежние страхи вдруг в нем возникли, и он опять пустился в расспросы, очень путаясь, однако, в них: «А как бы, мол, не случилось чего в другую-то ночь? Как бы сделать, чтобы никакого худа наверняка уже не вышло?» Но на этот раз хозяйка ничуть не позадумалась, а только смеялась над «глупехонькими» расспросами и, наконец, пообещала по-

дарить Макарке за бабью его трусость свой рваный сарафан.

В этот день, показавшийся Макарке чрезвычайно длинным, Иоасаф Николаевич с своей полюбовницей много гулял по опушке леса. Им так весело было. Гулко, раскатисто раздавался по лесу голос Марины Прокофьевны и иногда вторил ее песням мужской голос, уж конечно ни кого другого, а михеевского барина. Им было весело, а невольному свидетелю этого веселья становилось все жутче и жутче; он все раздумывал и ни о чем ином не мог думать, что вот и вечер не задолго, а там скорехонько подступит и ночь, как грозная, грозная туча.

Перед самым вечером опять-таки перепугало Макарку внезапное появление нового лица; словно вынырнул перед ним из оврага мальчишка, по-видимому годов двенадцати, коренастый, головастый, в больших истоптанных лаптях, с длинным кнутом на плече, должно быть, подпасок из соседней деревни.

— Ты зачем? — крикнул Макарка на мальчика.

— А как же, — отвечал подпасок, — сама посылала, я и пришел сказать, что ей надо.

— О чем таком? Ответ, что ли, от кого?... Ты мне скажи, а я ей тотчас же… Ведь, хозяйки дома нету.

— Знаю и сам… — возразил мальчик и засмеялся чему-то. Потом, словно подумав, добавил:

— Там-то не подступиться к ней теперича… А пожалуй, ты скажи, что ж мне в другой раз приходить… Так скажи Маринушке, что, мол, — не будет, наверняк не будет…

Вымолвив это, мальчик вдруг впрыгнул в овраг и так же быстро исчез, как и явился.

Теперь Макарка уже вполне уверился, что было чего опасаться на нынешнюю ночь. Стало быть, был же где-то там, и, наверное, неподалеку, человек, прихода которого и ждала, и боялась Маринка. Кто ж это, да и один ли тот человек? Мальчонка принес известие, что «он не будет», а как тому пове-

рить?.. Не сказать ли барину про все это? Но он слышал же, что говорила Маринка, отправляя его, Макарку, в Коломну, слышал и ни над чем тут не призадумался… А и то, как сказать барину про все такое? Ведь, пожалуй, это будет супротив самой Марины Прокофьевны… А не сбегать ли, покуда они (то есть барин и Марина) в лесу гуляют, не сбегать ли на деревню, да не попросить ли тамошних мужичков, чтобы нынешнею ночью постерегли вкруг Маринкина жилья и помощь подали бы в случае чего? Но и не знает-то он никого из тамошних мужичков, и неизвестно, каковы-то они сами, живя тут, при густом, большом лесе, и как на то посмотрят; и барин, словно ослепший, аль хуже того, совсем ошалевший, и эта Марина Прокофьевна!.. В конце своего тяжкого раздумья Макарка, и при всем страхе своем не потерявший сметливости, решился на одно — переговорить лишь с хозяйкою и переговорить очень настойчиво; он все-таки доверял ее распорядительности и никак не допускал, чтобы она задумывала какое-либо зло против барина.

Когда она вернулась из лесу, и Макарка, улучив минуту, сообщил ей, какое известие принес мальчик-подпасок, она промолвила: «Ну, и ладно! Стало быть, не будет и не будет», и больше ничего не захотела слушать от «сарафанника», как стала она называть верного служителя «темноглазого баринка».

«Угощеньиц» оставалось еще довольно, и ночь в хибарке опять началась разгульно и очень весело. Марина была чуть ли не веселее вчерашнего. Много песен она пела, песен тоже веселых, и лишь одна песня вышла не такая.

Вдруг Марина запела и таким протяжным, суровым голосом:

А пойдемте, ребята, к моему дяде.
У моего, у дяди, денег много.
А дядюшка скажет: «Денег нету…»
А тетушка скажет: «Нету ни копейки…»
Берите, ребята, все-то по полену!

Щепайте лучину помельчее,
Кладите под дядю пожарчее…
А тетку-лебедку —
На саму середку…

Не смеялся и даже не улыбнулся Иоасаф Николаевич, слушая странную эту песню. Когда же Марина кончила петь, он сказал ей тихо, но очень серьезно:

— Не пой больше таких песен. И откуда они у тебя?..

Затем он вышел из хибарки и довольно долго ходил под окнами, как будто пересиливая какое-то свое неудовольствие. А Марина по уходе его промолвила полушепотом Макарке:

— Неженка твой барин… Ну, да я не стану ему петь этой песни… А жаль, хорошая…

Впрочем, Иоасаф Николаевич не был уже чуден в эту ночь. Воротившись в хибарку, он скоро развеселился, много разговаривал с Мариною и много пил. Вынужден был пить и Макарка, так приставала к нему с этим Марина. Но под влиянием все не проходившего у него страха, он нисколько не запьянел, по крайней мере, так он рассказывал, чему и не совсем можно поверить.

А как он ни силился не спать, сон одолевал-таки его. Сидя у калитки над оврагом, он заснул прекрепко. Но, вот, он был внезапно разбужен хозяйкою. Она стояла как раз возле него у калитки и молча, указывала ему рукою на овраг, а сама прислушивалась так внимательно. В овраге, не то в середине, не то ближе, было какое-то движение, как будто пробирался там кто-то сквозь кусты. Но скоро гул этот стал отдаляться и мало-помалу замер где-то уже в большом лесу.

— Ну, и ничего!.. — тихо, полушепотом проговорила Марина. — А ты, малый, лучше не спи, и до свету уж не далеко. И здоров же ты спать, дрыхнешь, как кот на печи… Слушай-ко: чуть забрезжит зорька, скачи в Коломну и приезжай скорехонько в вашей колымаге. Барину надо еще поутру вернуться домой.

Остальная часть ночи прошла спокойно. Затем Макарка быстро выполнил приказание Марины. Михеевский барин вернулся в Михеево часу в десятом утра.

IX

Иоасаф Николаевич не встретил дома неприятностей, которых, вероятно, ожидал встретить немало, — по крайней мере, уже не пришлось ему объясняться с матерью ни насчет побой Петру Леонтьеву, ни насчет того, где был и что делал в течение почти трех суток своего отсутствия. Надежда Ивановна ни о чем его не спросила, даже о поездке к генералу Измайлову. Впрочем, негодования ее нельзя было не заметить; она ни слово, когда он подошел поздороваться, не ответила на вопрос о здоровье, и так строго посмотрела на него, что он не выдержал, тотчас ушел в свою комнату, где и заперся на целый день.

Зато Макарке досталось. Он подвергся самым строгим расспросам, начиная которые, старая барыня погрозила, что если он не скажет всей правды, то угодит непременно *«под красную шапку»**, и хотя бы сам барин стал за него заступаться, так он, Макарка, тем, отнюдь, не спасется, ибо она, барыня, попросит предводителя Андрея Ивановича избавить ее навсегда от негодяя, дворового малого, который «непрерывно соблазняет барина на такие дела». (Надежда Ивановна все-таки была уверена, что именно этот «негодяй» первоначально соблазнил Иоасафа Николаевича на связь с «проклятою хамкою».)

Макарка очень струсил перед барским гневом и расплакался горькими слезами, пока барыня приглаживала ему; однако в тоже время он как ловкий малый сообразил, что, отнюдь, не следует рассказывать барыне про все, по крайней мере не надо ей знать про то именно, что пугало его самого в Маринкиной хибарке. И он рассказал только, что точно, мол, заезжали к Маринке-солдатке, в чем сам-то

он ничуть не виноват, так как что ж он мог поделать супротив такой барской воли; не скрыл он, наконец, и того, как в Коломну его посылали за «угощеньями», на покупку которых давала деньги сама Маринка.

Это последнее известие как-то особенно заинтересовало старушку-барыню, и она в подробности стала расспрашивать, что было куплено и насколько.

— Но откуда же деньги у ней, что так-то сорить ими? Ведь это ж немалые деньги!.. Ах, Господи! И с такой-то тварью на ее-то подлые деньги кутить-угощаться!.. Этого еще не доставало!.. — вскричала она в сильной горести и заплакала.

Затем допрос пошел уже гораздо легче для Макарки. Слезы его и слезы, вызванные у самой барыни последним признанием малого, совсем смягчили ее. Под конец она снизошла даже до того, что стала упрашивать Макарку, чтобы он постоянно оберегал барина от всякого лиха, когда он грешным делом опять будет у этой лиходейки, чтобы при этом все бы замечал для доклада ей, а главное, старался бы всячески отвести барина от такого зла, спасти его от грешной и опасной связи.

Макарка, конечно, обещал, что будет во всем этом стараться с превеликим усердием, и обещание его отзывалось такою искренностью, что старушка это очень заметила. Он и в самом деле был искренен, даже по рассудку; он уже твердо смекал, что свидания барина с Маринкою в этой ее хибарке, стоящей на отлете от деревни, над темным оврагом и у большого леса, не доведут до добра, что тут, того и гляди, выйдет большая беда, которая не минует и его самого.

Надежда Ивановна, хотя и глубоко была огорчена последними поступками сына, хоть огорчение это постоянно питали, даже усиливали толки и пересуды приближенных к ней людей, с которыми не могла же она не говорить обо всем этом, все-таки твердо решилась не входить ни в какие

объяснения с сыном, ничем не перечить ему и тогда, как он опять станет уезжать к своей любовнице. Только до одного она уже никак не хотела его допускать, именно до жестокого обращения с домочадцами, о чем и высказала ему прямо и наотрез, что, дескать, решительно того не допустит, а если опять он осмелится поднять на кого-нибудь руку, то она немедленно же покинет родной дом, переберется на житье к соседям, будет перекочевывать из одного чужого дома в другой чужой дом, и да будет над ним, над сыном ее, до того ее доведшим, суд Божий, не говоря уже о тяжком за то нарекании от всех добрых людей.

С совершенной покорностью выслушал все Иоасаф Николаевич.

— Матушка! Того уже не будет, — сказал он, — уверяю вас, даже при всяких грубостях и дерзостях от них ... Это я могу вынести, — и мне не тяжело, — так легко забываю... Но насчет одного... Матушка! Простите... Это так уж сильно... Всей душой моею...

— Понимаю, про что путаешься в словах, — прервала старушка, — да нечего и говорить, решительно не дозволяю и намека о том слышать не хочу!.. Пошлет Господь милость свою подкрепить тебя, может быть, устыдишься и образумишься. А если нет, — как быть, — пускай свершается судьба твоя!..

И опять строго она добавила:

— Смотри же, ни в каком случае, ни поднимай на них руки, не моги быть жестоким. Нет причины у тебя для ожесточенности.

Но он и не был жесток.

Напротив того, он был краток нравом, краток настолько, что мог с величайшим терпением отнестись ко всему, что не затрагивало прямо обуявшую им, роковую страсть. Доброта, великодушие его были поистине необыкновенны; говорили мне люди, даже осуждавшие сильно его поступки, что он способен был отдать нуждающемуся человеку

последнюю свою рубашку, и речи об этом были так искренни, что, по всей вероятности, в них не было преувеличения. Но при всем этом в минуты проявления той страсти раздражительность, неестественная подвижность душевных сил могли увлечь его непреодолимо к страшным делам.

Тут действовала не крайняя вспыльчивость, а какое-то бешеное исступление. Тут являлась та чрезвычайная неуравновешенность душевных сил, которая, рано ли, поздно ли, должна была неминуемо привести к совершенному обессилению воли и затем неисцелимой душевной болезни, не говоря уже о тех бедственных случайностях, какие могли притом произойти. И на беду примешалась еще страсть к женщине, наклонности и особенное положение которой только распаляли его фантазию. Наконец, примешались еще и сторонние обстоятельства: соблазны к кутежам, как ни были они редки, и эта слишком упорная настойчивость матери.

Катастрофа должна была явиться, и не поздно, а скоро. Так она и явилась, захватив в свой коловорот и не одного несчастного моего дядю.

Однако на него очень подействовал последний разговор с матерью. Больше недели, а это было уже много для его страсти, он сдерживал пламенное свое желание навестить опять любовницу. Затем эта сдержанность вдруг исчезла, но не сама по себе, а под влиянием со стороны. Марина соскучилась по своем «темноглазом» барине и подыскала случай уведомить его о том. Он отправился к ней немедленно уже один, без Макарки. Видно было, куда он уезжает на беговых дрожках. Замерло сердце у Надежды Ивановны уже и потому, что он едет на вечер и один. Но скрепилась она и не стала удерживать его от этой поездки.

Он пробыл в хибарке не как в прошлый раз, — утром же ранехонько на другой день вернулся и тотчас позвал к себе Макарку, который заметил сразу, что барин «как черная ночь» и не оттого, должно быть, что «гулял» чрез меру.

— Говори мне правду, — сурово начал Иоасаф Николаевич, — в прошлый раз там, у Марины, видел ты кого-нибудь?..

— Кого-ж бы там видеть?.. Как есть, никого… — отвечал Макарка, несколько запинаясь, что и заметил Иоасаф Николаевич.

Он подбежал к малому и промолвил с сильнейшей угрозою:

— Смотри! Смотри ты у меня!.. слушай, — продолжал он, понизив голос и притом дрожа всем телом, — не знаю, лжешь или нет, может, и не лжешь… А я видел!.. Там у ней был… Волосы коротко обстрижены, торчмя стоят, борода только что зарастает… Большой такой, здоровенный, видно, сила есть… И одет так странно… А она говорит: не чужой, брат кровный… Слышишь ты? Слышишь?

Макарка слышал, но не знал, что ответить.

— Как же ты думаешь, — спросил опять Иоасаф Николаевич, уже едва разборчивым шепотом, — как же ты думаешь: кто это?.. не лжет она?..

— Не могу знать, — кротко отвечал сначала Макарка, но вдруг припомнил приказание Надежды Ивановны, чтобы «старался он отвадить барина от проклятой хамки», добавил не без особенной сметки, — а может и то, сударь: это какой ни на есть из старых знакомых — чай, их не мало. Ведь бабенка гулящая была…

— Молчи!.. — неистово закричал Иоасаф Николаевич. — Молчи!.. Гуляла!.. Так уж этого нет… И если ты понапрасну, убью тебя, как собаку!

Кто-то из домашних слышал, что барин так кричит на Макарку. Но этого малого уже невзлюбили в дворне за последнее время, да и барина начали очень побаиваться, а потому и не сказали ничего Надежде Ивановне. Так это и осталось. Но тут упущен был случай, при разъяснении которого еще раз, может быть, оказалась бы некоторая возможность предохраниться от великой беды.

Затем почти ежедневно стал отправляться Иоасаф Николаевич к Марине и иногда брал с собою Макарку собственно в угождение матери, которая решилась-таки попросить его только об этом. Все шло, как будто и надо было тому быть. И видел Макарка, что барин «пристращается» к своей полюбовнице все больше и больше, что и ничего-таки нельзя супротив этого поделать, «больно уж ласкова она к нему, так ласкова, как разве бывают русалки, от которых, сказывают, ничем тогда не отделаешься...»

А раз видел Макарка и того человека, о котором расспрашивал его барин.

Ночью вдруг вышел человек большого роста, широкоплечий, точно что здоровенный, в мужичьей зимней шапке, надвинутой низко на лоб, в рваной одежде, с ружьем за спиною, вышел так незаметно, что Макарка обомлел перед ним.

— Ты с михеевским барином, что ли? — спросил этот человек глухим, хриплым голосом.

Макарка, до крайности перепуганный, не мог и слова вымолвить в ответ.

— Вишь, словно ты, малый, перепугался, — продолжал тот неизвестный. — Эх, вы проворные на ногу лакеишки! Ну, братец ты мой, такого нам, в лесу, а ни для чего не надоть-бы... Поди-ко, скажи Марине Прокофьевне, что, мол, брат пришел, дожидается. Да нет! И того, чай, не сумеешь сделать. Постой, я сам вызову.

И он свистнул каким-то особенным посвистом, похожим на ребячий крик совы.

Солдатка скорехонько выскочила, велела Макарке отойти в сторону и за углом своего дворика о чем-то тихо переговорила с братом. Затем оба вошли во дворик.

— Ну, хорошо, — сказала Марина уже громко, — я вынесу тебе. А напрасно нейдешь: он, как есть ничего, гораздо полегче онамеднинного, привыкать тоже надо бы... Да

и спросит же, кому несу. А спросит, так уж я прямехонько отвечу, что, мол, это брату.

— Нету! Не неволь, — ответил «брат», — будет и того, что однова показался. Нешто не помнишь, что тогда было? И что без толку глаза мозолить.

Скоро она вынесла «брату» целый полуштоф французской водки, бутылку какого-то вина и довольно большой сверток из синей сахарной бумаги.

— Там выпьешь и закусишь. Хватит и про других... Теперича здесь тебе делать нечего, уходи-ко мигом, — промолвила она скороговоркой и проворно убежала в хибарку.

А он, уходя, по-своему простился с Макаркою.

— Прощай, малой, — сказал он, крепко ударив малого по плечу, — прощай, хоть бы не видеть тебя больше, ты и впрямь сарафанник, как прозвала тебя сестра.

X

Свидания Иоасафа Николаевича с Маринкою, уже не особенно тревожившие Надежду Ивановну, как потому, что она к ним привыкла, так и потому, что он возвращался всегда «в порядке» и после того бывал спокоен, вдруг разом прекратились, и это обстоятельство, казалось бы, столь желанное для старушки, не сопровождавшееся опять особенными последствиями, перетревожило ее, бедную, до крайности.

Раз, отправившись к Маринке, Иоасаф Николаевич не нашел ее дома. Хибарка была заперта наглухо. Крестьяне соседней деревушки не знали, куда девалась удалая солдатка, и когда и по какому случаю она отлучилась.

Дядя был в отчаянии. Он ничуть не ожидал этого внезапного исчезновения, он не мог понять причины его, и, тем более, что сама же Марина еще накануне много наказывала ему, чтобы назавтра приезжал он к ней беспременно. Куда же она девалась? Что сталось с ней?

Он был в таком отчаянии, что даже плакал при чужих людях. Но и дикая энергия иногда прорывалась у него; он то неистово стучался в запертые двери, в заложенные изнутри болтами ставни, то хотел ломать крышу, чтобы таким способом проникнуть в хибарку (от чего соседние крестьяне наотрез отказались), а наконец, вздумал было идти в лес на поиски. Тут-то и пришло в голову Макарке посоветовать барину, что лучше, мол, сейчас же ехать в Коломну и там разыскать Марину Прокофьевну, так как нынче в Коломне базар. Макарка хотел хоть этим унять отчаяние и бурные порывы барина перед чужими людьми; но он думал также о том, что, авось, либо доведется указать барину на разгульное в городе поведение Маринки, чтобы тем уже совершенно вырвать его из когтей этой женщины, крепко невзлюбленной им, Макаркою. А последствия замысла верного служителя опять-таки вышли роковые…

В Коломне Маринка нигде не разыскалась, да и что-то давно не видали ее в этом городе. Но слухи о ней были.

— Надо быть, — объяснил на ловко подведенные Макаркою вопросы хозяин постоялого двора, где остановился теперь Иоасаф Николаевич, — надо быть, следок-то ее сюда, больно проторенный, запал оттого, что она, как слышно, стала водиться все с этим Шохиным. Хорошие дела, небось, обделывают!

— А кто такой Шохин?.. — спросил дядя, страшно побледнев и насилу выговаривая немногие слова своего вопроса.

— Шохин-то? Да брат родной. Сдан был он в солдаты, кажись, в одно время с Маринкиным мужем, да от службы отчалил. Стали видать его кое-где, и наверняка, что видали. Значит, бежал из полка, супостат этакий, не в побывку же его отпустили.

— И точно, что он брат ей?.. Шохин-то этот?.. — не утерпел переспросить Иоасаф Николаевич, уже в заметно радостном настроении духа.

— Знамо, что брат, от одного отца, от одной матери, — отвечал хозяин-дворник потом, ухмыльнувшись себе в бороду, он добавил, — а вы, сударь, ваше благородие, знаете что ли Марину-то эту?

— Дело немудреное, — отвечал за барина находчивый Макарка, — приходится завсегда проезжать мимо того места, где она проживала. Слышно тоже и у нас про нее.

— То-то, как не знать и у вас: близко живете и бабенка известная… Оно бы нешто, всем взяла баба, и веселая, разудалая такая… Только семья-то вся ихняя исстари нехорошая была, и Шохин-то брат… Чай, опасно с нею хороводиться тепереча: того гляди, начальство станет ловить беглого, а может и заправский притон у них еще не завелся, как раз в беду большую можно попасть.

Проговорив все это явно наставительным тоном, хозяин отошел, покачивая головою.

А Иоасаф Николаевич был в восторге. Он несколько раз повторял своему верному служителю: — Ну, вот, видишь, Макарушка, ведь она сущую правду говорила, этот человек, точно ее брат!..

Восторженное состояние бедного дяди этим не ограничилось. На беду, с ним были деньги, только что полученные им от михеевского старосты и которые он забыл отдать матери перед отъездом своим к Маринке. Он послал за вином и сам пил, и других угощал, а этих других нашлось немало: на постоялом дворе были какие-то помещики, потом понабрались какие-то чиновники и даже офицеры — все люди молодые, веселые, охотники погулять. Очень развеселился со всей этой компанией мой дядя. Он был весел, как и все, благо спала с него тоска по любимой женщине. Гульба продолжалась по разным местам и затянулась на несколько дней, из-за нее Иоасаф Николаевич даже отложил всякие розыски о Марине.

А Надежда Ивановна, осведомившись от михеевцев, ездивших в Коломну на базар, что сын ее там находится

и гуляет с чиновниками и офицерами, уже и не подумала посылать за ним. Зато она твердо надумалась насчет того, что ей надо делать теперь, когда, кроме связи с Маринкою, началась еще такая гульба «с первым встречным и поперечным». Она уже довольно боролась всем своим терпением с этим сыном, на беду у ней единственным, и вот решилась, пока еще в силах, окончательно остепенить молодого человека, столь способного увлечься всяческим соблазном.

Иоасаф Николаевич вернулся домой, как показалось Надежде Ивановне, еще не совсем трезвым; поэтому в тот же день она не приняла его, но на другой приступила прямо к решительному с ним объяснению.

— Послушай-ка, Есаф Николаевич, — начала она голосом твердым и громким, при не затворенных дверях, вероятно, для того, чтобы и домашние слышали, что она скажет сыну, а он сам видел бы, что она желает вести дело «начистоту», — ведь, этак-то больше нельзя. Я хочу поговорить с тобой, наконец, так, чтобы все между нами выяснилось… Да, да! Я решилась… Как! Один только и есть сын у меня, на него-то я и надеялась, что под конец моей горькой жизни утешит, успокоит меня, а он что делает?.. Сначала после восьми годов разлуки, когда я так тосковала о нем, вернулся ко мне ровно чужой, потом нелюдимством этим пугал завсегда, ведь не знала, что и подумать, потом пустился в поганое это распутство с этой тварью, а теперь пускаешься в такой бешеный разгул, да еще в чужом городе, что на срамоту эту чужие люди наверное не могли и надивиться… И с нашими ли достатками так кутить? Ты, знаешь ли, на что должны были бы пойти прокученные тобою деньги?.. Да что деньги! Честное-то имя своей фамилии как ты трепал там, в течение нескольких дней сряду!.. Да ты что ж за человек такой? Разве и понять не можешь, к чему поведет зазорное поведение?..

Старушка приостановилась не для того, чтобы отдохнуть от тяжелой речи, а скорей ожидая ответа от сына, но он, склонив голову, молчал, и она продолжала:

— Ох, как-бы не понять, как-бы не понять! Уж не потерял ли всякий страх Господень, отчего и воли не стало на понимание?.. Ну, если так, то у меня есть воля, воля родительская! Я хочу непременно, чтобы ты ее послушался, а не послушаешься, буду знать, что следует мне сделать... Но я скрывать того не стану; если не послушаешься, созову на семейный суд всех родных наших, все расскажу им и пусть как хотят, так решают... А сама ни в каком случае не буду больше смотреть на разврат и безумства твои... Что ж! Довольно-таки прожила я в этом дому, жила и всего видела... Придется покинуть родной дом, авось прокормят до недолгой смерти чужие люди, ведь кормила же я таких...

Старушка закончила жалостливыми словами, но не расплакалась, не расчувствовалась. Вся энергия ее характера, постоянно выражавшаяся за все время болезни ее мужа,в великом терпении, пробудилась опять в полной силе и сосредоточилась в одном твердом решении безотлагательно положить предел распутности сына.

Иоасаф Николаевич слушал упреки матери в крайнем смущении. Было заметно, что он даже перепуган. Слова Надежды Ивановны были слишком ясны и тверды. А этот суд семейный, а эта угроза покинуть родной дом и питаться перед смертью чужим хлебом! О, все это не могло не пробудить сознания, что поступки его, в самом деле, безумны и, более того — преступны. Но при этом сознании он был так потерян, что опять-таки ничего не мог вымолвить в ответ разгневанной матери.

-- Не знаю, что у тебя на уме, и спрашивать о том не буду, — продолжала она, нисколько не смягчая тона, — да мне и не нужны ни твои сознания, ни твои обещания, — обещаниям я и поверить не могу... Скоро и так будет все видно, скажется начистоту, каков ты сын, каков и человек, чего стоит и твоя заносчивая гордость. А я как мать, тоже и как глава семьи, должна буду сделать свое дело, должна же я позаботиться о семье, даже о целом роде. Ты понимаешь

ли, о чем тут дело идет? Понимаешь ли, что ведь ты у меня сын единственный, а притом и последний в роде?

— Понимаю… и то понимаю… — отвечал он, наконец, в чрезвычайном волнении, — но, матушка, об этом я не раз думал… вот, с тех пор как сюда приехал в этот дом наш, а он такой, пахнет могилой… Я думал, когда читал те большие книги и когда бродил вокруг нашей могилы… Нет! Что вы не делайте, так тому и быть должно…

Она поглядела на него с особенной пристальностью.

— Что же, может, ты и прав, — сказала она уже тихо, — может, сердце твое почуяло… О, Господи! Гнев ли твой на всем нашем роде?.. Но я, пострадавшая на своем веку много, а с помощью Божьей исполнявшая весь мой долг жены и матери, и теперь перед концом моим еще раз я исполню долг матери…

И крепко задумавшись, она промолчала несколько минут.

— Слушай же, Есаф Николаевич, — сказала она затем, заканчивая свое объяснение с сыном и уже без всякой угрозы, — завтра с Любашею я поеду в *Радоницкий монастырь**. Хотела было проехать поближе, в *Голутвин**, да не могу, не стану смущать души, пришлось бы ехать мимо того места… В Радоницком монастыре мы отговеем, приобщимся святых тайн. Потом побываем в Рязани: надо Алексея Савича упросить, чтобы повременил взысканием. Ну, и посоветуюсь с ним на счет многого… А затем, проеду в Зарайский уезд. Скажу прямо, есть там на примете невеста для тебя… Я начну дело, тебе его же кончать.

— Матушка!.. Совсем напрасно, — возразил он, задыхаясь.

— Не стану я с тобой спорить!.. Говорю опять, изо всего этого будет видно, каков ты сын и каков человек… А я свое дело сделаю!.. Ну, и как же, выйдешь из моей воли совсем или не выйдешь?

Он ничего не ответил.

— Я все-таки свое дело сделаю! — громко и твердо повторила она, уже не относясь к сыну, и вышла из комнаты.

На другой день с самого раннего утра начались окончательные сборы в дальнее и долговременное путешествие (Надежда Ивановна предполагала, как и объяснила она всем в доме, пробыть в отсутствии никак не менее четырех-пяти недель и вернуться домой уже в первых числах октября месяца). После обеда Надежда Ивановна с Палашею Бегичевою и с Елизарьевной тронулись в путь. С ней поехали: кучер Петр Леонтьев и старик выездной, ее лакей.

На прощании уже не было никакого особенного разговора между матерью и сыном. Вообще, прощанье это было такое холодное, такое печальное, что все домашние никогда не могли его забыть.

XI

После отъезда матери, Иосаф Николаевич впал в какое-то отупение. Он ни с кем ни слова не вымолвил, да из комнаты своей, покуда было светло, не выходил, а как стало смеркаться, ушел на свое любимое Облонье, где и пробыл всю ночь, вплоть до утра. Затем опять во весь день ни с кем из домашних он не говорил и даже ничего не отвечал прислуге, со страхом подходившей к нему не раз за приказаниями на счет чая, обеда или еще чего-то по домашнему хозяйству. За обеденный стол он присаживался, но ничего не ел и только воду все пил очень часто.

Все это заметила прислуга — и очень страшилась чего-то и не знала, что ей делать. Эта молчаливость барина, эта бессонница его, непринятие пищи и тоска, тоска столь явная, тревожили всех чрезвычайно. Прислуга даже много совещалась насчет того, уж не послать ли верхового нарочного вдогонку за барыней, которая, наверное, не далеко еще отъехала, так как на перепутье в монастырь, она, конечно, заночевала у кого-нибудь из соседей-помещиков? Но соо-

бразили, что барыню, отправившуюся на богомолье и для говенья в монастыре, не следует тревожить. Затем надумывались послать в город за лекарем, но разочли, что, пожалуй, из-за этого барин очень рассердится, да и как звать лекаря: от кого посылать за ним? И что сказать ему про болезнь барина? Наконец, хотели было пригласить какого-либо попа из соседних — макшеевского отца Осипа или маливского отца Данилу, авось, мол, разговорит поп барина и, в случае чего, отчитает; однако и на этом не порешили, а решили так: «Авось, мол, пройдет с барином, ведь, бывало с ним и до прежде; что там ни придумывай, лучше все оставить на волю Божью».

Впрочем, в то же время особенные и довольно страшные обстоятельства отвлекли внимание михеевской домашней прислуги от барина.

На другой день по отъезду Надежды Ивановны, ко времени обедов деревенских, появился на Михеевке нищий, чудной такой, доселе никогда там невиданный.

Вообще с виду, судя по росту и дородству, он казался человеком в поре и в силе, но по лицу его вовсе нельзя было разобрать, — молод или стар. Высокий, широкоплечий и телом дюжий, он держался так прямо и бодро, а лицо у него было такое темное, словно опаленное или чем выпачканное; притом один глаз был завязан полотенцем. Нищий этот ходил на костылях, правая нога его, согнутая в колене и лежащая на деревяшке, была толсто оберчена тряпицами. Наконец, подбородок у нищего закрывался тоже какой-то тряпицею; на голове же у него была большая зимняя мужичья шапка.

Обходя из двора во двор деревню, нищий говорил про себя всем, кто его расспрашивал, что сызмальства он калека, хромой и кривой: вот нога вся в ранах, вот глаз оченно болит и почитай что вытек; а родом он сам издалека, из-за Рязани, ходит по миру давным-давно, забрел же в эти места, ему незнакомые, и не знает как.

Кое-кто из михеевских мужиков подозрительно взглянул на этого нищего уже потому, что, обходя деревню для испрошения милостыни Христовым именем, он был в шапке, поэтому они и сказали ему напрямик, что ныне, мол, и не разберешь как-то заправских нищих; что они привыкли подавать зазнаемым старичкам и калекам; однако и этому подозрительному все милостыньку подали, хотя и с неохотою. А невиданный калека на неприветливые речи михеевцев не очень-то смиренно отвечал, что трудненько, мол, ныне жить на свете нищей-то братии, уж больно стал народ крепок до немилости.

Так добрался он до барской мельницы, на которой сидел мельником по найму чужой мужик из Коломенского уезда. На ту пору мельника дома не было, а жена его, бабенка бестолково жалостливая и очень словоохотливая, приняла нищего как нельзя лучше, накормила его, Христа ради, всем своим обедом и поразговорилась с ним на досуге, благо он знал те коломенские места, откуда она была родом.

Мельничиха много расспрашивала нищего, как ему бедняге, такому калеке, живется-можется. Он про все рассказывал так подробно и жалостно, что добрая баба раза два и всплакнула. Но ловко тоже и повыспрашивал он мельничиху, о чем ему было нужно.

На вопросы его она рассказала, что на Михееве нет особо богатых мужиков, какие, вот, есть на Коломенском уезде, зато все живут заживно, даже побольше, чем средней рукой; и скотинки всякой немало, и лошаденок по две, по три на каждый двор; а что на барской-то усадьбе, так уж там плоховато: заскудели давненько и больше оттого, что покойный барин протягал много, да и долго болел, инда был сумасшедшим; к тому же старая барыня поискорчилась довольно, старшую дочь замуж выдала; а еще к тому же молодой михеевский барин, словно какой-то непутевый, нет-то чудной…

О молодом барине нищий всего более поразговорился.

— Что ж он, гулящий, что ли, барин-то? — спросил нищий.

— Да нет же, и того молвить нельзя, — отвечала мельничиха, — за все время, что дома живет, только два разика погулял, и то в Коломне, не на глазах у своих; а повсяк-день дома хотя бы рюмочку выпил, так их дворовые сказывают. Только на счет другого дельца, ну, тут уж точно выходит и больно нехорошо…

— А что ж бы такое, хозяюшка?

— Да неподалеку от нас проживает солдатка Марина, баба гулящая, так барин с ней связался. Грехи тяжкие, что и говорить!

— Грехи-то грехи. А и то, молодой он человек.

— Знамо, знамо, касатик. Оно точно… Да вишь ты, барыня старая супротив идет, и Боже мой, как гневается! Вот, теперь отъехала на богомолье и дальше куда-то, а сама всем объявила: на целый, мол, месяц уезжаю, а перед отъездом дворовые сказывали, куда шибко грозила, инда судом угрожала, значит, жалиться хочет.

— Как так! На кого же хочет жалиться?

— А надо быть на ту гулящую солдатку Маринку, зато, вишь, как сынка ее как есть приколдовала.

Нищий проворно вскочил с лавки, надвинул на стриженую голову большую свою шапку (что голова у него коротенько вся выстрижена, как у солдата, это хозяйка только теперь вдруг заметила) и насвистал таким посвистом, что ласковая мельничиха, пожалуй, и рассердилась бы за то, если бы не испугалась так сильно.

—Что же ты это, касатик, — проговорила она дрожащим голосом, — нешто годится свистать в избе-то, где святым образам молятся?..

— Молчи, баба! — сказал он. — Вижу я, больно нехороши у вас люди, и господа-то и иные прочие… Ну, а тебе все-таки спасибо скажу на угощеньем твоем, да и то скажу,

больно ты баба болтлива, а так-то неладно может быть, и лучше бы тебе молчать да помалчивать.

Выйдя тот же час с мельницы, пошел он по загуменьям михеевским. Там напали было на него деревенские собаченки, но он высыпал для них куски хлеба, что надавали ему под окнами, и собаченки отстали. Потом у дороги, ведущей из Михеева в деревню Зарудню, постоял он немного, все глядя на михеевские гумна, махнул на них раза два костылем, как бы в угрозу, и, наконец, шибко пошел по направлению к Маливскому бору, но не по битой дороге, а прямо по жнивью. Все это хорошо видел пастух и подпасок михеевские, но как люди чужие, нанятые, рассказали о том на Михееве гораздо после, так что уже и некстати это было.

Но скорехонько и дворня михеевской господской усадьбы приведена была в крайнее изумление и большой испуг двумя обстоятельствами, из которых одно могло казаться диковинным только по домекам, а другое было тревожно без всякого сомнения.

В тот же день, как появился нищий на Михеевке, заехал под вечер в господскую усадьбу тоже странный человек. Он был верхом на отличном рыжем коне и, по видимому, вовсе не *прасол**, хотя именно прасолом объявился он приказчику Петру Леонтьеву. Высокорослый, плечистый, он сидел в седле крепко, о не по-прасольски, не сгорбившись, не распущенно, а как бы по-военному, да и одежда и обувь его были не прасольские: на нем был не запыленный и замасленный *чекмень**, а *казакин** из синего тонкого сукна новешенький и чересчур нарядный, на нем же были сапоги невысокие, выше колен, смазные, но простые, дырявые, с короткими порыжелыми голенищами; да и бросались в глаза: огромная мужичья шапка, надвинутая на лоб по самые брови, и красный шелковый платок, которым была обвязана нижняя часть лица.

Он прямо объявил, что ему беспременно надо видеть барина, дабы переговорить на счет гуртов по михеевской *отаве**. Приказчик Леонтьич отвечал, что, мол, нельзя теперь видеть барина, так как он болен, и что если нужно ему, прасолу, договориться об отаве, так можно сделать это и с ним, приказчиком. Но прасол настойчиво требовал свидания именно с барином.

— Да я ж тебе сказывал, — возразил приказчик, — что никак нельзя видеть барина: болен, ну, и как ты к нему подступишься?..

— Болен!.. знаем, что за болезнь барская бывает… — протяжно молвил прасол, — а знал бы да видал, что я получше всяких ваших докторов мог бы вылечить вашего барина… Ну, да что с тобой толковать, дурак ты настоящий!

И вслед за этим он еще выпустил несколько крупных ругательств, даже погрозился на Леонтьича нагайкою, как будто хотел ударить его, и скоком во всю прыть своего коня исчез из усадьбы не по направлению к селу Деднову или деревне Зарудне, откуда и куда только и была дорога для прасолов, но по направлению именно к деревне Андреевке, где ничуть нельзя было раздобыться отавою.

Прасола этого, который разговаривал с Петром Леонтьевым в самых воротах барской усадьбы, видели многие из дворян; видела его и мельничиха, приходившая тогда зачем-то на барский двор.

— Родименькой, дядя Леонтьич, — сказала она приказчику, как только уехал прасол, — да ведь это, побожиться не грех, словно тот самый нищий, что давича был на деревне и на мельницу заходил… Хоть и глаза у него теперь не завязаны и нога не на костыляшке, и одет иначе, а говорит, вот, истово, как тот оглашенный, да и шапка на нем та же... Родименькой! Что же теперь будет?

— То и будет, — отвечал Леонтьич, — что того гляди — в темную ночку «гости» к нам пожалуют. Недаром и нищий тот, и прасол-то, смекать надобно, высмотреть у нас хотели,

как быть, на старину так-то похоже… А слышно, что в лесу вокруг Поповки, да и по дороге к селу Троице стали очень пошаливать… То-то, глупая ты бабенка, ну, зачем принимала нищего?.. Да и разболталась же, чай с ним…

XII

Но и нищий, и прасол скоро были позабыты: случилось нечто гораздо более важное, чем появление этих загадочных личностей.

С вечера и ночью, в ночь уже августовскую, мглистую, предвестницу мрачных осенних ночей, Иоасаф Николаевич снова бродил на своем Облонье. Мглистая ночь, тишина по всей окрестности, одиночество в темном поле, должно быть, успокаивали его, или, по крайней мере, давали простор крепкому какому-то его думанью. Но одного человека в михеевской дворне чрезвычайно пугали теперешние прогулки Иоасафа Николаевича — то был верный слуга его, Макарка.

С тех пор, как Надежда Ивановна выехала из Михеева, он постоянно следил за своим барином, но издали, стараясь не показываться ему на глаза, чтобы не беспокоить, не рассердить его. Начал он этот надзор, не отдавая себе отчета, для чего он нужен; но после появления нищего и прасола ему вообразилось, что барин в ночных своих прогулках подвергается большой опасности, что, может быть, какой-нибудь лиходей хочет извести его. Странная мысль эта не давала ему покоя, и он сказал приказчику, что надо беспременно караул нарядить вокруг Облонья: «как бы, мол, не приключилось там беды какой от лиходеев». Приказчик же нашел это «глупо-придуманным»: «хотя барин, мол, и бродит по ночам на Облонье, так ничего ему там не поделается, не украдут же его оттуда, а тут, того гляди, как бы лошадей крестьянских с "ночного" не угнали»… И вот, Макарке пришлось одному присматривать за барином.

В ту ночь, когда случилось особенно важное для всех событие, он по какому-то инстинктивному предчувствию решился быть как можно ближе к барину и подкрался к нему ползком по кустам на расстояние каких-нибудь сажень десяти. Из-за пня, густо обросшим орешником, он все время мог довольно хорошо видеть Иоасафа Николаевича.

И вдруг увидел он, что к барину, сидевшему на пне, быстро-быстро откуда не взялась, словно вынырнула из болотистого конца пруда, приблизилась какая-то фигура, высокая-высокая, как показалось сначала Макарке.

Иоасаф Николаевич пронзительно вскрикнул, когда эта фигура прикоснулась к нему рукою. Макарка вскочил было из своей засады, чтобы бежать к барину, но тотчас опустился за свой куст. Оказалось, что не надо кидаться на помощь: фигура та была знакомая — удалая солдатка Марина Прокофьевна.

— Маринушка!.. Маринушка!.. — восклицал барин сквозь рыдания, которые так явственно слышны были в его прерывистом голосе, — ты ли это, наконец?.. Нет! Уж не во сне тебя вижу!.. О, спасай, спасай меня!.. И не знаю, как быть, что делать… руки хотел наложить на себя, но одно остановило… Ты мне скажи… все скажи… А сам я, сам все не знаю, не знаю…

Его слова, хотя и сквозь рыдания произносимые, были хорошо слышны; но слова Марины Макарка не мог расслышать. Только видно было ему, что она, склонившись над ним, как мать над больным ребенком, успокаивает, «голубит» его. И довольно долго тянулось это жалкое успокаивание, все слышались: плачь и прерываемый лепет несчастного. Наконец, он приподнялся со своего пня и (так показалось Макарке) приподнялся-то насилу-насилу, шатаясь, словно пьяный или совсем изнемогший старик.

— Пойдем… пойдем теперь отсюда, — сказал он Марине, — ты веди меня, веди, веди!.. Сам не найду дороги… Я за тобой… я к тебе…

— Не близкое дело ко мне, — отвечала она громко, резко и повелительно, — отведу я тебя в твой барский дом. Знамо, там не привольнее будет, чем в нашей-то хибарке… Ну, да, пожалуй, благо старая барыня с дочкою надолго уехали, пожалуй, и я ночку-другую пробуду у тебя. А ты, темноглазенький, угости меня за то хорошенько твоими барскими хлебами.

Он что-то крикнул на это лишь несколько слов, крикнул так, словно испугался (как рассказывал Макарка). Но затем барин и Марина, — она, обхвативши его рукою, пошли тихонько к дому. Пополз и Макарка из своей засады, не следом за ушедшими, а стороной, кустами, по направлению к пчельнику, чтобы оттуда, перелезши через садовую изгородь, добежать садом до барского дома, прежде чем дойдут до него барин и Марина.

Перелезая через изгородь, Макарка вдруг услыхал неясный и отдаленный крик, словно ночной птицы, крик, каким недавно вызывал Маринку брать ее, и вслед за этим уже явственно послышался конский топот, отдаляющийся по направлению к деревне Андреевке. Перекрестился испуганный малый и летом-полетел по саду.

Он встретил барина и «гостью» на крыльце со свечой, усердствуя посветить им и показать тоже свою исправность, но за усердие и за исправность досталось ему.

— Сарафанник-то наш! — сказала Маринка и погрозила малому, — ты, сарафанник, с чего такого больно исправен? Со свечкой на крыльце встречает, словно дали ему знать, что сейчас придем… Подглядывал, подкараууливал за барином, ведь и заметно, запыхался, в лице побелел… Смотри, ты у меня! Я и сама мастерица большая подкарауливать.

Она вошла в дом. «Как истая барыня, ведь экая смелая!», — рассказывал Макарка. Как истая барыня твердо и строго на самых первых порах стала она и распоряжаться всем.

— Проголодался, мало ли прошла и проехала, и опять-таки шла, очень проголодался, — сказала она, — а вели-ка, темноглазенькой, ужинать поскорее давать, и винца чтобы подали, и наливочки подслащенной, в барском дому всего надо быть вдоволь… Ну-ка, сарафанник, поворачивайся!

А между тем, она быстро ходила по дому, заглядывала почти во все комнаты, кроме той, в которых заперлись старик Суховерков и кривая Анна Петрова, да еще тех, в которых помещались завсегда Надежда Ивановна и дочь ее младшая. Ходил тоже за нею Иоасаф Николаевич, и чуден, чуден он был тогда, по словам Макарки: длинные его волосы падали ему почти на глаза, голова низко опущена, бледен он был чрезвычайно, и иногда сильная дрожь потрясала его с головы до ног.

Изо всех комнат старого П-ского дома одна наибольше понравилась Марине Прокофьевне. То была большая зала, *со «штучным», растрескавшимся и скрипучим полом**, с высоким потолком, украшенным лепной работою, но сильно потемневшим от времени. В одном углу была огромная изразцовая с синими фигурами печь, в другом — огромный же закоптелый камин. Вдоль стен, покрытых ветхими и тоже очень потемневшими обоями, тесно лепились стулья с высокими резными спинками, с подушками из черной кожи. На стенах висели те картины, часть которых я еще видел в детстве моем. На конце залы, противоположном камину, висела в длинной раме еще картина (которой я уже не застал), внизу ее были изображены: с одной стороны какой-то воин в шишаке и кольчуге, с другой — лежащий на земле голый старик с косою в руке, а от воина тянулось вверх дерево, по ветвям которого были раскиданы, то по одиночке, то в ряд, большие и малые кружки.

На все это «гостья» обратила внимание и обо всем расспрашивала. Но особенно поразил ее общий вид комнаты.

— Домина старинный, большой, — передавала вслух она свои впечатления, — а вот эта большая, сарай-сараем горница, холодная что-ль она, да и темная такая, — инда жутко и скучливо в ней… Ну, а все-таки здесь, здесь ужинать будем, мне здесь-ка быть полюбилось… Ах, и жаль, что не зима, не осень теперь, а то затопить бы печку тут, посветлей было бы, да и не так страховито…

— Камелек, вот, можно сейчас… — промолвил Иоасаф Николаевич.

— Какой такой камелек?

— Камином тоже называется, — вмешался с пояснением Макарка.

— Молчи, молчи ты! Не хочу я с тобой разговаривать! — прикрикнула на него Марина Прокофьевна и, выхватив свечу из его рук, стала рассматривать картины на стенах.

— Бородатые… лица такие… все больше старики, а есть и молодые… Сердитые, что ль? Да нет! Не сердитые… вот, сказать не умею… — говорила она, обходя картины и с величайшей внимательностью вглядываясь в их потускневшие изображения.

Не вдруг приступила она к расспросам, как будто самой хотелось ей догадаться, кого изображают картины. Но это ей не удалось.

— Кто ж такие?.. — спросила она, наконец, тихим, словно робким голосом.

— Апостолы, — коротко и как бы нехотя отвечал дядя.

— Апостолы?.. Святые!.. Образа, что ли?.. Как же так?.. По всем-таки стенам, словно в церкви… А тут стол, надо быть, обеденный, и лампадок нету…

— Это не иконы, а простые картины.

— Нет! Не годилось бы так-то считать их, — промолвила она задумчиво и приподняла было руку, словно хотела перекреститься, — ну, да что тут; вы, ведь, баре, у вас инаково.

Заняла ее и картина супротив камина.

— А это что? — опять спросила она.

— Родословное дерево, — тихо отвечал Иоасаф Николаевич. Но вдруг с какой-то энергией, даже с видимым гневом, он вырвал свечу из рук Марины и близко подошел к картине.

— Да! Родословное дерево… — повторил он, отвечая уже самому себе на какую-то мысль.

— Одного кружка тут нет… И незачем, последнего незачем…

Марина поглядела на него с удивлением и отошла к сторонке. Потом стала ходить по комнате, как будто желая согреться.

— Ну, Макарушка, — сказала она, уже ласково обращаясь к малому, — здесь, так здесь ужинать. Хорошо бы затопить сначала этот ваш камелек, да нет! Пускай, потемнее в горнице будет, а то, вон, со стен больно строго смотрят.

Макарка проворно поставил два прибора на большом раздвижном столе, стоявшем посреди залы (на два прибора накрывать крепко не хотелось было малому, но, пораздумав, он все-таки сделал, «как приходилось поневоле сделать»).

Однако не угодил он бойкой гостье. Сильно она напустилась на него за то, что не оказалось в доме ни вина, ни наливки, — все было заперто барынею перед ее отъездом. Марина «и слышать про то не хотела», приказывала непременно достать у приказчика или простой наливки, или хоть простого «пеннику»; но приказчик, конечно, не обрадовавшийся барской гостье, отвечал через Макарку, что, дескать, и сам не пьет, и для иных прочих никакой выпивки не держит. Марина разгневалась так, что даже Иоасаф Николаевич встрепенулся и стал ее унимать.

Ужин, по тогдашнему довольно изобильный, прошел скучновато; гостья все жаловалась, что «запить еду нечем», насмешкою раза три упомянула, что вот, мол, темноглазенькому баринку и в своем дому воли нет; поразговорилась

бы она, может быть, и побольше насчет этого, но Иоасаф Николаевич, с которого спало-таки его отупение, поглядел на нее очень-очень пристально, и она замолчала. Впрочем, под конец ужина она на своем поставила; решено было, что в ночь же Макарка отправится в Коломну и привезет всего, что надобилось по желанию гостьи. Иоасаф Николаевич повторил все ее приказания без всякой отмены и перемены и отдал на покупки большую часть денег, оставленных ему матерью на домашний обиход и на всяк-случай.

Глубокая тишина воцарилась затем в доме. Но прислуга и приживальцы не спали целую ночь. Всех донимала тяжелая и смутная тревога. И было то не беспокойное, до высшей степени возбужденное любопытство, удовлетворить которому не представлялось возможности, не ожидание чего-то необычайного и может быть грозного, а нечто иное, именно смутное, непонятное, а потому и давящее так тяжело. Прислуга собралась в задней комнате, в обширной девичьей, и молча сидела, и никто из ней не подумал пройти по дому, посмотреть, послушать, потолковать с Макаркою, хотя всех на то подмывало. Несколько раз приживальцы — Анна Петровна и старичок Суховерков, входили на цыпочках в девичью, но и они ни с кем не заговорили. Только Суховерков под конец произнес вполголоса: «даже… даже страшно как-то!», и тотчас-же смутное чувство страха отразилось на всех; все стали креститься и вздыхать о чем-то.

XIII

Макарка, сообщивший на другой день всем и каждому подробности появления Марины на Облонье и всего, что затем произошло в зале и за ужином, закончил свой рассказ такими словами: «Ну, вот, и залетела ворона в высокие хоромы!» Но он был малый-«пустельга», по оценке дворни, которая, как я уже говорил, не любила его. Дворня

эта по-своему гораздо серьезнее определила, что значило водворение удалой солдатки в михеевской усадьбе. Все старики, которые рассказывали мне о тогдашних происшествиях, обыкновенно в один голос говорили: «А вошла эта лиходейка в наш барский дом все равно, как огонь!..»

Она, и точно, вошла, «как огонь». А огонь этот попалил многое и многих.

Началось, пожалуй, «с малого». Началось с тех людей, что сыздавна приобвыкли иметь в П-ком доме спокойное пристанище, а притом находиться там постоянно, от доброго за ними призору, душевное утешение во всякой их скудости, немощи и скорби.

Наперед кривая Анна Петровна подняла свои крылышки. На другой же день, как водворилась Марина в доме, Анна Петровна ранехонько сбегала на деревню, подрядила подводу свезти ее куда-то за Оку, в Коломенский или Зарайский уезд, и затем, уложивши на подводу весь свой скарб, стала ожидать пробуждения Иоасафа Николаевича, чтобы распроститься с ним. Сердитая старуха ждала с нетерпением и громко перед прислугою жаловалась, что «вот, мол, из-за баловства своего окаянного, благодетель-то этот, новый помещик михеевский, задерживать изволит ее, сироту горькую».

А на самом деле он нисколько не задерживал: встал он довольно рано, впрочем, позднее, чем изготовилась Анна Петровна к отъезду, и тотчас начал расхаживать по дому. По-видимому он был тогда в хорошем, совершенно спокойном расположении духа: лицо было такое светлое, на устах играла улыбка. Только одно было странно: он как будто не понимал речей, очень коротких и внятных, с которыми к нему обращались: и приказчик о чем-то насчет лугов, и повар насчет обеда, и прочие люди из прислуги, кому зачем-либо надобно было к нему.

— Прощайте-с, батюшка, Есаф Николаевич, — сказала Анна Петровна, когда он вошел, наконец, в чайную, где

старуха его дожидалась, — прощайте-с, лихом не извольте поминать, а признаться, и ни в чем-то как есть я не виновата перед вами... Родителей ваших должна по гроб моей жизни помнить за все ихние милости ко мне, сироте...

— Значит... — начал было Иоасаф Николаевич, но остановился на одном этом слове и как-то странно улыбнулся.

— Да что, значит? А значит то, батюшка, что я не хочу-таки быть вам помехою при теперешних этих делах, что тут завелися... По откровенности, по простоте моей говорю-с... Так-то! — разведя руками, объяснила старуха, очень рассерженная и ответом на ее прощанье, и самой той улыбкою, которая показалась ей насмешливою.

Но он нисколько не заметил раздражения приживалки.

— Право, Анна Петровна, мне как-то весело, весело... — сказал он, и слово «весело» повторил еще несколько раз.

— Весело? — повторила старуха, — может, вам и весело... Только я, батюшка, слыхала, что на грешных-то делах веселье не возрастает. Ну, да вы — люди ученые, образованные... А как бы, батюшка, опосля не спокаяться!

Он опять улыбнулся, но уже ничего не отвечал (может, и не слыхал, что ему сказали) и отошел от Анны Петровны, рассеянно поглядывая по сторонам.

А она была раздражена в высшей степени невниманием к ней со стороны «этого благодетеля». Ехать давно была пора и подводчик много раз о том напоминал, но она пробыла в доме еще часа два-три, все толкуя прислуге, что «при таких-то порядках, какие тут пошли — пускай же всяк знает и ведает — скорехонько будет беда, и беда большая...»

— Напророчила злющая яга-баба! — часто говорили потом михеевские челядинцы.

Марине Прокофьевне — не так, как барину — поспалось тогда. Она встала уже вкруг полдень и, должно быть, встала левой ногой, сердитая-пресердитая. Всего более до-

сталось Макарке, который, однако, очень аккуратно исполнял все ее поручения. Она придиралась к нему и бранила его всякий раз, как он попадался ей на глаза, и было заметно, что есть у ней какая-то особая причина для придирок.

Впрочем, скоро все обнаружилось. Перед самым обедом, Марина спросила малого:

— Заезжал ты в хибарку?

— А вы же не приказывали, — отвечал он.

Она прыгнула к нему, как рысь, и чисто бешеный крик ее огласил весь дом. Михеевская дворня ничего подобного еще и не слыхивала; правда, все помнили про вопли несчастного барина Николая Михайловича, но те вопли были совсем иные.

Разом покинуло Иоасафа Николаевича странно-веселое его настроение; он был крайне испуган неистовством своей любовницы. Он стал было успокаивать ее, но его собственное беспокойство было так велико — дрожа, как в лихорадке, он все метался по комнате и подбегал то к Марине, с несвязными словами, то к Макарке, с какими-то угрозами.

Но, вот, нечто определенное выразилось в его словах.

— Маринушка! — проговорил он умоляющим голосом, — да уйдем же отсюда, уйдем даже сейчас!.. Я ведь говорил тебе, ну, как можно здесь оставаться? Здесь дом несчастный... Мы у тебя, там будем жить!

— Ничего ты не знаешь, — мрачно отвечала она.

— Я знаю одно, — твердил он, — здесь мне нельзя, здесь так мрачно, холодно... Я с тобой хочу жить, в твоей хибарке... Ну пойдем же, пойдем туда!

— Нешто там можно?.. Пропала хибарка!

— Пропала?.. Сгорела, может? Не сожгли-ль злые люди?..

— Сгорела ли, нет ли, все равно — пропала... Эх, темноглазенькой мой! Коли б купчиком ты уродился, лучше было бы... Белоручки вы, дворянчики... Ну, да полно, полно тебе тосковать!

Она пересилила себя мгновенно, унялась кричать и злобиться на Макарку, пересилила, должно быть, именно оттого, что ее поразила та степень странности в Иоасафе Николаевиче, которая подмывала его, забыв все на свете, покинуть родной дом и жить с нею в хибарке. Тотчас стала она ласкать, ублажать своего «белоручку-дворянчика» — и нежны, нежны были ее ласки. Наглядевшись на них тогда, Макарка часто потом вспоминал и говаривал: «А что любила Маринка нашего барина, так уж это верно!»

Она как будто нарочно не прогнала Макарку и сделала его невольным свидетелем того, как ублажает, как любит она своего темноглазенького барина. Макарка ей понадобился. По-прежнему, разбитная, веселая, она, унимая тоскливую тревогу Иоасафа Николаевича, запевала тоже хорошие песни, вскакивала, приплясывала и заставляла Макарку плясать.

— Эх, сарафанник! — говорила она, — только на пляс тебя и взять, да и то не из пущих ты плясунов.

Как сон, промелькнула вспышка неистовой раздражительности в Марине Прокофьевне. А кстати сказать, с той поры во все свое пребывание в П-ком доме Марина обращалась с прислугою, а в том числе и с Макаркою, приветливо и ласково (правда, на самом конце обнаружилось, что, кроме нескончаемой веселости, таятся в душе ее и иные силы) — впрочем, то вышло по особому поводу, и о том будет после.

Но та вспышка Марины оставила сильное впечатление на Иоасафе Николаевиче. Довольно легко поддался этот жалкий, несчастный человек нежным ласкам любовницы — он сам ласкал и голубил ее тогда, но уже не развеселился. Покинула его навсегда и та задумчивая веселость, которая помешала ему распроститься с сердитой приживалкой.

Его внимание обращено было на дом, на всю его внешность и внутренность. Он часто обходил его кругом и все

осматривал, как заботливый хозяин, задумавший капитальные в нем перестройки. И только песни и ласки Марины отвлекали его от этого занятия; однако и Марине не сообщил он о том, что было у него на мысли при таком постоянном и внимательном осмотре дома; впрочем, и она этим нисколько не интересовалась. Но приказчик Петр Леонтьев очень интересовался. Он даже обрадовался, увидев, как барин занимается на счет дома, стало быть, затевает перестроить дом, а затеет это, смотришь, кинет ради дела и эту блажь свою с солдаткой Маринкою. Такими же соображениями утешали себя и другие старшие люди михеевской дворни. И все тут очень ошиблись.

Иоасаф Николаевич имел тогда на мысли нечто совсем иное, конечно, еще смутно представлявшееся, то ль чудившееся ему в темных, зыбких, чрезвычайно бегучих очертаниях. Больное воображение его не создавало еще никакой цельной картины. Он не готов еще был к какому-нибудь решению. Он и подготовился к нему совершенно бессознательно. Окончательное решение должно было последовать не от его воли, хотя зародилось оно именно от нее.

А между тем, этот старинный П-ский дом был оживлен в то время постоянным весельем. Марина Прокофьевна хотела веселиться, и как можно шумнее, разгульнее. Может быть, то было недаром, не столько для развлечения и развеселения мила друга, сколько для того именно, чтобы заглушить в себе самой тайное беспокойство, — последствия показали, что ей было тогда о чем беспокоиться. И вся михеевская дворня должна была веселиться. Началось с самих детей и подростков, кончилось же стариками. Марина Прокофьевна всех усердно угощала, всем раздавала подарки. За угощениями, за подарками, в течение первой недели пребывания веселой гостьи в П-ском доме Макарка уже три раза съездил в Коломну. И на все деньги давала Марина.

Подчинялись же ей все в доме беспрекословно. Воля ее господствовала вполне. Уж как и отчего сталось это, —

михеевские дворовые немало дивовались тому впоследствии и даже были убеждены, что тут не обошлось без нечистой силы, что именно тут «враг» всех попутал. Ну, и как же, в самом деле? Тогда еще продолжался Успенский пост, столь уважаемый в народе, а они, михеевские дворовые, как истые оглашенные, ели-то хоть и постное, но пили не по постному — пьянствовали так, как до селе никогда не доводилось в этом доме, издавна тихом и печальном, и мало того, — уж чисто грешным делом, по вечерам дворовая молодежь с добавлением к ней молодежи с деревни пела развеселые песни и даже плясали, а люди постарше годами смотрели на это с удовольствием, участвовали в общем веселье мыслями и делом, так как нередко и из пожилых кое-кто присоединялся к хору поющих, даже к хороводу пляшущих. Так было в упомянутое время, когда «гостья» сразу переменила все порядки в П-ском доме.

Только два человека не участвовали в тогдашнем веселье.

Сам барин, для которого, по словам Марины Прокофьевны, и устраивалось все это, был равнодушен, постоянно холоден, и нельзя было разобрать: доволен или недоволен он шумным, совсем на новый лад, движением в доме. Подчас Марина говорила ему, что хорошо, мол, веселятся все, и для него, надо быть, утешно смотреть на такое веселье. Но он на это всегда отвечал: «А пусть их!» — и только. Задумчивость его была сильна по-прежнему, он все занят был осмотром дома и какими-то особенными относительно его соображениями.

А еще старичок Суховерков очень не рад был тому, что вдруг развелось в михеевской усадьбе. Из-за этого он «даже сна лишился», как жаловался он приказчику Петру Леонтьеву, который, кстати сказать, легкомысленно увлекся тогда общим соблазном и тоже много гулял. Но и в самом деле, старый приживалец, уже более десяти лет вкушавший здесь совершенный покой, не спал теперь по целым ночам.

От бессонницы он даже стал хворать. И несомненно, что причиной этой бессонницы и этой болезни было не одно лишь нарушение обыкновенного его образа жизни, но и горькое сожаление о водворившихся в П-ском доме неладном шуме, почти беспрерывной и безобразной гульбе, а притом всяческом непорядке и соблазне, из-за которых, по мысли старика, должно было непременно произойти много вредного, пагубного. Что голова Суховеркова была наполнена именно такими горестными мыслями, видно из того, с какою несоответствующею для его старческой немощи решимостью, вдруг поднялся он, с давно обсиженного места и пустился — не то, чтобы искать себе нового приюта и на продолжительное набожное странствие и ради того, как он проговорился Петру Леонтьеву, чтобы помолиться в святых обителях обо всех соблазненных суетою мира сего и с правого пути сбившихся…

Все пожитки он оставлял в П-ском доме и наказывал через приказчика, чтобы в случае его смерти во время путешествия принадлежащие ему вещи были бы проданы по вольной цене, а вырученные за них деньги розданы были бы нищей братии. Это устное завещание для большей его крепости он сделал при свидетелях: старших дворовых и старосты сельца Михеева.

Затем он собрался идти пешком, что было ему и не под силу, но так подобало это для предположенной им цели. И, отнюдь, не последовал он примеру сердитой Анны Петровны: ничем и никого, даже за глазами, не упрекнул за то, что пришлось ему так внезапно расстаться с теплым, уютным углом.

Хозяину дома он не сообщал предварительно о своем намерении, да в этом и не представлялось надобности, так как решился он вдруг и сборы его были недолгие, и только когда пришел уже попрощаться, сказал он просто, что задумал, дескать, сходить помолиться Господу Богу, у святых угодников, в разных обителях почивающих.

Иначе, чем с Анной Петровной, простился Иоасаф Николаевич со стариком Суховерковым. Блажные мысли уже не мутили тогда его голову каким-то странным весельем, мешавшим ему прислушиваться к чужим речам. Он хорошо понял, что говорил старик.

И, видимо, огорчило его, что старик уходит так, словно по-нищенски: *во фризовой истасканной шинели**, в истоптанных, мягких лаптях, с кожаной сумкою за плечами. Он вдруг вспомнил, что этот дальний родственник его отца (проживший в михеевском доме более двадцати лет), пользовался особенным вниманием его матери, Надежды Ивановны, как за свою кротость и доброту, так и за то, что в жизни своей много протерпел всякого горя.

— Но скоро осень, дожди холодные начнутся, — сказал Иоасаф Николаевич. — Как можно вам, при вашей старости, пешком отправляться? Ведь это же так трудно, право, вам не под силу… Еще бы в Голутвин монастырь или в Радовицы, а то вы говорите, что намерены обойти еще несколько обителей… Подождите, по крайней мере, пока возвратится матушка.

— Ждать-то мне всего труднее; как ждать, когда мне доходит уже восьмой десяток? — отвечал старик. — А Надежда Ивановна и так знает, про давнешнее мое желание потрудиться перед смертью — походить по святым угодникам. Да и время приспело такое, что надо с превеликим усердием… Нет, батюшка Иоасаф Николаевич, на это есть твердая мысль моя.

Он распростился и тотчас же пошел в путь-дорогу.

Глубокое впечатление оставило все это на Иоасафе Николаевиче. И он же затаил его в душе.

— Маринушка, — сказал он, хоть и ласково, но довольно повелительно, — теперь полно! Не надо больше ни песен, ни плясок… И как прежде не пришло мне в голову?.. В этом-то доме! Ты знаешь ли, что это за дом?.. В нем много, слишком иного было горя, да и мало ли что еще может

быть… Он все еще стоит на своем месте, так что тут за веселье!..

— А что же, я и на то готова, — отвечала Марина. — Коли говоришь, что не надо никакой потехи, может, сердце что-то почуяло, ну, и не надо… У меня у самой, да нечего об этом…

Короткий разговор этот слышал Макарка и немедленно передал, не сомневаясь, всей дворне, что, мол, «на счет веселостей разных, забастовать приходится, сам, мол, барин проговорил Марине Прокофьевне, что уж не надо больше веселиться в таком старом дому. Значит, и впрямь затевает новый построить, ну, в новом-то и пойдет гульба...»

Макарка божился, что про все это он передает верно, но в дворне выругали его за пустые речи. Впрочем, в действительности известие понравилось, все были довольны, что авось-то опять водворится в доме исстари обычная тишина.

XIV

Разом тишина водворилась и мрачная, печальная, все равно, как в том доме, из которого только что снесли в могилу любимого человека. Сама Марина Прокофьевна угомонилась совсем, и не угадать было в ней той женщины, которая весельем своим так властно заставляла всякого веселиться и тешиться. Сидя в комнате Иоасафа Николаевича, она усердно занималась женской работою, шила кому-то мужские рубашки из очень грубого холста, но с красными ластовицами, вязала тоже чулки и варежки из простой шерсти и мало разговаривала со своим темноглазеньким, а к домашней прислуге ни за чем уже не относилась, отнюдь ею не распоряжалась. Лицо ее побледнело, осунулось; взор ее быстрых глаз, теперь тусклый и упорно пристальный, выражал тяжкую скуку, а может быть и тоску. Унылый «стих» напал на удалую солдатку, и, как видно было, этот «стих»

осилил тогда совершенно ее буйную натуру. И не заметил нисколько Иоасаф Николаевич этой разительной перемены в своей любовнице: днем он по-прежнему все расхаживал по комнатам и вокруг дома, по вечерам же уходил на Облонье и постоянно один, уже ни разу не позвав туда для прогулки Марину.

Все это, конечно, должно было поддерживать глухую тишину в михеевском доме. Но тишина эта была лишь с внешней стороны. Сильное беспокойство обуяло тогда михеевскую дворню. Все были в крайне смутном настроении. Во-первых, досадно, прискорбно, а больше всего стыдно было всем за участие в гульбе. «И добро бы гуляли, плясали — мыкались по приказу барина, по его барской воле, а то ведь самому барину, словно и не хотелося глядеть на бесчинство это». Даже так было досадно, прискорбно и стыдно, что почти все переругались из-за того, упрекая друг друга, что «не начни, мол, ты, я ни за что бы сам не пустился». Но пущее озлобление донимало всех именно на солдатку Маринку — она была виновата, она, проклятая, обморочила, она навела на грех такой. Кстати, тут припомнили и ей же, Маринке, приписали то обстоятельство, что вот приживальцы, не стерпев бесчинства, покинули барский дом: «Ну, что, мол, скажут про это добрые люди, как посудят соседи, да и старая барыня, что вот барыня-то скажет?»

О барыне, о неизбежности ее суда по всему этому делу, и непременно суда строгого, пришло на мысль всем както разом. На первых порах даже ужаснулись домочадцы при воспоминании о Надежде Ивановне. И было это очень странно: Надежда Ивановна во всю свою жизнь в Михееве никогда не выказала себя строгой барыней. Правда, она требовательна была насчет порядку в доме, не допускала распущенности в поведении дворовых, например пьянства, буйства, и решительно не выносила малейшей безнравственности; но только провинившиеся в последнем нака-

зывались, да и то одним удалением на житье в деревню или же отпуском по оброку. Про все это михеевские домочадцы, конечно, хорошо знали и, тем не менее, их страшно пугали теперь соображения, как взглянет барыня на то, что вот нежданно-негаданно завелась эта нечисть в доме, поселилась в нем всем ведомая по своему распутству солдатка Марина и, мало того, что поселилась, устроила в доме свои порядки, добрых людей из него разогнала, а тутошних крепостных соблазнила на бесчинство, и они из-за того как бы выдали бедного барина этой лиходейке. Последнее соображение о выдаче барина на жертву лиходейке всего более ужасало. Михеевские дворовые из-за того возненавидели Маринку до высшей степени, и если б Марина подметила эту ненависть, она стала бы ожидать для себя скорой и неминуемой беды.

Но она не подметила. У ней на уме были иные заботы, и очень тяжелые. Должно быть, она ждала чего-то к этому вемени, а ожидания все не сбывались. Так можно было предполагать потому, что, когда возвращались из Коломны или Макарка, или другой посланный, она тотчас начинала расспрашивать: что слышно там, в городе? Не наказывал ли кто к ней чего-нибудь? Как там хибарка ее? И вообще много, много она расспрашивала насчет коломенских новостей, насчет своей хибарки, а расспрашивая, очень путалась в словах, все как будто не договаривала чего-то.

Ответы на такие расспросы были неладные; может быть, и намеренно так отвечали, и Марина очень сердилась на это.

Ненависть к ней дворовых возбуждала в них крайнюю подозрительность ко всякому ее действию. Очень занимались они: «Что бы такое значило, что Маринка все добивается каких-то новостей из Коломны, да все расспрашивает о своем поганом жилье?» Несколько времени предположения насчет этого были сбивчивы, но скоро все стало разъясняться.

Раз ездил в Коломну приказчик Леонтьич и привез оттуда новости, которые, видимо для всех, страшно поразили Марину. Леонтьич рассказывал, что в Коломне, как в набат бьют, толкуют — «из самой Москвы, дескать, строго-настрого приказано переловить всех дочиста беглых солдат и беглых кантонистов, которых развелось многое множество, что для поимки высланы будут казаки, да окромя того, порасставят везде какие-то, вишь, бекеты, чтобы, значит, ни единый из беглых не мог выскользнуть от поимщиков, и что, как изловят кого, тотчас его расстреляют.

При последних словах приказчика Марина, вдруг побледневшая, «как белый плат», вскрикнула так дико, так боязливо, что Леонтьич и двое старших дворовых, бывшие тут же, даже перепугались. Не пожалели они ненавистную им женщину, но ужас, охвативший ее внезапно, но скорбь, так сильно выразившаяся в ее крике, вызвали в присутствующих и не испуг только, а какое-то тяжкое, тяжкое чувство.

— Господи!.. и как же тут… Ох, смерть моя! — проговорила Марина медленным полушепотом и, шатаясь, вышла из людской.

Она насилу дошла до комнаты Иоасафа Николаевича. Он только что собрался на вечернюю свою прогулку, но, конечно, теперь не до того было. Перед ним стояла Марина, бледная-бледная, вся трепещущая, с широко раскрытыми, неподвижными, помутившимися от ужаса глазами.

— Запри… запри дверь!.. Запирай все!.. — лепетала она едва разборчиво.

Он быстро запер дверь, и что затем говорили, запершись, Макарка, усердно подслушивавший под дверью, никак не мог разобрать. Он слышал только шепот двух голосов, часто прерываемый глухими рыданиями, да в конце он расслушал хорошо ответ Иоасафа Николаевича, показавшийся ему сначала диковинным, но от которого потом как-то жутко стало.

— Что ж, — сказал дядя, и так резко, словно сурово, — я на все готов, лишь бы ты не мучилась…

Потом опять начался тихий, неразборчивый для Макарки разговор.

Ночь настала. Об ужине до самого позднего часа все не отдавалось приказу. Иоасаф Николаевич и Марина не выходили из своей комнаты. И вот заспорили там горячо, но можно было лишь одно разобрать: барин на чем-то настаивает, а Марина все отговаривает.

Макарка, как ни усердствовал и по собственной охоте, и по наказу Леонтьича, чтобы дольше подслушивать под дверью, наконец, не вытерпел, ушел в переднюю, и задремал было на залавке. Но ему помешали разоспаться. Барин шибко вышел в переднюю с двуствольным ружьем в шинели, как будто собрался в дорогу. Следом шла Марина и опять-таки, спорила.

— Да я только провожу туда, а то собаки могут напасть, там деревня немалая, — говорил Иоасаф Николаевич.

— А я все одно: не надо и не надо, — отвечала Марина. — И нешто через деревню пойду? Мимо след знаю, а там недалеко и до лесу.

— Но волки… не то — и лихой человек…

— Какие теперича волки, еще не пора им. А лихой человек — эх, ты! Словно махонькой… Ну, да, проводи немного, поколь скажу, чтобы дальше не шел. И не моги супротив того, не пущу ни за что. А ты, сарафанник, — вдруг обратилась она к Макарке, — не вздумай ты опять подсматривать!

И они вышли из дому.

Макарка был догадлив. Сразу он догадался, что дорога для ушедших будет не на Зарудню и Маливу, а на деревню Андреевку. Подождав с минуту, он бросился в залу, поднял окно, выпрыгнул в сад и перелез через изгородь. Но дальше выслеживать уже не удалось: перелаз его выдал, что-то хрустнуло в изгороди, — и вдруг послышался

в довольно близком расстоянии громкий и сердитый голос Марины:

— Ах, ты шельма Макарка! Опять ты за свое: ну, да погоди, вернусь, так сама порасправлюсь с тобою…

Он тотчас притаился, как заяц, стал искать ощупью и нашел-таки место в изгороди, где уже не надобилось перелезать, а можно было просто пролезть, и вернулся в переднюю очень смущенный, боясь, впрочем, не угрозы Марины Прокофьевны, но того, как бы барин не разгневался на него.

Но барин, скоро возвратившийся, не обратил никакого внимания на провинившегося малого. Он прошел прямо в залу и уселся у того окна, из которого выпрыгивал Макарка и которое забыл опустить. Он не спал, даже не дремал — это хорошо заметил Макарка, тоже всю ночь не спавший: так заинтересовано было молодое его любопытство тогдашними загадочными событиями. Иоасаф Николаевич ждал чего-то: он часто выходил на крыльцо, приглядывался и прислушивался. Но тишина глухой деревенской ночи ничем не нарушалась: проезжих через деревню не могло быть в эту позднюю пору; за недостачею мелева мельничные колеса не стучали, не лаяли и собаки, не чуявшие ни чужих людей, ни хищного зверя.

И протянулось так время вплоть до утра. Со светом зашевелился люд и в господской усадьбе, и на деревне. Но не утра, не дневного света ждал Иоасаф Николаевич. Он, как и ночью, был в великом беспокойстве — и все чаще и чаще выходил на крыльцо, за ворота, на дорогу к деревне Андреевке. Наконец, за-полдни, физическое утомление совсем его одолело: склонив голову на окно, он заснул таким глубоким сном, что долго не могла его добудиться Марина.

Очень заметили михеевские домочадцы тогдашнее возвращение Марины; и то, как мимо окон людских изб пробиралась она походкой спешной, по сторонам все озираясь, словно гнались за нею, и то, что одежа на ней была не прежняя, нарядная; сарафан полинялый, сверху которо-

го старый престарый шушунчик, на голове не шелковый платок, а толстое полотенце, на ногах вместо черевичков с красной оторочкою простые лапти, и то, наконец, что как только вошла она в ворота, домашние собаки, вовсе не злые (да и привыкшие к ней довольно), накинулись на нее так злобно, что надо было спасать ее от них. Впоследствии домочадцы и последнему обстоятельству придавали особенное значение, так его объясняя: «Вот, мол, собака — зверь бессмысленный, а и он почуял тогда, какой враг подбирается к нашему дому».

Уже вечером разбудила Марина Иоасафа Николаевича и немедленно начался между ними, по вчерашнему, потаенный разговор — впрочем, в комнате уже не запирались, напротив того, дверь ее была широко растворена, и, конечно, это было наилучшее средство, чтобы оберечься от подслушиванья, притом разговор шел спокойно, без рыданий, да и не так долго, как вчера.

Об ужине на этот раз вспомнили, кушанье было подано, но барин и Марина ели мало, видимо торопились кончить. В конце ужина барин приказал Макарке запрягать пару лошадей в тележку, да чтобы сам он готовился ехать за кучера. Приказ был отдан коротко и строго: велено «живо поворачиваться» и так велено, что малому даже боязно стало.

Однако он сбегал наперед к приказчику и, разбудив его, спешно передал, что барин велел лошадей запрягать, куда-то ехать хочет; «так как же тут быть?»

— А так и быть, — отвечал рассудительный Леонтьич, — запрягать скорее и только. На то его барская воля. Остановить, что ли, хочешь? Поворачивайся!.. И зачем будил, олух этакий!

Леонтьич хоть и выругал Макарку, однако же, сообразил, что тут, в самом деле, надо подумать: как быть? Вдруг живо представилось ему, что вот уедет барин, — уезжает же он как-то все не аккуратно, кутежом задерживается, и неизвестно, когда вернуться изволит, а того гляди без не-

го-то нагрянет старая барыня, — ну, какой же ответ перед ней держать? И что поделать, если барыня проведает про Маринку, да и как не проведать про такую беду? Соображения эти так отчетливо и страшно вообразились Леонтьичу, что он решился переговорить об этом с барином.

Он подошел к барину перед самым его выездом.

— Осмелюсь спросить, — начал Леонтьич вполголоса, как бы по секрету, — куда изволите ехать и когда прикажете ожидать?

— А на что это тебе? — спросил Иоасаф Николаевич.

— Неравно Надежда Ивановна изволят приехать... Спросит про вас, — в таком случае, как отвечать прикажете?

— Да, да, это пожалуй... Но я думал было... Нет! Как ты думаешь: через неделю или позднее приедет матушка?...

— Неизвестно о том, а всяко бывает: может и завтра, аль послезавтра... Недаром вот мне вчера приснилось...

— Постой! Мне надо подумать... — крикнул дядя.

Он спрыгнул с тележки, быстро стал ходить по двору, о чем-то вслух рассуждая с собою, потом кинулся в дом и довольно долго там пробыл.

Совещание с Мариной, как видно, совсем успокоило его.

— Незачем было задерживать меня попусту, — досадливо сказал он приказчику. — Еще только две недели, как уехали, а пробудут в отлучке целый месяц. Теперь и я хорошо все вспомнил... Их нечего скоро ждать... А я успею все обделать.

— Окажите божескую милость, извольте еще выслушать... — заговорил Леонтьич и в крайнем смущении не находил слов выразить, что у него было на уме.

— Да чего тебе еще надо? – раздражительно спросил дядя.

— Батюшка, Иоасаф Николаевич!.. побожиться могу, в прошлую-то ночь приснилось мне...

— Стану я слушать твои глупые сны! Пошел, Макарка!

Он уехал по дороге на Зарудню и Маливу, стало быть, как рассудил сметливый приказчик, не иначе как в Коломну.

Но это соображение еще больше встревожило Леонтьича: «Если в Коломну уехал, то не скоро воротится», — подумал он. А между тем, и недавнее раздумье, все целиком, было в его голове. Ему так и мерещилось, что вот-вот въедет во двор барина коляска…

И вся эта ночь прошла для него нехорошо.

На беду ему вспомнилось: «Макарка-то всполохом уехал за кучера, чай и не прибрал он ничего в доме, как следует; серебро столовое, пожалуй, не запер, а тут эта гостья непрошенная, солдатка-потаскуха, от нее, ведь, всего можно ожидать. И за все про все придется, пожалуй, мне быть в ответе…

Леонтьич пошел в дом и как раз наткнулся на Марину.

Она стоял в дверях залы со свечою в руках. Совсем не в приборе она была: длинные, всклокоченные волосы распущены по плечам, на голые плечи ничего не накинуто. «Но не сон был у нее на уме, не ко сну готовилась», — опять сообразил Леонтьич, взглянув на ее лицо. Бледно, искажено и страшно было лицо, а глаза горели как у волчихи.

— Ты зачем пришел?.. Подсматривать!.. Выдать задумал!.. Да не на таковскую вы все напали!.. — крикнула она неистово.

Леонтьич, однако, не испугался этого окрика.

— Да, пожалуйте, нельзя же было не зайти, — рассудительно отвечал он, — барин изволили выехать из дому, ну, так как же мне, старшему служителю, не присмотреть-то за всеми? Может, что не прибрано, так надо убрать. Обстоятельно говорю, матушка.

— Какая я тебе матушка, тебе-то, псу этакому! — опять вскричала Марина.

Леонтьич очень обиделся.

— От господ своих так-то не слыхивал, — сказал он. — И за что, про что брань должен эту принимать? Насчет же того, что матушкою назвал, — это я, точно, обмолвился… Только, право слово, не знаю, как вас величать, — сударыней, кажись, не приходится.

Едва он это выговорил, как Марина кинула в него подсвечником. Удар был силен и угодил бедному Леонтьичу прямо в лоб. Он пошатнулся и чуть не упал. Из рассеченной брови потекла кровь.

— Так-то надобно с вами! — протяжно проговорила Марина и ушла в комнату Иоасафа Николаевича.

Этот случай с приказчиком произвел сильнейшее впечатление на михеевскую дворню. Все дворовые были возмущены таким оскорблением старшему служителю в доме, человеку доверенному у барыни. Особенно жена Леонтьича волновалась, она хоть в драку готова была кинуться с Маринкою. Да все были бы не прочь расправиться с этой женщиной, от которой ждали и еще большего зла.

На счет расправы были даже большие разговоры. Но ни к какому определенному решению не пришли в дворне; в конце концов, как-то все выходило, что надо погодить, да посмотреть, что дальше будет. И оттого всяк молил бога, чтобы барыня-то поскорее вернулась. Возвращение барыни хоть и пугало, но все уже желали его с нетерпением, ибо были уверены, оно окончательно прекратит домашнюю безурядицу.

А Марина Прокофьевна на другой день, как ни в чем не бывало, распоряжалась властно по всему дому: приказывала убирать в комнатах, заказывала обед, даже делала строгие выговоры тем, кто не угождал ей в чем-нибудь. И опять-таки беспрекословно подчинялись, повиновались ей, чему после много дивились.

Впрочем, все тоже заметили, что Марина не пьет и не ест ничего подаваемого ей прислугою: она сама себе ставила самовар, к обеду, хоть и заказывала его, не при-

трагивалась, а пробавлялась только простым хлебом да молоком. И к ночи были приняты ею особые меры предосторожности. Достала она больших гвоздей и сама заколотила ими рамы окон так, чтобы нельзя было приподнять окна снаружи, из саду (болтов в П-ском доме не было), наконец, топор, обухом которого вбивала гвозди, она оставила в своей комнате.

Вечером в большой людской шли оживленные разговоры насчет всего этого.

— Очень заметно, боится тварь, что так ли, этак ли, а поднесут ей горячего до слез, — проговорил кто-то, и сначала всем было приятно, что, вот, Марина — эта смелая, наглая солдатка, точно боится. Даже много посмеялись над этим.

Но за первым веселым заключением последовали дальнейшие. И явно было, что уже сильная ненависть их подсказывает.

— А чтоб недаром боялась, попугать надо бы, — отозвалась жена кучера, Леонтьича-младшего.

— Да как сделать то?.. Вишь, не выходит, накрепко заперлась.

Вспомнили про Макарку, что, мол, затейник он, наверняка, придумал тут какую-нибудь штуку.

— Может, барин позамешкается, — он, бывало, не прочь-таки погостить там, в городе, — а она тут… не соберется ли, этак, к ночи прогуляться?.. Ходила же куда-то недавно.

— Вот, это на руку было бы!

— А что… ведь глубоконек омут-то под лавами… — проговорил еще кто-то в полголоса, и хотя все тотчас же после этих слов попримолкли, но ни от кого тоже не последовало на них возражения.

И никто не подумал тогда, что для барина женщина, всеми невидимая, была дороже жизни, что за нее пришлось бы отвечать перед его неукротимой страстью.

Но она, эта женщина, только днем выходила из своей комнаты и уже с вечера там запиралась. Все время она была чрезвычайно осторожна, а чем дальше шло, тем опасливее она становилась. Эта опасливость выражалась и во всем другом: Марина Прокофьевна вдруг перестала распоряжаться по дому, не придиралась тоже ни к кому из дворовых и больше все занималась разматыванием ниток.

Иоасаф Николаевич что-то не возвращался из Коломны. Но, должно быть, Марина и не ждала его скоро, по крайней мере, она как будто не беспокоилась о том, что он не возвращается.

Так прошло ровно три дня.

XV

Но на четвертый день Марина встревожилась.

Накануне, к ночи, должны были возвратиться из Коломны михеевские мужики, ездившие на базар. Марина надеялась от них иметь верное известие об Иоасафе Николаевиче. Ни в чем уже не доверяя домашней прислуге, она сама пошла на деревню, чтобы через свои собственные расспросы раздобыться вестями. Но ничего она не разузнала; во-первых, опоздала — большая часть крестьян уехали в село Дедново, тоже на базар, а оставшиеся дома три человека сказывали только, что, надо полагать, барин в городе гостит, но Макарку они не видали, на базар он не выходил, а пройти к нему на постоялый двор, где барин остановился, поопаслися; стало быть, и не откуда было им осведомиться: когда барин думает домой вернуться.

Вот это и растревожило Марину.

Она не смогла даже скрыть своей тревоги. Увидев из окна залы приказчика Петра Леонтьева, она обратилась к нему, столь обиженному ею человеку, с ласковым вопросом: — А как, мол, думаешь, Леонтьич, — скоро ли барин вернется?

— Не могу знать, — отвечал он сквозь зубы и проворно ушел.

Этот короткий, простой ответ как бы поразил Марину: опрометью кинулась она из залы в свою комнату, заперлась в ней и зарыдала. Рыданья бедной женщины хорошо слышала прислуга. К Марине как нарочно приходили тогда за приказаниями насчет обеда (обряд этот совершался ежедневно: в ожидании приезда, по соображением дворни, нельзя было тут не обращаться к солдатке). Но она голоса не подала в ответ стучавшимся к ней; слышно было только, что рыдает да причитает.

Часа через два, не ближе, она вышла, однако, и такая бледная, унылая. Насчет обеда сказала: а пускай, мол, что хотят, то и готовят. Затем позвала девочку, помогавшую ей в разматывании ниток, и занялась этим делом, но занялась так неловко, все путала и обрывала нитки; впрочем, в работе ей мешали и слезы, ее душившие, и дрожь, часто потрясавшая ее с головы до ног. Волнение ее было так велико, что его заметила даже десятилетняя ее помощница в тогдашней работе.

А между тем над головой Марины собралась большая гроза.

В этот самый день возвращалась домой Надежда Ивановна. Она нарочно пригнала свой проезд из Зарайского уезда через село Дедново именно в пятницу, так как рассчитывала, что на базарной дедновской площади встретятся непременно михеевские мужики, которые и помогут «слегами» пробраться тяжелому ее экипажу через топкую болотистую речку, протекавшую по дедновским лугам, неподалеку от границы с нашими землями.

В Деднове, тотчас по переправе на пароме через Оку, еще на базарной площади, Надежда Ивановна от увидевших ее михеевцев узнала, прежде всего, что молодого барина уже несколько дней нет дома, — уехал, дескать, в Коломну и почему-то все не возвращается; потом, слово

за словом, объяснилось рассказами, что в барском дому проживает теперь «гостья», Бог-весть откуда пожаловавшая, — сказывают дворовые, — какая-то солдатка; что в дому она всем распоряжается; а в ночь, как барин уехал, приказчику Леонтьичу от той солдатки крепко досталось, — лоб ему расшибла до крови подсвечником.

Горесть старушки при этих известиях была чрезвычайна. Чтобы скрыть ее от народа, Надежда Ивановна поспешно приказала въехать на первый попавшийся на глаза постоялый двор и там, в отдельной каморке, долго убивалась, плакала. Утешения со стороны дочери мало действовали на нее, но Елизарьевна была в этом удачливее. Она сумела возбудить в тоскующей матери чувство великого негодования на посрамление, всем причиненное вступлением в старый честный дом «такой мерзкой твари». Надежда Ивановна очнулась от страшного волнения душевной скорби — и вдруг поняла, что ей необходимо распорядиться немедленно насчет того, чтобы можно было ей с дочерью и с призреваемой ею круглой сиротой — родственницей Бегичевою, войти в дом свой спокойно, не видя там женщины, опозорившей его своим пребыванием, войти хоть на время только, покуда появится возможность прилично переселиться из Михеева (что казалось теперь неизбежным) или к кому-нибудь из родственников и добрых знакомых, или же в город Егорьевск.

Но не самой же ей было выгонять Марину из дому, и она приказала кучеру Петру Леонтьеву отправляться в Михеево и немедленно удалить оттуда солдатку, а затем спешно возвратиться в Дедново для доклада об исполнении поручения.

Кучер поскакал, не жалея коня. Рассказ об обиде, нанесенной Маринкою его родному брату, воспоминание о своей собственной обиде от барина, несомненно, последовавшей через Маринку же, вообще злоба великая против этой женщины, озлобившей всех, надругавшейся своим явным

колдовством над барином, подстрекали младшего Леонтьича исполнить поручение барыни как можно скорее и во что бы то ни стало.

— Греха таить нечего, — говорил впоследствии кучер, — попадись она мне вот тут же на лугах, уж не быть бы ей живой…

Он примчался на барский двор безо всякой предосторожности, не укрываясь. Все видели его спешный приезд. Увидала и Марина. Но, расстроенная своей печалью, она не догадалась, что это прискакал барынин кучер (впрочем, в лицо она его не знала). Мало того, ей вообразилось, что человек этот привез весточку от Иоасафа Николаевича. Она опрометью выскочила к нему на крыльцо.

— Родименький! Добрый человек, — начала она, задыхаясь от волнения, — сказывай же, сказывай, что барин наказывал ко мне.

— Я не от барина! А есть набольшая в нашем честном дому повыше — старая наша барыня. А наказывала она, что бы духу твоего нечистого ни минутки единой больше здесь не пахло! Так-то!.. Ну, собирайся-ка!.. Да скорей, скорей, слышь ты!

Он проговорил слова эти громко, так что и во всем дому стало слышно, говорил же, «словно кто ему речи эти подсказывал». Затем страшная сумятица произошла и в доме, и на крыльце. Сбегались люди отовсюду: из девичьей, из кухни, из людской, даже с деревни; и был тот люд голосистый, крикливый — все больше женщины, да всякие подростки. И все громко кричали: — Барыня приехала!.. Барыня приказала прогнать Маринку!.. Ну, и полно ведьме издеваться над нами!..

А она, эта бедная, совсем теперь беззащитная женщина, стояла посередь шумно-волнующейся толпы, пораженная, уничтоженная и вестью о приезде барыни, и всем, что тут происходило. Горесть, внезапно упавший на душу ужас, смутное сознание своей полной беспомощности, подкоси-

ли ее быстрый язык. Она не находила слов, решительно не могла говорить.

Приказчик Леонтьич, наскоро осведомившийся от брата о приказании барыни насчет Марины, успел-таки несколько угомонить сумятицу в сборище. Ему как старшему между прислугою надлежало распорядиться исполнением того, что приказано.

Он подошел близехонько к Марине.

— Ну, и что же тепереча, голубушка, — начал он, уже вовсе не чинясь с нею, — надо тебе наспех собираться туда, откуда пожаловать к нам изволила. Ведь слышала-то приказ барынин — и изволь поворачиваться проворно, потому самому, что как очистишь наш дом от своей «персоны», тогда только барыня домой пожалует.

Но Марина молчала, обводя все сборище широко-раскрытыми глазами, как будто таким образом прося всех и каждого разъяснить ей: «Что же все это значит?».

Тогда Леонтьич-старший счел, что надо быть с ней «построже».

— Отмалчиваться вздумала, а так-то нехорошо, сударка, — продолжал он с напыщенной важностью, и притом понюхивая табачок из своей берестяной табакерки. — Я прямо тебе доложу, что, ведь, и не честью можно будет выпроводить тебя отсюда. Говорю, строго приказываю: собирайся сейчас-таки, да и маршируй из дому, благо же ты солдатка, маршировать, чай, умеешь.

Толпа расхохоталась от этой шутки Леонтьича.

А тут какая-то из дворовых женщин заметила, что солдатке-Маринке и собираться-то нечего: как есть, с пустыми руками пожаловала, стало быть, так и уходить должна.

— Ну, так нечего больше и прохлаждаться, — уходи, уходи сейчас, куда глаза твои глядят! — крикнул уже зычным голосом Леонтьич-старший.

Но Марина все-таки молчала и не двигалась, словно приросла к месту.

— Бери-ж ее под руки и выводи! — скомандовал приказчик.

— Постойте!.. одного прошу... дайте хоть мигом глянуть на тот уголок... — промолвила она, наконец, надорванным, чуть слышным голосом.

— Нечего на чужие углы заглядываться! — сказал кто-то.

В ту же минуту кучер Петр Леонтьев и какой-то человек из дворовых схватили Марину под руки, чтобы насильно свести ее с крыльца да выпроводить за ворота. Но энергия удалой солдатки уже пробудилась: с силой чрезвычайной она оттолкнула непрошеных своих проводников и одного из них, именно кучера, ударила так, что он с трудом удержался на ногах.

Невообразимое смятение охватило толпу. Все, мужчины и женщины, накинулись разом на эту супротивницу, на эту обидчицу ненавистную. Мигом сбили ее с ног, били нещадно ее лежащую, а затем волоком поволокли к воротам. Но тут опять проявилась в Марине энергия. Она обхватила двумя руками верею ворот и от вереи уже не могли оторвать ее.

— Так вот что тепереча, — крикнула одна из женщин (должно быть, жена кучера), — привязывайте ее по рукам к верее, да потуже!... А я знаю, что сделать с ведьмой...

Откуда-то мигом добыли веревку и крепко-накрепко привязали к верее обнаженные руки Марины и даже саму ее опутали. А та же бойкая женщина, что присоветовала привязать, обрезала ножницами ее длинные русые волосы.

Все это произошло чрезвычайно быстро и уже отнюдь не по распоряжениям Леонтьича-старшего. Толпа, страшно взволнованная, сама тут распоряжалась. Не унял бы ее человек и более властный, чем был приказчик, вообще не пользовавшийся по своему вялому характеру влиянием во дворне.

Марина не обмерла, когда привязывали ее руки, когда и обрезали ее пышные косы. Она чувствовала, она сознава-

ла, что с нею делали, как поругались над нею. Только один раз жалобно и пронзительно она вскрикнула, потом руки ее вдруг перестали держаться за верею.

— Развяжите… Сама встану. Уйду, уйду!.. Аль и убить хотите?... — проговорила она, хотя сильно дрожащим, но внятным голосом.

— Что вы, полоумные! — закричал тут и приказчик, — отвязывайте, сейчас отвязывайте!.. Ну, чего-ж еще — сама, вишь, хочет уходить!.. Ах, вы, оглашенные! Больше никто не смей и пальцем ее тронуть!..

Веревку тотчас распутали и развязали. Марина быстро приподнялась и первым делом схватилась обеими руками за остриженную свою голову. Послышалось тяжкое, как бы предсмертное, рыданье… Но то было лишь на мгновение. Нетвердым шагом, даже сильно пошатываясь, Марина вышла за ворота и не оглянулась на толпу. Пройдя же несколько, она минуты две простояла на одном месте, все-таки назад не оглядываясь, и что-то говорила сама с собою. Но никто не мог того разобрать. Затем пошла она очень тихо и прямо полем к Маливскому Бору, а может быть, к кустарнику, который тогда к бору примыкал.

Толпа смотрела на уход Марины в каком-то оцепенении. Озлобленность ее разом исчезла, и чувство это заменилось явной оторопелостью. Всех же более оторопелым казался приказчик Леонтьич.

— Что наделали! Что наделали! — говорил он в крайнем смущении.

Но надо было поспешить с докладом к барыне — до вечера уже немного времени осталось. Леонтьич-старший сам отправился с братом-кучером в Дедново.

— Ведь ты не сумеешь ладно доложить, — сказал он брату, — а тут дело вышло уже совсем-таки плоховато… О-ох, беда, вот приехала барыня, — и на первых же порах худо сталося, а надо ждать еще барина: он, как приедет, — тут-то что будет!

XVI

Петр Леонтьев-старший на деле оказался неважным дипломатом: он и вовсе не сумел «доложить» Надежде Ивановне, что барский дом очищен, что солдатка Марина отправилась из него восвояси. Он начал свой доклад крайне смущенно, очень неловко, и сразу стало заметно, что при «очищении» дома произошло нечто особенное и нехорошее. Впрочем, Надежда Ивановна поняла это по-своему, в том именно смысле, что вероятно, Маринка, озлобленная высылкою из дому, грозила чем-нибудь, а потому и приказала она накрепко докладчику, чтобы, отнюдь, не скрывал, как там дело было, даже и на таком случае не скрывал, если бы распутная та солдатка высказала, уходя, самые дерзкие угрозы. Таким-то образом приказчик и вынужден был сказать уже все. Как, мол, очень «дурно» все вышло, и оттого больше, что дворовые, грешным делом, словно разбунтовалися; они же и до прежде того Маринку больно невзлюбили, а тут она все артачилась, не хотела уходить, да под конец драться стала: ну, вот, тогда и поколотили-таки ее; одежку на ней порвали, косу тоже обрезали (и уже это самое как-то невзначай для него, приказчика, сделалось); а затем, мол, Маринка ушла сама, таково спокойно, ничего ровно не молвила, даже ни разу не оглянулась…

Возмутил этот рассказ Надежду Ивановну. По неизменной доброте своей, по благородным понятиям, ей всегда присущим, она и при всем своем негодовании на сына, на его развратную и наглую любовницу не могла и в малейшей степени извинить все это насилие над женщиною. Не расспрашивая уже больше о подробностях происшествия, она напустилась на приказчика.

— Да ты-то чего же там смотрел? И как так ты мог допустить такое мерзостное дело?.. Хоть и развратница, хоть и лиходейка, нет нужды, что и драться вздумала, — одна-то против всех! — но как же осмелились вы опозори-

вать так женщину?.. А ты-то все время при этом был, все видел, — и не остановил!.. Да вы все с ума что ли там сошли?.. — говорила она Леонтьичу, и так пылко, так гневно, как никогда еще не доводилось ему от нее слышать.

— Матушка-сударыня, — решился он, однако, возразить, — ведь Маринка-то — заправская колдовка, и все-то у вас так на нее думают…

— Мало ли что вы там придумаете с дуру!.. Да хоть бы она и была сущей колдуньей, — ну, тогда ей, проклятой, кара Божия, а не ваше подлое, бешенное измывательство… Как допустил ты! Как мог допустить!.. И знаешь ли ты, что из этого может выйти!..

— Виноват, матушка… как на грех — оплошал…

Но тут вмешалась дочь Надежды Ивановны, Любовь Николаевна, которая с явным нетерпением слушала гневные речи матери и несколько раз порывалась высказать свое слово.

— Теперь решительно нельзя нам ехать в Михеево, — сказала она.

— Да почему же?.. — понизив вдруг голос до шепота, спросила старушка, явно не столько удивленная, сколько пораженная замечанием дочери.

Но дочь как бы не обратила внимания на это и продолжала громко:

— Сами можете легко представить и рассудить, впрочем, я все скажу… Не нынче, так завтра, вернется же брат, а Маринка эта уж расскажет ему с разными прикрасами про все, что с ней сделали, — и конечно, все это на нас она свалит… А вы знаете бешенный нрав Иоасафа Николаевича… Тут всякой беды можно ожидать от него…

И Елизарьевна разъехалась.

— Ах, матушка! Ах, сударыня! — плаксиво говорила она, — барышня-то, разумница-то наша, все как есть, в правду изволила рассудить…

— Вот что вы наделали! — горестно вскричала Надежда Ивановна, обращаясь уже с последним упреком к совсем оторопевшему приказчику.

Но надо же было на что-нибудь решиться… И об этом старушка крепко призадумалась, а между тем все тоже молчали в недоумении и страхе.

— Мне кажется, — резко прервала, наконец, молчание Любовь Николаевна, — мне кажется, что всего лучше будет ехать прямо к предводителю… Право, так это маменька!... Извольте и то рассудить: большая часть имения принадлежит брату, при теперешних же этих обстоятельствах надо бы заранее обеспечить нашу долю… Право, пойдемте к Андрею Ивановичу, — нынче ночуем у Змеевых, а завтра к нему.

— Нет! Все это не так… — медленно ответила бедная мать.

Хоть и потрясенная столь внезапно, столь грозно налетевшими событиями, она не потеряла, однако, силы так обсуживать эти события, как внушало постоянно присущее ей сознание своего достоинства честной женщины и своих прав матери, которая ничем и никогда не нарушила обязанностей к своим детям.

— Нет! Продолжала она, — я поеду туда, в Михеево… Не для того поеду, чтобы, встретясь там с сыном, еще раз попрекнуть его за мерзостные поступки, за явную его супротивность родительской власти… Что уж теперь попрекать, — поздно! И уговорить разве можно его?.. Все, все загублено!.. Поеду лишь для того, чтобы поскорее, — вот ты хорошо напомнила, Любаша, — чтобы пало… Мне-то ничего не надо, — скоро Господь приберет, — но вам… Да! Вот для этого надобно еще раз говорить с ним…

— Но и еще, — добавила она, с минуту помолчав, — еще затем поеду, чтобы опять в последний разок побывать в родном дому…

И горько она зарыдала.

Но, пересилив великую горесть, она смогла довольно твердо высказать окончательное решение свое о немедленном отъезде в Михеево.

— Тебе, Любаша, точно не следует, — от крыльца прямо отъезжай к Змеевым. Там и дождешься меня. Только ничего не рассказывай, должно беречь семейную честь; скажи, что сама отпросилась.

Любовь Николаевна стала было возражать, что она непременно хочет остаться с матерью. Но старушка строго посмотрела нее и замахала руками, чтобы дочь не смела больше настаивать на своем.

Уже стемнело, когда приехали в Михеево. Прямо от крыльца Любовь Николаевна, простившись с матерью, отправилась к добрым соседям, Змеевым, в сельцо Афанасьево.

Дворовой люд встретил старую барыню очень уныло и боязливо. Но барыня ни с кем не заговорила.

Она вошла в этот родной ей дом — и мрачным, даже как будто чужим он ей показался. И всю ночь ни на минуту не сомкнула она глаз, а больше все бродила по опустелым комнатам, бродила, тяжко вздыхая и мучаясь тяжкими думами.

XVII

Теперь я должен воротиться назад, к тому времени, когда Иоасаф Николаевич волей-неволей отправился в Коломну. Впрочем, насчет этой поездки в позднее ночное время, предпринятой в больших попыхах, Макарка догадывался, что барская-то воля тут непричем, что барина послала Марина Прокофьевна на какие-то разведки и, конечно, насчет ее братца родимого. Дорогою это предположение догадливого малого подтвердилось.

Ночь стояла безлунная, весьма темная от густого тумана, поднимавшегося с обширных здешних лугов и широко

затоплявшего всю окрестность. Притом, дорога от Михеева до Коломны была и днем-то неудобна для проезда: на первых порах надо было проезжать через Маливский Бор, с его вековыми дубами и соснами, раскинувшими через дорогу огромные корни; за селом Маливою приходилось перебираться через довольно топкую речку; дальше под деревнями Мостищами и Подосинками — опять речки без мостов с «*бакалдинами*»* в песчанных руслах; еще дальше, под деревней Поповкой, — глубокие пески; а как-раз за этой деревней — тесный проезд в узком ущелье («нехорошее» место, известное тогда в околотке под названием Волчьи Ворота); наконец, под селом Карапчеевым опять тянулись глубокие пески с рытвинами в них. Словом, на расстоянии слишком десяти верст из всего пути до Коломны дорога была такая, по которой надо было пробираться с чрезвычайною осторожностью. Вообще на ту пору Иоасафу Николаевичу пришлось ехать, по крайней мере, часов пять, и уже только совсем утром добрался он до цели своего путешествия.

Для рассеяния скуки от медленной езды и для преодоления того жуткого чувства, которое постоянно поддерживалось и темнотою ночи, и неудобствами, даже опасностями дороги, разговор был необходим для наших путешественников. Но Иоасаф Николаевич затевал теперь разговор и по иному, особенно важному для него, побуждению.

— Смотри, Макарушка, — сказал он своему служителю, скоро по выезде из усадьбы, — сослужи мне в Коломне верную службу. Я на тебя хочу понадеяться... А пуще всего, не моги ни о чем и никому проболтаться...

— Помилуйте, сударь, — да о чем мне там болтать?.. — и Макарка начал было клятвенно уверять в своей неизменной верности барину, а также и в своей осторожности. Но дядя с некоторой досадливостью тотчас перервал его.

— Обо всем этом незачем распространяться, я ведь тебе верю, — продолжал он. — Но слушай же, слушай! В Коломне постарайся хорошенько узнать: много ли перело-

вили разных беглых, о которых были слухи, что они где-то там разбойничали?.. Узнай тоже: где всего больше их ловили, то есть, в каких именно местах? А главное, станут ли, хотят ли и еще ловить?!. Нет! Это не главное, а вот что: как их будут судить, неужто по полевым военным законам?..

— Это какие же полевые законы?..

— Ну, как тебе растолковать? Это на время войны... Но то — война... А бывает... да! бывает, что и в мирное время... Когда же назначается где-нибудь, по особым обстоятельствам, суд военный, по полевым законам, то оказывающихся виновными... расстреливают... Конечно, это за важные вины... тоже и за разбои... О, этот суд!.. Ведь смертью наказывают!..

— Слышал я, сударь, как позавчера, что ли, приказчик Леонтьич рассказывал в людской, что, точно, беглых расстреливать хотят. И говорил он, что это очень хорошо, так и следует: сами, мол, эти беглые разбойничают и мало-ль что делают, инда убивают почасту, ну вот, и их тоже, как попадутся... Острастка, мол, будет большая для лихих людей.

— Острастка?.. О, нет! Я думал, много думал об этом, только одна есть острастка — страх Господень... А иной острасткой злых людей не удержишь... Смерть!.. Но смертью лишь Господу Богу подобает страшить.

Разговор на этом перервался и довольно надолго. Пошла дорога особенно трудная и опасная — под деревнями Подосинками и Поповкою и в Волчьих Воротах. Но на Карапчевских песках Иоасаф Николаевич опять разговорился.

— Ты помнишь ли хорошо о чем я тебе приказывал? — спросил он Макарку.

— Как, сударь, не помнить? Все, как есть, помню-с, — бойко отвечал малый, с которого тогда слетели все страхи из-за дороги, — а только не знаю я, как тут быть: кого бы это порасспросить насчет суда того военного, что расстрелом казнят?.. Простым людям, как я примером, чай, не за знатье об этом... А господа, тоже чиновники, какие побол-

ше, те может и знают, да ведь, как их станешь о том деле спрашивать?.. Не-то чтобы для этого самого, а так, запросто, подступиться боязно... Как есть, для меня все такое больно несподручно...

Иоасаф Николаевич начал было убеждать Макарушку, что отнюдь ему не следует бояться расспрашивать кого бы то ни было, хоть бы тех самых чиновников, что побольше; в конце же концов, он вдруг добавил пискливым голосом:

— Нет! это ты верно сказал... Я тоже не придумаю, как тут быть...

Между тем, совсем рассвело, да и дорога берегом Москвы-реки пошла удобная, хорошо накатанная, можно было ехать шибкой рысью. Макарушка приударил было лошадей, поспешая в город, до которого оставалось уже недалеко; но Иосаф Николаевич остановил его.

— Шагом, шагом! — приказал он.

— Вот, видишь ли, Макарушка, — затем продолжал он, — рассчитывать, взвешивать, угадывать, как-то там изловчаться надо, а я никакой этой ловкости никогда не имел и не имею... Вот, если бы прямо пойти и спросить людей тех, наверное про все сведущих, и когда они всю правду объявят, сказать им, что Бог на сердце положит, кажется, на это я был бы способен... Но тут, исподтишка, намеками да обиняками... Говорил я ей про все это!

Из последних слов Макарушка окончательно догадался, что это, точно, Марина Прокофьевна послала барина на разведки, и, должно быть, именно о братце своем, который, значит, попал в большую беду. И жаль-жаль стало ему барина!

Показался Голутвин монастырь на другом берегу Москвы реки. Ни малейшего людского движения не было заметно ни вокруг монастырских ворот, ни на перевоз; паром был на той стороне и паромщики куда-то скрылись.

— Надо быть, заутреня идет в монастыре, оттого и народу нигде не видно, — заметил Макарушка.

Послышался, как-раз в эту минуту, перезвон колоколов, тот, что бывает перед чтением святого Евангелия.

Иоасаф Николаевич молча схватился руками за плечи Макарушки, чтобы он остановил лошадей. Потом быстро выскочил из тележки и жарко-жарко стал молиться на кресты монастыря, на которых переливчато сверкали лучи восходящего солнца.

И еще больше стало жаль Макарушке своего барина...

Когда Иоасаф Николаевич опять взобрался в свою тележку, Макарушка сказал ему утешительным голосом:

— Ну вот, сударь, теперича уж я надумался хорошо... Надо будет нам остановиться опять на том самом постоялом дворе, где онаменднись мы останавливались. Дворник — человек разговорчивый, наезжают тоже к нему, заметил я, всякие люди. И господа из уезда бывают. От дворника, от кучеров и лакеев, постояльцев, можно будеть кое-что разузнать. Как можно, чтобы никаких слухов не было!

— Хорошо, хорошо, спасибо тебе, — отвечал тихо дядя.

Но вот, уже под самым городом, мост через Москву-реку *на плашкотах, «живой мост»*, как прозвали его в народе. При въезде на него Макарушке нечто припомнилось, и, оборотившись к барину, он счел нужным передать ему об этом.

— А старая барыня завсегда выходить здесь изволит из экипажа, очень боится, — сказал он, весело улыбаясь.

— Не поминай... не поминай, ради Бога! — вскричал, как бы в испуге, Иоасаф Николаевич, и этим очень удивил своего слугу.

Так въехали они в город.

XVIII

В Коломне у Иоасафа Николаевича было уже немало знакомых — офицеров, каких-то чиновников, с которыми

он сошелся частью еще во время гулянья своего вместе с Михайлою Николаичем Г-вым, а частью — при вторичном своем кутеже. Он знал, где живут некоторые из них, да, пожалуй, легко было и всех разыскать. Скоро по въезде на указанный Макарушкою постоялый двор, несмотря на очень ранний час, Иоасаф Николаевич поспешил отправиться к этим своим знакомым. Но о гульбе он, конечно, нисколько не думал. Он шел единственно с целью разузнать, о чем ему было нужно. Впрочем, все как-то неладно для него сложилось. У первого же знакомого он и застрял. Тот не выпустил его от себя даже до вечера, все угощал и сам угощался. Угощались тут же и еще какие-то молодые люди. Всем было очень весело, кроме одного Иоасафа Николаевича. Правда, и он пил не мало, но оттого не развеселялся, даже не хмелел, лишь голова болела. Он был, видимо, нездоров; это собутыльники заметили и щадили его, не приставали ни с чем. Беседа же тут шла оживленная, много было наговорено и порассказано, но все не о том, про что хотелось разведать дяде. А сам он так и не решился ни спросить, ни как-нибудь навести на то разговор.

Наконец, потихоньку от всех он ушел на свой постоялый двор.

Макарушке тоже не поудачилось на разведках. Оказалось, что на постоялом дворе никаких приезжих не было, да и немудрено — день-то был не базарный. По той же причине, хозяин-дворник находился в отлучке, уехал на какую-то мельницу, и лишь поздно к ночи ждали его домой. Жена же его разболелась зубами и оттого разговаривать было ей вовсе не в охоту.

Доложив барину обо всем этом обстоятельно, узнав и от барина о бесплодности его собственных разведок, Макарушка посоветовал ему отправиться в трактир: «Есть, дескать, такие здесь трактиры, в которые и господа ходят на биллиард поиграть, погулять тоже, — так вот там не поразговорится ли кто-нибудь; а то можно, под шумок, и порас-

спросить: что, мол, слышно о беглых, о разбойниках, много ли их переловили и как судить их будут».

Совет понравился Иоасафу Николаевичу и он тотчас хотел было идти в трактир, но вовремя спохватился, справился с карманом, — и оказалось, что не взял он с собою из дому ни копейки. Таким образом, пришлось бы в трактире сидеть да глядеть, как другие гуляют, а самому нельзя было бы и чаю себе спросить, — по расчету дяди, это уже никак не годилось, с чем согласился и служитель.

— Как же это, Макарушка, — сказал дядя в смущении и от другого обстоятельства, ему припомнившегося, — ведь у нас нечем и здесь-то расплатиться.

— Это — ничего-с, хозяин нам поверит, — отвечал малой.

— Вот разве что, — продолжал довольно решительно Иоасаф Николаевич, — пойду-ко прямехонько к здешнему земскому исправнику да и спрошу его обо всем. Что, в самом деле, путаться... Так-то проще и вернее будет.

Но Макарушка с жаром возразил:

— Нет, сударь, воля ваша, а не годятся эдак. А ну, как вздумается земскому капитан-исправнику спросить вас самих: вы, дескать, из-за чего такого хлопочете?.. Ведь, они, эти господа чиновники, ух, какие мастера прицепляться ко всем... Да и чужой же здесь уезд... Это я так осмелился молвить глупые мои речи, для того, сударь...

— Да, да! все это может быть... Я точно чужой здесь дворянин... Но перестань обо всем этом, ради Бога! — прервал бедный дядя.

Он остался дома и, сказав Макарушке, что ужинать не будет, что скоро ляжет спать, заперся в своей неприглядной горнице. Однако он не заснул, как обещал; по крайней мере, слуга его, ужинавший к досаде работницы в передней, долго слышал, что барин все вздыхает, иногда бормочет сам с собою и даже не ложится в постель.

Но на другой день он был на ногах с раннего утра и, прежде всего, заговорил опять-таки о разведках. Он сам хотел идти для этого в город, но куда именно — не сказал, равно, как и о том не вымолвил, как задумал расспрашивать. Воротившись же часов около трех по полудни, усталый и печальный, он объявил Макарушке, что опять ничего не разузнал, хотя и был во многих местах. Впрочем, и немудрено, что разведки его оказались бесплодными: он был только на живом мосту, да у рыбаков, да заходил еще на дворы, где стояли троичники, возившие на долгих в Москву; со многими он говорил, но все не о том, что ему было нужно, — на это-то и не доставало у него духу; притом, самому ему было заметно, что, пускаясь в разговоры, крайне неладно он путается, отчего троичники, например, даже пересмеивались.

Зато слуга его был удачлив.

Еще в ночь вернулся хозяин постоялого двора, и от него Макарушка узнал, что точно беглые, разбойники эти, которых развелось что-то слишком много, уж очень всем надоели; что появляются и озорничают они, то там, то здесь, беспрерывно, и нет от них спуску ни пешему, ни конному; что недавно в Чанском лесу отшельника, про которого была молва, что у него водятся денежки, жгли они на вениках и чуть живого оставили; ну вот, из-за всего этого и начали их довить, не дают тоже потачки притонодержателям и одного, какого-то мельника, словили уже на том, что он водится с разбойниками, целую шайку их содержит, — словили да и засадили в острог; и, наконец, толкуют, будто бы с Москвы опять-таки строго наказано, чтобы переловить беглых всех до единого, но про казаков и про «*бекеты*»* покуда еще не слышно.

Макарушка счел все эти вести за очень важные и поспешил их передать своему барину, но к его удивленно барин выслушал их совершенно равнодушно и пренебрежительно.

— Эх, малой, — сказал он с досадою, — ты ничего путного не узнал. Лгать я не умею и скажу тебе сущую правду: почти про все это, что тебе рассказывали, я слышал еще в Михееве; только про того отшельника мне неизвестно... Нет! не про это надо было разведать...

Помолчав, он спросил:

— И только? И больше ничего?

— По откровенности сказать, сударь, — начал было Макарушка, и как раз запнулся, сообразив, что, по крайней мере, теперь еще не следует передавать барину про одну подробность, слышанную им тоже от дворника, — гневаться только не извольте, больше я ничего не разузнал.

— Значит, так тому делу и быть, — продолжал Иоасаф Николаевич, уже совершенно спокойным тоном, — и знаешь ли, что приходить мне на мысль: не ехать ли нам в Михнево сейчас же?.. Ведь в самом деле: *«бекетов»**, как ты их называешь, то есть, пикетов, мы с тобой нигде по дороге не видали, казаков здесь нет, иначе в городе они уж были бы видны, да и наш хозяин ни о чем таком не говорил тебе, стало быть, и про военный суд с расстреливанием тоже, должно быть, лишь наболтали... Ну, и что ж нам тут оставаться?.. Бедная Маринушка там скучает, тоскует... Запрягай-ко скорее лошадей!

Но Макарушка было это не на руку.

— Осмелюсь доложить, — возразил он, — надо бы здесь подольше пробыть...

— Это зачем?

— Да я еще бы от хозяина разузнал... Кажись, не все-то он высказал...

— Но я же объяснял тебе. Очевидно, что не о чем больше разузнавать.

— Нет, сударь, объявляется тут еще одна статья, — Макарушка решился теперь уже все открыть барину, — не хотел, было, я беспокоить вас, в том виноват перед вами, а ведь хозяин-то и еще сболтнул... Под конец и говорит он

мне: «Маринка-солдатка, — не взыщите, сударь, это он так-то обозвал, — Маринка-то не у вас ли, в Михееве, проживает, прячется?» Я ему на то, грешным делом, инда побожился, что Марины Прокофьевны не было и нет у нас. Но он все, ка-быть, сумневается, головою эдак покачал, да и опять молвил: «Если, мол, у вас она, то как бы из-за этого худа не вышло»... И ушел тотчас от меня.

Иоасаф Николаевич сильно встревожился.

— Как же быть теперь?.. Ах, да, это очень важно!.. Тут в самом деле есть что-то особенное... — несколько раз повторил он в волнении.

— Надо беспременно еще порасспросить хозяина, — продолжал Макарушка, — может, и больше скажет.

— Но что бы это значило?.. Почему он так о Марине?..

— Кто-ж его знает! А должно, есть у него и еще что-то в запасе.

— А! вспоминаю теперь!.. — вскричал дядя, — вспоминаю: «Пропала наша хибарка!» — Ты не слыхал ли чего о Марининой хибарке?

— Нет, не слыхал-с... только, кажись, и тут дело неладно...

Макарка сказал это нетвердо. Он опять-таки не решился «обеспокоить» барина, а о хибарке ему было известно, что в ней обыск делали, что дня два сотские и десятские караулили вокруг нее, что она теперь заперта не Мариною, а чиновниками и что крестьянам соседней деревушки строго велено присматривать за хибаркою.

В тяжелом раздумье Иоасаф Николаевич долго ходил по тесной своей горнице. Наконец, он подошел к окну, растворил его, чтобы освежить горевшую голову, и вдруг благим матом вскрикнул и перегнулся через подоконник, словно хотел выскочить на улицу. Испуганный криком и тем движением барина, Макарка опрометью кинулся к нему; но, выглянув, он увидал в чем дело и закричал из окна:

— Вот, мы здесь!.. Сюда, сюда въезжайте!..

По тряской мостовой ехала нешибкой рысью тройка. В телеге сидел Михайло Николаич Г-в.

XIX

Иоасаф Николаевич выбежал на двор встречать брата. Встреча была такая, что Макарка, подобно всем михеевским дворовым нелюбивший Г-ва, очень расчувствовался, глядя, как обнимаются и целуются братья. И всяк взглянул бы тогда с добрым чувством на них: казалось, молодые люди радовались внезапной встречи с полным и искренним увлечением.

Хозяин чрезвычайно заинтересовался новоприезжим постояльцем. Как давнишний городской дворник, он много видал всяких людей, но такого еще не видывал. В нем все казалось ему как-то диковинным. И прежде всего диковинка эта — встреча михеевского барина с новоприезжим, который, судя по его бороде, не иначе, как простой купец: ну, как же, в самом деле, привечают друг друга, словно совсем ровные, и один другому говорить запросто «ты».

Притом одежа на приезжем, хоть и купецкая и дорожная, но вовсе не такая, какую дворник видел обыкновенно на своих коломенских, на соседних зарайских и даже на московских купцах, наезжавших в Коломну по торговым делам, — она была уж чересчур щеголевата: из-под расстегнутого сверху казакина бросались в глаза шелковая алого цвета рубаха с косым воротником, застегнутым большою золотою пуговицею, и бархатный жилет, по которому вилась золотая цепь от часов. Самый казакин был стянуть поясом из лакированной кожи, у которого с левой стороны висел на серебряной цепочке большой нож в ножнах, с рукояткою из слоновой кости; сверху казакина — господская шинель на шелковой подкладке. Наконец, на указательном пальце правой руки виднелся золотой перстень с блестящим камнем, а в руке этой новоприезжий, коренастый, румяный

и бойкоглазый молодец держал суковатую толстую палку с серебряным набалдашником. Такой костюм на человеке, едущем в простой телеге и лишь с одним ямщиком, и не коломенскому дворнику мог бы показаться очень странным.

Ведя господ наверх, хозяин постоялого двора чуть не на каждом шагу оглядывался, а придя в горницу Иоасафа Николаевича, прислонился к притолоке, видимо, намереваясь остаться тут и послушать речей своих постояльцев. Но приезжий господин тотчас же выслал докучного наблюдателя, приказав ему распорядиться первым делом насчет самовара, а затем немедленно отправиться к рыбакам и достать самой лучшей рыбы на ужин.

Хоть и с неохотою, хозяин повиновался. Однако любопытство его было раздражено до крайности, и он отправился не на кухню, где бы должен был распорядиться о самоваре, а к Макарке, который вместе с ямщиком занимался выгрузкой вещей Михайла Николаича.

— Да кто такой? — спросил он у малого.

— Брат родной нашего барина, только с левой стороны, — отвечал Макарка.

— Вот, оно что... — протянул хозяин, — ну, да кто-ж такой?.. По бороде, да пожалуй и по обличью, словно купец, а одежа у него, ну как-таки ехать в дорогу в такой?.. Да и речи-то, и ухватки все, как у бар настоящих...

— В Питере завсегда живет. Все с господами знается. Вишь ты: у сенатора в доме за барченка проживал, воспитывался. А теперича кареты, коляски на бирже держит... Страх разбогател!

После этого объяснения хозяин с большим спехом пустился исполнять приказания новоприезжего.

Когда Макарка и ямщик внесли дорожный погребец и очень большой чемодан, Михайло Николаич тотчас стал вынимать из них разные вещи. Вещей было много, и все такие хорошие. При них гораздо пригляднее стало в горнице Иоасафа Николаевича. На деревянном, выкрашенном

вохрою диване Макарка по приказанию Михайлы Николаевича разостлал мягкий ковер, а неладный и загрязненный стол покрыл хорошей цветной скатертью; затем на столе явились хрустальные стаканы с серебряными ложечками, хрустальный же граненый графинчик с ромом и прекрасные чайник и молочник, и все это так блестело.

Разбираясь с вещами, Михайло Николаич в то же время вел беседу с братом.

— Ты как же здесь, в Коломне: по своей охоте, вольной-волею или же послали тебя? — спросил он прежде всего.

— Матушки нет дома, уехала с сестрой и Палашею на богомолье, — отвечал как-то непрямо Иоасаф Николаевич, и таким уклончивым ответом Г-в остался недоволен.

— Ты что ж это — вокруг да около? Я тебя спрашиваю об одном, а ты мне о другом. Да и чудно: про это самое богомолье ничего толком не объяснил? Скажи, по крайности: когда уехали?

— Уж недели две будет, кажется, третья пошла...

— Да куда же? В Киев, что-ль?

— Нет... только в Радовицы...

— Диковина! А когда должны вернуться?

— Не знаю... Не скоро... Разве через две недели.

Михайло Николаич кинул разборку вещей и подошел к брату.

— Что-то неладно у вас там, — сказал он отрывисто и резко, — если ты ко мне, как допрежде был, то говори все, сущую правду, отнюдь не виляя... А не то, — хоть я приехал ради тебя тоже, — я сам отскочу в сторону. Ты ведь должен меня знать хорошо... Кто от меня только на один вершок, от того я немедленно на версту.

Иоасаф Николаевич тотчас «весь повинился», как объяснял впоследствии Макарка ту полную, прямодушную откровенность, с которою барин его рассказал своему побочному брату все, что случилось с ним в последнее время:

как познакомился он с Маринушкою и полюбил ее «больше жизни своей», что затем последовало по причине непреклонного желания матери женить его, для чего и теперь пустилась она в долгую поездку, как, наконец, Маринушка, поселившись в Михеево, размыкала, было, тоску, напавшую на него от угроз матери, но вот недавно и она затосковала из-за брата своего, которого хотят изловить, она же боится, как бы не казнили его страшною смертною казнью. Рассказ шел долго, Иоасаф Николаевич взволнованно и сбивчиво рассказывал, и потому, может быть, многое было не совсем ясно в этой внезапной его исповеди. Но Г-в слушал, ни разу не прервав брата.

— Дела... дела немалые вышли, да кто знает, что из них дальше выйдет... — сказал он вслед за рассказом, — да, да! делишки таковы, что инда не знаешь, как начинать раздумье о них: натощак ли лучше аль для смелости, что нужна будет под конец, подкрепиться хорошенько... Ну, право-слово, и об этом надо тоже порассудить... Да что ж этот пузатый самоварник — хозяин самовар не несет? Макарка, ты чего смотришь!.. Да и зачем этот шельмец все время тут был? Вот и я оплошал!

— Ничего, — заметил Иоасаф Николаевич, — он все знает.

— Все знает! Эх ты! Но всего и подушка не должна знать... Ну, смотри же, Макарка, попомни: теперича ты со мною будешь дело иметь. Коли что услышишь, да про то чужому человеку выдашь, как с бешеной собакою я с тобой расправлюсь.

И грозно проговорил он эти слова, так что Макарушку сильно от них покоробило.

За самоваром оказалось, что Михайло Николаич порешил обсуживать братнины дела не натощак: он обильно подливал себе в чай рому.

— Ты мне и еще кое-что порасскажешь, чтобы я все мог понять, — сказал он брату и, приказав Макарке зажечь

толстые восковые свечи в двух низеньких серебряных подсвечниках, которые вместе со свечами достал из своего объемистого чемодана, выпроводил малого в сени и дверь за ним запер.

Беседа братьев шла долго и, должно быть, о чем-нибудь особенно важном; когда Макарушку позвали, чтобы прибирал самовар и подавал ужин, он заметил, что господа, тогда уже сидевшие молча, словно сердиты, брови у них так насуплены и глаза у обоих сильно горят.

Затем малой успел-таки кое-что услышать, явно относившееся к только что поконченному разговору.

— Брат, — промолвил Иоасаф Николаевич дрожащим голосом, — как хочешь, а те дела, о которых ты больше все намеками, я их не понимаю... Чуть ли они еще не похуже...

— Не тебе о том судить и рядить, — раздражительно прервал Г-в, — про дела не бабские немного надо разговаривать... ну, да что тут, не понимаешь, и не понимай. А больше о том, слышишь, ни словечка. Я и из-за того колобродства довольно устал... Эх, черт побери! — прибавил он еще раздражительнее, — уж как некстати этот ужин! Знаешь ли, что нужно бы теперича: нужно бы отправиться в табор цыганский, да и погулять там до самого свету. Что ж, для делов времени еще много будет... Макарка, барин твой навряд знает, а ты может хоть слышал: нет ли тут по близости города цыганского табора?

Макарка очень обрадовался, что питерский господин, такой богатый, да и строгий тоже, спрашивает его о «деле».

— Как же, сударь, знаю, то-ись слыхал, что под Перевицкой горой завсегда летом стоят цыганские таборы, — проворно отвечал он.

— Ну, так за лошадьми живо! Впрочем, постой, далеко отсюдова?

— Да, верст под тридцать будет. На Дедново надо ехать.

— На Дедново! Но когда ж мы туда поспеем? Еще скоро ли лошади придут... Дурак ты, Макарка, видно с-измальства много в темя тебя колотили.

Посмеялся своим коротким простодушным смехом и Иоасаф Николаевич над сконфуженным Макаркою. Мысль о поездке к цыганам была покинута совершенно. Но как не удалась поездка, так не удался и ужин. Он прошел тихо и скучно. Оба брата как по заказу молчали. Да и еда и питье было им не в угоду. Ужин кончился чересчур скоро. Макарке так и не удалось ничего больше подслушать, тем более, что Михайло Николаич приказал ему спать не в передней, а в сенях.

На другой день малой заметил, что господа за ночь обо всем переговорили.

За чаем Г-в спросил его:

— Ну, Макарка, ты что еще узнал от хозяина насчет Марины, насчет хибарки марининой, да и о братце ее любимом, пропадай он пропадом?

Верный слуга Иоасафа Николаевича, врасплох захваченный этим вопросом, сразу рассказал о хибарке, об обыске в ней, о том, что и Марину, должно быть, разыскивают, — словом, обо всем, что он знал еще до последней поездки в Коломну и что слышал от хозяина-дворника. Михайло Николаич слушал его с тем же вниманием, с каким накануне слушал и брата, ни в чем не прерывая рассказчика и не давая в том воли Иоасафу Николаевичу, который, как только зашла речь о Маринушке, опять взволновался и опять подмывало, было, его путаться тут и в мыслях, и в речах.

— Теперича дельце это я совсем в домек взял, — сказал Михайло Николаич по окончании рассказа Макарки, — ну и баста об этом, вправду молвить, глупехоньком деле. Ты, Есаф, уж не пугайся, не расспрашивай, я, как оно есть, понял. Сиди же дома один-одинешенек, никого к себе не допущай, так лучше будет, а то проболтаешься

ненароком. А я отправлюсь и все разузнаю, уж этому поверь.

— Скоро ль вернешься? — спросил Иоасаф Николаевич.

— Вряд ли скоро. Ныньче, может статься, поздно пообедаем.

— Тяжко будет... И теперь мысли разные...

— Эко дитятко блажное! без няньки, вишь, скучнехонько... Уж не за Маринкою ли послать? Слушай: сиди неотменно дома, и хозяина к себе не пущай. Макарка, скажи хозяину, что у барина со вчерашнего хмеля голова очень болит и опять моль улегся почивать. Да и сам ты не лезь к барину на глаза с разговорами. Брат! — продолжал он, понизив голос и с ласкою, — для тебя же хлопотать буду. Послушайся меня во всем... Лучше всего постарайся соснуть и ни с кем, ни с кем ни полслова!

Он ушел, в сенях опять наказав строго Макарке: никого не пускать к барину, самому не тревожить его разными пустяками о Марине, о ее брате, об этом «проклятом гнезде» Михееве, да и не пускаться уже ни в какие разговоры с хозяином.

Воля этого человека была властительна, думаю, и не над такими слабохарактерными личностями, каков быль Иоасаф Николаевич П-в; наставлениям его или, лучше сказать, приказаниям и дядя и его слуга повиновались вполне. Ни разу Макарка не посмел войти к барину, ни разу и барин его не позвал. Подходил, было, и не однажды хозяин к Макарке с расспросами все о питерском госте, но малой каждый раз отпроваживал его от себя короткими одними и теми же ответами: «Ну что, мол, приставать? Чай, сам видел, что Михайло Николаевич, господин Г-в, отправился в город, а зачем — видеться ли с кем, покупать ли что, нешто мне можно про это знать?»

К вечерням звонили, как вернулся Г-в. Заметно было, что он несколько подвыпивши. Он был в духе, очень до-

волен коломенскими своими похождениями. Причина же этой веселости его как раз открылась и для Макарки.

Принесли обед из трактира, принесли из лавки много разных вин. Господин Г-в тут же хвастливо объявил: «Я ведь и тем хорош, малой, что ничего не забуду». За обедом и после обеда за выпивкою он рассказывал громко, уже без всяких вчерашних предосторожностей, как со многими виделся, о многом успел повыспросить и даже все разведал.

— Да и просты же здешние люди, просто делишки по особой торговле своей обделывают, — говорил он, — тут нечего изловчаться, сторонкою подходить: поднеси только рюмочку, другую, да полусловечком намекни на что нужно, и начнут тотчас докладывать. И чего-чего не порасскажут! Главное же про то докладывают, кому какая выгодишка была от разных делишек. Беглые по лесам развелися, беглые стали пошаливать, в каком-то лесу какого-то человека сдуру палили на вениках, какой-то мельник-ворожейка притон держал, сам был умен, на добычу не хаживал, а знатная часть добычи ему доставалась, и все это было на руку простым людям, лишь бы побольше вода возмутилась, тут-то и рыбу ловить. И они знают, какую ловить: ершей им не надо, нужно жирных карасей, вот, одного такого карася, того мельника, и утенетели, да и важно, говорят, выпотрошили его! Впрочем, наверняка, карася этого опять же в мутную воду спустят, чтобы и опять через то же самое выгодишка была для простых людей...

Рассказывая так, Михайло Николаевич был странно весел, смеялся много, а глаза его горели, были дики и злы. Дядя заметил это.

— Брат! — сказал он, — Не смейся... Оно не смешно, да и тебе не смешно...

— Нет, смешно! Я по иному смеюсь, — возразил тот. — Да простые люди, детишки у них, ведь, плодятся

здорово, смотришь, все дворяне будут, и куда как много добра из того выдать... Знаешь, Есаф, что теперича приходит мне на память: дядя твой, Зиновий Ерофеич П-в, тоже был прост- человек, как в Сибири-то воеводствовал; надо полагать, что сам не разбойничал, а вернулся оттуда с серебряными шинами на колесах, с серебряными осями и шкворнями у повозок... Богатство было у него большое, только куда девалось — никому неизвестно... А я думаю, что он в землю его зарыл, кладом положил, может, не на сто голов, а на сто осиновых кольев... вот бы тебе, живучи в твоем Михееве, да оженившися там, клад тот вырыть и зажить большим паном...

Насмешка была ядовито-зла. Так понял ее и Макарка. А Иоасаф Николаевич, как ужаленный, выскочил из за стола.

— Брат! — вскричал он, — я просил тебя не раз... И не грех тебе!.. Разве отец твой и мой... Да разве и я... О, мне ничего не надо из родового нашего имения!.. Мне оно давным-давно противно... А этот дом, я тоже давно думаю, думаю...

Он не мог говорить больше от чрезмерного волнения и побежал было из горницы, насилу проговорив Макарке, — Скорей!.. Запрягать!..

Но Г-в успел не выпустить его в сени. Он донес его на руках до постели и бережно уложил, как малого ребенка.

— Что ж! — сказал он тихим голосом, — может, нехорошо я обмолвился, а виниться, да дело-то не в том... Ты одно должен знать и знай завсегда: я все-таки люблю тебя и считаю кровным... Ну же, успокойся, Есаня мой!.. А ты, Макарка-шельмец! Чтоб сейчас от Семкиных Егорка с лихою тройкою здесь был!.. К рыбакам поедем, на берегу Оки реки будем уху варить... Там же доскажу тебе, Есаф, про все твои дела, как про них разузнал. Поверь, ничего худого нету, все пустяки.

XX

Менее чем через полчаса явилась семкинская тройка; мигом уложили в телегу ковер, дорожный погребец, корзину с винами; скорехонько все было готово к отъезду.

Перед тем, как идти да садиться в телегу, из небольшого и незапертого ящика, возбуждавшего еще сначала в Макарке большое любопытство, Михайло Николаич достал пару пистолетов, а из чемодана вынул нож в простых кожаных ножнах.

— Это для чего? — спросил Иосаф Николаевич.

— С Москвы до Коломны надо ехать осторожно; приходится ведь мимо Потеряевки, я и взял на всяк случай. Здесь же будем возвращаться с Оки ночью, через Митяеву слободу, а тут в прежнее время пошаливали, — отвечал Г-в.

— Так не взять ли Макарушку?

— Пожалуй. Прислужит там.

Объявив хозяину, что все верхнее помещение постоялого двора оставляет за собой, Михайло Николаич приказал запереть его висячим замком, ключ от которого передал Макарке.

— Ну, Егорка! — сказал он ямщику, — и городом шибко помахивай, до сумерок уж недалека.

Ямщик, румяный и сильный молодец, быстро проехал и городом, а дальше просто летел, благо и дорога была сухая. Впрочем, езда была недалекая, не больше пяти-шести верст. Вот и Ока река, вот и рыбацкая ватага.

Но рыбаки были не в духе. Весь день им не удачилось в ловле рыбы, даром измучились. Они не хотели закидывать тоню.

— Что без толку невод мочить, — говорили они, — и днем не ловилась, а теперича нешто лысого беса вытащим. Вишь, сумерки, да и ветерок все потягивает, пожалуй, в ночи совсем в непогодь разыграется... Ехать бы вам, господа, к домам, так-то лучше будет и для вас, и для нас.

Но Г-в был не таков человек, чтобы покинуть начатое дело неоконченным. Он велел вынуть из телеги всю поклажу, разостлать ковер на побережном песку, сам суть уселся и брата усадил; затем Егорку-ямщика отправил в Митяеву слободу за тремя ведрами с «пеннику» для рыбаков.

— Довольно, что-ль, для вас трех ведер? — спросил он посмеиваясь, и тут же прибавил, — а тоню-то вы закинете.

— Как не довольно, пожалуй, и назавтра хватит, нас не больно много, — отвечали рыбаки, теперь уже не думавшие противоречить насчет тони и с некоторым удивлением посматривавшие на этого барина не барина, купца не купца, который распоряжался у них так смело, широко и повелительно.

— Стало быть, дело у нас на лад пошло; хорошо, так мы и завтра приедем, — продолжал Михаил Николаич. — А теперича, так как рыбу ловить будем уж ночью, костры надо изготовить. Костров надо больше, чтобы посветлей было.

— Да тут, господин, трудно костер запалить. Щепы и хворосту маловато.

— Ну, курень ваш разбирай, лодку вашу руби на дрова! За все заплачу.

— Курень-то, пожалуй, а лодку — верь Богу — а ни за что не дадим, как можно лодку... Ну, что с тобой делать, господин честной: так и быть, запалим костры.

Егорка-ямщик что-то позамешкался. Стемнело между тем; туман заклубился над рекою, да и наволочно было на небе, ночь наступала скоро и властительно. Но рыбаки были уже веселы в ожидании угощенья и усердно хлопотали насчет костров. Неподалеку от становища догнивал давно на берегу остов разбитой половодьем барки, из него-то добыли рыбаки дров, и их достало на четыре больших костра; кроме того, по берегу набрали много щепы

и мелкого хворосту. Впрочем, пока не вернулся ямщик, Михайло Николаич не велел зажигать костров. И темнота, усиливавшаяся все больше и больше, томила, тревожила Иоасафа Николаевича; мелькавшие везде кругом люди представлялись ему какими-то странными привидениями. Когда же протяжно понесся над побережьем звон колоколов, опять возвещавший, что все еще идет всенощное бдение в Голутвин монастыре, тоска охватила этого бедного человека, — и он сказал брату, что ехать бы, ехать надо домой, и жутко ему здесь, так что хоть бы бежать отсюдова.

— Что за блажь! — возразил Михайло Николаевич, — уж коли я привез тебя, не выпущу из-под руки. Полно хандрить, успокойся, да вот послушай, что скажу коротенько о разведках моих насчет тех-то делишек: у Марины точно обыск был, искали ее брата-беглеца, он же и в разбоях подозревается; а сама твоя Маринушка, ох, и раздобылся же ты зельем!.. ну, да что об этом говорить... Брат Маринушкин все еще не пойман и в здешнем уезде его уже нету, перекочевал в наш Егорьевский, где для похоронок лучше места в больших-то лесах; коли умен, соседних мужиков обижать не будет, там не скоро его найдут. Насчет же прочего все как есть пустяки: ни казаков, ни пикетов нету, ничего не слышно и о военных судах. Какие военные суды! Разбойство — дело здесь привычное, а что строго приказывают ловить беглых, так это все по-старому, пишут-пишут бумаги — и только... На этом ты можешь успокоиться, ну, а после, все-таки кое-что и еще скажу тебе.

Иоасаф Николаевич молчал, — и незаметно было для Макарки, как подействовали на его барина эти успокоительные вести. Да тут же явился Егорка-ямщик с зеленым вином, — подмечать за барином уже было некогда. Началось угощенье рыбаков, которые развеселились совсем потому особенно, что зелено-вино оказалось хорошее, очень крепкое.

Костры зажгли. Огонь не быстро, не ровно разгорался, — мешал сырой туман, стлавшийся по берегу, с полчаса, может быть, узкие языки пламени лишь прерывисто обхватывали бока костров. Но тогда оживился и Иоасаф Николаевич.

Он уже не обращал ни малейшего внимания на шумное движение рыбаков, спускавших в реку невод, лодку и челны свои. Должно быть, с великою силой ожили в душе его воспоминания о столь любимых им в пору детства потехах. Скоро полный восторг охватил его. И так заметно было это. Быстро ходил он от костра к костру, порывисто размахивая руками и смотря только на огонь, уже разгоравшийся сильно.

И хороша была вся картина этого плоского, засоренного сухими водорослями, щепою и хворостом, при дневном свете некрасивого, серопесчаного берега. Красноватый свет от пылающих костров, беспрестанно борющийся с ночною темью, заволакивавшей окрестность, с волнами тумана, шедшими и шедшими от реки, разнообразно отражался и на этих волнах, и в тусклом зеркале реки, и на людях, тихо плывших словно не по реке, а над нею, и отражение это придавало всему фантастические очертания и краски. А между тем, так тихо было на Оке и на берегу. Рыбаки молча тянули невод, лишь изредка всплескивая по воде то веслом, то веревкой от невода.

Не обращал внимания на тоню и Михайло Николаич. Он стоял поодаль от костров, а смотрел все на них или, лучше сказать, на брата.

— Ну, Макарушка, — вдруг сказал он, и показалось Макарушке, что питерский господин говорит нехорошо, в насмешку, — барин-то ваш... Вы промеж себя как его разумеете? Блажным только, юродивым что ль, или уж совсем сумасшедшим?

— Помилуйте, сударь, отвечал малой, — нешто мы можем, да и как же так!.. Мы барином нашим Есафом Ни-

колаичем много довольны... Как есть предобрый, до всех милосердный, и мы ни в жизнь...

— Зачитал, черт тебя побери, хам ты настоящий!.. Молчи!.. Я сам знаю, что добрый, милосердный, да то особь статья. Тут дело не в доброте, не в том — голубиное аль куриное сердце... Ничего ты, дурак, не смыслишь.

Он отвернулся от Макарушки и, наклонив голову, довольно долго так стоял. О чем-то он думал, о чем-то трудном, неприятном ему.

— Да! Все пропадет беспременно... а могло бы и не пропасть... — проговорил он вслух, но явно лишь для себя одного — и отошел к крайней линии берега.

Кстати было. Рыбаки быстро и шумно заканчивали тоню. Заметно было, что шум их веселый. Они уже знали, что тоня удачна. Тяжело было вытягивать невод, в мошне которого билось, трепетало множество рыбы. Кричали: «Огня! Огня поскорей! Не то в воду уйдет»!.. Молоденький, проворный рыбачок и не меньше его проворный Макарка мигом притащили две большие горящие хворостины, и при этом освещении оказалось, что тоня была даже великолепна: вынули много стерлядей, крупных судаков и, к довершению удачи, пребольшого осетра.

— Это, вот, костры помогли: на огонь-то рыба идет здорово... Вишь, барин больно догадлив и наше дело смекает, — говорили в толпе рыбаков.

— Нет! — кричали другие из них, — такое уж счастье господ!

— Ваше, а не наше счастье, — возразил Михайло Николаич. — Вся рыба — вам, ребята, а нам только на уху две-три стерлядки хороших да ершиков побольше. За всю же тоню по вашей цене плачу. Чай не будет так-то обидно?

Рыбаки очень поблагодарили.

— Брат! Брат Есаф! — крикнул во весь свой зычный голос Михайло Николаич. — Беги сюда скорее! Тоню вытащили! Уху будем варить!

Иоасаф Николаевич прибежал скоро, но он так трудно дышал, так был бледен и, конечно, не от быстрого бега.

— Лицо-то какое! — сказал ему Г-в с горьким упреком. — Загляделся на эти костры свои. А видал я у нас в Питере и еще таких же испитых...

И он отвернулся от него, тотчас занявшись угощеньем рыбаков.

Рыбаки были всем предовольны. И еще бы не так! После неудачной за весь день ловли рыбы, такая тоня богатая, тоня — целиком отданная им же; а тут и это щедрое угощенье, да и ласковые, простые речи обходительного господина. Разгул стал шумен и свободен. Просторно было всем, именно просторно.

Но и так хорошо было на берегу: темь ночная, сырой туман с реки нисколько не мешали, — не отпугивала эта темь от веселья; туман никого не пронизывал дрожью, костры еще жарко горели, вдоволь освещая все, на что каждому хотелось смотреть.

Рыбаки подогревались усердно зеленым вином, но и дела не забывали: рыба вся была убрана по садкам, а та, что на уху оставлялась, — перечищена, и уха уже варилась в простом горшке; кроме того, «из усердия к господам», окуньков и раков пекли на горячих угольях. Безустанно разговаривал с рыбаками обходительный господин и все «по-хорошему», ладно так, вразумительно, все об ихних рыбацких делах и трудном житье-бытье. Рядом с братом сидел Иоасаф Николаевич. Он по-прежнему упорно молчал; но видно было, что волнение его угомонилось и на душе просветлело: иногда он уже прислушивался к разговорам и даже улыбался чему-то.

Не тянулось, а шибко бежало ночное время. Еще бы не шибко! Гулянье разнообразнилось: от разговоров развеселившийся люд перешел к песням. Хоть были и не за работою рыбаки, в угоду господам три раза спели «Дубинушку». А вот высокий, дюжий и уже пожилой рыбак затянул

было старую песню о том, как на Волге-матушке удалые разбойнички дуван-дуванили, но Иоасаф Николаевич, сразу прислушавшийся, закричал: «Не надо, не надо эту песню! Лучше опять "Дубинушку"»!..

— Точно, братцы, не надо про удалых разбойничков, — сказал и Г-в, — вишь, молодому барину не понутру: он дома-то взрос на крупчатых булочках, да сливочках...

Рыбаки засмеялись, но осторожно и накоротке.

Время летело, уже много ночи уплыло, а устали в гуляющих все еще не замечалось. Но вдруг раздался звон колокола в Голутвине монастыре. Рыбаки поснимали шапки и перекрестились, а тот рыбак, который затягивал песню про Волгу-матушку и про разбойничков, важно проговорил:

— Что-ж, господа честные, не пора ли и ко дворам? Вишь, на молитву утреннюю монахи собираются, больше гулять не годится.

— Ладно, — отвечал Михайло Николаич, — а полюбилось мне у вас, завтра опять приедем.

— Милости просим, — в несколько голосов сказали рыбаки, — только вы, господа, пораньше приезжайте, не всяку ж ночь напролет гулять.

XXI

Здесь будет кстати упомянуть, что именно второй приезд в Коломну Михайлы Николаича Г-ва послужил главнейшим основанием для предположений и разных догадок михеевских домочадцев, что этот, издавна нелюбимый ими человек, имел решительно пагубное влияние на судьбу их несчастного барина.

И кажется, в таких предположениях и догадках сначала всего более был виноват Макарушка, с его излишней сметливостью, тогда особенно поощряемой к злостным заключениям и нелюбовью к Г-ву, и приверженностью к барину. Во все пребывание Г-ва в Коломне, а впоследствии и в

Михееве, Макарушка с чрезвычайной подозрительностью следил за всеми поступками «питерского оборотня», как он прозвал Михайлу Николаича, — подслушивал все его речи, вглядывался в его отношения к брату, — и все истолковывал по-своему. Само собою разумеется, наблюдения свои он отнюдь не скрывал перед михеевской дворней, которая, хоть и считала его пустынь малым, все-таки охотно верила ему в том, что он передавал о Г-ве, и в свою очередь истолковывала действия сего последнего во всем подозрительно и даже злобно.

Впрочем, в самом деле поведение Михайлы Николаича в то именно время могло внушать людям простым, бесхитростным разные сомнения. Начать с того — самый приезд его в Коломну был загадочен. В этом городе у него не было ни малейших имущественных интересов, никаких родственных связей и отношений; зачем же, покинув в Петербурге немаловажные дела по своей промышленности, приехал он внезапно в Коломну? Об этом никому, ни даже своему брату, он ничего не пояснил, — и, конечно, можно было не без основания предполагать, что последний приезд его обусловливался намереньем позаняться братом, делами его. По всей вероятности, недаром же какими-то рассказами своими он чрезвычайно подействовал тогда на болезненно-подвижное воображение Иосафа Николаевича, как будто бы с предумышленностью возбуждал в нем антипатию, даже страстную ненависть к родному гнезду, Михееву; наконец, звал его с собой на какое-то таинственное дело, которое Иоасафу Николаевичу казалось не только неприятным, но и опасным. Все это могло внушать подозрения в людях, и без того сильно предубежденных против Г-ва, и тем более, что тут примешались обстоятельства, придававшие поступкам его сомнительный вид: во-первых, ненужная задержка им в Коломне Иоасафа Николаевича повела к гибельному по последствиям событию; во-вторых, вскоре после того он же, Г-в, был при-

чиною, что брат его вошел в такие опасные отношения, которые, главным образом, и послужили к обвинению его в важном преступлении; а при этом иному объяснению поступков Г-ва препятствовало постоянно пренебрежительное обращение его с братом...

Но все-таки, как допустить, чтобы Г-в имел целью довести родного по отцу брата до погибели? Ради чего именно понадобилась бы ему эта гибель? Ужели только из-за ненависти к семье своего отца, из-за того, что в отцовском дому он не мог пользоваться правами законных детей?.. Такие предположения были бы чересчур уже гадательны, — и, вообще, я отнюдь не решусь разделить со многими, впрочем, лицами недобрые подозрения против этого человека... Притом убежден я твердо, что судьба Иоасафа Николаевича П-ва и без всяких посторонних влияний, вследствие только болезненных свойств его духовной натуры, всегда завершилась бы бедственно.

Небольшое отступление это от рассказа казалось мне необходимым, потому что оно имеет связь с фактами.

Еще три дня сыновья деда моего провели в Коломне.

На другой день после описанной рыбной ловли они опять ездили к рыбакам (Михайло Николаич непременно хотел сдержать свое слово, накануне данное). И заметил тогда Макарушка, что барин его был на берегу Оки-реки совершенно спокоен, даже очень весел, и самые костры, по-вчерашнему горевшие, не вызвали в нем никаких чудачеств; зато Михайло Николаич, несмотря на удачную же тоню, на веселую гульбу рыбаков, певших хорошие песни беспрерывно, был «как темная ночь»: он сидел все на одном месте, не то сердитый, не то печальный, ни с кем не разговаривал, не угощал рыбаков и несколько раз порывался поскорее уехать под тем предлогом, что ему «смертельно скучно на этом глупом гулянье» и благодаря только настойчивым просьбам Иоасафа Николаевича остался он на берегу часов до девяти или до десяти вечера.

— Ну, что-ж, господин честной, — сказали Г-ву при его отъезде рыбаки, весьма довольные и на этот раз щедрой расплатой за тоню, — а завтресь-то как же? Ужли опять к нам не приедешь? Милости просим! Мы, как есть, со всей нашей радостью, — ты уж, пожалуйста, приезжай!

— Разохотились, разлакомились... А-ну вас к бесу! Знамо, не приеду и другим закажу, — коротко отвечал Г-в и уехал, не распростившись с рыбаками даже кивком головы.

Когда доехали до своего постоялого двора, Иоасаф Николаевич вышел из телеги, а Г-в остался в ней и, приказав Макарке вынуть поклажу, что брали к рыбакам, сказал ямщику:

— А мы с тобой, Егорка, опять в дорогу, да и не близкую. Поворачивай оглобли назад, — куда же дальше поедем, за городом скажу...

— Ты, Есаф, — продолжал он, обратившись к брату и говоря медленно, как бы с особенной вдумчивостью в слова свои, — ты, Есаф, делать нечего, подожди меня беспременно, покуда вернусь, завтра наверное буду, хоть, может, и поздненько... Раздумье, право, берет: кажись, лучше было бы тебе поскорее ехать в это проклятое твое Михеево, да уж так пришлось, вишь, загулялись мы с тобой непутево... И так все это выходит глупо: вот, мне-то нужно съездить по делу, а тут еще обо многом не переговорено толком... В Михеево же я ни за что не поеду!.. Слышишь: подожди меня!

— Да надо ли тебе нынче ехать? — промолвил Иоасаф Николаевич. — Отчего бы не завтра?.. Подумал бы еще, может, передумаешь.

— Не в обычай мне передумывать. Пошел, Егорка!

После его отъезда Иоасаф Николаевич долго не спал до самого рассвета. Он даже не раздавался, как будто готовился к чему-то. Много говорил он тоже со своим верным слугою, и все о брате, об этой поздней и дальней его поездке. Ему как будто хотелось поразговориться именно

о поездке; по-видимому, он кое-что знал или догадывался о ней; но ясно он высказал только одно: «Нехорошо, мол, делает брат, путается в такие дела, что и не разберешь их...»

— А что ж бы это за дела? — решился спросить Макарка.

— Не могу о том, — не знаю... Дела эти братнины, как мне их знать? Брат так только намекнул и больше вряд ли скажет... — тоскливо ответил Иоасаф Николаевич.

— Но вот что, Макарушка, — продолжал он после недолгого молчания, — не знаю, как быть... Миша зовет меня с собою в Петербургу, зовет чуть не сейчас же... Он — брат мне старший; так признаю я, я должен бы заодно с ним быть... Ну, а как покинуть тут...

— Это точно-с, — подхватил Макарка, — перво-наперво, имение Михеево наше...

Но малой вымолвил это некстати: барин даже рассердился.

— Михеево! — повторил он, — а что мне это Михеево?.. Я там весь связан, как невольник! Там нет ни одного уголка, где бы чувствовал себя спокойно... А этот дом... еще ребенком там жутко-жутко было, а с тех пор как возвратился в него, он — могилою передо мной... Миша ненавидит Михеево — и он прав!.. Ты ничего не понимаешь, не говори больше об этом!

И он выслал от себя Макарку. Но днем он опять разговорился. И малой заметил, что он очень смущен и озабочен. Беспокойство же его было уже не из-за брата, а из-за Михеева.

— Что-то там делается? А? Как ты думаешь? — спрашивал и переспрашивал он Макара.

— Помилуйте, сударь, в Михееве у нас, надо быть, все благополучно, а то присылка была бы оттоль, — несколько раз все в одном и том же смысле отвечал Макарка.

А между тем, и его самого грызла тревога. Мелькало и мелькало на ум: «А что, как старая барыня приехала?»

Про это он мог бы узнать на базаре, в Колонне, от кого-нибудь из михеевцев, и однако он не решился отпрашиваться у барина на базар, боясь услышать грозную весть, что барыня уж тут как тут... В этой тоскливой тревоге, терзавшей и барина, и верного его слугу, протянулось время вплоть до возвращения Михайлы Николаича.

Он вернулся уже довольно поздно. Всю дорогу дождь хлестал ему в-встречу и пронизывал его насквозь через щегольскую шинель. Но не от этого Г-в был крепко недоволен своей поездкою.

— Ездил не-по-что, привез ничего, — сказал он сердито, входя к брату.

— Не застал?.. — спросил Иоасаф Николаевич.

— Оно ничего бы, что не застал; да ведь как сквозь землю провалилась проклятая тварь! Ну, да незачем об этом больше разговаривать.

Переодевшись наскоро, он сразу выпил много вина. Но это не успокоило его. Он с час сновал из угла в угол, угрюмо думая о чем-то. Макарка стал было приготовлять к ужину, но Г-в вытолкал его из комнаты.

За дощатой, тонкой перегородкой Макарке было слышнехонько, как тотчас же начался разговор между братьями. И о чем-то «диковинном» они разговаривали.

Говорил больше Михайло Николаевич, все упрашивал брата ехать в Питер. Брат возражал ему робко, слабо, но возражения его были для Макарки гораздо вразумительнее, чем все сильные речи Г-ва.

— Помилуй, Миша, — говорил Иоасаф Николаевич, — я совсем сбиваюсь, понять не могу... Ну, что я буду там делать? Служить, что ли? Но у меня чин такой маленький, не в писцы же идти... Да и совсем неспособен я в чернильном море купаться. А главное, характером моим я там не выйду: сам знаешь, как я не боек, я даже боюсь людей...

— С чего ты взял, что зову для службы? Я в службе, в этом писанье, ровно ничего не разумею... — горячо отвечал

Г-в. — Можно найти иное дело... Я найду дело для тебя!.. И что тебе это Михеево? Ради чего проживать тебе в этой дрянной, скверной трущобе?.. Ты и нигде не был бы заправским помещиком. Какой ты помещик! И живя в Михееве, пока мать, ты из ее рук будешь смотреть, а там сестра будет над тобой набольшая... А пожалуй, и женят тебя насильно или в госпожи над собою пожалуешь Маринку свою... Ох, на что уж хуже, как обабится человек! Говорю: добуду тебе дело хорошее и вместе жить будем... Брось совсем Михеево, оставь его матери и сестрам, а моего достатка очень хватит про нас обоих.

— Как же это? Стало быть, на твой счет? Стало быть, из твоих рук...

— Ну, так что-ж? По крайности, я не баба... да и не чужой тебе... И на что мне мой достаток? Да пропадай он пропадом! Ты знаешь ли: коли не поделюсь им с тобой, живо промахаю его дотла... И опять разживаться не стану — я ведь молодец на свой образец. Ты знаешь ли: мне хочется попробовать нищим быть — и буду я нищим хорошим... Но это до одного меня касается, а тебе, опять говорю, будет так дело, и при нем ты скучать и блажить не будешь...

Однако об этом «деле» он ничего толком не сказал брату, который все-таки о том спрашивал. «Соблазнял только пустыми речами, оборотень питерский», — порешил Макарушка об этом таинственном для него разговоре. Ему показалось даже очень скучным дольше подслушивать и преспокойно завалился он спать в уголку передней. Так проспал он и ужин, которого и господа себе не спрашивали.

На другой день братья рано разбудили Макарку. Г-в торопил Иоасафа Николаевича, чтобы ехал как возможно скорее в Михеево.

— Погода нехорошая, под дождем, как я вчерась, поедешь, и незачем тебе здесь прохлаждаться, — говорил он. — У меня на уме вертится: не случилось ли там чего-нибудь...

— Но, кажется... — начал было Иоасаф Николаевич.

— Что «кажется!» — прервал Г-в, — если вернулись теперича твои богомольцы, ты, как думаешь: хорошо они повстречаются с твоей Маринкою?

Иоасаф Николаевич ничего не ответил, но видно было, что слова брата поразили его чрезвычайно. Он бросился к Макарке с приказанием, чтобы скорей-скорей запрягал, а затем все мыкался без толку по комнате, явно не понимая, что говорил ему еще Г-в. Тому это надоело, и он спустился во двор, к Макарке.

— Твой барин, — сказал он малому вполголоса, — твой барин по-бабьи всторопился и ничего не разбирает, про что ему говоришь; ну, так ты послушай... Я здесь еще останусь дня на три, на четыре. Есафу Николаичу, пожалуй, о том и не сказывай.... А случится у вас там беда какая, например из-за того, что Есаф не успеет вовремя припрятать Маринку, тотчас же дай мне знать! Ты, ты именно дай знать. Помни: из-за этого ты будешь в ответе передо мною. Понял?

— Да как же мне самому?.. я человек подневольный, и мне, кабыть, невдомек... — на беду свою вздумал возразить Макарушка.

— А хочешь, сейчас же кнутом твоим вобью в тебя домек? Поганец, блюдолиз дворовый!.. Я вот смекаю, что через твои-то шашни и познакомился Есаф с этой тварью, Маринкою... Я ведь сказал, что из-за нее может выйти беда, да кто знает, и не случилась ли... Помни же: если что случилось или случится из-за Маринки, часу не медля, скачи сюда сам для известия мне! Растолковывать больше не стану, лишь одно скажу: я — не как твой барин, который смотрит себе все прямо, точь-в-точь, словно слепые, я смотрю, озираюсь, ну, и вижу, что без беды тут не обойдется... А теперича вот тебе на память!

И он с размаху так ударил Макарушку по голове, что у того в глазах потемнело.

Расставанье братьев было совсем непохоже на их встречу. Молча, даже и не глядя друг на друга, постояли они нисколько минуть на крыльце, над лестницей, молча же и прошли за ворота, махнув Макарке, чтобы выезжал со двора, и кто их знает: переговорили они про все за ночь, углублен ли был каждый в свои мысли до такой степени, что и единого словечка не находил еще вымолвить.

Дворник-хозяин, тут же стоявший, хорошо заметил эту крайнюю задумчивость господь.

— Поссорились, что ли? Диковина! — успел он шепнуть Макарке, когда тот выезжал из ворот. Но малой не ответил на вопрос, только тряхнул головой, в которой еще шумело от удара тяжелой руки Михайлы Николаича.

— Так как же будет? — наконец, спросил Г-в брата, уже садившегося в тележку.

— Не знаю... ничего не знаю... — ответил тот.

Лошади тронулись и, несмотря на чрезвычайно тряскую мостовую, вплоть до «живого» моста, Иоасаф Николаевич стал уже покрикивать на Макарку, чтобы ехал как можно скорее.

Но ехать скоро было нельзя и по выезде из города. Дождь, ливший в прошлую ночь, не перестававший и теперь, испортил сильно дорогу, особенно берегом Москвы реки и за селом Карапчеевым, около деревни Озериц. Приходилось ехать почти шагом. Нетерпение несчастного моего дяди, так спешившего навстречу беде своей, усиливалось с каждой минутой. Он кричал беспрерывно на Макарку, грозил ему. Бедный малой так и ждал, что опять совсем безвинно достанутся ему побои. Однако и на этот раз как и никогда дядя не поднял руки на своего верного служителя.

Так проехали побольше половины пути.

Миновали и хибарку Маринки, не останавливаясь. Иоасаф Николаевич даже не взглянул на это место, полное для него разнообразных воспоминаний. Впрочем, на то могла быть очень простая причина; подъезжали к

Волчьим Воротам, где проезд, при теперешней грязи, был особенно плох. Из-за этого Иоасаф Николаевич взволновался еще сильнее. «Как бы еще не застрять в проклятой трущобе, — говорил он, — того гляди, шкворень выскочит, а то и колесо сломается... Смотри, смотри, Макарка, тут осторожнее!...»

XXII

В большей части великороссийских губерний, где почти повсюду преобладает равнина, где только какой-нибудь берег извивается холмообразной возвышенностью, и вообще нет громадных гор, скалистых стремнин, узких между ними ущелий, весьма часто изменяется совершенно характер разных отдельных местностей, имевших у народа особые признаки, по которым он и давал им прозвища: обсохнет от вырубки окрестных лесов болотная топь, представлявшая опасную переправу, расчистят поросли возле худопроездных, тесных мест, куда из-под пней на обрывистых боках проезда сбегали жилки воды, отчего тут всегда держалась всякая грязь и были бакалдины, в которых застревали проезжающие, — и вот, пересыхают родниковые жилки, исчезают в сухменную погоду грязь и бакалдины, самые бока ущелья расширяются, а вместе с тем пропадают и худая слава о месте, и зловещее его прозвище. Может статься, теперь так произошло и с Волчьими Воротами, через которые уже слишком сорок лет не доводилось мне больше проезжать. Но я еще живо их помню. Бывало, старый кучер наш перед въездом в Волчьи Ворота остановит лошадей, внимательно осмотрит упряжь и колеса тарантаса, затем, вставши во весь рост на переднем сиденье, еще внимательнее оглянется во все стороны и, перекрестившись да проговорив вслух: «Ну, теперича пронеси, Господи, благополучно!» — пускается в опасное место...

Волчьими Воротами замыкалась версты за две, за три, до деревни Поповки, широкая песчаная равнина с редкими и мелкими по ней порослями. Но со стороны от Коломны, за полверсты перед опасным проездом, отдельные кустарники сливались уже в сплошной, мелкорослый, впереди и по бокам от ущелья непроглядный лес. Самое ущелье, тянувшееся только на несколько саженей, было мрачно даже днем от тесно сходившихся обрывистых берегов проезда, над которыми густо росли деревья лиственных пород. При въезде, со стороны Коломны же, находился маленький, чуть заметный по отверстию и, как говорили, чрезвычайно глубокий колодец-студенец; его окружали низенькие кусты, которые всегда были покрыты яркоцветными обрезками лент и тканей, употребляемых в деревенском обиходе, да немалыми лоскутами простого холста, — вероятно, то были обетные приношения женщин из окрестных селений за исцеление болезни водою из студеного колодца, а может быть, за спасение от грозившей тут опасности: недаром описываемое мною место имел нехорошую славу, как по причине нередко происходивших здесь грабежей, так и потому, что в густых порослях, примыкавших к ущелистому проезду, завсегда во множестве держались волки.

Недаром тоже заволновался Иоасаф Николаевич, подъезжая к Волчьим Воротам. Знать, сердце его почуяло что-то недоброе, здесь, именно здесь, неминучее. Так и случилось: тут-то и встряла его грозная беда.

Но всмотрелся в нее прежде барина верный его Макарушка.

— Барин!.. А барин!.. — проговорил малой вполголоса, приостановив вдруг лошадей, — вонь там, в самых Волчьих Воротах, кто-то словно нас поджидает... Я хорошо заметил.... Два раза голова выглядывала из-за кустов... Может, недобрые, лихие люди... Не назад ли повернуть?.. Авось скоро, там, под Озерицами, понадъедет кто нибудь...

— Пошел вперед! — крикнул Иоасаф Николаевич, — чего там бояться днем, и когда нас двое?.. А впрочем, коли поджидают, есть у тебя топор или хороший нож?

— Есть, на случай, топорик махонькой, а оченно вострый...

— Давай его сюда!.. Нам скорее надо домой... Пошел!

Макарушка ударил кнутом по коренной и пристяжной. Не годилось бы так неосторожно въезжать в Волчьи Ворота, но лошади, которыми правил Макарушка, были самые старые и худшие из михеевских, они и под ударами кнута двинулись по худой дороге ровной, тихой ходою.

И это было кстати для встречи, какая тут ожидала.

При въезде в Волчьи Ворота, как раз насупротив колодца-студенца, оказалось, кто тут выглядывал из-за кустов. Шибко раздвигая руками ветви орешника, вышла оттоль удалая солдатка Марина Прокофьевна.

— Стойте!.. Стойте вы!.. — закричала она пронзительным, диким и таким грозным голосом, что Макарка и без приказу барина тотчас же остановил лошадей.

Страшен был вид этой молодой, столь красивой женщины.

Голова ее ничем не была покрыта; в волосах, спереди все еще довольно длинных, торчали мелкие сучья, сухие листья. Изорванная рубашка держалась только на одном плече, и высокая грудь и руки были обнажены. Синий старый сарафан висел клочьями; лицо казалось чрезвычайно похудевшим, но не было бледно; на ввалившихся щеках горел яркий румянец. Горели и большие, широко раскрытые глаза из-под волос, низко ниспадавших на лоб.

Иоасаф Николаевич соскочил с телеги, но не подбежал к Марине. Он стоял все на одном месте как вкопанный, в каком-то оцепенении.

— Все тут поджидала, — заговорила она опять, протягивая руки, как будто призывая тем к себе на помощь. — И уж не помню, сколько ден и ночей поджидала!.. Не ела все

времечко, и до еды-ль!.. А пила, ох, пила многонько, и водица славная, холодная, — ведь все-то мне жарко, душно таково... Не помню, когда было, дождик проливной... точно, дождик насквозь пробрал, а все-таки жарко...

Она говорила про жар ее томивший, жар чрезвычайно сильный, что так заметно было по воспаленному ее лицу, по горевшим глазам, а сама вся дрожала, и напряженно вытянутая, покрытая синяками, руки тоже дрожали, немощно иногда опускаясь.

— Маринушка!.. Ты-ль это?.. Да как же тут?.. — наконец, тоскливо и чуть внятно проговорил Иоасаф Николаевич.

— А как очутилась тут?.. — невдруг, как бы подумав, пособрав мысли, и так протяжно отвечала она, — ох, уж про это самое как хорошо помню!.. Выгнали, наругалися!.. Били... били не мало!.. Смотри: во-как истерзана вся, косу тоже обрезали... Без жалости наругалися!..

Слова ее он хорошо слышал — и понял. Недаром и его охватила дрожь, недаром и его глаза загорались страшно. А речей никаких он не нашел и не двинулся с места к любимой женщине, даже отвернулся от нее несколько в сторону, как будто страшился услышать дальше: как и от кого именно она пострадала.

Но Маринушка вывела его из оцепенения...

— Что-ж стоишь — и словечка не молвишь?.. Любо, что-ль, и тебе?.. — продолжала она еще протяжнее и грознее, — ведь это твои наругалися! Твои, твои! Аль еще не сдогадался?.. По их это приказу, по ихней милости великой!.. А что худого я им сделала?.. В моей-то хибарке берегла я тебя, ровно ребеночка своего родного, махонького, вот, в твоем господском дому добрались, добрались до меня злые люди!..

— О, в этом проклятом дому!.. Я знал, что так будет... Приходило ж на мысль... — вскричал он и бросился к телеге.

Он выхватил топор оттуда, перерубил их постромки у пристяжной лошади, вырвал из рук Макарки кнут и, вскочив на пристяжную, помчался через ущелье, в направлении к Михееву. И все это произошло так быстро, так неожиданно, так странно для Макарки, что он несколько минут не мог опамятоваться и глядел без толку в темную глубь проезда, из-за которого несся гул отдаляющегося конского топота.

Но случилось нечто, приведшее его уже в крайнее недоумение.

Оглянувшись, наконец, он увидал, что Марина Прокофьевна на том самом месте, где появилась и держалась на ногах, лежит теперь ничком к земле остриженной головою, как будто кто-нибудь свалил ее сзади внезапным смертельным ударом.

Проворно выскочил он из телеги, подбежал к Марине, опустился на колени к ее голове, чтобы по лицу как-нибудь разобрать, что такое с ней поделалось, несколько раз дергал тоже за откинутую наотмашь руку, стараясь хоть тем разбудить, но бедная женщина лежала совсем-таки неподвижно и даже было незаметно, что она дышит.

— Уж не померла ли?.. Вот оказия-то! Что тут станешь делать?.. — шептал про себя малой.

Он все-таки догадывался, что нельзя же «так зря» покинуть любовницу барина, не удостоверившись окончательно, жива ли она, или же внезапная смерть доканала ее? Однако и с немалой тоскою думал он об этом. Разбирал его большой страх, что, вот-вот, понадъедет кто-нибудь да и застанет его над умершей или умирающей от явных побоев женщиной. А вместе с тем, как будто кто нашептывал ему, «что к барину, к барину надо бы поспешать, что там, в Михееве, что-то страшное теперь делается...» Впрочем, и жалость к этой женщине, избитой, поруганной, неподвижно лежащей на сырой земле, жалость сильная и как-то

вдруг его охватившая, неодолимо тянула его подать ей какую-нибудь помощь.

Так рассказывал Макарушка о том, что он пожалел, очень пожалел удалую солдатку, которую знал-то он сначала такою веселою, такою распрекрасною, и можно поверить, что он рассказывал об этом в сущую правду: были и другие случаи, при которых он твердо доказал, что сердце его было жалостливо, что он готов был на помощь находящимся в беде, даже с опасностью для него самого.

Он решился остановиться на той мысли, что не умерла же Марина Прокофьевна, а только обеспамятела, и вот кинулся к колодцу-студенцу, зачерпнул воды полный картуз свой и, подбежав к Марине, облил ей всю голову. Холодная вода произвела действие мгновенно же. Марина очнулась, даже приподнялась и уселась на том месте, где лежала как мертвая. Но не тотчас смогла она заговорить.

— Что-то вы эдак, Марина Прокофьевна? С чего так заслабели? — первый промолвил Макарушка и пустился в эти расспросы очень неловко.

— Ох, не говори... не расспрашивай... — сказала она глухим голосом, — что тут расспрашивать, и так все виднехонько.... А мне не померещилось, это уж верно, вот, ты перед глазами маячишь... голову мне облил... Ох, да скажи ты мне: это, ведь он поскакал?.. А куда-ж? куда?..

— Надо-быть, уехал в Михеево, — отвечал Макарушка, несколько запинаясь, как будто трудно было ему выговорить этот простой ответ.

Она ничего не вымолвила на это, задумалась о чем-то, шепча про себя и перебирая руками клочья сарафана, и вдруг совсем приподнялась.

— А ты что-ж еще здесь?.. — вскричала она, — догонял бы!.. С ним вместе... мог бы поспеть...

— Где тут поспеть? — возразил резонно Макарушка, — ведь же сами видите, я на телеге в одну лошадь; по такой-то дороге все равно что пеший, а знамо, — пеший

конному не товарищ. Да и нешто можно было бросить вас так-то?... А тут и волки, не то лихой человек...

— Не до меня... не до меня теперича!.. — выговорила она чуть внятно и, опять припав до сырой земли, стала метаться и биться в страшной тоске.

Макарка не знал, что и делать. Он даже ужасался, словно над ним самим приключилась беда. Но бедная женщина довольно скоро очувствовалась, привстала совсем на ноги, стояла же, шатаясь и придерживаясь за кусты руками.

— Вот и дождалась!.. И не подошел, и в очи не глянул... — прошептала она и вдруг, снова подумав, прибавила уже довольно твердым голосом, — ну, и больше незачем тут оставаться. Макарушка! Коли не поспел ты за барином, так подвези меня.

— Да куда-ж бы? — спросил малой, — нешто в Коломну? А нет! Никак нельзя, ведь и точно: должен я поспешить к барину, неравно хватится про меня... Право-слово, не знаю, как быть, ведь в Михеево-то, кажись, вам уже не приходится...

— Не поумнел ты в городе, сарафанник! — строго возразила она, — тебе нечего придумывать. Повезешь, куда укажу. Тут неподалечку.

Только с помощью Макарушки смогла она взобраться в телегу. Болезнь разыгралась в ней уже сильно: лицо ее горело полымем, жар томил ее всю до такой степени, что при всем усилии, чтобы бодриться, она начинала метаться как бы в совершенном забытье.

По проезде Волчьих Ворот Марина молча указала малый колесный следок, влево от проезжей дороги, идущий в глубь частого мелколесья, за которым виднелся широкой стеною большой лес. Сомнительно показалось Макарушке пускаться по этой дорожке; он приостановился перед съездом на нее, но не успел обратиться к спутнице своей с вопросом, который завертелся было у него на уме, как она шибко толкнула его в спину и проговорила сердито:

— Ну, чего задумался! Загубить, что ли, хочу тебя? Поезжай, да и только!

Делать было нечего; он съехал на тот следок, — и пошла телега подпрыгивать по пням и корням, а сучья орешника хлестали малого чуть не на каждом шагу. Так проехали версты три, а может и более. Но вот уже на самой опушке большого леса показалась довольно просторная полянка, вся изрытая ямами да заваленная огромными кучами пней, хворосту, пережженного угля.

На полянке этой, вплоть к опушке леса, стояли рядом две избенки без всяких пристроек и дворов, даже без всякой изгороди с боков, избенки, хоть и немалые, а для житья в них очень плохо ухиленные: крыши из драни были проломаны; в оконных отверстиях, проделанных в стенах в роде отдушин, виднелись больше тряпки, чем стекла. Но тут проживали угольщики, для которых надобилось не много удобств.

Макарушка вдруг вспомнил, как не раз проговаривали в михеевской дворне, что по близости от Поповки, а стало быть и от той деревушки, близь которой находилась хибарка Маринки, живет в лесу с недавнего времени старуха, слывущая за злую колдунью.

— Уж не к Степовичке ли мы теперича пробираемся? — подумалось малому («Степовичкою» прозывалась та старуха-колдунья потому, что она в молодости своей вывезена была в Егорьевский уезд из какого-то степного имения князя ...скаго).

И точно: когда телега по указанно Марины подъехала к одной из избенок, оттоль вышла и остановилась на пороге сенцев старуха престарая, сгорбленная, покрытая с головой шушуном. Она ничего не сказала в встречу Марине, а только поманила ее костлявой рукой, как бы приказывая, чтобы приезжая гостья шла к ней скорее, и затем немедленно скрылась в избе.

Но старик, сидевший на обрубке у другой избушки, встретил-таки словом гостью.

— А что? Нагулялась! Догулялась!.. То-то!.. — крикнул он ей, когда Макарушка высадил ее из телеги и вел к старухе, а она шаталась, вся дрожала и насилу передвигала ноги.

Проводив Марину Прокофьевну, Макарушка тотчас же задумался: «Лучше улепетывать отсюдова верхом, чем пробираться через чащу в телеге все самой тихой ездою... Авось-таки телега наша не пропадет...» Наскоро выпряг он лошадь и без оглядки поскакал в Михеево.

Но не поспел он туда в самую пору. Да и можно ли было поспеть так, чтобы помешать тому, что там совершалось?

XXIII

У душевно-больных, вдруг страстно возбужденных для достижения какой-нибудь цели, всегда есть какая-то логика. Они действуют в таком состоянии как будто по заранее и по строго обдуманному плану, ничего не забывая для удачного совершения всего, что представила и наметила им больная фантазия. Они действуют даже гораздо логичнее людей, вполне обладающих умственными своими силами. Но, кажется, так и быть должно: для последних, для душевно здоровых людей, дальний горизонт, где стоит цель задуманного ими действия, не так ярко освещен, как у тех несчастных, да притом цель эту могут очень затмевать, иногда и совсем застить, различные привходящие соображения. По крайней мере, так не раз я замечал на моем долгом веку (и близко я мог это замечать…). Так было в то время, до которого я дошел теперь в рассказе, и с несчастным дядей моим Иоасафом Николаевичем П-вым.

По всей вероятности, во весь путь от Волчьих Ворот до Михеева (расстояние — верст шесть или семь), ему представлялось только одно то, что особенно поразило его

в последних словах Марины. В словах этих упоминался старый, сдавна ему ненавистный дом, о котором он часто думал, все не додумываясь до чего-то решительного, потому что смутная мысль его еще не была освещена огнем страстного возбуждения, и с ней могли бороться соображения не вполне угасшего рассудка. И вот при внезапной роковой встрече с любимой женщиной довольно было одного ее указания, что именно в этом доме наругались над ней безжалостно, — и прежняя недодуманная мысль вдруг встала уже во все своей силе в чрезвычайно ярком освещении. Сообразить ее со всеми или хоть некоторыми обстоятельствами, к ней соприкасающимися, представить себе хоть на несколько минут последствия, какие должны были произойти от исполнения этой мысли, конечно, он был уже совсем не в состоянии. Зато, повторяю, все поступки его во время катастрофы были как-будто рассчитаны с полной точностью и предусмотрительностью.

Он проскакал, прежде всего, не к господскому дому, а на деревню, у окна первой же избы крепко постучался кнутовищем и прокричал во весь голос: — Эй, вы! Все, все, и старый, и малый! Бегите на гумна! Скорей на гумна!

И с тем же криком поскакал по всей деревне, приказывая и старому и малому бежать на загуменья.

Невообразимое смятение охватило михеевцев, которые на ту пору все были дома. Им спало на мысль, что, должно быть, на гумнах начался пожар от топки какого-нибудь овина. Мужчины, женщины, дети — мужчины, молча и крестясь, женщины и дети, с воплями, с рыданьями, — все побежали стремглав, куда приказывал барин.

Но на гумнах, когда осмотрелись, пожара нигде не оказалось.

— Что за притча! — толковали в толпе, разом успокоившейся. — Знать, это почудилось барину. Да отколь он вдруг взялся?

Однако, хоть и успокоились, но все не расходились по домам, ждали, что, вот, барин подъедет, объяснит причину тревоги. Толпа оборотилась в сторону господской усадьбы, откуда ожидали появления барина.

А он не оттуда появился.

От последней в деревне избы, что была супротив мельницы, он проскакал опять вдоль всей улицы и выскакал к загуменьям по дороге от соседней деревни Зарудни.

— Ну, теперь… — громко, но задыхающимся от волнения голосом, заговорил он, подъехав к толпе, — забирай… забирай каждая семья… и старый, и малый!.. Забирайте солому с гумен!.. И таскай, таскай живо, к господскому дому…

Все очень хорошо слышали приказание, но никто и не двинулся исполнять его. Какой-то особенный страх снова охватил всю толпу.

— Что ж вы!.. Ослушаться, что ль, вздумали?.. Так я вас заставлю!.. О! Я заставлю!.. — грозно вскрикнул барин, быстро соскакивая с лошади.

— Батюшка, Есаф Николаич, — подойдя осторожно, сказал староста, человек пожилой и разумный, — коли уж вашей милости угодно для какой ни-на-есть потребы, — мы ни за чем не постоим. Нешто мы можем ослушаться?.. Извольте приказать, сколько соломы надобится, — мы в складчину и привезем, по копне там, что ли, со двора придется.

— Молчи, молчи, мошенник! — возразил Иоасаф Николаевич, — какая там складчина!.. По копне со двора привезти… А мне надо всю, всю солому!.. И сейчас надо, чтобы обкладывать дом… Больше, больше соломы!.. И отовсюду, кругом обложить!.. Чтобы дотла сгорел! Чтоб и головешки не осталось!..

— Батюшка! Чтой-то вы вздумали?.. Да нешто можно?.. Ведь там теперича…

Но староста не успел договорить своего возражения, — Иоасаф Николаевич с размаху ударил его кнутом и затем еще нескольких, кто попался под руку, ударил.

Вся толпа разом кинулась врассыпную.

Но мужики, по инстинкту повиновения барской воле да и потому также, что староста закричал, чтобы слушались барина, — тотчас же кинулись к ометам соломы и стали теребить их, впрочем, не очень-то спешно; зато все бабы и ребятишки, как будто сговорились, попрятались — кто в половнях, кто в овинах, кто в траве под плетнями.

Иоасаф Николаевич безумно и, поистине, грозно метался между мужиками, все крича и приказывая, чтобы скорей, скорей несли солому. Он и еще раз ударил старосту, чтобы тот поспешнее распоряжался, он бил и других... Однако дело шло медленно. Несмотря на угрозы обезумевшего (как всем было заметно) барина, несмотря на побои, им наносимые, мужики «работали» очень неловко: они набирали то слишком большие, то слишком малые охапки, и из-за этого сильно промеж себя перекорялись. А староста, как ни усердно хлопотал под барским глазом о выполнении чудного приказания, успел-таки шепнуть молодому, прыткому малому, чтобы поспешал к барыне доложить ей обо всем. Ползком и крадучись под изгородями, малый увернулся-таки с загуменьев.

Но Надежда Ивановна знала, что происходит, — сначала с мельницы ей дали знать о приезде Иоасафа Николаевича и о том, что он весь народ сгонял на гумна, потом одна из баб деревенских примчалась прямо с загуменьев и рассказала, что барин приказывает солому таскать к хоромам, что хоромы он хочет спалить беспременно, что старосту и всех, кто только попадется ему под руку, бьет «смертным боем».

— Обезумел! Обезумел совсем!.. Отцовская болезнь... Сумасшествие началось!.. — в страшном волнении и, рыдая, восклицала старушка мать.

— И, матушка сударыня, — стали успокаивать ее по-своему взмыкавшиеся дворовые женщины, а особенно умница Елизарьевна, — тут дело-то как есть простое: не от лихой болезни, не от сумасшествия, а в отместку за поганую солдатку-Маринку; уж наверняк из-за этого! Должно быть, в Коломну пробралась, аль на дороге его встрела, да и нажалилась… А насчет той болезни напрасно изволите беспокоиться.

На беду старушка очень вслушалась в эти «утешения».

— Может… и так… Да.. это может статься!.. — порешила было она.

Но материнское сердце все-таки не хотело верить, чтобы сын родной мог посягать из-за той твари на такое страшное дело.

— Нет! Нет! — вскричала она, — нет, нельзя тому быть!.. Это он в расстройстве душевном, в беспамятстве сумасшествия… Да и не знает же, — ни от кого не слыхал, что я в дому, что уж вернулась из поездки…

— Ах, матушка! — возразил приказчик Петр Леонтьев, которому, прежде всего, удалось выслушать доклад прыткого малого, посланного старостой, — а вот, посланный сказывает, что староста говорил Есафу Николаичу: «Как, мол, это возможно, чтобы хоромы сжечь, там, мол, маменька ваша…», а Есаф Николаич, грешным делом, тут же и иссек старосту кнутом до полусмерти.

— И постромки у лошади обрезаны, — на пристяжной прискакал, — так знать, тележка, где-нибудь покинута… — добавил и свое соображение посланный от старосты.

— Ну, и виднехонько, что встреча на дороге была, — окончательно решила Елизарьевна.

Страшная истина предстала пред старухой во всем грозном виде.

— О, Матерь Божия! — прошептала Надежда Ивановна и без чувств упала на угол подножной скамейки, отчего

рассекла себе голову до крови. Но это, может быть, спасло ее от внезапной смерти.

Елизарьевна тотчас пустилась распоряжаться.

— Выносите барыню через задние сени в сад! Выносите скорее! — взмыкалась она. — Чего еще смотреть? Скорей, лишь бы успеть от беды схорониться! Того гляди, блажной дитятко хоромы запалит, мать загубит!.. Вон по боковой аллее, через калитку, да на лужок и к лавам… а через лавы — в Макшеево, к батюшке, к отцу Осипу… Хотя и зазорно перед чужими людьми, да как быть-то!

— Да уж ли волю ему дадут на все такое! — возразил кучер Петр Леонтьев, человек смыслом простой, но характером гораздо потверже своего старшего брата, приказчика, — можно ведь и унять, хоть он и барин.

— Точно, точно… ну, как-таки… — начал было и приказчик.

— А как сюда вернется, да на барыню бросится!.. Всего можно ждать… Не вязать же его станете… — закричала Елизарьевна.

— Несите, несите меня из дому!.. Такова воля Божия!.. — проговорила очнувшаяся Надежда Ивановна, и это положило конец препирательствам по поводу распоряжений Елизарьевны.

Старушку вынесли на кресле в сад, а там для скорейшего препровождения в село Макшеево поместили ее в садовую тележку, и оба Леонтьичи со всевозможной для них поспешностью повлекли свою злополучную барыню из родной усадьбы, на которую и не довелось уже ей больше взглянуть…

А тем временем безумная мысль не загасла в Иоасафе Николаевиче; напротив того, она разгорелась как будто еще сильнее. То было уже полное наступление не чрезмерного гнева, не яростной злобы, а наступление всей силы душевной перед картиной грозного разрушения ненавистного

старого дома, какую постоянно представляла несчастному распаленная его фантазия.

Михеевцы, мужики бывалые, народ толковый, ничем от господ своих не утесненный и в рассудке не сбитый, невольно покорялись-таки этому исступлению.

Ометы разобрали и солому начали сносить на барский двор. Но по инстинктивной предосторожности мужики складывали свои охапки все в одно место, около самых ворот, и поодаль от строения.

А вообще «чудная» работа шла весьма медленно, несмотря на то, что барин мыкался, бегал беспрестанно от гумна до ворот господского двора и от туда опять до гумен, бегал, все крича на народ, все торопя, чтобы скорей, скорей сносили солому. И вот, логичность в его распоряжениях вдруг как-то нарушилась: он не заметил, что солома сваливается несогласно его приказанию.

Когда снесли с гумен уже последние охапки, в Иоасафе Николаевиче опять произошло что-то особенное. Быстро, быстро стал он расхаживать по двору и рассуждать сам с собою. Хотел ли он понять, сообразить, припомнить что-нибудь, уж Бог его знает.

Но главная мысль все-таки в нем действовала.

— Припирайте теперь все ставни кольями!.. Двери тоже наружные!.. Надо, чтоб все там сгорело… — приказывал он, наконец, мужикам.

И, оглянувшись, тут только он заметил, что солома сложена далеко у самых ворот. Он чрезвычайно удивился этому: ему вообразилось, что солома была на месте, как он приказывал, а кто-то велел оттащить ее к воротам.

— Как же это?.. Кому бы так задумалось?.. — твердил он в недоумении, обращаясь ко всем, всех спрашивая, — но должны же знать… А я тут был и не видал, не видал…

Мужики и выбравшиеся на двор поголовно дворовые упорно молчали. Все боялись отвечать. У всех было на мыс-

ли, что барин-то совсем рехнулся. И невольно припоминался всем покойник барин, горемычный Николай Михайлович.

— Да надо же непременно, нельзя иначе… Слышите? Никак нельзя!.. Я приказал… ставни, двери… Но прежде солому, солому под самые стены… И давно бы дело было кончено… Понять не могу… — не дождавшись ответа, опять заговорил Иоасаф Николаевич и уже заметно ослабевшим голосом.

Но в эту самую минуту взобравшийся на высокую березу мужичонка Линьков закричал громко:

— Барин! А барин! Гляньте-ко-ся!... Маменька-то ваша уж за лавами… Вон тащат ее в Макшеево приказчик Леонтьич да кучер Петруха!

— Матушка?.. Матушка?.. Да разве она тут была? — прошептал несчастный и вдруг, как бы очнувшись, кинулся к лошади, на которой приехал, вскочил на нее и стремглав поскакал по направлению к селу Макшееву, крича во весь голос, как будто зовя кого-то вдогонку.

XXIV

— Господи!.. Да что же такое еще будет?.. — заговорили в толпе мужиков, находившихся под общим впечатлением недоумения и ужаса.

— Убьет барыню!.. Убьет! — кричали дворовые женщины.

Шум и смятение были невообразимые на барском дворе. Шум и смятение еще больше усилились, когда вскоре после отъезда барина прибежали на двор деревенские бабы и ребятишки. Мужики кричали и спорили, бабы вопили, и все не знали, что делать…

А виновник всей этой сумятицы несся к селу Макшееву, но несся уже не так быстро, как от Волчьих Ворот до Михеева: лошадь его была чрезвычайно утомлена прежней бешеной скачкой, да и тутошняя дорога представляла особые препятствия.

Расстояние от михеевской господской усадьбы до Макшеева было очень близко, не более как версты полторы; но это в направлении, доступном лишь для пешеходов, которые у мельницы, через старую ее плотину (теперь плотина в ином месте), по «лавам» над пролетом для спуска из главного пруда излишней воды, могли пробираться до приходского села прямо лугами; а так как через «лавы» (два длинные бруса, наперевес над пролетом, зыбко гнувшиеся даже под пешеходами), уже никак нельзя было переехать, и так как, притом, река вверху от плотины была глубиною не меньше трех аршин, то всем идущим в телегах и верхом приходилось спускаться в самом Михееве до нижнего от запруды течения реки, где уже легко было проехать в брод; таким образом, расстояние до села Макшеева по проселочной плановой дороге удлинялось ровно вдвое. Впрочем, верховым по переезде брода можно было ехать тоже лугами, но по очень дурной сначала дороге, через рытвины и ямы на берегу реки, образовавшиеся оттого, что здесь постоянно брали землю для запруживания плотины.

Спеша вдогонку за матерью, Иоасаф Николаевич пытался было вплавь перебраться через реку, выше мельничной запруды, но лошадь, как не понукал он ее, не пошла в глубокую воду. Он вынужден был переехать реку вброд, а затем поехать через те рытвины и ямы и тут свалился-таки однажды с спотыкнувшейся лошади. Все это задержало его, «но пеший конному не товарищ», — Иоасаф Николаевич только на полверсты, не более, не настиг Леонтьичей, которые, как ни спешили, должны были из предосторожности везти очень медленно одноколесную садовую тележку со свернувшейся в ней комочком старой барыней.

Луговая равнина доставляла Леонтьичам полную возможность еще издали заметить погоню за ними взбалмошного барина. Завидев его, они быстро, как только могли, стали поспешать в село. И в раз им обоим пришло в голову, о чем на ходу они и сообщили друг другу, что уже нельзя

теперь искать пристанища для барыни у макшеевского священника, что надо добираться прямо к церкви, а тут — тотчас же ударить в набат. Слышала ли этот уговор Леонтьичей Надежда Ивановна — неизвестно: она все время, как везли ее на тележке, молчала, закрыв глаза.

Подоспев, наконец, к церкви и видя, что барин все ближе подскакивает, Леонтьичи ударили в набат.

Пришлось макшеевским крестьянам встревожиться так же, как и михеевцам: даже больше должны были они всполошиться, потому что «набатный бой» мог начаться только из-за пожарного случая. Весь народ макшеевский, с двух улиц села, расположенных углом, стремглав кинулся из изб, с дворов, с задворьев — туда, откуда несся зловещий звон. Когда Иоасаф Николаевич подскакивал тоже к церкви, там была огромная толпа. Весь сбежавшийся люд — мужики и бабы, стар и млад, обступил сразу узнанных михеевскую барыню и ее дворовых, которые все продолжали звонить и звонить.

О причине набатного боя народ не стал расспрашивать Леонтьичей. Он как-то сразу догадался, что страшный звон — из-за чужой беды. Но от этой чужой беды никто и не подумал отстраниться. Все тесной стеною сдвинулись вокруг доброй соседней барыни и готовы были оборонять ее от нападения человека, которого все сразу же узнали.

Несчастный человек подъехал, наконец, вплоть к толпе. Голова его измученной лошади коснулась плеча какого-то старика, а тот, сердито глядя на михеевского барина, силился отстарониться от такого соседства, что, однако, трудно было сделать в тесноте. Несколько минут стояла тишина, ничем невозмущенная, так как набат вдруг прекратился.

Бледный, как мертвец, с потускневшими, дико вращающимися глазками, озирался вокруг себя Иоасаф Николаевич, и незаметно было, что бы он собирался заговорить, — он как будто совершенно недоумевал, где находится и что тут происходит.

Но вот старушка раскрыла глаза, словно только что пробудилась.

— Приподнимите меня... — приказала она Леонтьичам.

Ее приподняли. Опираясь дрожащими руками на плечи пригнувшихся своих служителей и не глядя на сына, который, сидя на лошади, мог бы быть виден ей, она прерывистым от волнения, но все-таки твердым голосом сказала окружавшему ее народу:

— Вы... чужие люди... христиане православные!.. Ну, вот, знайте же все... сын посягнул на жизнь матери!.. хотел сжечь ее в родительском дому!.. Сын мой единственный!.. Вскормила, любила его... И во всем слушался, до всего дошел... Ну, и кто же будет здесь его судить, как не я?.. Будь же ты проклят, мой единый сын!.. Будь же проклят и сам дом...

И она не договорила. Голова ее опустилась. Бессильно опустились руки и все тело. От внезапности ли этого, от потрясения ли, произведенного проклятием, Леонтьичи не сдержали ее — как-то вдруг отнялись их руки, — и она упала, как бездыханный труп, в тележку.

Но и толпа макшеевцев потрясена была страшно проклятием.

Услышав его, она вся разом охнула, простонала. Затем, сняв шапки, все перекрестились — и мгновенно грозно повернулись лицом к проклятому сыну.

Тогда вдруг протиснулся к нему старший Петр Леонтьев.

— Барин!.. Барин... уезжайте!.. Ради Христа Спаса!.. — крикнул он, задыхаясь и дрожа, как от самой злой лихорадки.

XXV

Он отъехал, не сказав ни слова, не оглянувшись назад.

Какое впечатление произвело на него все происшедшее, конечно, никто из свидетелей сцены не мог тогда подметить

уже из-за собственного своего волнения. Но думается мне: вряд ли особенно сильно он был потрясен. Чрезвычайное перед тем напряжение души должно было неминуемо ослабить ее чувствительность ко всему, что являлось теперь со стороны, — как бы ни было внезапно и страшно это явление. Конечно, он не мог не слышать проклятия матери, не мог не видеть, с какою грозою отнесся к нему чужой народ, но все это подействовало на него только оглушающим, так сказать, образом.

Оттого, вероятно, он ехал по лугу так тихо, все шагом. Глядя издали, можно было подумать, что он просто гуляет тут. Лошадь, которою он уже не правил, шла по своей воле, сама направляясь к домашнему стойлу. Но неподалеку от лав, она остановилась пощипать травы. Иоасаф Николаевич не препятствовал ей в этом. Он только слез с седла, прошел к лавам и уселся при самом входе, над нижним прудом, имевшим форму круглой котловины и прозванном михеевцами «омутом» по причине его чрезвычайной глубины.

Темная глубь омута не приманила к себе несчастного, — должно быть, потому что прежде его подошла лошадь к воде верхнего пруда и стала пить, что как-то привлекло его внимание, и оттого он поместился на лавах спиною к омуту. Так было и кстати: легкая прохлада тянула с широкого верхнего пруда, освежая измученную его голову, вечерняя заря тихим светом своим тоже успокаивала...

Но надо возвратиться к михеевской усадьбе.

Там мужики и дворовые слышали набатный звон в селе Макшееве и тотчас же догадались, что не пожаром этот звон вызван, что это поспевшие раньше барина Леонтьичи ударили в набат, созывая тамошний народ для защиты Надежды Ивановны. Михеевцы не могли видеть макшеевской толпы, так как церковь заслонена была для них крестьянскими постройками одной из улиц села, но возвращение

барина по лугу было хорошо видно всем, кто взобрался на большие березы господского двора.

Староста, по степенности своей не влезавший на дерево и оставшийся посеред двора, услышав от наблюдавших, что барин уселся на лавах, над омутом, стал было посылать двух-трех человек из дворовых и мужиков, чтобы шли туда, на всяк случай, — «а то, — добавил он, — как бы, помилуй Бог, не юркнул в самый омут… Вишь, он чудной какой-то!»

Но Елизарьевна направила распорядительность старосты в другую сторону.

— И, что ты это? К чему бы так-то? — сказала она, — да коли и случилось бы, ну, и Господь с ним! Ведь никто бы туда толкнул… Да и ничего-таки там и не случится… А ты вот лучше подумал бы насчет этой самой соломы… Ужели так и оставить ее здесь, на виду? Воротится, увидит, пожалуй, опять блажить начнет; а как не увидит, ну, авось и так дело обойдется: ведь чего не видишь, про то не бредишь. Ну, и мало ль еще что: надо подумать тоже и об нас обо всех: показываться ли на глаза-то ему…

Советы умницы Елизарьевны, действительно, были довольно благоразумны. Староста внял им и немедленно начал распоряжаться.

Относить солому на гумна было бы слишком долго, да притом следовало разделиться ею по всей справедливости, а для этого требовалось уже гораздо больше времени: посему порешили общим советом оттащить солому, покуда, за избы дворовых. Так и сделали, с необыкновенной поспешностью, общим трудом, в котором много помогали бабы и ребятишки. Затем двор начисто подмели, чтобы не видать было и малейших остатков соломы. Наконец порешили тоже: не расходиться мужикам с барского двора, но на виду у барина отнюдь не оставаться, а всем, как деревенским мужикам, так и дворовым, припрятаться по разным углам, только поближе к хоромам.

— А как же быть, когда барин кликнет кого к себе? — спросил кто-то из дворовых.

— Как быть-то? — отвечал раздумчиво староста, — ну, да там видно будет, как вернется… Авось либо и очнется на ветру…

В эту минуту подъехал Макарка.

Тотчас же сообщили ему, что мол с барином и невесть какая диковина подеялась, хоромы хотел спалить, а в хоромах-то была старая барыня, для того солому велел натаскать и тут старосту и еще кое-кого кнутом обсек; барыню успели-таки увезти Левонтьичи, в Макшееве в набат били и, надо быть, Бог помиловал, тамошний народ не допустил до чего-нибудь худого: со двора видать было, как барин ехал оттуда полегоньку, а теперь он сидит на лавах, над самым омутом. Но сообщением этих новостей не ограничились. Дворовые да и мужики стали было расспрашивать Макарку: как было дело в дороге? С чего такого прискакал барин словно бешеный? Почему сам он, Макарка, вернулся верхом, а не в тележке?

Малый, однако, ничего не ответил. Он проворно увернулся от сборища к своей лошади, которая стояла еще у ворот, вскочил на нее и съехал со двора, крикнув своим:

— Лешие вы, как есть! Барина покинули над омутом!

Перебравшись через реку вброд, он поехал берегом по рытвинам и ямам, а скоро пешком, крадучись с всевозможной осторожностью и, ведя лошадь в поводу, стал подходить к барину.

Любовь доброго малого к барину проявилась тут в полной силе.

Неподалеку уже от лав он остановился и подумал: как бы не испугать барина внезапным своим появлением? Лошадь Иоасафа Николаевича, мирно пощипывавшая траву, дала Макарушке возможность предотвратить перепуг. Он стал потихоньку подгонять ее к лавам. И в самом деле, движение лошади опять-таки привлекло внимание барина. Он

приподнял голову и оглянулся в сторону, где заслышал лошадиный топот.

В ту же минуту подошел Макарушка.

— Милый барин… — промолвил он дрожащим от подступающего рыдания голосом. — Что же это вы здесь?.. Да как же так…

И больше он не смог говорить.

Иоасаф Николаевич встал со своего места, но вставая, сильно пошатнулся и, может быть, упал бы навзничь в омут, если бы Макарушка не успел подхватить его под руку.

— Спать так хочется… — прошептал он.

Верный слуга подвел было его к лошади, чтобы усадить на нее. Но нечего было и думать об этом; Иоасаф Николаевич едва-едва держался на ногах. Сбегать на барский двор да позвать мужиков на помощь малый не решился: как было оставить барина в таком положении, тут на лугу, опят-таки поблизости от этого страшного омута?

Но он не решился вести Иоасафа Николаевича ближайшей дорогой, через зыбучие лавы. Он повел его по лугу, обходя ямы и рытвины; вел очень долго и было ему это почти не под силу, потому что Иоасаф Николаевич, с трудом передвигавший ноги, тяжело налег ему на плечо.

— Как же теперь через реку?... А никак не смогу перенести… — подумал Макарушка, — вот, разве подождать… Авось либо подъедет хоть чужой человек, тогда подсадим в телегу и подвезем на барский двор.

Но проезжих не было.

У самой реки Иоасаф Николаевич как-то вырвался из рук Макарушки и, припав к воде, с жадностью стал пить. Это видимо освежило его.

— Спать, спать… — повторил он, приподнявшись от воды.

Макарушка опять повел его, но теперь гораздо скорее, так как Иосаф Николаевич шел уже тверже, и не так тяжело на него опираясь.

— Дверь! Дверь в передних сенях!.. — закричал предусмотрительный малый, и это было очень кстати: слышно было, что кто-то отпер сенную дверь.

Макарушка ввел барина прямо в его комнату. Не раздеваясь, кинулся Иоасаф Николаевич в постель и чрезвычайно скоро впал в глубокий и, как заметно было, полный видениями сон.

— Слава Богу! Угомонился-таки… — говорили дворовые.

Но и они деревенские мужики долго-долго не расходились с отдаленного уголка усадьбы и шли промеж их бесконечные толки и споры все о происшествиях этого злополучного дня. Помянул я тут про их споры недаром: во взглядах дворовых и михеевских мужиков на те происшествия была значительная разница.

XXVI

Уже вечер совсем начался, когда Макарушка, удостоверившись, что барин хоть и тяжело, но непробудно спит, вышел из его комнаты.

Дворовые и крестьяне, в числе которых и теперь было много женского люда, опять обступили баринова «камардина», как в насмешку прозвали Макарку в дворне, и опять пристали к нему с прежними вопросами, все о том; что, дескать, было с барином по дороге из Коломны. Макарке по особым его соображениям отнюдь не хотелось бы рассказывать, но и совсем отнекиваться незнанием никак было нельзя; он и отвечал сначала обиняками: «А мне не след калякать про барские дела, да и иным прочим, кажись, тоже не след… Ну, и чай, сами видели, что приехал барин верхом, вскачь, благим матом, сердитый пресердитый, — стало быть, было с чего так раскипятиться… А больше — про что еще говорить!».

Такие речи возбудили общее негодование.

Всех более напускалась на малого балованная любимица барыни, лихая Елизарьевна. Но и прочие его ругали. Наконец степенный староста толково стал уговаривать его, что повинен он беспременно дать ответ «миру» обо всем: «Как же при эдаких делах, что вот теперича стряслися, как же миру-то не знать про них досконально?»

— А что мне мир? — строптиво возразил Макарушка, — я человек дворовый. Перед самим барином, да перед барыней тоже я завсегда должен быть в ответе, а больше как есть ни перед кем. Эка важность — мир!.. Вот вам и весь сказ.

Вся толпа заволновалась и во много голосов заговорила:

— Уж и точно: ужасти были ужастенные…

— Беда тут всех донимала!..

— А ведь из-за той беды пришлось бы всем отвечать…

— Знамо: сами, мол, солому таскали!..

— Ах ты, Господи!.. за чужие-то грехи!.. из-под палки, из-под кнута!..

— Вот, тут и промышляй за себя!..

— Да что ж такое: а не дойти ль до дворянского предводителя?..

— И то, ребятушки: чай, самой барыне невмоготу справиться, надо быть, больнехонька теперича…

— Вот, усадьбу покинула, — у чужих людей приютится; может, в Рязань для леченья отвезут, — ну, и жди-пожди, когда домой вернется…

— А нам-то как быть?.. Пропадать, что ли, из-за этих ужастенных делов!..

— Эх, уж вы! — начал унимать староста, когда все вдоволь наговорились, — ну, и чего больно взбеленилися? Проспится, — авось и опять ничего… Он же завсегда тихохонек нравом был… Знамо, дела — как сажа бела, а все же: как тут ни торопись, никуда не доспеешь…

— Вишь ты, староста-умник! — сердито возразили дворовые, — в околесицу тоже пустился не хуже нашего Макарки… А нам-то первым приходится пропадать!

— Эко-ся! Проспится, ну, и авось ничего, авось, мол, не вспомнит!..

— А коли и не вспомнит про хоромы и уж не придумает, чтобы их спалить, так беспременно примется разбирать: как было дело с Маринкой треклятой…

— Ну, вот, из-за этого-то и жди тут!..

— Да что ж это об той лиходейке Макарка ничего не сказывает! — завопила Елизарьевна. — Староста! Допроси его толком!..

— Допроси! Допроси! — закричали и многие.

Но Макарка был уже совсем на готове отвечать. Он хорошо вслушался во все речи толпы, — речи, ему крайне неполюбившиеся, и надумался насчет того, каким способом надобно тут изловчиться, чтобы барина оборонить.

— Ну, и допрашивайте, — сказал он, — коли мир требует, я супротив него не пойду… и про что самому мне ведать, про то я готов, только по порядку спрашивайте.

— Видел барин Маринку? — начал староста.

— Что ж, точно видел.

— Чай, не в Коломне же постромки у бариновой лошади обрезаны, сам он и ты, оба верхом приехали, стало быть, встреча на дороге была: где ж Маринка вам встрелася?

Но Макарке не захотелось обстоятельно отвечать на этот вопрос.

— Уж сказано: видел барин Маринку, а где видел, ведь, все равно, — и чего тут еще добиваться, — отвечал сметливый малый.

— Не все равно, — заметил староста, — ну, да покуда так тому и быть… Что ж Маринка говорила? Жалилась, аль нет?

Макарка не утерпел — усмехнулся.

— Право слово, инда смех разбирает, — сказал он. — Бабенка вся, как есть, избитая, одежа на ней изодрана, коса обрезана, — важно постаралися… Коли б и сама не стала жалиться, все же было бы виднехонько… Да что там, — знамо, жалилась.

— На кого ж больше?.. И что такое говорила-то?.. — спешно стали спрашивать вмешавшиеся в допрос все дворовые, особенно женщины.

— Ах, она тварь! Ах, она ведьма проклятая!.. — раскричались, было, дворовые женщины; но староста мигом унял их, опять принялся за допрос, начав его на этот раз как-то неловко, может быть, вследствие перерыва со стороны дворовых.

— Стало быть, на дороге Маринка встрелася?

— Стало быть, на дороге.

— Знамо; да ты, малый, не путай… Что ж барин молвил на жалобные-то речи?

— Ничего не молвил, обрубил постромки у пристяжной, да и ускакал.

— Ну, а где теперича Маринка?

— Этого не знаю.

— Врешь ты это, малый… — опять заметил задумчиво староста и затем надумался сделать только еще один вопрос:

— Где ж ты тележку барскую покинул?

— В Мостищах, у Савелья, — отвечал наугад Макарка.

Староста замолчал, не вымолвив по окончании допроса ни малейшего о нем заключения. И все сборище позамолкло на несколько минут. Как видно было, все думали очень трудную думу, и оказалось тотчас же, что думали не в лад. Первые прервали молчание деревенские мужики.

— Пораскинешь рассудком, неладно выходит. Ну, для чего было наругательство, побои тоже, из того-то и беда, —

заметил старый мужик, как староста, степенный и на деревне всеми почитаемый.

Не понравилась сильно эта речь дворовым: все они, а пуще всех Елизарьевна, просто взбеленились. Наперебой и мужикам, и самим себе кричали они неистово:

— Ведь сама барыня прогнать велела Маринку…

— А она нейдет! А она драться стала! Тут-то что сделаешь?..

— Когда бы надоть всем заодно, выдать нас хотят!

— Инда сами нас одних виноватят!..

— А кто солому к хоромам таскал? Кто хоромы подпалить собирался?..

Переходы начались большие. Староста, наконец, собрался крепко унять их, но вдруг из-за него вывернулся тут Макарка и очень удачно.

— Вот, вы допрашивали, — громко подал он голос, — все допрашивали меня о таком деле, что и само виднехонько, а про главное дело словно позабыли. Как бы, кажись, не осведомиться насчет Макшеева? А никто ничего не знает, присылки же оттоль не было… Того же гляди, не все-то и там ладно…

— А ведь, и то, и точно, — заговорили в толпе. — Это — маху дали: точно, надо бы справиться. Староста! Как же это так?

Староста слегка ухмыльнулся себе в бороду, взглянул мельком на Макарку и качнул головой: он понял хитроватую уловку малого, не хотевшего, чтобы его стали передопрашивать, и должно быть, уловка эта была ему на руку.

— Можно и спосылать в Макшеево, — сказал староста, — оно и точно, не будет ли какого приказу от барыни? При том разе про все и узнается. Может и то, — добавил он, — может, барыня толком скажет насчет того, как быть всем теперича, то-ись, с барином. А без приказу от самой барыни нешто можно что-нибудь затевать? Коли мир скажет, я сейчас же пошлю.

Все сборище, даже дворовые, нашли, что староста дело говорит. Только Елизарьевна отнеслась к этому с некоторым сомнением.

— Кто же в Макшеево пойдет? Уж не Макарку ли пошлете? — спросила она.

— Мне самому никак не след, — отвечал староста, — надо и тут остаться на всяк случай. А отчего бы и не Макарку отправить? Путать ему там нечего. Он же должен барыне досконально доложить и про то, как в Коломне дело было, — ведь, барин недаром туда ездил и недаром так долго там оставался; ну, и про встречу с Маринкою. Барыне-то Макарка все, как есть, расскажет. Я и то смекаю, может, Макарка и оченно барыне понадобится, не стала бы посылать его за лекарем для себя? Вы как, ребята, думаете?

Весь мир опять одобрил и эти речи старосты. А Макарка еще раз надумал выловчиться перед миром.

— А как придется, может, и в Коломну за лекарем, — сказал он старосте, — то как же отсюдова? Уж ли-таки пешком?

— Можно и так, поезжай теперича верхом; а там, коли приказ будет, чтобы в Коломну, поедешь или в коляске, или в бричке, что ль. Только тогда для опасности в дороге надо будет ехать с тобою еще кому-нибудь, пора-то ночная, — отвечал староста, подумав.

Все улаживалось наилучшим образом для Макарки, как именно он желал. Но хорошо, что он не вмешивался в дальнейшие переговоры насчет посылки его в Макшеево и предполагаемой поездки в Коломну, а то, пожалуй, дело и разладилось бы: Елизарьевна очень восставала против «непутевого баловня».

— И нешто некого другого послать? — кричала она. — А то, вишь, на Макарку обнадежилися! А Макарка наврет там, наболтает с три короба!

Рассудительный староста отвел ее в сторонку.

— А здесь-то, у барина, чай, гораздо похуже будет, как примется Макарка болтать, — сказал он. — И есть-таки об чем, нелегкая дернула промолвиться, что надо жалиться дворянскому предводителю. По крайности теперича не должон барин про это знать.

Затем споров уже не было, и Макарка отправился в Макшеево, куда на свежей и лучшей лошади изо всех барских приехал очень скоро.

Первым делом он направился к дому священника. Уже потому, что у ворот, под окнами, было немало народу, стариков, а больше баб, он догадался, что барыня осталась тут ночевать, не перебралась, как он думал было, к ближайшим соседям, Змеевым.

Стоявшие у дома священника люди разговаривали промеж себя, но очень тихо, шепотом. Стало быть, барыня-то больна, опять догадался Макарка.

Он слез с лошади, подошел к макшеевцам и, осторожно отозвав в сторонку одного из стариков, спросил его:

— Тут, что ли, наша барыня?

— А знамо, тут. Куда ж ей деваться теперича? Ослабела, совсем-таки больнешенька. На руках к батюшке перенесли.

— А Левонтьичи наши где?

— Младший-то, Петруха, ездил на поповой лошади за барышней вашей, в Афанасьево, да вишь ты, барышня с тамошними господами в Раменки в гости поехала. Петрухе надо бы в Раменки прямо, а он сюда вернулся. Батюшка инда побранил его, да и велел опять ехать в Раменки. Ну, а у вас-то что? И уж барин ваш! Наделал делов! Наш народ, коли б он не отъехал, да что и говорить… Тебе, малый, не послать ли вашего приказчика? Пускай он тебе порасскажет, а нам инда жутко.

— Пошли, пошли приказчика, дедушка.

Старый Леонтьич скорехонько вышел и тотчас пустился, было, в расспросы о том, что делается в Михееве? Но

Макарка уклонился от всяких подробностей; сказал только, что у нас, мол, все благополучно, а барин почивать лег и почивает спокойно.

— Почивать улегся, почивает спокойно! — возразил на это приказчик. — А ты, знаешь ли? Ведь барыня-то… ведь, она прокляла его при всем народе!

Он вымолвил это с ужасом, дрожа и крестясь. Ужас охватил и Макарку.

— За что же? За что?.. Господи! Да нешто можно! Нешто он таковский!..

— Уж грех такой вышел… При всем мире, при народе! И народ-то чужой. Самому тяжко и на людей взглянуть. А и то, малый, ты вот спрашиваешь за что? А он же хоромы хотел спалить! Барыня поверила, что и ее хотел загубить.

— Да быть сего не может! Нешто он таков человек! Это кто ж мог ей сказать? Ох, да я бы его на части разорвал!

— Грех такой вышел… ну, вот, и поди ж ты! — повторил приказчик, совсем растерявшись от пылких речей малого. — И сама теперича мечется, как не своя, мучится, и не приведи Господи! А что дальше-то будет? Вот барышня приедет. Отец Осип, его дома не было, как беда случилася, так и он говорит, что беспременно надо прошение подать, отписать про все, «как же, мол, такое дело укрыть?» Ведь, он строгой жизни человек, отец Осип.

Последние слова Леонтьича произвели большое впечатление на Макарку. Он увидал новую и еще значительнейшую, чем со стороны михеевской дворни, опасность для барина.

— Ну, так вот что, Петр Левонтьич, — сказал он, — уж коли барыня так-то заболела и оченно мучится, надо живо смахать за лекарем в Коломну. Благо я на лошади, к свету и лекарь может сюда поспеть. В Михееве, тоже все смекают, что надо за лекарем: «наверняк, мол, барыня больна», затем и меня послали.

— Поезжай с Богом, известно надо лекаря, — отвечал приказчик. — Только, малый, не подождать ли барышни? Сейчас должна приехать.

— Как тут ждать? И единой минутки мешкать нельзя.

Макарка быстро вскочил на лошадь и, не слушая больше Леонтьича, который опять начал было что-то говорить, вскачь отправился в Михеево.

XXVII

Макарка не заехал в михеевскую господскую усадьбу, хотя мысль об опасности пути в позднюю ночную пору, через такие «нехорошие» места, как Волчьи Ворота, и очень побуждала его заехать. Но он все-таки решился пробраться до Коломны в одиночку для того, чтобы не было докучного свидетеля объяснений его с Михайлою Николаичем Г-вым, на помощь которого барину в теперешнее трудное для него время он уже начинал рассчитывать с невольным доверием. С величайшей и вовсе ненужной осторожностью проехал он через свою деревню, но в ней тогда было особенно тихо уже потому, что все взрослые мужики остались на всю ночь на барском дворе.

Макарке, по его тонким расчетам, хотелось вернуться в Михеево, вместе с Михайлою Николаичем, как можно раньше поутру; уже по этому, да и ради путевых опасностей, он ехал очень спешно, а попал в город только к свету: вышла задержка им непредвиденная — живой мост был разведен, по Москве-реке проходили с Оки барки, нагруженные сеном. Подъезжая, наконец, к воротам знакомого постоялого двора, он заметил, что Михайло Николаич не спит: через окна его комнаты виден был огонь от двух горевших свечей.

Удивился хозяин, увидав малого.

— Что ты так спозаранку? — спросил он.

— От барина письмо есть к питерскому, — нашел нужным соврать Макарка.

— Что ж так-то: вчерась-утрешком простилися, а уж к вечеру обсылка понадобилась?.. Уж и мудрены господа про всяк случай, — заметил хозяин, которому как человеку, весь свой век живущему «на людях», до всего было дело.

— А питерский-то ваш, — продолжал он, — больно поздно спать ложится, — хоша, опосля вас, никуда из горницы не выходил, да и не заметно было, чтобы, сидя дома, к рюмочке часто дотрагивался: за полночь выходил я посмотреть, все ли благополучно на дворе, так и видать было через растворенную от него дверь, что у него свечи горят.

— Да они и теперича горят.

— Ой-ли?.. Ну, это, братец ты мой, совсем не годится. Пожалуй, пожар наделает… И с чего не спится-то ему, — Господь его ведает?

В эту минуту шибко послышался стук тяжелого экипажа по мостовой. Макарка выглянул за ворота, и проворно спрятался опять за них: экипаж был ему знакомый, — из Афанасьева, от Змеевых, а на козлах, рядом со змеевским кучером, сидел младший Петр Леонтьев.

— Что ты спрятался, словно испужался? — спросил дворник.

— Ничего не испужался, — отвечал Макарка, — посмотрел, — чужая какая-то бричка громыхает, ну, и чего больше-то глазеть.

Затем пошли они наверх к горнице, занимаемой Михайлою Николаичем. Он точно не спал: лишь только раздались шаги идущих по скрипучим ступеням лестницы, Г-в, полуодетый и в сапогах, вышел отомкнуть дверь в сенную стекольчатую галерею.

— Я так и ждал, — сказал он, увидав Макарку, — идико, иди скорее. А ты, хозяин, убирайся к себе, — ты мне не нужен, и делать твоей милости тут нечего.

И он бесцеремонно запер дверь перед носом хозяина.

— Ну, — продолжал он, сурово смотря на Макарку, — рассказывай мне все по порядку. Слышишь? Все, все, без

всякой утайки!.. Так надо, чтобы все было, как на ладонке. Да и не вздумай соврать, — меня не обманешь, я подмечу, что врешь, задам тотчас же знатную таску.

Но на этот раз таски не пришлось отведать малому. И сам он рассказывал, и на вопросы отвечал так обстоятельно, что Михайло Николаич остался, видимо, доволен им и даже слегка похвалил за сметливость.

И про все расспросил Михайло Николаич, но больше спрашивал, — что очень заметил малый, — о месте, где приютилась Маринка после встречи и о тамошних людях, а особенно о том, что и как говорили михеевцы про намерение Иоасафа Николаевича сжечь дом, как понимали все поступки барина при этом, а также про угрозы дворовых насчет жалобы предводителю дворянства. Макарка под конец своего рассказа упомянул, что и отец Осип проговаривал о жалобе.

— Надо и попу тут вмешаться! — сказал с явной досадою Михайло Николаич и опять похвалил малого за то, что этого обстоятельства тоже не забыл.

Несмотря на эти похвалы самим Г-вым, Макарка был очень недоволен, конечно только про себя.

«Ну, как же, — подумал он, — обо всех спрашивал и переспрашивал, а о брате родном только выслушал от меня, а больше ни словечка...»

Однако он ошибся в этом заключении. Подумавши несколько, Г-в спросил коротко:

— Так, спит?

Макарка понял, что вопрос об Иоасафе Николаевиче.

— Почивают-с оченно крепко, я побыл довольно, — отвечал он.

— И не раздеваясь, лег, ты говоришь!.. Тотчас заснул?

— Точно так-с. Только сначала, метались больно...

Михайло Николаич замолчал, отошел к окну и задумался.

— А проснется, — проснется, о чем, прежде всего, вспомнит?.. — вдруг спросил он шепотом.

Макарка не решился отвечать: он опять догадался, что на этот раз загадочный вопрос вовсе не к нему обращен.

— Но там видно будет… Только поспешить надо… — промолвил Г-в, видимо все рассуждая с самим собою. — Помнится, — продолжал он, оборотившись, наконец, к Макарке, — помнится в Михеево езжал отсюда лекарь-немец Павел Андреич: жив он или уже помер?

— Еще живы-с. Только я сейчас видел, что змеевская бричка проехала, уж это верно за Павлом Андреичем. А с кучером сидел и наш кучер Петр Леонтьев.

— А!.. Ну, так сбегай к хозяину и расспроси: есть ли здесь другой доктор? Хорош ли и где живет? Доложишь мне обстоятельно. Потом беги, и чтоб Егорка на самой лучшей тройке через полчаса здесь был. Досадно, пожалуй, из-за лекаря задержка выйдет.

Однако задержки не вышло. Оказалось у хозяина, что вчерашней ночью приехал в Коломну из Егорьевска и остановился тут же на постоялом дворе, тамошний уездный лекарь. Макарка впопыхах прибежал известить об этом; Михайло Николаич обрадовался.

— Вот, это как сон в руку, — сказал он. — Беги ж теперича самым скорым бегом к Егорке. А я толконусь к егорьевскому этому.

Когда пришла егоркина тройка, егорьевский лекарь был уже в комнате Г-ва.

Я знал этого замечательного и нелепого по теперешнему определению человека. Но некогда, даже не совсем давно, у нас иначе называли таких людей, и не один простой народ называл, а и тогдашняя «интеллигенция».

Мне было семь лет. Отец мой умирал в Егорьевске от горловой чахотки, внезапно развившейся. В это тяжкое для нашей семьи время, Дементий Арефьич (так звали того «чудака»; фамилии же его не помню), уже не состоявший на службе уездным врачом, много заботился о матери моей, которая только что родила моего младшего брата. Отца он

не лечил; отец был на руках у военного, артиллерийского доктора, имевшего отличную репутацию и, конечно, отнюдь не пособившего от злой болезни.

Я очень помню Дементья Арефьича, его физиономию, его одежду, и все, что про него говорили в нашем околотке.

Это был человек средних лет, довольно малого роста, казавшийся почти тучным, по причине широких своих плеч и, вообще, очень коренастого телосложения. Огромная голова его, с торчащими вверх волосами пепельного цвета, голубоватые и несколько робкие глаза, бледное лицо, изрытое оспою, кроткая улыбка, все мне памятно, все как будто и теперь еще вижу. Он носил довольно странный костюм; всегда один и тот же, зеленый, с красным, стоячим воротником, камлотовый, двубортный сюртук, застегнутый только на верхнюю и нижнюю пуговицы, о сохранности которых он и заботился усердно, ради чего в одном борту, снаружи сюртука, воткнуты были две большие иголки, и висел моток небеленых ниток; обувь его была тоже необычная в чиновничьем кругу: простые, огромные коты; затем еще одна подробность: верхней одежды и даже шапки я никогда на нем не видал.

Он был слабый, пьющий человек, и, кажется, не запоем, а постоянно предавался этой, столь горькой и столь пагубной у нас слабости.

Но все, кто его знал, отзывались о нем с состраданием и отнюдь не пренебрежительно. Все знали, что он сохранял неизменным во всей силе не только кротость добросердечного от природы нрава, но и твердость, прямоту разума, хотя внешний образ жизни этого человека, конечно, по причине вышеуказанной его слабости, вдруг принял угловатую, жесткую, странно бьющую в глаза своеобразность. И так велико было общее сочувствие к нему, что с полнейшим доверием прибегали к помощи его как доктора и относились к совету его как человека. Он лечил тоже своеобразно, весьма редко предписывая средства

против болезни, находящиеся в аптеке (впрочем, тогда и аптеки в Егорьевске не было), а указывая самые простые, известные и в народной медицине. Он был посвящен почти во все семейные тайны окрестных помещичьих домов и умел по большей части улаживать в примирительном духе очень трудные дела. К нему обращались за врачебной и духовной помощью не одни помещики или городские чиновники, но и купцы, мещане, крестьяне, даже строптивые, угрюмые егорьевские раскольники, и ни от кого не брал он за свои послуги ни малейшего вознаграждения. Но жил он, так сказать, на счет общественный, ибо не имел постоянной квартиры, своего собственного (хотя бы и нанятого угла), нисколько тоже не заботился о ежедневном своем пропитании, наставал Божий день, и после ночлега в каком-нибудь чужом уголке Дементий Арефьич тотчас отправлялся в церковь, там, среди нищей братии, выстаивал утреню и раннюю обедню, а затем бродил повсюду вплоть до ночи, случайно находя себе и пищу и приют для сна и отдыха, где попало, в доме ли, в сенях ли, в сарае ли. Вскоре, после начала «страннической» его жизни, стали подавать ему милостыню копеечками, большими тогдашними пятаками, а то и кусками хлеба, и он принимал все это с благодарностью, и никогда, как замечено было, милостыня, ему подаваемая, не употреблялась на покупку зелена вина, а раздавалась им украдкой (и совершенно напрасно так, ибо все про то знали) нищей братии, которой в маленьком Егорьевске всегда в то время было преизобильно. Впрочем, упомянув про зелено вино, я должен сказать тоже, что оно легко доставалось Дементью Арефьичу и даром: всяк, к кому он был вхож, зная его слабость, подносил ему рюмочку, угощал его досыта; он же никогда не напивался совсем допьяна, и только по большой разговорчивости можно было подметить, что он выпил. Вообще, он был всегда очень серьезен, и, несмотря на его чудачество, все обращались с ним тоже серьезно.

Его даже в глаза звали «юродивым», но это отнюдь не в насмешку, а потому, что он добровольно принял ту форму жизни, которую называли тогда «юродством Христа ради». Добавлю ко всему этому, что еще за время моего детства Дементий Арефьич вдруг куда-то исчез из Егорьевска. Вероятно, юродническую жизнь свою он окончил в каком-нибудь отдаленном монастыре.

Таков был егорьевский лекарь, к помощи которого для своего брата обратился Михайло Николаич Г-в. Впрочем, в то время, должно быть, он нисколько не походил на юродивого, иначе Макарушка непременно заметил бы это.

На ту пору (и лишь на ту) Макарка был очень доволен Михайлою Николаичем, ибо сразу понял его распорядительность, его заботливость о брате. Ему понравился и этот егорьевский лекарь, так, кстати, подвернувшийся и с таким вниманием выслушивавший все, что рассказывалось ему об Иоасафе Николаевиче. И было чего слушать: Михайло Николаич касался весьма многого, рассказывал даже о душевной болезни Николая Михайловича П-ва и об образе жизни П-ского семейства за то время, и из последних происшествий в Михееве он ничего не скрыл перед доктором, который, вероятно, и наводил на такой подробный рассказ своими вопросами. Макарка не застал всего разговора, к тому же за разными хлопотами насчет немедленного отъезда из Коломны довелось ему выслушивать урывками, но многое, что он подслушал о своем барине, показалось ему чем-то совсем новым и чрезвычайно важным. К последнему же заключению всего более привели его восклицания доктора, не раз им повторенные:

— Да, да! — говорил доктор, — этот несчастный молодой барин больной, очень больной человек…

И к этому он прибавлял еще какое-то слово насчет болезни, которого Макарка и не понял, и никак не мог припомнить.

Лошади были готовы, все вещи уложены в повозку, а отъезд, с которым сначала так спешил Г-в, последовал очень нескоро. Из-за разговоров, все об Иоасафе Николаевиче, так долго затянулось дело. Наконец, Егорка-ямщик, сильно соскучившийся ждать, решился напомнить об отъезде — и был прогнан из комнаты, крепко обруганный Г-вым. Может быть, и еще не скоро бы отправились в путь, но, вот, прогремел тяжелый экипаж по улице, Михайло Николаич глянул в окно и увидал, что в экипаже сидит какой-то пожилой господин, а на козлах, рядом с кучером, трясется Леонтьич-младший.

— Ну, оно и кстати, — сказал, нахмурясь, Михайло Николаич, — это немец отправился лечить ту старуху. Теперь пора и нам.— А впрочем, с полчаса все-таки надобно погодить, — пускай те побольше вперед уедут.

Он велел позвать хозяина-дворника, очень щедро рассчитался и несколько времени все подшучивал над ним. Шутки были такие веселые, забавные; хозяин, довольный своим постояльцем, смеялся с большою охотою, и даже степенный доктор улыбался, но сам шутник не смеялся: синие глаза его горели и быстро, как будто сердито оглядывали всех, а густые брови были насуплены. Не смеялся и Макарка. Ему была неприятна эта веселость «питерского оборотня».— «Потешается… нашел время.. а там и Бог знает, что делается…» — печально думал он о своем барине.

Наконец тронулись в Михеево.

Погода стояла ненастная, дождь моросил не переставая. Дорога была очень дурна. Но лихая тройка Егоркина могла бы и по такой дороге скакать вплоть до Михеева, да Михайло Николаич велел ехать потише — легкой рысцою. Он продолжал разговаривать с доктором, все о больном.

— И вы думаете, — спросил он, между прочим, своего спутника, — вы думаете, что мы застанем его спящим?

— Должно быть, что еще спит, — отвечал доктор, — утомлен чрез меру душой и телом, — утомлен так давно.

Вы же говорили, что бессонница у него в Коломне была заметна; стало быть, если уже заснул, то может проспать очень долго. Да, да!.. И хорошо было бы, если б, проснувшись, вас первого увидал. Надо, чтобы не вспомнил он вдруг, что произошло, надо отвлечь как-нибудь его память в сторону.

Макарка, навостривший уши, на этот раз слышал весь разговор; но он не понял слов егорьевского лекаря насчет пробуждения Иоасафа Николаевича. — «А для чего-ж бы нужно, чтобы барин память потерял?» — подумал он подозрительно. Но подозрение его еще усилилось, когда доктор добавил:

— С такими больными — мы сами не знаем, что делать, говорю вам откровенно и сущую правду. Это — больные необыкновенные, поистине чудные… Вот и теперь, все зависит от случая… Ну, и надо стараться — предупредить. Главное, чтобы не сразу, отнюдь не сразу, опомнился! Знаете ли: если бы внезапное что-нибудь — какая-нибудь тревога вдруг пробудила его, к примеру, говорю, даже пожар, что ли, хотя голова его была наполнена именно этим, — нет нужды, было бы кстати…

— Я понимаю… — сказал, подумав, Г-в.

«Что-ж это они затеяли?.. Что затеяли?..» — соображал про себя Макарка — и никак не мог сообразить. Но его смутная подозрительность достигла высшей степени, когда стали подъезжать к Волчьим Воротам.

— А туда вы не заедете теперь? — спросил Михайло Николаич доктора.

— Как хотите, пожалуй… Но, ведь, это задержка будет, а нужно к больному поспешить. Да и полагаю, что туда можно после, — отвечал доктор.

— Ну, а я непременно хочу заехать. Загляну только, — чтобы одно обстоятельство проверить. — Макарка! Помнится, ты говорил, что к угольщикам будет налево, и дорога все прямая?

— Точно так-с, — отвечал малый и опять с чрезвычайной тоскливостью подумал: что же такое еще затевается с этим заездом, — явно к Маринке?

Перед въездом в Волчьи Ворота Г-в велел остановиться, достал из своего ящика пару пистолетов и пересел на верховую лошадь Макарки, которая была привязана сзади телеги.

— Егорка! — приказал он ямщику, — теперь даже не рысцой, а шагом поезжай. Я скорехонько догоню.

Затем за Волчьими Воротами по дорожке, ему указанной, он углубился в лес.

И не скоро догнал он тройку, по крайней мере, так показалось Макарке, верное сердце которого не переставало предчувствовать какую-то новую беду…

Усевшись в повозку, Г-в сказал доктору:

— Она, точно, больна. Жар большой — горячка, что ли. Но тамошняя старая ведьма уверяет, что ничего, пройдет. И надо быть, пройдет: живучие такие… Испугались было меня, хоть в лес бежать, да я денег дал. Для них деньги пуще всего.

— Отчего ж одни деньги? — задумчиво заметил доктор.

— Ребенок вы, что ли? — возразил Г-в. — Да вот что значат деньги: лишь только я стал отсыпать целковики, гляжу: с полатей лезет мужичина, ко мне шаг было сделал, а сам смотрит на меня, — знаю, как смотрят в таком разе. — «Э, — думаю, — нож у него в кармане», — и крикнул, взведя пистолет на него, чтоб он ни с места. Послушался-таки, я же велел ему тотчас убираться из избенки, да как он уже растворял дверь, крикнул ему, чтобы не смел он и вовсе туда наведываться: «лес, мол, кругом-то хороший, есть где, и так схорониться; а не то, мол, скручу я тебя шельмеца пуще самого капитан исправника…», — я и старой колдовке строго настрого велел не пускать его.

— И вы не боялись, после того, по лесу возвращаться?— спросил доктор.

— Чего бояться?.. В одиночку я со всякими слажу и без этих собачек, что громко лают, — и он указал на свои пистолеты, — а коли было бы четверо-пятеро человек да и собачки перестали бы лаять, так я на ихнем инструменте, на ножах, смогу ладно поиграть.

Егорьевский лекарь, с особым любопытством, посмотрел на него…

Перед Михеевом Михайло Николаич велел Егорке подвязать колокольчик и даже не въезжать во двор господской усадьбы.

XXVIII

«Глухою, словно вот разоренною» показалась Макарке эта усадьба, хотя старая, неприглядная, но, обыкновенно, людная и оживленная.

И в самом деле за одни сутки подеялось с ней что-то особенное и очень нехорошее: у створчатых ворот одна половинка была совсем поломана, а другая висела неладно на нижней петле, — видно, мужики, таскавшие солому, привели ворота в такой беспорядок; ставни у окон хором по большей части были закрыты и даже кольями приперты; весь дом казался с давних пор нежилым; да и во дворе с дворней, в которой считалось свыше двадцати человек обоего пола, не было заметно ни малейшего движения; даже собаки куда-то подевались.

Михайло Николаич направился с доктором и Макаркою к заднему крыльцу дома — и там вдруг наткнулся на целую толпу. Все взрослые дворовые и несколько мужиков деревенских стояли у крыльца, как будто выжидая чего-то. Вероятно, все эти люди выбрались сюда из дворовых изб, как только заметили приближение к усадьбе коломенской тройки.

— А! и староста тут... Ну, староста, как же у вас: все ли благополучно? — отрывисто спросил Г-в.

— Греха таить нечего... не так-то у нас благополучно... — отвечал староста, глядя несколько в сторону.

— То-то, умники-михеевцы! Чуть было не спроказили заодно с человеком, у которого от лихой болезни голова не в порядке... Чем бы поуспокоить его, поразговорить как-нибудь или, в том рази, коли ничего о нем не поделаешь, с глаз от него бежать в рассыпную, а они, умники, довели дело, как есть, до беды!

Староста оглянулся на всех, с заметным недоумением, как бы испрашивая совета: что же отвечать на такие задирательные речи? Но все молчали, потупившись. Ничего не вымолвил и староста, хотя ему очень хотелось ответить «супротив» этого человека, про которого за прежнее его житье не добром помнили в Михееве, который и теперь из-за недоброй какой-то мысли норовит обвиноватить людей ни в чем непричинных.

— Слышал я и про то, — продолжал Михайло Николаевич к досаде и смущению Макарки, — слышал и то, что вы же, умники, надумывались жаловаться на больного, несчастного вашего барина... От вас станется!.. А вот, попробуйте!.. Попробуйте, мошенники, галманы!

И последние слова произнес он с чрезвычайной силою, грозясь на всех.

— Помилуйте! Что вы это? — прервал его доктор, — может быть, братец ваш еще спит... Разбудите его, — нехорошо будет. Успокойтесь, ради Бога!

— Ну, хорошо, хорошо... Я еще поговорю с ними как надо...

— Кажись, спит, — робко отвечал староста.

— Кто там, с ним?

— Елизарьевна там. Она больше наведывается.

— А вот я пугну мерзкую бабу... Все здесь оставайтесь. Никто не смей уходить!

И вместе с доктором и Макаркою он пошел в дом.

Темно, холодно, глухо и жутко было в комнатах. Доктор шел на цыпочках за Г-вым, шепча ему, что надо, как можно осторожнее подходить к спальне Иоасафа Николаевича. У двери спальни сидела Елизарьевна с чулком в руке. Увидав подходящих к ней, она чинно приподнялась с места.

— Вон отсюда! — опять довольно громко крикнул Михайло Николаевич.

— Барин почивать изволит... Может, что понадобится... Ну, и как же мне... — пустилась было в возражения балованная, упрямая женщина.

Михайло Николаевич шибко толкнул ее в соседнюю комнату. Елизарьевна во весь скрипучий свой голос заохала. Доктор, крайне смущенный, повторял: «Ради Бога! Ради Бога, тише!» — кинулся затворять за нею дверь. Быстро это произошло — опять все стихло.

Г-в, доктор и Макарка несколько минут стояли неподвижно, прислушиваясь: нет ли какого движения в спальне Иоасафа Николаевича. Но оттуда ничего не было слышно.

Осторожно отставив от двери кресло, на котором только что восседала Елизарьевна, Г-в и доктор вошли в спальню. Хотел было войти и Макарка, но Михайло Николаевич не дозволил ему.

И долго простоял малый, прислонившись к двери спальни, затаив в себе дыхание, что бы лучше прислушаться. Тоскливо он ждал, что вот-вот заговорят там, а может, позовут и его. Но там было тихо и тихо, — и невольно стало приходить ему на ум, не умер ли барин? Потом, одна неотвязная мысль еще больше смущала, пугала его, мысль о том: «Какие же тут затеи питерского оборотня?» — А что есть у этого человека «затеи», — Макарка был убежден в этом вполне. Подозрительны ему казались все его действия, даже и то, что он «пугнул так всех — старосту, мужиков и дворовых».

«Ну, и к чему было пугать? — думал и соображал он. — Лучше бы поласковее обошелся, особенно со старостой и с деревенскими, эти уж навряд собрались бы жалиться, — вот, другое дело — дворовые, знамо, крепко они боятся быть в ответе перед барином за Маринку… А вот, как пугнуть-то, пожалуй, и мужики шарахнутся… Эх! Оплошал я, — послушался питерского оборотня, положился во всем на него: он-то, мол, поможет! — у него на уме и невесть что… Коли любил бы брата, — так ли бы жалел его?.. И зачем заезжал к Маринке?.. Да и зачем в Коломну-то пожаловал?... Инда ровнехонько ничего тут не разберешь!..»

Подавлен он был путаницей тяжелых своих мыслей до того, что небольшой шум, вдруг раздавшийся у Иоасафа Николаевича, привел его в величайший страх, и чуть было не кинулся бежать он из комнаты. Несколько минут он не мог даже прислушаться к разговору в спальне, а там говорили, и довольно громко. Но, наконец, он таки прислушался.

— Ах, нет же, нет!.. Не надо, не надо!.. Он — чужой человек, — говорил Иоасаф Николаевич, — и таким страшным, жалобным голосом.

— Но пойми же! Это — доктор. Слышишь ли, Иоасаф! Это — доктор, который полечит тебя… Ты болен… Скрывать не станем, у тебя горячка… Ты уже несколько дней в бреду, в беспамятстве. Я и привез доктора, — возражал ему Г-в.

— Доктор?.. Нет! Он чужой человек… Да и зачем мне доктор?.. О, Господи! Да, да все вы дайте же мне… Вы, господин!.. Прошу вас, оставьте меня!.. Сейчас же уйдите!..

— Успокойтесь! Я уйду, — тихо сказал егорьевский лекарь и вышел из спальни.

— Ты хуже самой привередливой бабенки!.. Ты, сумасшедший!.. Кликуша, что ль?.. — кричал без всякого удержу Г-в. — Я привез доктора!.. Ведь, лечиться, лечиться надо!.. Ты знаешь ли?.. Знаешь ли? О! Я готов тебя…

И слышно было, что он даже ногами затопал.

— Брат! Миша!.. — проговорил Иоасаф Николаевич, — не кричи так, ты мне мешаешь, лучше вышел бы и ты… Ах, оставьте меня!.. Я хочу припомнить…

— Ну, так я лечить тебя буду!.. — вскричал Г-в, и так страшно, что Макарка весь затрясся от сильнейшего испуга, а лекарь стал креститься и шептать словно молитву.

— Слушай, слушай, что скажу, — продолжал Г-в медленно, сначала довольно тихо, но потом все громче и громче. — Нечего тебе вспоминать: ты был в горячке, без памяти был долго, ну, и как припоминать бред, вздор всякий?.. Теперь, ты очнулся… И вот что: коли ты в состоянии подняться, — вставай сейчас же!.. Поезжай к Марине, авось этим спасешь… Она, больна, при смерти!..

Странное что-то послышалось в спальне: не то заглушаемые насильно и все-таки резко прорывающиеся вопли и стоны, не то рыдания, и не одного как будто человека. И вдруг, выбежал из спальни Г-в, чрезвычайно бледный, расстроенный, раздраженный; он дышал трудно, как от тяжелой, только что выдержанной борьбы. Доктор хотел было идти к Иоасафу Николаевичу, но Г-в остановил его.

— Незачем туда, — сказал он глухим голосом, — уймется и так… А хочет кликушею быть, ну и пускай…

— Вы очень неосторожно сказали ему о той женщине, — заметил доктор.

— А что ж… подумалось, только так и можно унять… Ведь припомнить собирался… — возразил Г-в.

В спальне разом стихло, и в дверях показался Иоасаф Николаевич. Безобразен и поразительно дик был весь вид его: платье в крайнем беспорядке, волосы всклокочены, воспаленное лицо, глаза же совершенно тусклые, безжизненные, прямо на одну точку устремленные, как у слепого.

— Ехать… ехать сейчас… — прошептал он.

— Батюшка!.. Барин милый!.. — начал было Макарка, стремглав кинувшись к барину.

Но Г-в с силою оттолкнул его.

— Хорошо. Сейчас и поедем. Я сам провожу тебя, — сказал Г-в, обратившись к брату. — Макарка! Живо двух лошадей оседлать. Да чтоб через пять минут было готово... Постой! Лошадей подвести к переднему крыльцу...

Затем он шепнул на ухо Макарке, чтобы все ставни потихоньку были отворены и чтобы никто из сборища у заднего крыльца не смел показываться на глаза барину.

— А вы, доктор, — продолжал он, — вы сейчас же отъезжайте в Коломну на егоркиной тройке, видите, вам тут делать нечего с вашими аптечными снадобьями (но и доктору он успел шепнуть, чтобы Егорка ехал шажком, а в деревне Поповке остановился бы и подождал: «Там, мол, видно будет, что нужно делать»).

Усадив брата в кресло, спиной к окну, Михайло Николаич распоряжался насчет отъезда твердо, спокойно, как будто ничего особенного не произошло тут. Посреди этих распоряжений он несколько раз подходил тоже к брату и заговаривал с ним. Но тот ничего не отвечал. Он был в каком-то оцепенении; безжизненные глаза по-прежнему были устремлены на одну точку; и только по нервной дрожи в руках, по нервному беспрерывному движению губ, можно было предполагать, что он ждет чего-то с нетерпением.

Доктор вышел вместе с Макаркою. На заднем крыльце он на мгновение остановился и проговорил как бы самому себе

— Может, он прав... И что бы я мог сделать?..

Через четверть часа (а не так скоро, как приказывал Г-в) съехали с П-ского двора: сначала Егоркина тройка с егорьевским доктором; потом Иоасаф Николаевич с Г-вым, оба верхами, и первый из них, заметно было, едва держался в седле. Поэтому всадники ехали чрезвычайно тихо, и тройка намного их опередила.

Макарушка долго глядел им вслед, до тех пор, пока совсем скрылись из виду. Тут лишь и прорвалась его тоска: он горько-горько заплакал.

Но впереди предстояло ему и еще много печали.

XXIX

Вскоре по отъезде господ дворовые и мужики опять выбрались на барский двор и опять принялись за Макарку. Все сразу высказали ему крайнее свое неудовольствие, все упрекали и ругали его.

— Да как же ты посмел супротив мира! — начал староста.

— Тебе, ведь, как было наказано, — а ты по-своему!

— Ах, ты бестолочь-малый! Ах, ты своевольник!

— Нет, не бестолочь, а словно лиходей всем!

— Да мы за тебя во как примемся!..

Так кричала и грозила толпа. Но, разумеется, всего более доставалось от Елизарьевны. Лихая умница не только ругала малого непрерывно самыми оскорбительными для него выражениями, но и готова была в волоса ему вцепиться.

А Макарка, все еще находившийся в мрачном настроении духа, решился было отмалчиваться, тем более, что и староста после первого своего попрека ни слова уже не вымолвил и тем как бы поощрял малого к молчанию; но когда Елизарьевна, чересчур расходившаяся, крикнула сборищу, что «не стоит, мол, ругать его больше, а вот, надо спрыснуть хорошенько розгачами», — Макарушка не захотел уже терпеть и сам напустился на ругательницу.

— Белены ты объелася! — закричал он в свою очередь, — ты с чего это много про себя вздумала? С какой стати пристала ко мне? Да нешто тебе я должен отвечать? И кто это тебя в барыни-сударыни пожаловал!.. А вот, погоди маленько; к ночи барин вернется, с ним приедет и Михайло Николаич; чай, оба потачки тебе не дадут!.. Теперича, здесь порядки-то иные пойдут, смотришь, лафа твоя и совсем отошла… Ну, и не потаю тоже, чтобы знала ты и ведала:

про тебя-то я и сказывал Михайле Николаичу, как ты всех сбивала идти против барина.

— Ах ты!.. Ах ты!.. — начала было Елизарьевна, но, видимо, струсив от последних слов разобиженного ею малого, не нашлась сказать еще что-нибудь и даже отодвинулась от толпы, словно вдруг захотела спрятаться.

Деревенские мужики, увидав, что староста посмотрел на Елизарьевну да и покачал головою, засмеялись. На ту пору, рознь мужиков с дворовыми, и безо всяких споров и вздоров, выразилась очень заметно. Попреки Макарке разом прекратились, и именно потому, что мужики стали расходиться все уже на деревню, глядя на них, и смущенная Елизарьевна ушла в хоромы; вслед за нею расползлись по людским и дворовые.

Но староста остался.

— Ловок-то, ловок ты, малый, — сказал он Макарке, — а я хочу тебе поговорить: и впрямь, нехорошо ты сделал супротив всех, взял да и проехал в Коломну прямехонько, не сказавшись миру, не спросясь у него…

— А как же, — отвечал Макарка, — мне, ведь, было приказано от Михайлы Николаича: в случае что у нас выйдет, тотчас же подать ему весть.

— Диковину сказываешь! Вишь, он приказал… Так наперед, что ли, он знал, что барин беспременно начнет тут куролесить.

— Я и сам тому дивлюсь. А уж так дело было, — поверь, дядя Селифонтыч.

— Ну, может, было, может, сдогадался насчет приезду барыни… Только зачем же ты на нас-то ему наплел? Сам ты слышал, как питерский молодец напустился — и пуще всех на меня. А я в чем таком причинен? Барин меня же поколотил из-за соломы; да я супротив него никакого зла на сердце не имею потому, понимаю: с чего он так-то… Ну, и мужики наши тоже супротив не пойдут, хоша промежду ними есть и всякие. Да и должен бы ты, малый, попомнить,

как я тебя, вчерась, перед миром допрашивал, кажись, на ту пору ты смекал это самое… Так, за что ж, про что вскинулся он на меня?

— Вот же, хоть сейчас умереть!.. Питерскому сказывал я про тебя и про наших деревенских, что все, мол, ничего, и не думают и не гадают с жалобой доходить. Правда, насчет дворовых я, точно, говорил, да и то больше обиняками. Это он сам… Знамо, человек горячий, да и питерского баловства больно нахватался…

— Нету, не то, малый. А вишь, человек он недобрый, ну, и думается ему, что и у других только одно злое на уме.

Промолвив это, староста задумался.

— Заботы всем будет немало — продолжал он невесело, строго озираясь. — Давненько, вот, тут, — и он указал рукою на старые барские хоромы, — давненько тут нетокма-что радости, инда и спокоя не видят, все, нет-нет, и растворяй настежь ворота для беды… А слышал ты… слышал ли, что старая барыня прокляла своего сына единого, прокляла при всем мире, при народе?

— Слышал… — отвечал Макарка и пуще давешнего залился слезами.

— Ох, забота чисто-горевая… Так-то!.. — начал опять добрый и разумный мужик, — ну, да слушай ты, малый, потому говорю тебе, вижу хороший, верный ты слуга своему барину; слушай же: не пойдем мы, деревенские, супротив барина; нам виднехонько, что тут на него насланье какое-то… может, за его грехи тяжкие, может, за грехи его дедов, прадедов, ведь, старые люди-начетчики сказывают, что инда до седьмого колена так бывает, что все беда и беда… Так, значит, не пойдем мы сами а-ни-за-что, да и иных прочих на пущее зло не пустим! Ты и скажи про то Михайле Николаичу да и барину, когда он совсем в память войдет; скажи, чтобы твердо-натвердо знали. А пожалуй, скажи и про то, что так мы будем, вовсе не из-за того, что убоялись…

— Воздай тебе Господи, тебе и всем нашим мужичкам! — радостно сказал Макарушка, но тут же в раздумье, прибавил, — а если барыня в жалобу пустится, того гляди, собьют ее, да если станут из-за того следствие наводить?.. Тут-то как?..

Задумался опять и староста.

— Насчет нас-то, совсем-таки без сумления, — начал он после раздумья, но, хотя говорил успокоительные слова, а лицо его было пасмурно, и на нем отражалась сильная тревога, — мы, деревенские, еще в прошлую ночь промеж себя обо всем обстоятельно переговорили, да вот и недавнышко, как Михайло Николаич с лекарем этим ушел в хоромы, тоже разумом пораскинули, ну, и порешили накрепко, что во всяком разе станем стоять за барина. Оно точно, что и говорить, старую барыню жаль, а ее руку мы никак не потянем: больно уж она растревожилась, больно неладно поверила, что сын родной хотел сжечь ее вместе с хоромами!.. Ну, и статочное дело!.. А мало ль она на своем веку всего видала и не молоденькая тоже, а не рассудила же и перед церковью, у могилок родительских, при чужом народе, взяла, да и сына стала клясть!.. Нешто так можно?.. Это уж, как есть, последнее дело, на чистоту бабья блажь!.. Нет! Мы будем за барина! Мы рассудили, что хоша он и хотел в горячности, да чего: просто, в безумии, хотя и хотел сжечь хоромы, а на мысли у него вовсе и не было на ту пору о барыне… И насчет хором теперича мы обнадежены: горячка-то, должно быть, прошла, а тут и питерский молодец не допустит… Все бы это ладно, а есть-таки и еще одна статья, и тут уж Бог весть, как дело выйдет.

— Да что же так? — спросил Макарушка.

— А то, малый, — отвечал староста, — а то, что барин, по домекам моим, поехал к Маринке. И уж как не удержал его питерский, инда и не разберу.

— Что тут разбирать! Питерский-то и наговорил, чтобы ехать к ней… — и Макарушка подробно рассказал, как

Михайло Николаич «заставил» брата ехать к Маринке и именно для того, что бы Иоасаф Николаевич не вспомнил о том, что было вчера в Михееве и в Макшееве.

— Так вот оно что! Вскричал староста, ну, уж тут дело совсем плоховато, и без большой беды навряд обойдется. Только вот, малый, и опять смекается мне, что ты тоже в этом разе проштрафился, как же ты мне не сказал, вчерась, где осталась Маринка? А это нужно бы знать.

— Никак нельзя было говорить при всех. Теперича же, скажу тебе безо всякой опаски, отвез я Маринку по ее приказу в лес к угольщикам, этак версты три-четыре в сторону от Волчьих Ворот.

— На правой руке будет отсель?

— Да, на правой.

— Так и есть! Две избушки стоят на полянке, угольщики живут, Степовичка-колдунья там же, место во всем околотке известное, прямо сказать, притон разбойничий. Мы, ведь, и то знаем, что у Маринки есть брат родной, Шохиным прозывается, солдат он беглый. Еще куда бы ни шло, коли б он бегал, укрывался, да приворовывал что под руку придется, а то, сказывают, грабежом и разбоем с товарищами занимается. Слышно тоже, был у них пристанодержатель, мельник коломенский какой-то, да засадили его на острог, ну, а теперича пошел слух, что Шохин да двое его товарищей в наш уезд перебрались и чуть ли не у тех угольщиков притон имеют. А Иоасаф Николаевич туда вон и поехал! Да это малый, как есть беда!

— Павел Селифонтьич, родимый! Я уж все тебе скажу. Как мы ехали сюда из Коломны, Михайло Николаич с чего-то выдумал заехать к угольщикам, наведаться что ли хотел о Маринке, а как догнал нас, сказывал, что у Степовички, где лежит больная Маринка, какой-то мужчина, надо быть сам Шохин, напал было на него, да он припугнул его пистолетом. Питерский наш молодец строго-настрого ве-

лел, что бы тот разбойник там не проживал и глаз не показывал, да и Степовичке о том же наказал.

— Поди-кось, послушаются они его. Хорошо еще, что барин туда с питерским поехал. А ты что ль сказал барину, что Маринка приютилась у Степовички? Я все еще в толк не возьму.

— Ну, как-таки? Ни за что ему не сказал бы, а это питерский. «Маринка, мол, твоя больна при смерти, увидит, мол, тебя возрадуется». И для того, вишь, сказано, чтобы память у барина поотшибло! О том-то и с лекарем всю дорогу сговаривались.

— Уже и придумано! Чем бы помолиться — воздохнуть, да и к матери ехать с повинной головою, чтобы клятву поскорее сняла, а отец Осип мог бы отчитать, сказывают, такие молитвы есть, чем бы так-то, а его сердечного к любовнице, к распутной бабенке, повезли! Сам-то он не в уме теперича, да как же тот братец питерский?.. Ох, грехи тяжкие! Вот и жди тут добра!

— Что же делать теперича? — говорил со слезами Макарушка. — Научи родимый! Уж не поехать ли нам туда на выручку!

— Нет, не надо, — твердо отвечал староста, — знамо никакой выручки тут не требуется, и бояться за барина покудова на сей раз нечего: питерский молодец не выдаст брата, как и сам не дастся в руки. А вот, как вернутся домой, надо будет переговорить с питерским. Переговорить-то переговорим, а все же… Ох, заботы будет немало! Ну, да загадывать на счет того, что впереди, не след. Смотри же, малый, не моги и словечка сболтнуть иным прочим про что говорено теперича; до поры до времени, надо, чтобы никто, окромя нас, не знал, где приютилась Маринка. Вишь ты оказия! Вчерась-то приставал я к тебе все насчет Маринки, вот уж, как на грех, чуть было не промахнулся.

На том совещание кончилось. Староста отправился на деревню, а Макарушка рассчитывал, что напуганная им Елизарьевна уже не станет к нему привязываться, пошел в хоромы приискать себе местечко, где бы соснуть хорошенько до возвращения господ.

Но, не смотря на сильнейшее утомление от всех вчерашних тревог и от бессонной прошлой ночи, Макарушка не скоро успокоился, мешала ему все-таки Елизарьевна, непопречными речами, а возней, которую вместе с женой младшего Леонтьича, да с одной из горничных, подняла она на барышниной половине дома, вытаскивая оттуда в девичью и в задние сени какие-то сундуки, сундучки и укладки. «Лихая баба все на своем стоит, хочет показать, что боится, как бы опять барин не вздумал спалить хоромы», — не совсем-то основательно подумал малый, и несколько раз подмывало его покинуть найденный им уголок для спанья и подразнить чем-нибудь Елизарьевну, но он не смог приподняться, сон одолел его окончательно.

Спал он, как оказалось после, очень долго, почти до полуночи, когда возвратился Михайло Николаич Г-в, он-то и разбудил его.

— Ну, Макарка! — сказал он, когда малый приподнялся и очувствовался от глубокого сна, — спишь ты, шельмец, хуже всякого медведя с первозимья, насилу я тебя добудился. Ступай в людскую, на кухню же и не толкайся, там при порядках у вас ничего не добудешь, так из людской принеси ты мне хороший ломоть черного хлеба, да и соли захвати. А Елизарьевне прикажи, у ней надо быть ключи от кладовой, чтобы принесла графин наливки, какая подольше стоит.

Макарушка пошел, было, но вдруг вспомнил про своего барина и тотчас вернулся.

— А Есаф Николаич, нешто уж почивать легли? — спросил он.

— Есаф Николаич не вернулся, — отвечал Г-в сквозь зубы неохотно, как бы сердясь.

— А где ж он? Ну, да как же это?

— А вот как болван михеевский! — вскричал Михайло Николаич и вытолкал его из комнаты.

Макарка побежал в людскую. Он торопился исполнить данные приказания, как можно скорее; ему страх как хотелось узнать, где остался барин? Почему он не приехал домой? Не случилось ли чего с ним? Он смутно боялся раздумывать о том, что могло бы случиться с барином, и ожидание новой какой-то беды опять стало томить его.

Хлеба и соли он добыл легко, а насчет наливки вышла «оказия».

Елизарьевны не оказалось во дворе. Пока Макарушка спал в хоромах, Елизарьевна наскоро уложив на телегу кое-какие пожитки барынины и все свои в сопровождении повара и выездного лакея Надежды Ивановны уехала в село Макшеево. Вскоре после того отправились туда же пешком и налегке две сенные девушки и та девчонка, которая помогала Марине Прокофьевне разматывать нитки. Наконец, жены обоих Леонтьичей перетащили всех своих ребятишек, а также пожитки на деревню к родственникам, а сами тоже ушли в Макшеево. Затем в целой дворне остались только две старухи, бездетные женщины, да бывший пчелинец Мокеич, уже ни к какой работе не годный старик. Впрочем, в господском дворе было все-таки довольно людно, кроме двух человек из деревенских, что караулили у ворот (они-то и приняли лошадь от Михайлы Николаича), староста и четверо мужиков лежали по лавкам в людской, где Макарушка раздобылся хлебом и солью.

Угрюмо и даже с большим озлоблением передал Макарке староста про все эти переселения дворовых в село Макшеево.

— На грех меня тут не было, отлучился к себе на гумно, — сказал он, — а они и распорядилися. Знамо, не позволил бы я Елизарьихе так самовольничать и других-то к самовольничанью подбивать. Попалась мне на глаза их

телега, как уж речку они переехали, я и кричал им во весь голос, инда крепко ругался, да не послушались озорники, по лошади ударили, ну, я еще вслед им крикнул, что коли барин только словечко скажет, так мы деревенские — выемкою возьмем их из села и волоком притащим домой. Что им потакать-то, на мысли у них нехорошее дело. А вот, малый, оказия, питерский молодец вернулся один, где ж барин остался?

— Уж и подлинно оказия! — отвечал Макарушка, — сейчас спрашивал я у питерского про барина, а он понахмурившись пробурчал, что, мол, не вернулся, да и только. Ох, боюсь, не случилось ли чего! Побегу теперича, стану приставать безотвязно, авось скажет. Да я добьюся!

Но бедный малый добился на ту пору не многого. Сначала Михайло Николаевич, сильно рассердившись при известии об отъезде Елизарьевны и о переселении в Макшеево чуть не всей дворни, не хотел было и словечка промолвить в ответ на жаркие и непрерывные расспросы Макарушки об Иоасафе Николаевиче; но, наконец, он-таки смилостивился.

— Есаф Николаевич остался там, у старой колдуньи с Маринкою, — сказал он коротко и опять с видимым раздражением.

— Да ведь там притон разбойников! — вскричал Макарушка, — про то вся наша округа знает. Беглый там! И сами угольщики, и старая та колдовка.

— Ну что-ж такое! Беглые, это ничего. А старуха пускай колдует.

— Они ограбят барина! Убьют! Ах, я сейчас к старосте. Вот мы со старостой…

И Макарушка заметался в чрезвычайном волнении, то подбегал он к двери звать что ли старосту, то опять быстро возращался к Михайлу Николаичу, должно быть, для новых расспросов о барине, но язык ему как-то не повиновался. Жалок был тогда этот верный слуга Иоасафа Николаевича.

Г-в смотрел на него несколько времени, молча и даже с усмешкою, потом вдруг встал и подошел к нему.

— Перестань ты мыкаться! — сказал он строго, но без всякой угрозы, — простофиля ты, уж это как есть, без сумления. И поколотить бы тебя хотелось, и иное приходит на сердце. Ну, а все же простофиля! Как же ты мог подумать, что я покину там Есафа Николаевича на пагубу или на какую-нибудь опасность? Не людоеды же те угольщики, а старуха Степовичка не Яга-Баба, не сунет она твоего барина в печь на лопате, чтобы изжарить. Есаф Николаевич там целехонек, таким и останется. Пришло тебе дураку в голову, что его ограбят, а что у него грабить? Ореховой скорлупы и той в кармане нету. Одно слово, не бойся за барина! Ложись спать сейчас же, а завтра на утешение твое, свезу тебя в ту трущобу, сам увидишь, что барину твоему вовсе не худо, а на теперешнее время даже гораздо лучше, чем в здешней трущобе.

Макарушка, выслушав все это, перестал мыкаться и даже совсем угомонился: по природе своей он был весьма восприимчив ко всяким впечатлениям, особенно же, если являлись они перед ним в форме приказания со стороны лица, имевшего право ему приказывать, — недаром же родился и воспитался он крепостным дворовым человеком. Впрочем, всего более успокоило его обещание Михайлы Николаича: завтра же свезти его к барину.

XXX

Сельцо Михеево расположено в пограничных местах Егорьевского, Зарайского и Коломенского уездов, а в описываемое мною время, когда Маливское имение князя ...ского поступило уже в казенное ведомство, это имение П-вых было крайним помещичьим пунктом в здешнем углу Егорьевского уезда, углу, всего более обильном помещиками. От сельца Михеева вглубь нашего уезда, верст

на восемь, на пятнадцать даже, шли в довольно близком расстоянии одна от другой дворянские усадьбы, и все, что называется, средней руки. Тут постоянно проживали помещики не очень-то значительные по состоянию (один только тогдашний егорьевский предводитель дворянства Андрей Иванович Повалишин мог считаться богатым, да и то, говоря относительно). Кстати, еще замечу, что из этих помещиков, соседей Надежды Ивановны и Иоасафа Николаевича П-вых, половина происходила от старых русских родов, а другая половина были неродовитые, впрочем, уже довольно окрепшие в дворянстве.

С детства, я еще застал все эти дворянские усадьбы в нашем соседстве, и хотя в некоторых из них стояли во главе семей уже новые лица, тем не менее, общий характер наших помещичьих семейств и тогда был таков, как при дяде моем Иоасафе Николаевиче (печальная судьба которого, кстати опять замечу, совершилась перед нашим переселением на жилье в сельцо Михеево только за шесть лет).

Родовитые и неродовитые соседи наши сохраняли во всей силе своей цельные, коренные черты старинного русского быта. Помню твердо, с живым и доселе с приятным в высшей степени чувством, патриархальный образ жизни этих простых, почти сплошь добрых людей: образ жизни широко-удобный. В пору моего детства — добродушно-веселый, гостеприимный, преисполненный, притом, искренней, теплой набожностью, искренней же любовью к старо-отеческим заветам и истинно-доброй сочувственностью к беднякам, потерпевшим на жизненном поприще. Помню чрезвычайную почтительность и полнейшее повиновение младших членов семей к родителям и к старшим родственникам; и эти качества существовали не по причине раболепия, укоренившегося от домашнего деспотизма, ибо здесь не было вообще деспотизма, даже в сфере крепостных отношений, а на основании старых, так сказать, религиозных преданий еще не распавшегося рода и не искаженной

семьи. Помню, что в нашем помещичьем соседстве одно общественное явление очень рано заинтересовало меня: большинство здешних дворянских семей, и именно тех, которые принадлежали к старинным русским родам, не делились родовым недвижимым имением... Помню, наконец, особенную солидарность всей этой помещичьей среды, ту прекрасную солидарность, при которой истинное горе и истинная радость в каждой семье были далеко не чужды по искреннему сочувствию и для всех прочих соседних семей. Черты быта (вероятно, согласятся в том со мной) истинно-почтенные.

Между людьми можно найти всего, всего — конечно, были и темные стороны в тогдашнем быте наших соседей-помещиков: так, например, почти все наши помещики и помещицы, были очень недостаточно образованы даже для тогдашнего времени: некоторые из их предрассудков были странны и дики; некоторые забавы — слишком грубы; но вообще их нравы уже отличались заметной мягкостью, что, по всей вероятности, зависело как от близости местопребывания здешних дворян к Москве и к другим городам со смягченными уже тогда в них условиями общественной жизни, так и потому еще, что в нашей стороне не было барщинных имений. Все доброе, простое, здоровое и даже чистое, что я отметил в соседской нашей старине, с детства мне известной, существовало действительно, — и поверят ли, не поверят ли мне, я говорю об этом по твердым моим воспоминаниям, как о самой сущей правде.

Впрочем, мне довелось здесь упомянуть в общих чертах про прежний быт помещиков нашего соседства недаром: характерные черты его, те именно, которые я поминаю добром, имели, однако, тяжкое, пагубное влияние на судьбу моего дяди.

Вести о происшествиях в Михееве и Макшееве, вести поразительные, ужасающие (особенно об этом проклятии матери, произнесенном над единственным сыном у храма

Божьего при чужом народе) с необыкновенной быстротою разнеслись во всем околотке. Макшеевский «набатный бой», заслышанный в соседних с Макшеевым сельцах: Афанасьеве и Нестерове и привлекший оттуда множество народу, который поспел в село хоть и после отъезда Иоасафа Николаевича, но тотчас же узнал от макшеевцев о действительной причине набата, чрезвычайно поспособствовал такому распространению поразительных вестей.

Конечно, впечатление повсюду было громадно. — Но, на первых же порах, оказалось, что помещики, с одной стороны, а крестьяне — с другой, смотрят на дело очень различно. И хотя до некоторой степени обуславливалось это и отношениями обеих сторон к главным участникам, т. е. к матери и сыну, — тем не менее, разница та по самой сущности ее была настолько замечательна, что о ней следует сказать довольно подробно.

Помещики, все без исключения, были «возмущены» в высшей степени поступком Иоасафа Николаевича П-ва. Негодование их против него слишком скоро превозмогло даже тот ужас, который поразил их сначала. Беспощадная оценка поступка началась уже под влиянием этого только негодования. Но на беду скоро примешался тут и дух корпорации. Соседи-помещики находили, что Иоасаф Николаевич П-в «опозорил дворянство всей нашей округи». По общему взгляду их, никаких оправданий для него решительно не было и не могло быть. Возмутительную, позорную «историю» так истолковывали: молодой человек, весьма дурно учившийся в кадетском корпусе, а потому и выпущенный оттуда с низшим гражданским чином, развратился еще в Петербурге и домой вернулся развращенным; дома он был непочтителен к матери, ибо не слушался ее ни в чем, не помогал ей вовсе в хозяйстве; в отношении всех соседей ни с того ни с сего держал себя дико, грубо и обидно, всячески избегая доброго с ними знакомства; и, наконец, вел себя вообще развратно и непристойно, пото-

му что кутил в Коломне с первым встречным, а главное — связался с непотребной бабенкой-солдаткой, у которой и муж, и брат в бегах (обо всем этом по соседним дворянским усадьбам давно было известно по наслуху): ну и вот дошел он до крайнего разврата, до крайнего злодейства — посягнул на жизнь матери, посягнул сознательно, ради отмщения за свою гнусную любовницу (о позорном изгнании которой из Михеева теперь тоже все знали)… Соображения соседей-помещиков дальше этого отнюдь не пошли. Каждый помещик и сам по себе был как будто оскорблен этой «михеевской историей», и каждый решительно склонился к той мысли, что подобные поступки не могут быть терпимы в их соседстве, где все так было мирно, ладно и пристойно, что подобные поступки, нарушающие мир в целой дворянской «округе», непременно должны быть наказаны самым строгим образом, что, наконец, преследование за них должно последовать даже не по почину оскорбленной матери, а по почину самого дворянства, через его представителя Андрея Ивановича Повалишина. Затем уже ничего больше не принималось в расчет. Как-то странно была позабыта тогда всеми роковая болезнь Николая Михайловича П-ва и весьма возможная связь с нею тех поступков его сына, в которых умственное расстройство выражалось в чрезвычайно резких чертах.

Что ж! И ныне чуть ли не обо всем, выходящем из пределов обыкновенной жизни, судят и рядят лишь под влиянием возбужденного чувства. Часто и много говорят теперь у нас про общественное мнение, но оно должно быть основано на внушениях, соображениях и выводах разума, постепенно и твердо воспитавшегося на многостороннем знании, которое сделалось, наконец, и общественным достоянием… Я не обвиню наших соседей-помещиков, хотя беспощадное предубеждение их против несчастного моего дяди повело к ужасным для него последствиям: они были люди своего времени, своей среды; их покой был нарушен;

их честь сословная была оскорблена; до некоторой степени и нравственное их чувство было возмущено… Впрочем, мог бы тут явиться и другой руководитель для их действий, но что же делать, когда он не явился?

Простые люди, именно крестьяне (но не дворовые разных помещичьих усадьб), отнеслись к михеевской «оказии» совсем иначе, хотя и весьма неравнодушно (ибо всех ужаснуло проклятие матери, последовавшее при такой выразительной обстановке), но зато и гораздо осторожнее и гораздо милосерднее. Они много жалели добрую михеевскую барыню, известную во всем околотке потому особенно, что она всегда принимала всяких больных и помогала им постоянно имевшимися в ее домашней аптечке медицинскими средствами, причем не брезговала обмывать и перевязывать собственными руками самые запущенные, гнойные язвы, но они не торопились, даже и на первых порах, осуждать проклятого сына. Рассказывали мне михеевцы, что в первое время после происшествия крестьяне из окольных селений, сообщавшихся с Коломною и селом Дедновым через нашу деревню, заезжали в базарные дни к знакомым и незнакомым для них нашим крестьянам и много их расспрашивали:

«Что это, мол, такое подеялось у вас на барском-то дворе?.. Из-за чего, мол, такой грех вышел?.. И уж ли молодой барин хотел родную мать спалить в своих хоромах?..»

На это михеевцы по научению умного своего старосты так отвечали:

«Потаить, мол, нельзя: попритчилось, что ли с барином, — может и оттого, вот, как бывало с покойником, старым барином, — ну, и хотел, словно, подпалить хоромы…А он, допреж того, все раздумывал ставить хоромы новые, знать, и померещилось ему, что эдаким-то больно простым манером скорей можно будет очистить место для постройки».

«Статочное ли дело! Нешто можно?.. Уж не ради ли смеха так-то сказываете?» — возражали спрашивающие.

«Какой тут смех!.. А нешто — не бывает? Всяко бывает! Мало ль чего не втемяшится в голову грешным делом... бывает и горами качает, а не то, что человеком...» — опять отвечали михеевцы, покрывая перед чужими людьми дело, которое самим им казалось очень-очень мудреным, чтобы разобрать-то его, как есть, на чистоту.

«Да, ведь, сказывают: из-за бабенки какой-то вышло?»

«Эка сказывают! Наболтать про все можно с три короба, а пожалуй, и не больше того. Одно только уже совсем верно: барин наш молодой, — грех супротив него молвить, — добрый-распредобрый, николи и никого из вас не обижал, да и родительницу свою, кажись, почитал завсегда. Про все это мы сами так разумеем, а иным прочим до сего самого и дела-то нет...»

На том обыкновенно разговоры эти и кончались.

Объяснения михеевцев, по всей вероятности, хорошо действовали: недаром у окольного народа установилась «осторожная» точка зрения на михеевскую «оказию»; в конце концов, сторонние простые люди практически порешили: «не наш, мол, воз, не нам его и везти». Но, кроме такого практического вывода, существовало в этой же среде довольно твердое убеждение, что михеевский молодой барин — человек больной, что начудесил он, должно быть с «порчи», что мать его (знамо женщина), не разобравши дела толком, прокляла своего сына...

Как мне кажется, в этом взгляде простых людей общественная совесть выразилась гораздо цельнее, а стало быть, и правдивее, чем у тогдашней местной интеллигенции. Впрочем, у интеллигенции в основании мнения ее о михеевской истории легло особое — сословное чувство.

XXXI

Интеллигентные люди тотчас же начали действовать против своего брата-дворянина, совершившего, по убежде-

нию всех их, преступное дело, «поносное для всего местного дворянства». Но я должен сказать, что к этому побуждало их и положение Надежды Ивановны, поистине страдальческое; как «добрые соседи», они были сильно озабочены этим положением.

Надежда Ивановна была тяжко больна и, конечно, по причине душевного ее состояния на ту пору. К несчастью, все последние события (окончательно буйная непокорность сына, с столь явным намерением оскорбить мать, поселившего в доме во время ее богомолья свою гнусную любовницу), этот ужасный повод, по которому она, мать, столь любившая сына, должна была навсегда покинуть свой дом, это проклятие над сыном, невольно вырвавшееся у нее, не поразило ее совершенно, не уничтожило в ней сознания; напротив того, она, с страшной силой памяти, все, все помнила и беспрестанно о том вспоминала. Даже мельчайшие подробности последних событий представлялись ей в ужасающем виде, — и от всего этого она металась и места себе нигде не находила. И это в буквальном смысле. Несмотря на то, что болезнь почти приковывала ее к постели, она не могла оставаться дольше одного, много двух дней, у ближайших соседей, которые наперерыв старались приютить, успокоить ее у себя, — и все требовала, чтобы перевезли ее в село Макшеево, в дом отца Осипа, непросторный и неудобный для ее помещения. Мысль горемычной старушки постоянно вилась вокруг родного гнезда и над головою проклятого сына. И эти требования ее сопровождались такими порывами чрезвычайной тоски, что соседи поневоле должны были исполнять их немедленно.

Конечно, к страданиям злополучной этой матери соседи ее, люди действительно добрые, относились весьма неравнодушно. Но жалея ее от всей души, они в той же мере возненавидели ее сына, столь виновного в этих страданиях, — и тем более возненавидели, что поведение его после

событий в Михееве и Макшееве доказывало «совершенную закоренелость в злодействе». В глазах соседей молодой П-в был даже чудовищный злодей. Вот, мать его прокляла (такое проклятие внушало тогда к проклятому ужас и отвращение), вот, она с младшей дочерью навсегда покинула свой дом, а он, как ни в чем не бывало, не пытается испросить прощения у матери, которая, может быть, и сняла бы с него клятву, не хочет тоже осведомиться насчет ее положения, не изволит полюбопытствовать — где она находится, у каких чужих людей нашла себе она приют, что с нею теперь происходит? И мало того: по сведениям, полученным соседями от дворовых своих людей, которые нарочно и очень часто посылались в Михеево, оказывалось, что Иоасаф Николаевич неизвестно куда скрылся, а в имении полновластно распоряжается незаконнорожденный Мишка Г-в, который, как уже давно предполагалось, сбил с пути молодого П-ва еще в Петербурге. Это отсутствие на ту пору Иоасафа Николаевича чрезвычайно интересовало помещиков; они всячески старались разузнать, куда он девался, что побудило его уехать из дому и что теперь он делает. Но тайна отсутствия Иоасафа Николаевича, известная в Михееве, кроме Г-ва, только Макарке да старосте, сохранялась ненарушимо — и предположениям на счет ее, конечно, все не в пользу дяди не было конца.

А тут и Елизарьевна подлила много масла в огонь преувеличенными рассказами обо всем происшедшем в Михееве за последние дни. Соседи за недостатком сведений об Иоасафе Николаевиче с особенным вниманием прислушивались к рассказам о Макарке и о неожиданном появлении в Михееве Г-ва. За Макаркою посылали, чтобы немедленно он явился в сельцо Афанасьево (где тогда находилась Надежда Ивановна), но Г-в наотрез отвечал посланному, что Макарку он не пустит, что Макарке дома есть дело, что, наконец, у этого малого есть свой барин, и только его он должен слушаться.

Соседи были поистине беспощадны к обоим П-вым, к сыну и к матери. Конечно, причины для такой беспощадности были совершенно различные, но одинаково гибельны вышли последствия.

О Надежде Ивановне заботились с величайшим усердием, утешали ее постоянно; но с тем вместе никто из этих добрых соседей не воздержался перед нею в ожесточенном осуждении ее сына. О нем говорили беспрерывно и не иначе как о закоренелом, нераскаянном злодее, для которого невозможно подыскать ни малейшего оправдания. Особенно же поведение его после происшествия представлялось опасным; по мнению всех, на беду отнюдь не скрываемому перед Надеждой Ивановной, явно было, что этот «злодей» затевает и еще что-то ужасное или же чрезвычайно вредное. Из того обстоятельства, что Иоасаф Николаевич скрылся неизвестно куда, а в Михееве распоряжается Г-в, догадывались: «Вероятно, П-в отправился в Коломну хлопотать о запродаже или о залоге имения, которое в большей части принадлежит ему, и это делается по наущению именно Г-ва». Затем приезд Г-ва в Коломну, куда ему вовсе незачем было приезжать, пребывание его там, перед «историей» вместе с Иоасафом Николаевичем (о чем уже как-то дознались), наконец, теперешнее его хозяйничанье в Михееве, — все это ставилось в прямую связь с покушением на поджог дома и на жизнь Надежды Ивановны, и хотя такому соображению противоречил факт (тоже известный) встречи П-ва с Маринкою, после чего и совершилось то покушение, однако, все хотели верить, что к этому страшному делу Мишка Г-в «уж как-нибудь, а приложил свою руку», ибо недаром же тотчас после «истории» Макарка «обманно» съездил в Коломну, откуда вернулся в Михеево вместе с тем «рыжим выродком». Крайний вывод из этих тонких соображений был тот, что Г-в для своих темных и злонамеренных целей подучил разбесившегося своего брата запродать наскоро всю свою часть имения, либо приискать под

залог ее денег, чтобы затем скрыться от позора из родных мест куда-нибудь подальше; скрыться, взяв с собою и любовницу свою, Маринку.

Эти соображения были развиты и объяснены Надежде Ивановне во всей подробности. Считали необходимым так сделать и притом настоятельно посоветовать насчет того, что следует ей самой предпринять для охраны и даже для спасения последнего имущества П-вых, с потерею которого младшая дочь Надежды Ивановны могла остаться совсем неимущею. И опять-таки на пущую беду несчастная старушка и при тяжкой болезни своей была в состоянии вникнуть во все внушения усердных радетелей.

Не дальше, как через неделю после происшествия, Надежда Ивановна уже заявила уездному предводителю дворянства (впрочем, по особому его вызову) о покушении сына на жизнь ее и просила принять надлежащие меры — как для ограждения ее от дальнейших преступных его действий, так и об охранении недвижимого имения и движимого имущества, принадлежащего совместно ему, сыну, ей самой и двум ее дочерям. Кстати, следует заметить, что жалоба эта, сочиненная нарочно выписанным из Егорьевска каким-то тогдашним дельцом, по сложности и запутанности ее содержания могла до некоторой степени задерживать дело собственно по обвинению Иоасафа Николаевича в уголовном преступлении, и тем более, что разбирательство по этому предмету предполагалось начать с существовавшего тогда особого учреждения — «Совестного суда».

Зато по расчетам предводителя дворянства и всех соседей-помещиков тем скорее и энергичнее надлежало повести дело об ограждении нераздельного имения и имущества П-вых от расточительности Иоасафа П-ва, а особенно от всяких его действий в ущерб правам и интересам прочих с ним владельцев. И вот, немедленно был командирован в Михеево участковый заседатель Егорьевского земского суда, которому поручалось: во-первых, дознать под рукою,

куда и ради какой именно цели скрылся Иоасаф П-в; во-вторых, обстоятельно допросить дворового человека Макарку обо всем, что ему может быть известно относительно поступков как его помещиков, так и именующегося петербургским купцом некоего Михайлы Николаева Г-ва, который ныне проживает Михееве и распоряжается там неизвестно по какому праву; в-третьих, этого самого Г-ва немедленно удалить из имения П-вых, а если он не имеет узаконенного письменного вида, удостоверяющего его личность, то, заарестовав его как бродягу препроводить за строгим караулом в земский суд для надлежащего с ним распоряжения; и, наконец, дворового человека Макарку выслать для прислуги к Надежде Ивановне П-вой. В этом именно заключалось, главнейшим образом, поручение участковому заседателю, но, разумеется, не были забыты притом указания приведения в известность и описи имения и имущества П-вых, а также на счет «принятия надлежащих мер к ограждению всего этого от расхищения и всякого ущерба».

Инструкция дана была подробная, «обстоятельная»; над составлением ее даже очень потрудились. К тому же сам предводитель — человек шумливый и державший, как ему казалось, в ежовых рукавицах всех уездных чиновников, зависевших от выбора, особенно же таких мелких, каковы были тогдашние участковые заседатели, лично и строго разъяснил командируемому в Михеево всю важность данного ему поручения. Но, тем не менее, ловкость Михайлы Николаича Г-ва, ловкость, впрочем, тогда общеупотребительная и действительная только при известных приемах, отвратила от него самого и от Макарки всякие неприятности и вообще привела «командировку» к весьма незначительным результатам.

Одно неважное обстоятельство много поспособствовало такому окончанию командировки — участковый заседатель приехал в Михеево как раз к обеду, изобильному у Михайлы Николаича не столько яствами, сколько разными

питиями, винами из Коломны и домашними наливками, заготовлявшимися в михеевской усадьбе, как и везде у помещиков для наездов гостей на святках, на масленице, во время храмовых и семейных праздников (наливки же эти были добыты по распоряжению теперешнего хозяина в имении прямо через взлом замка у кладовой). На первых же порах участковый заседатель был принят и угощен отлично. Притом весь вид, вся собственная обстановка Михайлы Николаича: его питерский наряд, его питерский ларец с блестящим дорожным прибором, в особенности же его шутливо-развязное, бесцеремонно-смелое обращение, внушили в уездного чиновника немалое к нему уважение. А в конце концов, господин Г-в употребил непреодолимо-действительный прием для обуздания административного рвения: заседатель данной ему взяткою был удовлетворен даже «свыше своего чаяния». Он выехал из гостеприимной михеевской усадьбы, не исполнив и того, что касалось до ограждения интересов совладелиц по нераздельному имению и имуществу П-вых, «повелику, за отсутствием главного владельца, невозможно было произвести описи». Затем «о местопребывании в настоящее время помещика Иоасафа Николаева сына П-ва; и о том, по какому поводу отлучился он из имения, тоже невозможно было дознать по совершенной о сем неизвестности в сельце Михееве»; «дворовый человек — Макар Петров, был неоднократно расспрашиваем, но отозвался обо всем полным незнанием, а относительно высылки его к госпоже П-вой явилось препятствие, ибо от главного владельца приказано ему, Макару Петрову, безотлучно находиться в господском доме и за всем там надсматривать, что и необходимо, так как большая часть дворовой прислуги самовольно отлучилась из имения»; наконец — «петербургский третьей гильдии купец Михайло Николаев Г-в оказался, по предъявленному им законному виду, действительно “лицом именно сего наименования и звания”, а в сельце Михееве проживает он потому, что имеет дела и

денежные счеты с помещиком П-вым, возвращение коего по сей причине и должен он непременно выждать, имением же П-вым он, купец Г-в, нисколько не распоряжается, да и распоряжаться там нечем, так как имение это — оброчное».

Обо всем этом участковый заседатель еще из Михеева донес Егорьевскому земскому суду, а сам отправился в свой участок для исполнения других своих поручений, — и поступил он таким образом весьма предусмотрительно, именно ради избежания первых и самых грозных порывов гнева шумливого предводителя дворянства.

Так затянулось дело по михеевской «истории» еще слишком на неделю. А тем временем случилось важное по последствиям обстоятельство. Как-то один из крестьян деревни Поповки побывал в селе Макшееве и рассказал своим знакомцам тамошним, что михеевский барин проживает у угольщиков, у колдуньи Степовички, где лежит больная его полюбовница Маринка-солдатка, а место то, дескать, больно нехорошее, так как слышно, что там завелся притон разбойничий.

Известие это тотчас же дошло до соседей-помещиков и произвело среди их сущую бурю.

XXXII

Михайло Николаич Г-в сдержал свое слово, данное Макарушке; на другой день по возвращении своем в Михеево он повез его во временное местопребывание Иоасафа Николаевича.

Собираясь к отъезду, Г-в был очень не в духе. По-видимому, он рассердился на Макарку, который, увидав его пистолеты, приготовленные в дорогу, заметил вслух, что «напрасно пистолеты не были оставлены Есафу Николаичу, так как ему-то в том месте опасном они нужны, а вот здесь на что они? Здесь у барина в спальне висят два ружья, да и во дворне у приказчика Леонтьича есть тоже ружьецо».

— Болван ты михеевский, деревенщина бестолковая! — гневно возразил Михайло Николаич, — ведь говорил же я тебе, что за Есафа Николаича бояться нечего; стало быть пистолеты ему не нужны. Ну, а мне возвращаться оттуда в глухую, темную ночь, да частым мелколесьем... Ничего, как есть, ты не понимаешь!

Ну, еще раз досталось малому.

Он непременно хотел взять с собою одно из ружей Иоасафа Николаевича, говоря, что барину ружье очень пригодится, если не для обороны от лихого человека, от хищного зверя, то, по крайней мере, «скуки ради», и несмотря на возражения, даже на брань Михайлы Николаевича, настоял-таки на своем потому, что пристал, наконец, со слезными упрашиваниями. Но, затем, когда он стал заряжать ружье рублеными кусками свинца, так называемыми в нашей стороне «жеребьями», Михайло Николаич опять пришел в большое раздражение.

— Ну, как истый сумасшедший! — закричал он на Макарушку, — возится, возится с этим дурацким ружьем, которое в том мелколесье, пожалуй, тебя же угостит жеребьем либо в лоб, либо в спину. Да это еще не важность, а вот что: из-за твоей хамской трусости мы можем взбудоражить весь наш околоток, а Михеево, михеевские теперича и так на запримете у всех, — мы, ведь, верхами поедем, а охотничьих собак за нами не будет, ну и станут смекать: «Куда, мол, это отправились с ружьем?» и, пожалуй, уследит какой-нибудь шельмец.

Впрочем, он позволил-таки взять ружье. Дорогою же, благо осенний день был ясен, тих, легко прохладен, а раздражительность его совсем исчезла, он весело шутил, смеялся, все пугал Макарушку, что колдунья Степовичка на этот раз уж непременно его околдует и заставит на себе жениться.

— Я из ружья ее хвачу! — храбро вскричал малый, принявший дело вовсе не в шутку, потому, что ему вдруг

припомнился барин, который так несчастно привязался к распутной солдатке, уж, конечно, неспроста, а вследствие какой-нибудь колдовской порчи.

— Бабен ты, бабен, — возразил Михайло Николаич, — ружье твое заговорить она может. Нешто не слыхивал про это?

На такой сильный довод Макарушка не нашелся, что ответить. Он даже струсил до того, что хоть впору бежать с дороги в Михеево. Но возвращаться было некогда, уже своротили на дорожку по мелколесью к угольщикам. Скоро послышался и вблизи и вдали частый стук топоров: должно быть, то рубили дерево и хворост на обжижку угольев.

А вот и знакомая полянка, на которой в нескольких местах курились прикрытые землею большие кучи пережигаемых пней, вершинника и хвороста.

При выезде из мелколесья на полянку Михайло Николаич и Макарушка, оба разом, воззрились и увидали: на пороге одной из избенок, стоявших у опушки большого леса, сидел какой-то человек в накинутой на плечи солдатской шинели, а из окна той же избенки выглядывала коротко остриженная голова другого человека. Люди эти, конечно, были не угольщики, что замечалось по их лицам незапачканным сажею, да и по одеже сидевшего на пороге.

Михайло Николаич тотчас же поскакал к избенке; устремился за ним и Макарушка. Очень быстро примчались они к месту; но подозрительные люди не стали их поджидать, мигом куда-то скрылись. В избенке оказался какой-то дряхлый старик.

Г-в напустился на него грозно и шумно.

— Ты это каких людей у себя прячешь? Ах ты, старый черт, ведь, это наверняк беглые! Говори: куда они подевались! Подавай их сюда! — кричал он неистово.

Но старик, уставясь на него потухшими глазами, ничего не отвечал. Впрочем, и Г-в не стал долго добиваться ответа.

Он вышел из избушки и несколько минут простоял, опершись на свою лошадь, видимо, стараясь успокоиться.

— Это я напрасно так, сам понимаю. Ты Макарушка смотри не зашуми сдуру. Теперича тише, тише надо — вдруг сказал он, тревожно озираясь и прислушиваясь.

Но везде, и на полянке и по всему лесу, стояла тишина глубокая. Стих и стук топоров, как будто о прекращении рубки разом отдано было приказание. И вот это, казалось, особенно тревожило Михайлу Николаича.

— Слышишь? Вдруг перестали рубить. Вот они, угольщики-то эти! — промолвил он опять и, подумав, добавил, — надо подождать. Может, сам выйдет. Нето старая колдовка надумается. Ведь, нельзя же, чтоб не видали.

Так прошло еще несколько времени в беспокойном ожидании. Но напрасно ждали, не Степовичка, и никто не вышел. Наконец, Михайло Николаич приказал привязать лошадей к колышку, вбитому у порога у колдуньиной избушки, и затем в сопровождении своего спутника тихо и осторожно вошел в эту избушку.

Им представилась мрачная сцена, которую не вдруг вполне они могли рассмотреть, так как в избушке, закоптелой от топки «по черному» и освещенной одним только оконцем, было очень темно.

В переднем углу на двух сдвинутых скамьях было устроено ложе просто из мха, покрытое рваной, но белой и тонкой простынею, с изголовьем из одежи обвитой холстяною. На ложе этом лежала навзничь Марина Прокофьевна. Глаза ее были закрыты потемневшими веками, бледное лицо осунулось, черты его резко обострились; по этим признакам, а особенно по совершенной неподвижности тела, можно было подумать, что страдания больной уже кончились, что она умерла. У стола, придвинутого к изголовью, Степовичка, высокая, худощавая женщина, одетая не по крестьянски, а как одевались тогда дворовые старухи помещичьих домов (смолоду она принадлежала к дворне князя

…ского), готовила какое-то лекарство, переливая его по деревянным чашечкам. В ногах ложа больной сидел на обрубке, согнувшись и склонив голову Иоасаф Николаевич, и должно быть, он дремал от истомы: когда Г-в и Макарушка вошли в избушку, он нисколько не переменил своего положения.

Не обернулась к вошедшим и Степовичка. Минуты две-три она занималась все прежним своим делом. Но она знала, кто к ней вошел.

— Что же долго в хату не шли? — сказала она довольно громко, как видно, не опасаясь беспокоить больную, не пробудить Иоасафа Николаевича, — я ведь, так и думала, что нынче беспременно придете.

— Врешь ты все, колдовка! — возразил Г-в шепотом, но так громко, что старуха проворно подскочила к нему и стала махать руками на передний угол, показывая тем, что бы сердитый гость унялся и не тревожил больную.

Но гнев Г-ва пуще разгорелся. Он даже занес над головой старухи свой огромный кулак.

— Шутить, что ли вздумала? — яростно шептал он, — отвечай-ка мне, а зачем тут Шохин?.. Опять, что-то у вас затеяно!.. Да и другого я видел! А нешто не помнишь, что я тебе приказывал? Ты у меня будешь в ответе, а не кто другой.

Она схватила его за плечо костлявой рукой и к изумлению Макарушки мигом вытолкнула за порог избушки, в сенцы, но и оттуда все толкала даже за место, где стояли лошади. Застигнут был врасплох питерский молодец или же на послушание старухе была его добрая воля, только он ни одним движением не отмахнулся от ее толчков.

— Вот так-то лучше будет! — начала Степовичка, отойдя несколько в сторону от обеих избушек. Здесь бесись, сколько хочешь, для того и протолкала сюда. Там рычать-то нельзя!.. Мой голос им привычен, хоть и громко заговорю,

то — ничего, не всполошатся, уж так говорить умею… А ты и шепотком твоим беды наделаешь.

— Ну, да хорошо, хорошо, это все едино, где ответ мне дашь, — возразил Г-в, — а знай, зло меня большое разбивает! Я все про то же самое: ведь, строго-настрого было приказано! И ты еще смеешь говорить, что ждала меня! А коли ждала и все-таки тех разбойников сюда пустила, стало быть, ни во что мой приказ поставила!.. Да как же ты посмела, чертова колдовка!.. Не знаешь что ли меня?..

— А что такое знать-то мне? — отвечала старуха спокойно и даже пренебрежительно, — ты иным прочим грозись, а мне грозить не годилось бы… Ну, и рассуди тоже, чем таким я провинилась? Шохин, вишь, на глаза попался, еще другой там какой-то, а нешто у меня в хате они были? У меня-то они не будут: пристанут у других, а те другие самих себя слушаются, и ты им не указ… Барину же никто худо не сделает, уж на этом положись крепко на мое слово. А то, вишь, больно осерчал! Я тебе говорю, и ты оченно в толк возьми, грозить мне-то не годится.

Твердая речь старухи вдруг расхолодила Г-ва.

— Черт бы тебя побрал, умничаешь ты больно много… — сказал он уже вовсе не гневно и как будто со смущением. — А я на твои слова положиться не могу… Мало ль, что говорится, да не так-то, не по слову делается… Я все одно: ты у меня смотри! Я грозить не стану… а только… а коли, помилуй Бог, что видеть тут!.. Мне больно одно, ты знаешь, ну, из того я на все пойду!.. Больше о том нечего растолковывать, только смотри и смотри!.. А теперича скажи мне сущую правду: как Маринка-то? Скоро ли выздоровеет?.. А то не помрет ли? Вот это право слово было бы лучше…

— Маринушка не помрет, — отвечала старуха. — И зачем ей помирать? Тебе, что ль нужно?.. Маловато ты смыслишь, так-то сбывая беднягу с бела света: без нее, с ней ли

— ровнехонько одно и то же будет… Это ты напрасно, сам бы должен знать. Так ведь?

Г-в ничего не ответил. Но вопрос, должно быть ему не понравился: он отошел от старухи на несколько шагов, и все тер себе лоб, как будто стараясь прогнать какую-то неприятную мысль.

— Оставайся-ка ты здесь. Не ходи уж туда, незачем больше, пожалуй, и опять вздуришь… Баринка я к тебе вышлю, хоша вряд ли он пойдет с охотою… Ну, да я вышлю! — добавила она повелительно и пошла было в свою избенку, но Михайло Николаич остановил ее.

— Постой, — сказал он в раздумье, — выслать еще успеешь, и я подожду… А вот что: а нет ли у тебя еще кого-нибудь, там на палатях, что ли?

— Ну, кому там быть? Все пустяки придумываешь, — возразила она засмеявшись. — Рассуди-ка: уж для больной никого не пущу. По мне и барину не годилось бы быть, да больно умаливал, чтобы при ней остаться… Ты не сумлевайся, при них я одна.

— Ты не сказала, скоро ли выздоровеет?

— Ну, что пристаешь?.. Не о Маринушке бы тебе спрашивать… Эх! Да уж это твое дельце… А пожалуй, скажу: Маринушка от теперешней огневицы выздоровеет, через два дня, наверняка, очнется, незадолго, но недельки через две и привставать начнет с постели… Только боюсь, ох! Боюсь, зачахнет, сердешная, опосля-то, как горячка пройдет…

Спешно, чуть не бегом, пошла к себе Степовичка, а Михайло Николаич вслед ей погрозил кулаком и что-то проворчал очень сердито.

Прошло еще с полчаса. Г-в и Макарушка, молча и не спуская глаз о Степовичкиной избушки, ждали появления Иоасафа Николаевича. Наконец, он вышел, оторопело остановился на пороге сенцов и закрыл глаза рукою: может, беспокоил его этот ласковый свет тихого осеннего

дня, а может, не хотелось ему глядеть на тех людей, что его поджидали.

Он был страшно истомлен, это так и бросалось в глаза при первом же взгляде на него: лицо было так бледно и тускло, «как будто землей перекрылся», да и с трудом он стоял, хотя и придерживался другой пустой рукой за косяк сенной двери.

Михайло Николаич быстро подошел к нему, и схватив под руку, отвел его довольно далеко от обеих избушек, явно для того, чтобы Макарушка, которому он велел остаться подле лошадей, не мог слышать их разговора.

Но разговора собственно и не было. Говорил только один Г-в, и крайне возбужденно, с особенной какой-то горячностью. Он что-то растолковывал и объяснял брату, о чем-то очень просил его и на этот раз обращался с ним не с прежней, столь привычной ему вообще, повелительностью, и как бы «жалостно» и даже униженно, так, по крайней мере, заметил из дали Макарушка. Но Иоасаф Николаевич упорно молчал. Он изредка покачивал головою и лишь таким образом выражал несогласие свое на жаркие упрашиванья брата. Наконец, он вдруг оторвался от Михайлы Николаевича и, шатаясь от слабости, побрел к Степовичкиной избушке.

Михайло Николаевич остался было там, где стоял, но лишь на минуту. Он догнал брата, когда тот еще недалеко отошел.

— Макарка? Беги сюда! — вскричал Г-в, опять схватив Иоасафа Николаевича под руку, — Макарка! Ты не упросишь ли взбалмошного своего барина?.. Может не верит мне, ну, так скажи ему, каких молодцев мы сейчас видели… Да, кстати, расскажи, какая молва в околотке… И проси, проси, ведь он тебя любит, проси, чтоб уезжал с нами!..

Верному малому нечего было и приказывать.

Жалость великая обхватила его, но и не одна жалость: ужас внезапно напал на него, словно, вот сейчас же, долж-

на была разразиться тут гибель смертная, неизбежная. Где уж было ему рассказывать о том, что он видел, о том, что слышал об опасном здешнем месте, он бросился к барину опрометью и, обнимая его колени, все твердил одно, что ехать надо, бежать, бежать отсюда немедленно... И эти короткие, прерывистые, неразборчивые мольбы, казалось, произвели на его барина гораздо большее впечатление, чем долгие и многоречивые упрашиванья Г-ва. Иоасаф Николаевич наклонился к верному своему служителю и обнял его голову.

— Бедный ты мой!.. Как родной ко мне, пожалел меня, — пожалел... О, я так и надеялся!.. — тихо проговорил он.

А Макарушка, еще теснее сжимая колени барина, повторял со слезами прежние свои мольбы.

— Брат! — сказал наконец и с заметной твердостью Иоасаф Николаевич, — я сам не смогу... ты ему прикажи пустить меня... А насчет того, чтобы уехать отсюда, и ты знай, и пусть он знает: ни за что не поеду!.. Я так решил. Я перед Господом Богом всей душой моею поклялся в том!.. Да и разве я злодей... Как бы я мог покинуть... покинуть, когда она умирает... О, я ни об чем теперь не могу думать... Брат! Помоги же ему отстать от меня...

— Постой!.. С Макаркой недолго возиться, — возразил Г-в дрожащим от волнения голосом, — постой!.. ты знаешь ли, что там...

Но он не докончил. Он быстро подскочил к Макарке, раза два три ударил его в спину, а затем оторвал его от барина, что удалось ему, однако, не без усилия.

— Прощай, брат... Прощай и ты, Макарушка, — тихо и печально проговорил Иоасаф Николаевич и опять направился к Степовичкиной избушке; но Г-в еще раз задержал его.

— Я уж не стану больше тебя уламывать и умаливать, — сказал он. — Иди себе, иди!.. Но я кое-что не договорил, об этом подумай, может и сам вспомнишь...

А мне где уже теперича сладить с тобою… Засилье взяла тут судьба твоя!.. А то... Ох, нет же, нет! Не вымолвлю… Ну, пошли ты ко мне, по крайности, проклятую колдунью эту… Слышишь? Пошли беспременно, и чтобы сейчас выходила!

Иоасаф Николаевич отвечал, что вышлет Степовичку, и ушел не оглядываясь. Когда же он скрылся за дверью избушки, Г-в спешно спросил Макарушку:

— А тележка братнина где?

— Здесь, сударь, не пропала, — отвечал малый, — я-то покинул ее, вот, где лошади стоят, а теперича, как заметил, оттащили ее за угол, вон другой избушки.

С большим нетерпением поджидал Г-в старуху, но прошло довольно времени, а она все не выходила. Макарушка, тоже поджидавший ее с тоскливой надеждой, что вот-вот явится она, и «все уладится для спокоя барина», наконец, не выдержал, предложил сходить и «поневолить хорошенько» Степовичку.

— Нету! Не надо. Я уже передумал, — отвечал Михайло Николаич.

— С вами, со всеми, с панталыку собьешься, — продолжал он после короткого, но заметно было тяжелого раздумья, — ведь и точно: чего еще было тут ждать?.. Видишь ли Макарка: пришло было мне в голову, не согласится ли Степовичка перевезти Маринку нынче же, ну хоть в Коломну, что ль…Можно бы там найти укромное местечко, и уж конечно, было бы так-то гораздо поспокойнее. Да вижу, несбыточное дело… Поедем-ко, поедем назад!

— Ах, сударь! И я вот придумал... с ума инда нейдет… не остаться ли мне с барином?.. Уж я бы со всею радостью… Коли вы прикажете… — сказал Макарушка, и заметно было по его вдруг побледневшему лицу, по его дрожащему голосу, что это решение «остаться с барином» стоило ему немалой борьбы с своей трусостью.

— А для чего ж бы ты остался?

— Как же, сударь, барину не так бы было боязно… Послужил бы тоже в чем надобно… А на всяк случай, ружье-то ловко заряжено.

Михайло Николаич засмеялся, но каким-то отрывистым горьким смехом.

— Надумался и ты, — сказал он. — Ах ты, олух деревенский! Ну, какая теперича служба твоя может понадобиться твоему барину? Ему ничего не надобно, окромя лишь одного, сидеть возле той, что может душу его загубила… Что ему до всего бела света? Он ничего-таки не видит, ни о чем не заботится, всей беды своей не помнит, просто напросто не пьет, не ест и не тешится. Ну, и насчет страху этого, от которого у тебя душонка в пятки уходит, ведь барину-то твоему не боязно, он ни на единую минутку не вздумает о том, что тут, есть-таки чего бояться. Он не может, ты пойми-ка это всем своим смыслом, он не может теперича ни о чем думать, окромя только Маринушки своей: что вот страх, как больна, томится, помирает, словно совсем. Я так и рассчитал тогда, что из-за этого всю память потерял, а все же впопыхах тогдашних, не обдумал я и еще кое-что.

— Коли и взаправду барин. Ах, нет, сударь! Никак я сего в толк не возьму. Я все про одно, ведь, убить могут! Да вы и сами словно опасаетесь.

— Да! Я опасаюсь, только не того, про что ты думаешь. Нешто не помнишь, я уж говорил тебе, Есафа Николаевича никто здесь не тронет, целехонек останется. На счет этого, — он здесь все равно, как у себя дома. Не того я боюся! Ну, да про это покуда не следует знать. Едем же, едем скорее!

Но добрая мысль Макарушки все вилась над барином, и он не торопился исполнять приказания Михайлы Николаича.

— Я сбегаю туда, по крайности, ружье барину оставлю, — сказал он.

— Вот, дурак-то! — прикрикнул на него Г-в. — Да ведь, Есаф на твое ружье и не взглянет. Нешто ты хочешь, чтобы оно попало в руки тех, кого мы с тобою здесь видали? Не моги больше и словечка вымолвить! Живо садись на лошадь!

На этот раз Макарушка понял и не стал уже возражать.

Осторожно и печально отправились от избушек угольщиков навещавшие их гости, и лишь только выехали они вглубь мелколесья, как вдруг с разных сторон раздался стук топоров, а вместе с тем послышались вдали голоса о чем-то перекликавшиеся.

— Ого! Опять заработали! — промолвил Михайло Николаич, остановив лошадь свою на минуту и прислушиваясь. — А замечаешь, Макарка, словно по приказу, разом начали топорами постукивать. Обрадовались, надо быть, что непременные гости собрались в обратный путь. Ну, и пускай радуются, только зачем это перекликаются? Не разберешь, не то провожают, не то встречают.

Макарушка не ответил на это замечание, оно даже не встревожило его. Он был очень печален оттого, что не пришлось остаться с барином, что не удалось как-нибудь обезопасить его положение; но всего более терзали его крайне неспокойные мысли и соображения. Все, все казалось ему как-то подозрительным и странным. Он опять-таки думал много об этом питерском молодце, который ехал теперь впереди его, громко иногда посвистывая и в правой руке держа пистолет наготове. И как было не думать, как не запутаться в заключениях о нем, вот, хотя бы по поводу отношений его к простой старухе Степовичке? Она обращается с ним так «вольно» — словно ровному себе, говорит ему ты, нисколько не боится его угроз, сама на него покрикивает, и явно, что она с ним давным-давно знакома. А он-то, этот смелый человек, любивший на всех напускать грозу, присмирел пред старушонкой до того, что немного и речей супротив нее находил. Чем же таким усмирила она его?

Ведь, не колдовства же ее он боится. Да и заметно, что он боится не за себя, а как будто за Иоасафа Николаевича.

И во всю дорогу не покидало Макарушку это тяжелое раздумье. Вдруг Михайло Николаич обратился к нему с такими речами:

— Макарушка! — сказал он лениво и притом, улыбаясь, — а знаешь ли, что приходит мне теперича в голову о твоем этом барине, которого, кажись, ты и впрямь любишь? Думается так, что инда с ума нейдет. Вот в старину бывало, когда солдаты приступом чужие, знамо вражьи города брали, ну, и тут, как водится, всяко случалось, так насчет махоньких ребяток тогда, сказывают, запросто распоряжалися: «За ножку, да и об сошку». С тех-то пор и живет эта поговорка, шутя с ребятами, инда за ласку, так же приговаривают. Ну, и право слово, не худо было бы, коли б покойник барин Николай Михайлыч, когда народился у него этот сынок Есанюшка, взял бы его за ножку, да и об сошку! Лучше было бы! Многих бед избавились бы многие. Так-то!

От этих истинно-жестоких слов так захолонуло на сердце у Макарушки, что он чуть было с лошади не свалился.

XXXIII

Между описанной выше поездкой Г-ва и Макарушки и тем случаем, когда через неумышленную болтовню мужиков из деревни Поповки сделалось известно во всем михеевском околотке, где находится Иоасаф Николаевич, прошло, с лишком две недели. Про это время, очень спокойное, относительно говоря, для несчастного моего дяди, я должен тоже рассказать, хоть только мимоходом.

Макарушка все-таки постоянно заботился о своем барине, ему хотелось бы наведываться о нем ежедневно и, конечно, не из пустого любопытства. Однако ездить к ба-

рину в одиночку (как именно и хотелось малому), никак не удавалось, греха таить нечего, ночью-то, когда сделать это было легко, он боялся пускаться в опасный путь, а днем ехать нельзя было по той причине, что Михайло Николаич, словно догадавшийся о намерениях Макарушки, решительно воспрещал ему даже и думать об одиночной поездке к Иоасафу Николаевичу. Впрочем, Г-в сказал при этом, хотя и без особенных разъяснений, что на такое с его стороны воспрещение есть достаточная причина: «Поедешь, мол, один уже, наверное, надуришь там что-нибудь, а то, пожалуй, другие постараются через тебя набедокурить. Да и не все ли равно — вместе со мной наведываться?»

Г-в и наведывался о своем барине довольно часто. В указанный промежуток времени он побывал у угольщиков четыре раза. В первые три поездки ничего такого не приключилось, что можно было считать замечательным, хотя одно обстоятельство было и тут несколько странно, именно то, что Г-в ни разу не повидался тогда с Иоасафом Николаевичем. Впрочем, может быть, так вышло и помимо его собственной воли.

Обыкновенно, как только Михайло Николаич и Макарушка, всегда его сопровождавший, выезжали из мелколесья на поляну, где стояли избушки угольщиков, Степовичка (словно уже подкарауливавшая гостей) тотчас же выходила, встречала приехавших шагах в пятидесяти от своего жилья и тут пускалась с Михайло Николаевичем в очень оживленную, продолжительную беседу, которую Макарушка, к крайнему своему сожалению, никак не мог слышать, потому что старуха всегда приказывала ему отойти далеко в сторону, и Г-в не противоречил такому распоряжению.

Но в четвертую поездку, именно после посещения сельца Михеева участковым заседателем земского суда, распоряжение это Г-в отменил, и Макарушка был свидетелем замечательного разговора, который пораскрыл ему много нового.

— Что уж там изловчаться теперича из пустяков, — сказал сердито и настойчиво Г-в, когда Степовичка подошла к нему и стала, было, по-прежнему отсылать Макарушку в сторону, — пускай и малый слышит. Ему тоже нужно знать кое-что… И коли я так хочу, стало быть, это нужно. Слышишь ли, разумеешь ли, старая ты колдовка?

Старуха подумала и махнула только рукой, как бы в знак своего согласия на присутствие малого при разговоре.

— Как же делишки тут идут, то есть, знамо спрашиваю насчет теперешних твоих проживальцев? — продолжал затем Г-в.

— А ничего, идут — как идут, — отвечала старуха, все-таки покосившись на свидетеля беседы, — у нас жалиться некуда, кабы, не на что, день да ночь и сутки прочь, и завсегда опосля сегодня завтра, а не вчера бывает.

— Не беззубому твоему рту шуточки шутить! Говори ты мне толком!...

— Ну, вот, баринок повеселел, оттого теперича и еду стал принимать; посмотрико-ся: уплетает не давится щи наши пустые да кашу без масла… А харчи у меня про него неважные, пущай не взыщет, чем богата, тем и рада… А повеселел баринок для того, что Маринушка оздоравливает, с постели уже привстает, вот он и радуется, на нее глядючи…

— И ты, небось, больно возврадовалась? — как-то зло спросил про это Г-в.

— Нет! Я не дуже… не дуже радуюсь… — отвечала она печально, — хиба же я не знаю? Знаю: заслабела и худо-худенько оправляется… Вправду молвить, боюсь как бы…

— Эх, да и черт же с ней, с твоей Маринушкой! Пропадай она пропадом!...

Старуха выпрямилась и заговорила протяжным, строгим-строгим голосом.

— Знаю я и то, каков ты человек, даром что, не из жидовы… Для тебя Маринушка — пропади она пропадом, а

для меня, ох! Ни такочки!... Вот и не кровная, ты сочтешь, и ни на что мне не нужная, а я полюбила… И сама того не разберу… В той сторонке моей немножко тамошних словечек помню, иной раз сами с языка просятся… в той сторонке, в хатке, где жила, припечек завсегда белесенький, крейдой вымазан, там видала таких малюсеньких… С той поры, как Маринушку увидала, сердце встрепыхнулося… Одна одинехонька я на белом свету, ну, и словно дочка нашлася… Завсегда я жалела ее… жалела!..

Странны и непонятны были эти речи для Макарушки, да и старуха показалась ему такою диковинною: глаза ее, большие, черные, горели, как раскаленные уголья, а говорила она прерывистым голосом, торопясь, задыхаясь, но так говорила, «словно многим людям приказывала», и в тоже время дрожала, едва держась на ногах, как женщина, совсем изнемогшая от внезапного испугу или же от чрезмерного перезлобу.

— Ах ты, ведьма киевская! — закричал на нее Г-в. — Комедию, что ль, хочешь ломать передо мной!.. Вишь, разжалобилась, инда на счет своих хохлатских словечек, а пуще всего о той дочке… А если и впрямь разжалобилась, мне-то на что знать про твою эту жалость?.. Полюбила, за дитятку родную приняла!.. А по мне, полюби хоть сухую осину, Иудино древо… И не говори ты мне об этих самых пустяках! Слышишь? Не говори!

— А что ты мне за указ! — возразила Степовичка, сначала тоже с окриком; но вдруг твердая речь ее подкосилась, стала слабою, жалобною. — Ох, и поверь же ты мне! говорю про то, что на сердце камнем лежит… Хиба-ж не вижу всего, всего?... Вижу: не нарадуется он на нее, а мне и об нем жаль берет… Да! Вот он не нарадуется, а она-то на радость его плачет, горючими слезами обливается… И я знаю… знаю о чем она плачет!... Тут-то и есть самая лихая беда…

Она замолкла. Молчал и Г-в, нахмурившись и отвернувшись от нее.

— Жила я, — продолжала старуха все также тоскливо, — жила я на свете не мало, натерпелась вдоволь, ну, и как же мне не знать, как беда подходит-ползет?.. Знаю и то, что и меня она прихватит… Ох! Как бы не пришлось старой старухе похоронить свою голубоньку желанную в темном лесу… А ты, ты, как есть, безжалостный, злющий человек!

И за последним словом тяжко она простонала.

Михайло Николаич с чего-то очень сердито посмотрел на Макарушку, как будто собрался его выбранить. Потом вдруг он провел лошадь свою несколько в сторону и стал оправлять седло на ней. Заметно было, что он не в духе и даже смущен.

— Полно тебе, Гарпина! Право все это не кстати, да и не знал я, что на тебя этакая блажь находит, — сказал он Степовичке тихо и ласково. — Полно! Я только пошутил неладно… Ну, и то еще сказать: ты про свое думаешь, а я про свое. И у меня есть кое-что на сердце, и вовсе не злющий, не безжалостный я человек… Ну, не об этом теперича речь. Ты скажи-ко мне сущую правду: можно ли было твою Маринушку перевезти отсюда в иное место?

— Как перевезти! Да куда же это? — вскричала старуха, опять чрезвычайно растревожившись. — Ох! Нет! И не думай… и не моги… Да я ни на что не допущу! Нешто убьешь меня, ну, тогда… Ах, и привык же ты выдумывать затеи непутевые, вот, доктора того привозил, а я-таки сладила, прогнала его!.. И что он смыслит доктор этот, и все-то они… Только я одна и могу лечить Маринушку!..

— Ну, и лечи ее. Никто тебе не мешает. Поезжай и ты с нею. А к здешним местам привязана ты, что ли?

— Здешние места!... Да! Не привязана, и не то, чтобы привыкла. А все же тут я узнала теперича где какую травку найти и так это близехонько, на полянках, на лесной опушке. Да и лес хорош… тут на случай, недаром же про похорон в лесу говорила… Лес дремучий, хороший, в лесу таком хорошем просторно будет старым костям…

— Вот и про старые кости, и как есть ты старая ведьма, иначе не стала бы думать о спокое костям не на кладбище. Да кинь ты, пожалуйста, пустяшные твои песни! Толком я спрашиваю, ну, и отвечай мне толком же.

— Нет! Ты мне прежде ответь: а для чего это понадобилось тебе перевезти отсюдова куда-то Маринушку?

— Надобно ли, не надо ли мне, не в том дело. Со стороны, пожалуй, понадобится, и того гляди скорехонько.

— Словно загадки загадываешь…

— Какие тут загадки! Живучи здесь, могла бы понять и без лишних речей… А ты с ней и поезжай. Травушки-муравушки свои, чай везде найдешь.

— А баринок, как же? Наверняка, не захочет.

— Захочет! У меня такое слово есть.

— Да ты не разлучить ли задумал?.. Тогда уж… пропадет, пропадет голубка твоя!.. Без него она жить не сможет!.. Ах, и злющий ты, презлющий человек!..

При этом новом упреке лицо Г-ва мгновенно побагровело, исказилось и точно стало грозное и злое. Но опять он сдержался и проговорил ровным, спокойным голосом.

— Врать пустяки разные я не люблю да и пробалтываться не умею. Опять скажу: у тебя свое на уме, и у меня тоже свое. Может, в чем и разминуемся, а может, — ну, посойдемся, там как-нибудь… Только про одно ты, Горпинушка, потверже запомни: в случае, коли супротив меня пойдешь, и я супротив нашенской пословицы пойду, инда с жерновами на печь полезу.

Она посмотрела на него пристально и покачала головою.

— С жерновами на печь полезешь… — протяжно повторила она и так же продолжала, словно все обдумывая свой ответ, — еще отродясь не слыхивала такой пословицы, а понять ее, кажись, смогу: стало быть, из-за того, что у тебя на уме, на пролом ты пойдешь… Ну, и что ж, по вашей кацапской пословице, набивайся со своим ковшом на

чужую брагу! А брага-то выйдет забористая, не один тут варил, помешивал… А может, молодец бойкий, питерский, может, и уймешь свою злость и передумаешь?

— Неохочь передумывать. Не из таковских.

— Ну, так тому делу и быть!... Вот, сговориться не сговорилися, только пословицами обошлись… А все же, я то перед тобой, как есть, вся на виду, ничего-таки не утаено, а ты, все кругом да около, инда и не намекнуть, что на уме у тебя… А от чего бы не молвить?..

— Некогда мне больше калякать с тобой! — разом прервал Г-в странный разговор этот. Затем, он Макарушке молча указал рукою на его лошадь, сам быстро вскочил в седло и, не оглянувшись даже на старуху, пустился в обратный путь.

XXXIV

В иное время, при иных обстоятельствах, простых, обыкновенных, а не столь тревожного и загадочного свойства, Макарушка, хотя и очень побаивавшийся «питерского оборотня», заговорил бы теперь с ним непременно, стал бы приставать с расспросами обо всем; странный разговор, который он только что выслушал, возбудил в нем любопытство до высшей степени. Но из этого же разговора оказывалось, уже наверное, что «питерский оборотень» очень хорошо и как бы с давних пор знает старую колдунью Степовичку, что между ними были и даже теперь есть какие-то тайные дела, что у этого питерского «бойкого» молодца, которого Степовичка, конечно, недаром называет злющим, безжалостным человеком, есть что-то такое на уме, чего старуха боится чрезвычайно, боится не за себя одну, не за Маринушку свою любимую, но еще за кого-то другого, либо других («дело темное: ну, кто их там разберет»). И в таком-то котле кипит теперича Есаф Николаич, кипит, сам того не примечает, да тут-то и радуется, сердешный, на вы-

здоравливающую свою полюбовницу, на беднягу эту, тоже горемычную… Макарушка и ее очень, очень жалел. Молодое, сильное любопытство молодого малого вдруг замерло перед смутными и тяжко печальными соображениями. В тоске своей он не смог бы заговорить с Г-вым даже от скуки во время езды.

Да сам Г-в разговорился, и именно о том, что так занимало малого.

— Ты что это сгорбился и нос опустил, спать что ли, захотел? — спросил он Макарушку, когда выбрались из мелколесья на торную дорогу.

Малый выпрямился, но не отвечал.

— А ты не задумывайся, не то, пожалуй, с ума сойдешь, — продолжал Михайло Николаич. — Да, Макарушка, и не тебе чета тут мало что хорошего придумают… Но ты и не сумлевайся. Может, с толку сбиваешься из-за моего каляканья со старухою? Ну, я знаю ее давно, годов пять-шесть тому назад сознакомился с нею. Тогда она на картах, на гуще кофейной бобы разводила, дур обманывала и другими делишками занималась, только не в темном лесу, и как легка была на все, как услужить умела!.. Да вдруг запропала, словно сквозь землю провалилась! И я понять не могу, с чего это поселилась она у этих проклятых угольщиков, чтоб им пусто было.

— Ох, и боязно же за барина!.. — пролепетал Макарушка.

— Боязно! Боязно! А сам и не знаешь чего надо бояться… Вон, откуда может беда приплыть! — и Г-в указал в ту сторону, где было село Макшеево.

Любопытство малого опять разгорелось.

— Господом Богом прошу вас, сударь, скажите: что ж там такое? — вскричал Макарушка.

— А вот что, — отвечал Г-в, — помнишь ли, как приезжал к нам, в Михеево, этот мордастый заседатель? Он приезжал недаром: добрые люди, соседушки, больно обрадова-

лись, что можно из-за дурацких делов воду помутить, ну, и успели подбить блажную михеевскую барыню на жалобу. На первый раз не больно трудно умаслить мордастого, я и умаслил. Да того гляди, он опять припожалует! И хорошо, коли придет все из-за прежних дурацких делов, а я боюсь, как бы тут и другая статья не подошла. Боюсь того, чтобы не дознались, как-нибудь добрые соседушки, где Иоасаф Николаевич проживает... Вот что очень боязно, Макарушка!

— А что ж! Коли б и дозналися, кажись, тут еще ничего такого нету, — возразил малый, на ту пору, как бы утративший свою обычную сметливость.

— Но ты забыл, что у угольщиков притон для беглых! Уж не думаешь ли, что хорошо это будет, если Есафа найдут при обыске в таком месте?... Да и Маринка-то, ведь, тоже беглая!...

Слова эти до того поразили малого, что он разъехался непутем.

— Полно ахать по бабью, лучше послушай-ко, что скажу, — продолжал Г-в, — малый ты у меня прыткий, и уже наверняк, из дворовых красных девушек какая-нибудь ласкова до тебя, и я говорю про это вовсе не в шутку, а ради самого дела. Ну, через ласковую-то девицу постарайся быть на слуху обо всем, что затевается там, по ту сторону Михеева. Изловчившись, про все можно узнать и это очень нужно. Коли во время проведаем, ладно и распорядимся. Ты понимаешь ли на счет чего надо будет распорядиться? Да не надрывайся придумывать, будто понимаешь — я сам тебе толком и все скажу... К угольщикам, того гляди, с обыском нагрянут, и повторяю, коли там найдут Есафа ли, Маринку ли одну, из-за которой взбалмошный твой барин готов хоть в огонь кинуться, беда может выйти большая, совсем-таки непоправимая!.. Постарайся же, беспременно, и тотчас же, как приедешь домой, подвернуться и подладиться к сенным девицам. Только, смотри, малый, никому, как есть, не моги проболтаться, об этом пуще всего приказываю!

Макарушка обещал в точности исполнить эти приказания. Он обещался даже от всего сердца. Он понял теперь, что Михайло Николаич «дело говорит». Подозрительность его в отношении «питерского оборотня», как-то разом унялась. Тут помогло и доверие, оказанное ему Г-вым и польстившее ему чрезвычайно. Он поверил тоже вполне объяснению Г-ва насчет знакомства его со Степовичкою. «Ну, и что же, мол, такое? Очень могло статься: старуха-то, как видно, была на все руки, угодила молодцу хлопотами насчет купчихи или мещаночки какой, а больше тут ровнехонько ничего нету!..»

Но поручение к «ласковой девице», какая имелась на примете у Макарушки, не так-то легко было исполнить. Отправившись на разведку туда, где временно проживала Надежда Ивановна, можно было попасться на глаза Леонтьичам, а особенно этой глазастой, лихой Елизарьевне, и тогда бы пришлось за все про все отвечать перед разгневанной барыней, а в Михеево уже навряд ли можно было бы вернуться.

Впрочем, недаром поуспокоился Макарушка от своей тоскливой подозрительности: бойкая его сметливость ожила в полной силе, и он способен был уладить все как нельзя лучше. Он очень ловко на первых же порах принялся за свое поручение (кстати заметить, и лично ему приятное), успел скорехонько устроить надежным способом сношения с «ласковой девицей», успел уговорить ее, чтобы она избавила его от опасности быть пойманным в чужом имении (в сельце Афанасьеве, где в это время Надежда Ивановна опять проживала уже несколько дней кряду), а лучше сама побеспокоилась бы и жаловала по ночам к нему в Михеево. Молодая, здоровая, пылкая и довольно смелая на похождения девица согласилась на это тем охотнее, что михеевская господская усадьба, покинутая почти всеми дворовыми, представляла тогда необычные в ней удобства для ночных свиданий.

И вот от этой-то девицы Макарушка в самую пору узнал: во-первых, что уже дошла до «афанасьевских господ» весть о «проживательстве» Иоасафа Николаевича в лесу, у угольщиков, именно у колдуньи Степовички, и при больной своей любовнице солдатке Маринке; и во-вторых, что афанасьевские господа, как только прослышали о том, тотчас кинулись к дворянскому предводителю, вернувшись же от него, проговорили, что «теперь-то, дескать, пойдет михеевское дельце совсем настоящим манером». На другой день свидания и ранехонько поутру Макарушка обо всем этом подробно доложил Михаилу Николаевичу.

Похвалив малого за расторопность в исполнении поручения, Г-в немедленно стал распоряжаться.

— Накормил ты меня до бороды, накорми же и до усов, — сказал он своеобразной своей речью — отправляйся-ко теперича в Коломну да скачи туда, не жалея михеевскую клячу... Семкинскому Егорке моим именем прикажи, чтобы на тройке лучших лошадей в самой просторной и наглухо закрытой повозке выезжал по дороге к нам и наровил бы попасть к Волчьим Воротам, эдак, часок, что ли спустя после городских обедов, да чтобы отнюдь не смел опоздать... Постой! Вели дождаться меня за полверсты от Волчьих Ворот, и с той стороны, что от Коломны; туда я к нему выеду, а случилось бы, что он раньше меня подъедет, стоит на одном месте.

— Дорога-то, сударь, очень проезжая, и хоша нынче день не базарный, а все могут наехать сторонние люди, наедут же, беспременно станут спрашивать: зачем, мол, стоишь на дороге?.. Да и то: место больно опасное... — заметил Макарушка.

— Егорка умнее тебя, — возразил Михайло Николаич, — уж конечно, догадается он так сделать, чтобы подъехавшие люди видели, что у него какая-нибудь неисправка в повозке или в упряжи. Все это придумываешь ты по несмышлености своей, по трусости глупой, ох, и трус же

ты у меня, Макарка! Ну, да на всяк случай вели Егорке, чтобы у него там, где будет ждать на виду, была причина остановки на дороге. А кстати, вели тоже захватить два топора.

— Топоры-то… два топора… Зачем сударь?... Осмелюсь спросить…

— Ты ведь, с Егоркой приедешь, ну, так я дам тебе в руки по топору, и велю нарубить дров на уголья, для того я оставлю тебя в лесу… Эх, и дурак же ты со своими расспросами!... Скажи моим же именем самой старухе Семкиной, чтобы горницу попокойнее приготовила: гостей привезу.

Макарушка не угомонился и решился опять на расспросы по поводу именно последнего приказания, всего более его заинтересовавшего.

— Это сударь… может, барина перевезем? — спросил он.

— Догадался! Знамо, барина твоего сумасбродного. Пожалуй, утешу и еще: с барином же твоим перевезем и Маринку и старую колдунью. Вот будет компания! И довелось же мне возиться со всей этой дуростью!.. Да! — продолжал он как-то сердито, — барину твоему все надобятся новые квартиры, и сам он много о том хлопочет… Но догадываешься ли из-за чего нам-то с тобой приходится хлопотать? Я тебе на днях обо этом намекал, и из-за того по моему приказу раздобывался ты вестями через ласковую твою девицу, а знай и то, что теперича по милости медведя этого, дворянского предводителя, уже наверняк, уездные чиновники собираются с обыском к угольщикам… Только, кажись, мы успеем так распорядиться, что они гриб скушают. Ну, малый, Макарка, живо в Коломну!

И это поручение Макарушка исполнял во всей точности, наилучшим образом. Когда Г-в приехал верхом к Волчьим Воротам, он уже нашел как раз в назначенном месте ямщика Егорку, только что подъехавшего. Потом все обошлось очень ладно: по дороге от самой Коломны никого из проезжающих не попадалось, да и в то время, как Егорка

по приказанию Г-ва отпрягал пристяжных лошадей, тоже никто не подъехал.

С пристяжными и верховыми лошадьми Михайло Николаич велел ямщику и Макарушке отойти в густой кустарник, в котором и разместиться так, чтобы нельзя было заметить их с дороги, а затем сам, усевшись на повозку за кучера, приготовился ехать куда было нужно ему. Впрочем, как заметил Макарушка, Г-в пускался в путь не без сомнения.

— В этой телеге да еще с проклятой этой кибиткою проберусь ли я там по узенькой стежке? — спросил он ямщика.

— А уж не знаю, Михайло Николаич, — отвечал Егорка, — ну, да коли, что поломается, так это в одной лишь кибитке, вы же, сударь, не постоите, заплатите хозяину за поломку... На всяк же случай и топор есть: где будет тесновато, можно подрубить сучья, для того Макарку, сударь, захватите с собой.

— Ну, его! — коротко возразил Г-в и, взяв с собой топор, один уехал.

В густой чаще мелколесья неловко было стоять с лошадьми, которые, чуя, должно быть, где-то поблизости зверя, пугались и метались иногда; но Макарушку, даже ямщика Егорку, сильная оторопь мучила, тем более, что они опасались разговаривать. Жутко, томительно прошло для них время поджидания Михайла Николаича Г-ва. И оттого ли, что проезд к угольщикам в большой и высокой повозке, притом запряженной в одну лошадь, был очень затруднителен — или же по какой другой причине, Г-в заставил прождать себя долго: надвинула уже темнять не сумерек вечерних, а осенней чуть проглядной ночи, когда Егоркина повозка загромыхала при выезде из ущелья Волчьих Ворот. Вместе с громыханием послышался громкий свист Г-ва, вызывающий Макарушку и ямщика.

Макарушка первым делом кинулся было к повозке, наглухо закрытой полостью, чтобы посмотреть, сидит ли там его барин, но Михайло Николаич не допустил его до этого.

— Нечего тебе там досматривать, — сказал он, — знамо тут живьем все, за кем ездил... Да! Вот съездил благополучно, а пожалуй, лучше бы целые сутки камни ворочать, чем так возиться, инда совсем измучился... Ну, да по крайности то хорошо, что полицейские теперича уже точно гриб съедят, пташки-то все улетели.

XXXV

В числе разлетевшихся пташек был и сам Михайло Николаич Г-в. Он тоже скрылся тогда и из Михеева, и из Коломны. Перед тем же он распорядился, — успел ловко замести следы — как свои собственные, так и всех, кого хотел он предохранить от грозящей опасности.

С помощью знакомого ему ямщика Семкина на другой же день по переезде в город Степовичка и Марина Прокофьевна были помещены в свободную от жильцов, отдельную на большом дворе избу какой-то одинокой старухи-мещанки, и помещение это можно было считать довольно надежным убежищем от розысков полицейских потому, что усадьба хозяйки квартиры находилась на самом конце города, — а Иоасаф Николаевич был припрятан еще лучше: в ночь того же дня Г-в совсем увез его из Коломны.

Но последнее распоряжение трудно далось Г-ву, и не столько со стороны самого Иоасафа Николаевича, сколько со стороны Марины и Степовички. Марина так и обмерла, когда услыхала, что ее «дружок темноглазенький» уедет с этим «страшенным, чужим человеком» (таким показался ей с первого же разу Михайло Николаевич Г-в); а Степовичка долго-долго упрашивала Г-ва смиловаться, не увозить доброго баренка, не губить этим ее хворую «голубоньку»;

когда же он наотрез объявил ей, что так надо беспременно, что не оставит он брата здесь даже на несколько часов, но что через неделю-другую сам привезет его к Марине на кратковременную побывку, старуха с неистовым воплем уцепилась за Иоасафа Николаевича и никак не пускала его из избы. Г-в с трудом мог оттащить ее и затем тотчас же увел брата в ожидавшей на дворе, у затворенных ворот, семкиной тройке, не дав ему и проститься с обеспамятевшей Мариной. Много подивился тогда Макарушка, что барин его, и при всей тоске своей, все-таки беспрекословно исполняет братнюю волю, и горемычную Марину жаль было ему чрезвычайно…

Тут же Г-в приказал Макарушке проживать у ямщика Семкина под видом вновь нанятого работника, но с тем еще, чтобы ездил он в дорогу как можно реже и не далее Бронниц или Зарайска.

— Жди меня постоянно, — сказал он малому в добавок, — я точно понаведаюсь сюда через недельку-другую, может и раньше. А теперича больше ни слова, не приставай ко мне с дурацкими твоими расспросами. Да смотри тоже, не смей выходить на базары и никому с вашей стороны отнюдь на глаза не попадайся! Слышишь, это всего важнее… Ну, и язык твой бабий на привязи крепко держи, не то рассчитаюсь с тобой!.. А что нужно будет нам знать, мы и без тебя узнаем.

Отдав это приказание, он все еще не садился в повозку, в которой уже сидел Иоасаф Николаевич, а стоял и, понурив голову, думал.

— Егорка! — вдруг крикнул он ямщику, — продвигай-ко за ворота да полость опусти, — а я там, на улице сяду.

И затем быстро прошел он к не закрытому ставней окну избы, в которой помещались Марина и Степовичка. Макарушка последовал за ним.

Изба освещена была довольно ярко восковыми свечами в серебряных подсвечниках, оставленными Михайлою Николаевичем, вместе с ларцом его в квартире Степовички (вероятно, для пущего убеждения старухи в том, что он непременно воротится). Но и при гораздо меньшем освещении легко было бы рассмотреть ту часть избы, где находились на ту пору обе жилицы.

В углу, между наружной стеною и дощатой перегородкой, за которою была каморка с русскою печью, лежала на кровати Марина, бледная, неподвижная, с закрытыми глазами, — и опять, как в избушке степовичкиной, показалось она Макарушке совсем уже умершею. Припав головою к ногам Марины, стояла на коленях Степовичка. Тяжко колыхалось тощее ее тело от рыданий, — но, не слышно, было, как она рыдала.

Г-в очень недолго смотрел на эту сцену, от окна же отошел медленно, позадумавшись сильно и печально, как заметил Макарушка.

— Видел?.. Видел ты? — вдруг обратился он к малому, как будто только теперь заметив тут его присутствие. — Да, не отвечай! — Я сам все рассмотрел. Старуха не мыкается и не причитает, стало быть, не померла же Маринка…

Он остановился посреди двора и опять задумался.

— Как не раскидывай умом-разумом, а до всего недомекнешься, — проговорил он, наконец, сквозь зубы и как бы про себя одного, а затем тревожно добавил, — Макарка! Ты все о барине, ты, пожалуй, и о той жалеешь, — а нельзя тут охаять тебя! Ух! И обуза же досталась! Теперича инда про всякий пустяк мысль приходит: вот, хоша бы о том, что промахнулся я, сам зажег мои восковые свечи в серебряных подсвечниках, — а это, ведь, неладно. Завтра поутру возьми у Семкина жестяные подсвечники и отнеси старухе, да вели, чтобы мои прибрала. Не ровен час, бросятся кому-нибудь в глаза, и из-за этого, пожалуй, голову ототрут…

Кстати: окромя завтрашнего разу, больше сюда не ходи — и про то настрого тебе приказываю!

Затем, уже садясь в повозку, он громко заохал, или лучше сказать, простонал, — и вдруг, со смехом, но каким-то хриплым, резко-отрывистым, промолвил, — вот теперь на путь дорогу эту, — разом бы хватить три-четыре стакана чего-нибудь очень хмельного!..

На другой день к вечеру вернулся домой Егорка-ямщик, отвезший куда-то Г-ва и Иоасафа Николаевича. Макарушка тот час же присоединился было к нему с расспросами, но Егорка наотрез и коротко ему ответил, — и ничегошеньки я тебе не скажу! Ты, брат, лучше не приставай: одно слово, не велено сказывать, так тому делу и быть!

А тем временем в нашей стороне происходили дела немаловажные.

Добрые соседи уже не хотели опять «обеспокоить» Надежду Ивановну сообщением ей известии о диковинном пребывании Иоасафа Николаевича в том месте, которое считалось теперь, наверное, притоном беглых солдат, грабителей и разбойников, но вместе с тем они признавали дворянским своим долгом обсудить это дело промеж себя наскоро и затем всем своим влиянием содействовать к быстрому раскрытию и прекращению зла. А зло это, по мнению всех, было очевидно. Ненависть к михеевскому помещику-соседу была уже так велика, что отнюдь не допускала объяснять пребывание его у угольщиков простым, естественным поводом, именно желанием молодого человека находится при больной любимой женщине; напротив того, тут хотели видеть нечто особенно злонамеренное и опасное для общего спокойствия. Иоасаф П-в прямо заподозревался в преступных сношениях с беглыми, а в гораздо сильнейшей еще степени заподозрен был в том же «этот рыжий выродок Мишка Г-в». Последнего считали даже чем-то вроде атамана разбойничьей шайки, и его-то влиянию приписывали сношения П-ва с беглыми солдатами.

По расчетам, внушенным ненавистью, так хорошо объяснялось теперь все, все — и связь Иоасафа Николаевича с солдаткой Маринкой, сестрой беглого Шохина, «есаула в шайке», и пребывание Маринки в П-ском доме во время поездки Надежды Ивановны на богомолье, и приезд выродка Г-ва в Коломну, и свидание там с ним Иоасафа П-ва, а затем и все последующие обстоятельства. Соображениям, весьма тонким и разительным в крайних выводах, не было конца. Поистине тут был полнейший разгул помещичьих, соседних соображений!

Но соображениями, конечно, не ограничились.

Тяжеловатая лень егорьевского предводителя на этот раз уже совершенно уступила перед настойчивым желанием всего местного дворянства, чтобы михеевской истории, странно перепутанной с делом об опасных дезертирах, был дан самый энергический ход, и непременно при личном направлении и наблюдении его, предводителя. Андрей Иванович Повалишин растревожился настояниями дворянства тем более, что ему, притом тонко, намекнули, как бы в случае бездеятельности с его стороны по делу, в котором так серьезно замешан дворянин его уезда, не досталось ему самому от сурового генерал-губернатора Балашова, проживавшего тогда в Рязани, стало быть, недалеко от места скандально-важных происшествий. Начал свои действия Андрей Иванович с того, что опять напустился и теперь уже чрезвычайно напугал соблазненного Г-вым участкового заседателя, пригрозив ему непременным удалением от должности и преданием суду, а вслед за тем, объявил егорьевскому земскому исправнику, что как предводитель дворянства «вменяет ему в строжайшую обязанность принять самолично поспешнейшие и деятельнейшие меры к поимке беглых и к открытию лиц как прямо виновных в пристанодержательстве, так и прикосновенных к тому». В конце концов г. Повалишин доусердствовал было до того, что пообещал находиться при всяких обысках и поимках;

впрочем, обещания этого он не исполнил «по внезапно случившейся болезни»!

Но в присутствии предводителя и не представлялось надобности: исправник «заинтересовался» делом вполне, принялся за него быстро и энергически, и, казалось, все его распоряжения были рассчитаны так хорошо. Он отправился на место предстоящих действий с целым отрядом чиновников, сотских, десятских и даже инвалидных солдат.

Сначала он нагрянул в село Михеево, но тут ждала его первая, отнюдь непредвиденная неудача: он не нашел ни «именуещегося петербургского купца» Михайла Николаевича Г-ва, ни дворового человека Макара Петрова. Староста михеевский, тамошние крестьяне, остававшиеся при помещичьем доме дворовые отозвались решительно незнанием о том, куда и даже когда отлучились из имения разыскиваемые люди. Исправник, как водилось в то время, поколотил старосту и двух мужиков, что-то неловко ему отвечавших, но и таким образом ни до чего не добился. Затем, пошумев еще крепко и погрозив всем михеевцам Сибирью, исправник очень рассерженный и в сильно неспокойном настроении духа, вероятно от предчувствия новой неудачи, переехал в село Маливу.

Была уже ночь, но административные действия продолжались безустанно; для того было достаточно и времени в длинную, осеннюю ночь и всякого подчиненного люда, не пешего, а загодя снабженного одноконными и пароконными подводами из Макшеева, Михеева и Зарудни.

Для облавы на разбойников были «сбиты» поголовно в село Маливу как тутошние крестьяне, так и весь взрослый народ из всех соседних и даже несколько не соседних деревень (одни только поповцы, проживавшие в слишком близком соседстве с полянкою угольщиков, были не тронуты, потому что заподозревались в сношениях с беглыми). Из Маливы для обложения со всех сторон разбойничьего притона во время были отправлены в лес разные отряды,

под надзором рассыльных и сотских; при надежных проводниках из местных крестьян, предварительно и с великой грозою расспрошенных самим исправником насчет твердого знания местности, служившей целью ночного похода. Главное начальство над этой земской силой, снаряженной для очищения мест, зараженных разбойничеством, принял на себя исправник, а ему содействовали: уездный стряпчий, один из участковых заседателей (разумеется, не тот, который уже проштрафился по михеевской истории) и еще несколько мелких чиновников из земского суда; кстати сказать, хотя все эти господа вооружились исправно для похода, однако для пущей безопасности находились при них инвалидные солдаты, настоящие воины, много раз видавшие смерть воочию и потому после тяжких боевых трудов попавшие в инвалидные команды.

К рассвету отряды облавщиков сошлись довольно аккуратно, тесно обложив полянку угольщиков. Маневр был исполнен удачно, и можно было надеяться, ни один из беглых уж никак не уйдет от поимки. Но на деле вышло не так.

Одна из избушек, имена та, в которой проживала Степовичка, оказалась совсем пустою; в другой же найден был лишь дряхлый, глухой старик, от которого, не смотря на всю грозу чиновничью, не добились ни малейшего ответа. Поразительно было для поимщиков и то обстоятельство, что угольщики как сквозь землю провалились: их не нашли ни в лесу, ни в родимой их деревне Поповке, где тоже произведен был по всем дворам строжайший обыск.

Неуспешность обысков, расспросов и разведываний бесила исправника особенно вследствие догадок его, что кто-то предупредил об опасности и беглых, и всех имевших с ними сношений. От бешенства он перешел было к унынию. Но счастливая его звезда скоро послала ему утешение: к концу дня обысков в какой-то трущобе совершенно случайно отыскались-таки все угольщики.

Это имело большие последствия собственно для Иоасафа Николаевича.

В отношении угольщиков исправник и бывшие с ним чиновники пустили в ход всю суровость тогдашнего полицейского допроса: бедным лесовикам пришлось вынести немало всяческих истязаний. В течение трех дней угольщиков допрашивали многократно, и показания их были важны, очень важны.

Из показаний этих «обнаружилось» (говоря приказническим тогдашним языком): что назад тому недели четыре к проживавшей у угольщиков для изготовления им пищи вдове крестьянке (бывшей дворовой девушке князя ...ского) Аграфене Курбатовой, по народному прозвищу Степовичке, привезена была михеевским дворовым малым солдатка Маринка, больная огневицею, и Степовичка все время лечила ее, так как она — известная во всем околотке знахарка; что вскоре пришел (и тоже у Степовички «пристыл») какой-то неизвестный им, угольщикам, человек, по виду солдат, а сказывался он братом родным Маринки, что человек этот проживал в степовичкиной избушке непостоянно, уходил куда-то иногда лишь на день, иногда и больше, а раза два, возвращаясь, приводил другого какого-то солдата, и они, угольщики, не знали, не видали, что те люди беглые, и почему тоже не замечали их в грабежах и разбоях, что потом поселился у Степовички молодой барин из Михеева (слышно, полюбовник солдатки Маринки) и проживал он тут безотлучно, что наезжали еще несколько раз, должно быть тоже из Михеева, тот дворовый малый, который привез к Степовичке Маринку да с ним какой то дюжий, рыжебородый молодец, по обличию купец, а по наряду словно барин, и от них брат Маринкин и другой солдат завсегда прятались (из-за этого показания чуть ли не всего более досталось угольщикам, так как оно почему-то крепко не нравилось исправнику), и, наконец, что два дня назад, тот наезжавший из Михеева человек,

«купец он что ли», увез куда-то Маринку, Степовичку и михеевского барина, усадил их в большую, троичную повозку, и то было им, угольщикам, в диковину, так как большущая повозка была запряжена только в одну лошадь, за кучера же был сам, тот, неизвестный господин, а Маринкин брат и его товарищ при этом не находились, и после того к ним, угольщикам, не заходили, сами же они, угольщики, не были дома во время обыска, и точно, прятались потому, что стали домекаться про беду, хотя и не знали, в чем именно она состоит.

Повторяю: показания эти были очень важны, они вполне разъяснили и подтвердили все, о чем проболтался мужик из деревни Поповки, все, о чем догадывались добрые соседи-помещики, все, о чем хитроумно заключали чиновники егорьевские. Для последних уже не было теперь ни малейшего сомнения, что дезертиры, имевшие притон у угольщиков, действительно, занимались грабежами и разбоями, что угольщики, Степовичка и сама Маринка — прямо сообщники дезертирам во всех их преступлениях, и что помещик Иоасаф Николаевич, сын П-в, и, особенно именующийся петербургским купцом Михайло Николаев Г-в, — не только лица, прикосновенные к делу, но и виновные в сношениях с дезертирами и в укрывательстве их.

После первых следственных действий на месте чиновники вернулись в Егорьевск как победители. Предводитель дворянства, прежде относившийся к высшим чинам земской полиции в уезде, — не смотря на то, что они были выбранные, — крайне пренебрежительно, теперь изъявил им все свое благоволение и торжественно обещал «доложить» о них генерал-губернатору как об отличных чиновниках, вполне заслуживающих награды за свои блистательные действия по столь важному делу.

Одобрение и вышеупомянутое торжественное обещание предводителя весьма поощряли земскую полицию к дальнейшим энергичным действиям; так, для поимки де-

зертиров вновь сделана была облава, в которой участвовало уже несколько тысяч крестьян — в этот же раз опять беспощадно допрашивали угольщиков и вследствие крайней путаницы новых их показаний засадили их как уже явно изобличаемых в пристанодержательстве в острог, наконец, с нарочными посыльными ради важности дела было сообщено во все соседние земские и городские полиции о немедленном принятии действительнейших и строжайших мер к разысканию скрывшихся из Егорьевского уезда беглых солдат: Шохина и товарища его, по прозванию неизвестного, уличаемых в сообществе с дезертирами: солдатку Марину Прокофьевну, сестру Шохина, и вдовую женку Аграфену Курбатову, а также и прикосновенных к делу егорьевского помещика Иоасафа Николаевича, сына П-ва, и именующего себя санкт-петербургским третьей гильдии купцом Михайлы Николаева Г-ва.

Разумеется, огромная облава на беглых и «экстренные» сношения с соседними полициями оказались совершенно бесплодными; но недаром егорьевский исправник говорил, что «михеевская история» и дело о дезертирах «пущены шибкой ходою, и даже на славу». Правда слава-то была тут не причем и вряд ли на нее рассчитывал исправник, зато выгода чиновничья могла очень и очень восторжествовать: хотя с угольщиков, что называется, взятки были гладки, хотя нельзя было рассчитывать на поживу от дворянина П-ва, имение которого состояло в нераздельном владении с матерью и сестрами и должно было скоро поступить в опеку; но тут был замешан петербургский, по слухам, богатый купец, а кроме того, к делу притягивалась целая деревня Поповка, к которой принадлежали угольщики, пристанодержатели беглых.

Усердствуя по делу о «михеевской истории», егорьевские чиновники, люди тогдашних понятий насчет кормления себя на службе (конечно, не все), могли заранее рассчитывать, что их энергичные действия вознаградятся…

XXXVI

У соседей-помещиков, по всей вероятности, не могло появиться вследствие нового фазиса (выражаясь по-нынешнему) в михеевской истории ни особенных и ни каких личных расчетов, но, тем не менее, и они этим новым фазисом чрезвычайно заинтересовались. Михеевская история в теперешнем ее осложнении представляла для них сущий клад. Внезапное и загадочное исчезновение главных лиц (в этой истории замешанных), облавы на беглых, приведение в сильное движение чуть не весь народ егорьевского уезда, энергичные действия чиновников, даже виды и расчеты чиновничьи — заставляли тяжеловесных пожилых помещиков и помещиц с молодежью их обоего пола беспрерывно обмениваться посещениями ради новостей, толков и всяческих пересудов. И тут не ограничивались удовлетворением одного любопытства или желания пообсудить дело «своего брата дворянина», попавшегося в «казус»: соседи шли гораздо дальше этого: они существенно вмешивались в дело, «натравливали» и прямо и через предводителя дворянства чиновников к тому, чтобы «доконали» проклятого Иоасафа П-ва и атамана разбойников, выродка Мишку Г-ва. Такое вмешательство обуславливалось теперь не тем чувством негодования на поступки Иоасафа П-ва в отношении его матери, которое и при сильном уклонении в сторону сословных предубеждений все-таки имело в основе своей нечто почтенное, но уже чем-то иным, какою-то злорадностью, допускавшею даже глумление над последствиями, какие ожидали лиц, бесповоротно осужденных этим «общественным мнением». Впрочем, всему этому подобало быть; дивиться тут нечего; разве только одному можно несколько подивиться: соседи помещики — люди вообще хорошие — знали, не могли не знать, из-за чего особенно усердствует земская полиция по михеевской истории, и что усердие это, прежде всего, с страшной тяжестью отзовется на бедных

крестьянах, но, и зная, что так именно будет, они, хорошие люди, как я слышал мельком, чуть не радовались предполагаемой удаче чиновничьих расчетов на поживу, по крайней мере, с шуточками и прибауточками об этом разговаривали... Да! Добрые соседи, из-за развлечения своего скандальной историей, оживившей толками о ней все глухое помещичье захолустье, нагрешили тогда немало!..

В своем суетливом на ту пору движении, соседи, надо полагать, недолго оберегали бы спокойствие Надежды Ивановны — и все-таки решились бы «обеспокоить» ее сообщением новостей о полицейских розысках в притоне беглых солдат и о всех показаниях угольщиков; но судьба пощадила от этого несчастную старушку: быстро и слишком заметно для всех подступила тогда к ней великая утешительница страждущих — смерть.

Последние дни жизни довелось Надежде Ивановне провести не у близких, очень любимых ею соседей, Змеевых. Предводитель дворянства почему-то счел необходимым приютить у себя «выжитую из дому злодеем сыном помещицу предводимого им уезда» — и успел-таки склонить ее, чтобы она к нему окончательно переехала. Какие бы расчеты ни руководили тут Андреем Ивановичем Повалишиным (а расчеты, кажется, действительно были), но во всяком случае он поступил хорошо — дом его в селе Раменках, просторный и даже очень обширный, представлял гораздо более удобств для спокойного во всех отношениях помещения больной старушки, чем дом Змеевых, тесный и переполненный детьми и приживальцами.

Впрочем, Надежда Ивановна умирала спокойно. По крайней мере, так казалось окружавшим ее людям, да и не могло показаться иначе в виду того, как подготовлялась она к смерти.

Бог помог ей пересилить то чувство раздражения, которое побудило ее проклясть сына. Тайной осталось, как рассудила она в душе о поступке своем, воспоминание о

котором мучило ее страшно и непрестанно; но она старалась со всей доступною для нее тогда силою облегчить свою возмущенную душу. Дня за три, за четыре до кончины, она призвала, к себе духовника своего, священника села Макшеева, исповедалась у него и раскаялась в том, что по чрезмерному и неразумному раздражению против сына прокляла его; приняв же Святые Тайны, — глубоко умиленная этим, слезно стала просить отца Осипа, дабы он в точности и сколь возможно скорее исполнил предсмертную ее просьбу, передал бы сыну Иоасафу, что она во всем его прощает и сама просит у него христианского прощения, молитвы за нее, перед ним согрешившую, и обычного о упокоении души ее поминовения.

— Матушка Надежда Ивановна, — сказал на это священник, — не осмелюся поперечить вам ни в чем и рад бы с радостью выполнить, а все же дозвольте наперед слово молвить. Может статься, нашел бы я очень скоро Есафа Николаича, ведь, не за горами же он, хотя и отлучился из дому неизвестно куда. Всеконечно, весьма многим, почитай, всем неизвестно, где он теперича пребывает, а уповательно кто-нибудь про то и сведом, — да вот, хоша бы староста ваш Павел Селифонтов, мужичок он толковый, разумный... Коли сказать ему, что вы, матушка, гнев на милость преложили и клятву с сынка вашего сняли, то смотришь —Селифонтыч помог бы мне разыскать Есафа Николаича, и я тогда привез бы его к вам... Ох, матушка, воистину было бы хорошо, ангелы Господни возрадовались бы!..

— Нет, отец Осип! — отвечала старушка, подумав, — нет!.. Слишком тяжко было бы нам обоим... Да и не надеюся, чтобы вы успели... Я простила сыну от всей души, он тих и добр сердцем, и тоже простит, а Господь Бог там все рассудит... Нет! Не надо свидания перед моей смертью, да послужит это последнею мне карою за грехи, что в жизни содеяла...

Старушка много тут плакала, но этот плачь, не расстроил, а как бы успокоил ее. Умиренная мысль подсказала ей и еще одно распоряжение на пользу сыну.

— Батюшка! — сказала Надежда Ивановна в заключение последней беседы своей с макшеевским священником, — я и еще прошу вас, не скрывать ни перед кем, даже всем рассказывать, как я каялась на исповеди, что согрешила тяжко безумною той клятвой на сына… Вы молчите, может, сомневаетесь: можно ли будет вам говорить о том, что слышали на исповеди… Так, постойте же, я сама помогу вам в этом — пусть исповедь моя будет открытая… Позовите сюда дочь Любашу, Елизарьевну и человек двух-трех из повалишинских!

Священник тотчас же исполнил ее повелительное приказание — и перед всеми присутствующими Надежда Ивановна вновь покаялась в тяжком грехе своем и твердо затем сказала, что сыну она все простила, что священнику села Макшеева, духовнику своему, поручила испросить у сына прощение ей.

— Попомните же, ради самого Спаса Многомилостливого!.. — добавила она, — попомните — и всем сказывайте, что сняла я клятву грешную!.. Простила, простила!.. А вы, батюшка, вы Андрею Иванычу скажите… чтобы не мучили… не мучили больше Есаню!.. Поклянитесь, что все… все, о чем просила, исполните!.. Поклянитесь именем божьим!..

Он поклялся, и с последним словом его клятвы душевная скорбь, физическое изнеможение совершенно одолели старушку: с ней сделался продолжительный нервный припадок. Но, несмотря на хлопоты при этом, весь дом перетревожившие, особенно потому, что на ту пору Андрей Иванович и жена его были в отсутствии, впечатление, произведенное сценою «открытой исповеди», было чрезвычайно велико: все присутствующие разжалобились и плакали, даже ехидная Елизарьевна плакала, и жалость эта была не

об одной умирающей в тяжких душевных страданиях, но и о несчастном ее сыне.

Андрей Иваныч возвратился домой еще до кончины Надежды Ивановны. Ему тотчас же передали, что умирающая и на исповеди у макшеевского священника, и перед созванными по приказанию ею людьми простила своего сына, поручила священнику испросить у него ей самой прощение и под конец все твердила, чтобы сына ее больше не мучили. Неизвестно, как отнесся Андрей Иванович и к прощению матери, и к поручению ее священнику, но желание, чтобы «не мучили больше ее сына» крепко ему не понравилось, как и выразилось это по последствиям. Он хотел было немедленно «объясниться» с Надеждой Ивановной, рассказать ей уже «обо всех злодействах!» Иоасафа Николаевича и убедить ее, что он отнюдь не заслуживает ее прощения: с большим трудом удалось его жене и принятой им на воспитание дочери Николая Андреевича Берсенева отговорить его от этого, по истине, недоброго объяснения. Но упрямый, взбалмошный старик все-таки не отказался от внезапно осенившей его мысли о необходимости воспользоваться поручением Надежды Ивановны священнику именно так, чтобы оно послужило к развязке михеевской истории, к той развязке, которая уже была твердо намечена в его голове.

Вызвав к себе макшеевского священника, Андрей Иванович долго допрашивал его насчет поручения, данного ему госпожой П-вою, — и после путанного, крайне придирчивого допроса этого прямо потребовал, чтобы священник, исполняя то поручение, оказал бы всяческое содействие к поимке укрывающегося от следствия и суда «недостойного имени дворянина» Иоасафа П-ва, а также и его незаконнорожденного брата Мишки Г-ва, атамана разбойников.

— Да как бы возможно было мне впутаться в сие мудреное дело, — возразил довольно строптиво священник, — помилосердуйте, Андрей Иваныч!.. Не возлагайте на меня бремя неудобоносимое... Я готов бы отстрониться и от

сего претяжкого поручения, чтобы повидаться с Иоасафом Николаевичем и передать ему, что наказано родительницею, да клятвою связан…

— Как возможно тебе! – грозно вспыхнул предводитель. — А не хочешь под начало в монастырь?.. Я немало немедля к преосвященному обращусь. Чай, уважит предводителя дворянства, не променяет его на бестолкового попа, потакающего в разбойном деле. А меня вздумал бы преосвященный не уважить, так во всем послушается генерал-губернатора… Я тебя допеку! Я тебя доконаю!..

Угрозы и даже брань текли изобильно в устрашение непокорливому отцу Осипу. Но он «не возмутился духом» и ни в чем-таки не уступил, может быть, не столько по твердости своего характера, сколько потому, что близкий родственник его уже и тогда стоял на значительной ступени в духовной иерархии.

— Воля ваша, милостивейший государь, — отвечал он, наконец, разбушевавшемуся представителю дворянства, — воля ваша, а я в соглядатаи и в доносители ни в каком случае не пойду: сие недостойно есть сана моего священнического. Прошение дочери моей духовной, на одре смертном данное, я выполню в точности, а во всем прочем имейте меня отреченно… Касательно же угроз ваших прямо скажу: отнюдь их не устрашуся, ниже усумнюся, ибо в таковой я уверенности, что владыка наш рассудит все дело благоприлично, нелицеприятно и никак не выдаст меня головою мнящим истязать совесть мою… Да и небезизвестно должно быть вам, милостивейший государь, что я и иным вернейшим путем имею возможность довести истину весьма далеко…

Последний намек был ясен для Андрея Ивановича, хорошо знавшего о родственных связях отца Осипа. Андрей Иванович не стал больше приставать к несговорчивому священнику, но с тем вместе он отнюдь не отказался от намерения воспользоваться по-своему теперешним случа-

ем — дознать во что бы то ни стало о местопребывании Иоасафа П-ва и быстро довести михеевскую историю к развязке в желанном для него, предводителя, смысле. План для этого как раз созрел в голове его. Макшеевский священник «изменил», не захотел по поповскому упрямству своему содействовать, никакие резоны и угрозы не повлияли на него; зато михеевский староста остался под рукою, он-то уж не заупрямится, а дерзнет супротивничать, так его можно будет всячески понудить к обнаружению всех секретов его барина.

Впрочем, план этот потерпел полнейшую неудачу, по двум причинам: во-первых, сначала попрепятствовали тут хлопоты вследствие кончины Надежды Ивановны и погребения тела ее, по ее предсмертной воле на макшеевском кладбище, а во-вторых, и это главным образом подействовало на Андрея Ивановича Повалишина, к тому времени существенно изменился взгляд егорьевских помещиков на михеевскую историю.

Слух о том, что Надежда Ивановна перед смертью сняла клятву свою с сына, простила его и даже поручила отцу Осипу испросить у Иоасафа Николаевича прощение ей самой, быстро разнесся по всему помещичьему околотку и отрезвил чувство, если не всех этих людей (еще недавно так неспокойно относившихся к делу), то, по крайней мере, довольно значительного большинства. Как-то разом пришли на мысль многим иные теперь истолкования михеевской истории, конечно, еще неясные и нетвердые, но все же совсем несходные с теми, которые побуждали к страстному вмешательству в полицейские преследования, направленные против Иоасафа П-ва: оттого именно весь «план» Андрея Ивановича не встречал в дворянском обществе уже не малейшего сочувствия.

— Помилуйте! — отзывались в одинаковых выражениях почти все, кому только не сообщал предводитель и про свое объяснение с макшеевским священником и про свой

план, — да ведь отец Осип совершенно прав: ну, как ему, священнику, впутываться в такое дело? Наконец, теперь вся эта «несчастная» история принимает иной вид: мать сама порешила ее, затем одному Богу подлежит суд… Как можно вмешиваться в семейное дело!

Андрей Иванович не сразу сдался. Он соглашался, что собственно михеевская история порешена теперь прощением матери, но долго настаивал, что дело о беглых солдатах, о каких- то подозрительных сношениях с ними Иоасафа П-ва и его незаконнорожденного брата — это дело столь важное и, может быть, уже известное высшему начальству, конечно, не подлежит прекращению, и, тем более, что начато оно с большой оглаской.

— Ну, и что ж такое! — возражали предводителю, — мало ли из-за чего бывает огласка? Поговорят и перестанут. Пускай и чиновники со своими приказными потешатся, а уездному дворянству и вам, его представителю, впутываться тут не следует. Да не уж-то вы серьезно думаете, что П-в был в сношениях с беглыми, укрывал их? Вся вина его — увлекся бабенкой, из-за того и все беды вышли…

Соседи судили-рядили теперь уже с легким сердцем. Андрей Иванович в конце концов согласился с ними, что уже не следует ему впутываться в дело, хотя «по секрету», кажется, он не переставал натравливать чиновников на Иоасафа Николаевича, что, может быть, дело из-за страха ответственности перед высшим начальством…

Впрочем, и перемена взглядов егорьевского дворянства на михеевскую историю уже не могла влиять на следствие о поступках Иоасафа П-ва: дело было слишком хорошо направлено к его погублению.

XXXVII

Отец Осип недаром рассчитывал на помощь михеевского старосты при исполнении поручения Надежды

Ивановны. Хотя староста и не мог сообщить никаких положительных сведений о местопребывании своего барина, но, пораскинув разумом, он догадался-таки до способа к разведкам о нем, — он вспомнил, что приказчик Леонтьич видел барина при первом его кутеже в Коломне с Г-вым у тамошнего ямщика Семкина и из этого сообразил, что, должно быть, Семкин же, на лошадях которого два раза приезжал Г-в в Михеево, перевозил с полянки угольщиков всех, кого не нашел там исправник, — и потому знает, где теперь находится Иоасаф Николаевич.

— Весьма рассудительно соображено, — похвалил священник старосту, — а все же сомнение меня берет: ямщик Семкин, коего я вовсе не знаю, может статься, не пожелает откровенно поговорить со мною. Так, не лучше ли было бы тебе, Селифонтыч, отправиться в Коломну и расспросить кого подобает?

— Нет, батюшка, не годится, — возразил староста, — со мною Семкин не пустится в разговоры, заподозрит: из-за чего, мол, человек расспрашивает, не подослан ли от кого; а вас, священника, на-вряд станет подозревать. Да и вот что смекаю: коли вы прямехонько скажете Семкину, что, мол, после исповеди у вас барыня просила розыскать Иоасафа Николаевича беспременно — ну, и нечего скрывать от него про все наши дела горе-горькие, — он досконально поверит и, надо быть, не станет ни в чем таиться.

— И сие рассуждение преизрядно. Да! Одарил тебя Господь хорошим разумом! — опять похвалил священник старосту. — Значит, теперича я знаю, куда следует первее всего толкнуться, и безбоязненно обращусь к тому ямщику Семкину. Промедлять же отнюдь не стану — да успокоится сим душа покойницы!

В первый же базарный день отец Осип собрался в Коломну. Пора была позднеосенняя, уже больше недели шли непрерывно дожди и дороги сделались почти непроездными: но это не охладило усердия почтенного старика-свя-

щенника. Перемок и иззяб он в пути и с чувством большого удовольствия добрался до домика родной сестры своей, старухи-просвирки, где и решился сначала отдохнуть, обогреться хорошенько и лишь перед вечером пуститься на предположенные поиски; что, впрочем, сподручным оказывалось, так как сестрин двор находился в близком расстоянии от дома ямщика Семкина.

На дворе уже было темновато не столько от надвигающихся сумерек, сколько от непогоды, когда отец Осип отправился к Семкину. Но он был доволен темью этой и безлюдностью улиц, как будто шел на секретное какое-нибудь дело: так уж был настроен он на ту пору, занятый единственной мыслью в точности выполнить поручение несчастной старушки.

Подходя к семкинскому дому, он увидел, что улица, однако, не совсем пустынна: у ворот, необычно затворенных, должно быть, по причине непогоды, на обрубке дерева сидел какой-то человек, который спал что ли тут, так съежился он, закутав все лицо себе высоким откидным воротником смурого своего армяка.

Отец Осип подошел к нему близехонько, но и тогда он не приподнял низко опущенной головы, не выглянул из-под воротника, даже не пошевельнулся.

— Вишь, чудак, разоспался, — подумал священник и решился разбудить «чудака» на тот конец, чтобы он проводил его к Семкину во двор, где могли быть лихие собаки. И, лишь притронулся он к плечу спящего, как тот быстро вскочил с места, стал испуганно озираться и как будто намеревался бежать куда-то. Но отец Осип схватил его за руку и удержал. Тут-то и увидел он, что человек этот очень знакомый ему прихожанин его: то был приближенный служитель михеевского барина Макар Петров.

— Ты, любезненький, куда же это бежать хочешь от меня, отца твоего духовного? — начал священник. — Прятаться-то от меня не подобает, а коли у тебя и имеется для

того некая причина, — не таковский же я человек, чтобы выдавать, засаду устраивать. Нет, любезненький, ты ровно-таки ничего не опасайся, а мне до тебя дельце есть немаловажное.

Но не успел Макарушка ответить что-нибудь, как из-за угла улицы, на котором стоял семкинский двор, показался человек верхом.

— Ты! Ты!.. И в такую непогоду выполз!.. С кем там растабарываешь?.. — грозясь плетью, еще издали закричал подъезжавший человек.

Шумный вой бури мало заглушал этот зычный и грозный голос, походивший на какой-то дикий рев.

— Брат баринов... Михайло Николаич?.. — едва слышно промолвил Макарушка, чрезвычайно перепугавшийся, как показалось священнику. Всадник этот подъехал к воротам неспешно, перегибаясь на седле во все стороны, разминая закоченевшие члены. Он сидел на большой, сильной, но заметно измученной дорогою лошади.

Одет был он в длинный кожан, спускавшийся полами на высокие сапоги и перетянутый широким ремнем; голову его покрывал огромный клеенчатый картуз; из-за пазухи торчала большая рукоять ножа или кинжала. Вся дюжая его фигура резко, колоссально выступала сквозь тусклый свет надвигавшихся сумерек.

То был, действительно, Михайло Николаевич Г-в.

Отец Осип тоже узнал подъехавшего всадника, хотя не видал его давным-давно, так как Г-в в последние свои приезды в Михеево ни разу не был у обедни в селе Макшееве; он узнал его не столько по шепотному возгласу перепуганного Макарушки, сколько по какому-то предчувствию, что это, точно, тот странный человек, про которого так много говорили и говорят в макшеевском околотке, про которого как-то недобром отзываются все — и помещики-соседи, и даже свои, михеевские, и чужие крестьяне.

— А! Так вот с кем ты беседушку ведешь на досуге!.. Так-то ты помнишь, что было приказано тебе строго-настрого!.. Ну, погоди ж!.. — обратился к Макарушке опять с грозою Михайло Николаич.

— Государь мой милостивый! — важно и строго возразил отец Осип, — напрасно вы изволите гневаться на сего малого: хоша я подошел к нему, но для него ненароком и, как есть, невзначай, в чем уж доверьте мне яко священнику. Притом же доложу вам, напрасно и меня изволите считать за некоего соглядатая, как сие очевидным мне представляется!

— А зачем вы сюда? — отрывисто спросил Г-в.

— Все, конечно, ради весьма уважительной причины; инако что могло бы побудить меня на поездку в такую непогоду и бездорожицу, поистине, многоопасную?.. — отвечал священник, — поелику же полагаю, что вы, милостивейший государь, — родственник Иоасафа Николаевича господина П-ва, так, посему самому, я даже обрадован встречею с вами: опять-таки полагаю, что вы поможете мне повидать Иоасафа Николаевича, к коему препоручение имею от его родительницы.

— Вот что!.. Но здесь не место разговаривать, погодите, сейчас распоряжусь… — промолвил как бы с неохотою и сердито Михайло Николаевич. — Макарка! — продолжал он, — вишь, у вас порядки дурацкие завелися… ворота, и эти и на тот переулок, раствори настежь, как надо, лошадь мою не расседлывай, привяжи ее, вон, у того окна, — и он указал на крайнее окно в семкинском дому, очень длинно и наискось протянувшемуся посеред огромного двора, насупротив конюшен, хлевов и сараев, выходивших наружными стенами на другой переулок. — А нет ли гостей у Семкина?

— Никого нету, окромя старенького странничка, что повчера зашел, — отвечал вполголоса Макарушка.

— Лошадь я сам проведу, а ты вели Семкину, чтобы подал огня в мою горницу… Да странничка надо бы поскорее уложить… — приказал Г-в Макарушке.

Через грязный двор он провел отца Осипа за угол дома, где оказалась малая незапертая дверь. Когда Макарушка отворил эту дверь, Михайло Николаевич сдал ему свою лошадь и вошел в небольшую, жарко натопленную горницу, которая своей чистотой и довольно нарядным убранством, с двумя столами, покрытыми клеенкою, с хорошими стульями, обитыми кожею, с коврами на полу и на стене, у приготовленной «по-господски» постели, очень удивила макшеевского священника, уж никак не ожидавшего найти такую обстановку в доме простого ямщика.

Хозяин Семкин — приземистый, широкоплечий, но с лица худощавый человек, средних лет — видно, очень обрадовался гостям, осветил горницу ярко: на столах горело по две свечи — роскошь немалая, хотя свечи были сальные, в медных и жестяных подсвечниках. И не понравился отцу Осипу этот хозяин, который, однако, прежде всего, чин чином подошел к нему под благословение и уже потом обратился к Михайле Николаевичу с большими поклонами. В самом деле во всей физиономии Семкина было много странных и резких противоположностей. Так, по выражению серых глаз его, то сурово-проницательному, то задорно-веселому, так, по улыбке его, то быстро насмешливой и как бы язвительной, то чересчур смиренной и льстивой, нельзя было определить: жесток или добросердечен этот человек, и даже — действительно ли, он веселого от природы нрава.

— Все ли подобру, поздорову, батюшка, сударь, Михайло Миколаич?.. А мы-то вас ждали-заждалися, да вот уж с неделю каждый день вашу горницу топим… — заговорил хозяин проницательно, но очень осторожно, — все как-то сбоку и все урывками, заглядывая в мрачное лицо своего главного гостя, а притом льстиво, подобострастно и как будто в самом довольном и веселом расположении духа улыбаясь перед ним.

Михайло Николаевич ничего не ответил. Отсторонив от себя порывистым движением руки назойливого хозяина, он быстро подошел к занавешенному изнутри полостью единственному окну горницы, в которое еще не была вставлена двойная рама, и попробовал отворить его. Но оказалось, что оно крепко забито, должно быть с надворья.

— Это еще зачем? — сердито обратился он к Семкину, — придумываешь ты все с большой своей хитростью!..

— Помилуйте!.. только для тепла, батюшка, — а чтобы, то иссырь небольно заходила в горницу… А хитрости тут моей ровнехонько никакой… Помилуйте! — возразил жалобным тоном Семкин.

— Ну, нечего болтать! — перервал Г-в, — ступай, сейчас же вели на случай оседлать хорошую лошадь, и пущай заместо моей стоит наготове у самого этого окна, — может скоро понадобится… Топор еще, сюда… Да нет! Не надо, вот же молоток хороший есть и годится… Сам больше не мешай, а Макарку держи там, пожалуй, и поближе отсюда, но так, чтобы не подслушивал… Сам тоже отнюдь не моги!.. А я с батюшкой переговорю.

Все это казалось отцу Осипу странным и сомнительным. Не то, чтобы он боялся тут чего-нибудь собственно для себя, а все же как-то очень жутко было ему. Он догадывался, что Михайло Николаевич Г-в, человек со славой о нем худою, чем-то смущен, чего-то страшится, а потому принимаются им меры, — и даже прежде принимались ко внезапному побегу на случай какой-то опасности. Но откуда и по какой причине грозит эта опасность? Невольно вопрос об этом сильно тревожил отца Осипа, и в тревоге своей он сам держался наготове уйти, даже убежать отсюда немедленно, отчего не садился по двукратному от Михайлы Николаевича приглашению, а все стоял неподалеку от выходной на двор двери.

— Что же не садитесь батюшка? Аль чего опасаетесь? Кажись, вам-то не следовало бы, — сказал Г-в.

— Признательно молвить, — отвечал священник, — недоумение есть у меня... и ради того именно, что вы-то, милостивейший государь, словно страшитесь чего...

— До меня вам дела нет! — возразил Г-в отрывисто и повелительно, — прямо у вас спрашиваю: зачем сюда пожаловали? Говорите без всякой утайки.

Резкий тон Г-ва как будто обидел священника.

— Напрасно так преогорчаете! — сказал он. — Завсегда я тщился жить, если же путями ходил, было виднехонько всем, и перед вами такожде нечего мне утаивать... А впрочем, государь мой, что нам препираться? На прямой ваш вопрос прямо и отвечу: здесь я не по своей охоте, и уже всеконечно не по подсылу, здесь я по воле бывшей воспитательницы вашей, Надежды Ивановны П-вой; а взялся, клятвенно обязавшись, передать сыну ее Иоасафу Николаевичу все, что наказывала она перед кончиною, и считаю должным совершить сие самолично...

— Умерла?.. Умерла она?.. — прошептал Г-в, как бы требуя от священника подтверждения слов его о смерти Надежды Ивановны.

— Да! Приказала долго жить; скончалась и, воистину, как христианке подобает!.. — отвечал отец Осип, — а засим, прошу вас...

Но, взглянув на собеседника, он разом перервал свою речь. Г-в был в чрезвычайном волнении: ярко-румяное лицо его вдруг покрылось мертвенной бледностью и исказилось судорогами; несмотря на то, что не снимал своего кожана и вообще был одет очень тепло, он весь дрожал, как в сильнейшем припадке лихорадки.

— Умерла!.. Умерла!.. — повторил он много раз.

— Господь с вами, Михаил Николаевич, — заговорил священник, — что же вы так духом смущаетесь? Все мы под богом ходим, все мы, человеки смертные, кончина дней наших, предел его же не прейдеши... А Надежда Ивановна... Если рассудить, так и лучше, что Господи и прибрал:

жизнь-то была безрадостная и протяжная, вот, хоша бы то одно, что должна была приютиться в чужом дому… А успокоилась она вечным успокоением у нашего храма в Макшееве, рядом с могилою супруга своего, злополучно пожившего Николая Михайловича.

И опять отец Осип должен был прекратить речь свою, далеко не окончив все утешения, какие приходили ему на ум: Михайло Николаевич в исступлении отскочил от него к окну, сорвал полость его закрывавшую, огромным своим кулаком выбил раму и высунулся в отверстие, сквозь которое, как показалось макшеевскому священнику, вдруг мрачно и грозно глянула в горницу черная ночь.

На стук и звон стекол стремглав вбежал хозяин и Макарушка, как видно находившиеся до того близко.

— Господи!... Взъехали, что ль, во двор?.. — дрожащим голосом спросил у священника хозяин.

Но слышно было только, что дождь ливмя ливший обдает наружную стену и потоком сбегает с желоба на камень, а иногда, что Михайло Николаевич тяжело вздыхает и потом словно стонет.

Так прошло, может быть, с четверть часа.

Горница, что ли, совсем остыла через отверстие окна без всей рамы, но и отца Осипа охватила сильная дрожь. И тем более жутко было ему, что в горнице стало темно: порывами врывавшегося в нее ветра задуло три свечи и лишь четвертая, под нагоревшей светильней, тускло-тускло светила.

Все присутствующие находились, несомненно, под влиянием тоскливого страха. Но Михайло Николаевич первый пришел в себя. Он очнулся и по-своему распорядился.

— Вы зачем? — грозно крикнул он на хозяина и Макарушку, — как вы смели войти, когда я не звал?.. Вон отсюда!

И оба выскочили из горницы, хозяин дома даже проворнее Макарушки.

Михайло Николаевич сам принялся тотчас же приводить в порядок все, что было расстроено в горнице внезапным порывом его исступления: закрыл со двора ставнею выбитое окно, опять навесил на него полость, приладив ее так, чтобы, по крайней мере, ветер не проникал, зажег потухшие свечи и поправил нагоревшую. Все это он делал неторопливо, старательно, и поэтому можно было бы счесть его совсем успокоившимся, если б лицо его не было так бледно и мрачно по выражению, если б блуждающий взгляд его синих глаз не переносился беспрерывно с предмета на предмет.

— Значит, из-за этого вы… Да, да! Кажись, и еще… говорили… точно, говорили, — наказывала она… не скрывайте!.. Может, и думают на меня, но как Бог свят!.. — так заговорил он, наконец, глухим, прерывистым голосом и очень медленно, а в то же время как будто все прислушивался к чему-то.

Отец Осип на этот раз уже нисколько не был раздражен требованием не скрывать ничего из данного ему поручения.

— Надежда Ивановна, — отвечал он с некоторою торжественностью, — Надежда Ивановна долг христианский исполнила, исповедалась и приобщилась святых тайн, — и Господь даровал ей милость свою великую: успокоилась она духом своим, всем простила… простила тоже сына и благословила его… А за сим, — сам Господь внушил ей благую мысль, что должна она испросить у сына прощение в том, что во гневе клятву произнесла на него… Вот, таковым-то немалым препоручением и обязала она меня. И всеконечно, должен я все сие выполнить самолично. Посему и прошу вас, милостивейший государь, открыть мне, когда бы я мог видеть Иоасафа Николаевича.

Г-в выслушал священника с напряженным вниманием, но ничего не сказал в ответ, а отошел в сторону и предался глубокому раздумью, в котором, казалось, совсем позабыл о своем собеседнике.

— Я все-таки о том же самом, — подождав несколько, заговорил отец Осип, — и соизвольте рассудить милостиво, ну, как же мне-то тут быть? Через кого бы я мог осведомиться о месте пребывания Иоасафа Николаевича? Всеконечно, вы только и можете сообщить мне на счет сего самовернейшие сведения и указания. Так я, увидав вас, и вознадеялся… А ежели — паче чаянья — сомнения какие все имеете касательно соглядатайства, якобы подвоха с моей стороны, то ради важности дела я готов великою клятвою заверить вас… я и так уже единожды согрешил, поклялся Надежде Ивановне, что выполню в точности ее предсмертную волю.

— Не в том дело… — отвечал, наконец, Г-в, — я не сумлеваюсь в вас, — и если б усумнился!.. (голос его грозно прозвучал при последних словах). — Не в том дело!.. Нешто вы не знаете?.. Брат Есаф, — он болен, — он… и зачем вам самолично к нему? Я могу все передать, — слов тут немного, — «простила и благословила»… Слов немного… ну, еще, пожалуй… Нет!.. И то: надо ли вовсе?.. Надо ли?.. Надо ли?..

— Как! — вскричал священник, — да это ж всяческого удивления достойно!.. Духом возмущаюся!.. Как! Не надо, чтобы дух его успокоился, чтобы не услышал, не узнал он, что родительница сняла с него страшное проклятие, повязующее человека и в сем веце и в будущем?.. Я, ведь, так разумею конец речи вашей… О, Господи Боже многомилостивый! Да разве возможно так-то рассуждать?.. И если Иоасаф Николаевич, воистину, болен, то, несомнительно, должен получить он немалое облегчение и в недуге своем телесном, когда узнает от меня, и именно от меня, поелику поклялся я в том, — узнает, что родительница его примирилась с ним христианским примирением, что и сама она просит у него прощения… Господи! Я еще тогда сказал, что ангелы возрадуются, — вот, и паки скажу тоже!..

— Может быть и так... — промолвил почти шепотом Михайло Николаевич, — все же — подумаю... Но постойте!..

Он быстро подошел к постели, вынул из-под подушки колокольчик и позвонил. Серебристый звук очень тихо раздался, и почему-то отец Осип вздрогнул, испугался словно, заслышав его.

Другая дверь, ведшая внутрь дома, осторожно отворилась, — выглянула голова хозяина.

— Не тебя!.. Макарку!.. — крикнул Михайло Николаич.

XXXVIII

Макарушка вошел в горницу чересчур тихо и робко, с низко опущенной головою, как в чем-то очень виноватый. «Уж и боится же бедняк жестоковыйного сего человека!..» — невольно и неприятно подумалось отцу Осипу.

Но смущение и оторопелость малого сразу заметил и Г-в.

— Что еще такое? Недаром ты... Да говори же скорее! — вскричал он, — и внутреннее беспокойство еще сильнее выразилось на его бледном лице.

— Там... не благополучно... — прошептал Макарушка.

— Умерла?.. Та, что ль, — молодая? — спросил Михайло Николаевич, тоже вдруг понизив голос до шепота.

Макарушка, однако, не отвечал и все смотрел на отца Осипа, как видно, опасаясь говорить перед человеком посторонним, хотя и хорошо ему знакомым.

— Болван ты михеевский! — сердито прикрикнул на него Михайло Николаевич, — ну, что ротозеем посматриваешь по сторонам? Коли сам спрашиваю, и вот, здесь, — значит можно говорить. Говори все, все!..

— Никто там не помер… — отвечал Макарушка, — только все же не благополучно: теперича обеих там уже нету…

— Как?.. Куда же, куда девались?..

— Не могу знать, вот, как сквозь землю провалились!..

— Разберешь ли тут что-нибудь? Только в голове все мутится… И как слух, рассказывает! Ох! Да надо же с тобой!.. — и Г-в сделал было два-три шага к Макарушке, вероятно, с намерением «расправиться» с ним, но вдруг приостановился. — Слушай, ты!.. — промолвил он затем глухим, хриплым голосом, в котором очень слышалась сильная, хотя и сдержанная ярость, — если ты не будешь рассказывать по порядку все, как было, — я тебя!..

И он погрозил ему огромным своим кулаком.

— Дело было недавнышко… — начал испуганный малый, дрожа и заикаясь, — назад тому, в прошлое воскресенье было, в самые сумерки, пошел я туда навестить, и ничего такого не заметил, то ись, насчет отъезда ихнего… Только перед самым уходом моим старуха и говорит: «Хорошо бы, мол, хоша бы не сходить, а съездить в Голутвин, что ли, не то в Бобренов монастырь, аль в Хетьков…» А я так ответил: «Нешто, мол, годится теперича? Вишь, как разненастилось, а Марина Прокофьевна все нездорова, от поездки этой еще больше простудится…» Только и было наших речей об этом…

—Только и было речей! — повторил Г-в. — А сказал ли ты про них Семкину? Что заморгал? Не говорил, значит!.. Ну, да хорошо… Продолжай, и все по порядку, подробно.

— Еще с вечеру, — продолжал Макарушка в большом смущении, и все-таки рассказывая довольно обстоятельно, — и с вечеру, и во всю ночь, так и подмывало меня… Ранехонько, чуть рассвело, не вытерпел, побежал я проведать. Прихожу, хозяйка у себя ставни отворяет. «К кому? — спрашивает, — коли к тем, так они съехали от меня…» А дальше рассказала, что еще в понедельник попрощались с

ней, сказали, что совсем уезжают и уехали с каким-то стареньким мужичком, из-за села Щурова он, что ль… Опосля того, просил я здешнего хозяина разведать, он и посылал по всем монастырям и еще куда-то за Оку, только нигде следа ихнего нет…

— Как сквозь землю провалилися… и след простыл… сгинули пропали!.. — проговорил Михайло Николаевич, не то насмешливо, не то задумчиво. — Да!.. Ты, однако, не сказал мне, когда именно ходил туда в другой-то раз понаведаться… Смотри, не вертись, не вздумай соврать, я ведь таковский: коли не хочу быть обманутым, никто меня не обманет.

— Кажись… уж во вторник было…

— То-то денек пропустил и вышла оказия… Позови Семкина!

Вошел Семкин, разглаживая над довольно низким лбом кудрявые свои волосы. Он был как будто бы смущен, хотя заметно было, очень старался скрыть это под веселой и льстивой улыбкой.

— Ты уж знаешь, о чем речь идет, наверняк подслушивал, — начал Г-в, — ну, и что ж: след совсем простыл?

— Ка-быть, так точно, Михайло Николаич. А вот, ни слуху, ни духу, невесть что и подумать… — отвечал Семкин несколько торопливо.

— А не приложил ли ты руки тут, по крайности, не помог ли, этак, сторонкою?.. Смотри! И тебе говорю: лучше не лги!..

— Помилуйте! Да на что ж бы мне? Как есть, я тут ни при чем!.. А вот, хоша бы и вещи ваши, весь ларец ваш целехонек, я еще загодя отобрал его, все, нет-нет, а думалось… Ну, так сами извольте рассудить теперича…

— Резон! Значит: какая, мол, выгодишка была бы мне… Пожалуй, поверю… а впрочем, видно будет… Ну, а все-таки, ведь, ты у меня малый не только продувной, но и смышленый, неужли-то не смекнул до сих пор про то, куда

они делися? Вон, Макарка говорит, что мужичонко, который их повез, сказывался из-за села Щурова…

— Что ж, может, и не соврал; да эко-ся, сказывался из-за Щурова! За Щуровым многонько всяких сел и деревень. Вот, примером будучи, есть там, по ту и по другую сторону Оки-реки, села большущие: Ловцы, Бело-Омут и немалая деревня Луховицы, а еще подальше, уж за самым городом Зарайским, есть село Карино; так вот там, слышно, водятся, разно их называют: кто — молоканами, кто — духоборцами, кто — хлыстами, сами ж они величают себя святыми: глядишь, не к ним ли пробралися... Про это самое взбрело мне на ум, как только услышал про ихний отъезд.

— Кажись, старуха, аль хоть бы та, другая, кажись, не таковские они были завсегда, да ты и сам должен об этом знать… Впрочем, говори уж все, что на уме у тебя, как это ты домекнулся. Только я-то не совсем понимаю.

Хозяин покачал головою, слегка ухмыльнувшись. Но вдруг лицо его стало очень серьезно, и серые глаза вспыхнули ярким огнем.

— Еще не так-то много живу, а видал я… — сказал он, несколько понизив голос, протяжно и как-то строго. — Да! Уж видал, что под конец-то оченно о душе помышляют… Каких-каких стариков знавал, а и те… Ох, тяжко вспомнить об ответе, и помоги Господь тут всякому!.. А старуха, да ведь, она на все руки была, чай на своем веку немало-таки нагрешила, и давно бы пора ей подумать о спасенье… молодая же, ну, та совсем больнехонька, на ладан дышит, для ней оно и под стать.

— С ихней стороны, может, и так… — тихо промолвил Г-в, — но, когда ж бы успели они уладиться с теми, у кого спасаться задумали?..

— Слаживаться-то наперед и незачем. Слышно, там всякого принимают, коли нету опаски, что выдает; принимают всякого ради спасенья, это, вишь, по ихнему закону так следует. А похоронных местов у тех святых много, вот,

хоша бы и в селе Ловцах: леса близехонько подходят, леса пребольшущие с мещерской стороны; и болота такие есть, что только знающий да сможет там пробраться... А в селе Карине, говорят, больно сторожко живут: караулы свои есть для ночного времени, слышно, и подземные хода вырыты... право слово, Михайло Миколаич, думается так-то мне, и про иное что в голову вовсе не приходит.

Михайло Николаевич ничего уже не возразил. Как заметно было, все соображения и доводы «продувного» Семкина сильно подействовали на него. Он, молча, махнул рукою и хозяину, и Макарушке, чтоб уходили немедленно.

— Да не подслушивать больше, — вслед им проговорил он, но с явным усилием, так уже занята была голова его тяжелым раздумьем.

Он очень долго и «неспокойно» думал.

Но это было даже и не беспокойство, причиненное каким-нибудь дурным известием. С каждой минутой все больше обнаруживалось, что Г-ва томит, подавляет чрезвычайно сильная тоска, что он никак не может преодолеть эту тоску. Правда, он все молчал и ни малейшего вздоха не вырывалось из его груди, но лицо его было так расстроено и искажено внутренней борьбою, — то он так «метался, места себе не находил», то садился, и лишь на миг, то вскакивал и начинал ходить из угла в угол, то останавливался посеред горницы, как будто прислушиваясь и не ко внешнему какому-нибудь шуму, а к тому, что совершалось в душе его.

«Что ж это он так встосковался?.. А ведь человек-то не слабодушный!» — подумал ни один раз отец Осип, следивший за проявлениями тоски в Г-ве все с большим вниманием, не смотря на то, что его глубоко интересовал только что выслушанный разговор.

Он понимал, что это волнение, эта тоска не от известия же о кончине Надежды Ивановны. Отчасти он догадывался, что дело тут идет о внезапном, непредвиденном исчезновении, должно быть, полюбовницы Иоасафа Николаевича,

что именно это происшествие (от чего бы оно не зависело, от блажной ли или благой воли самой полюбовницы, от неведомых ли расчетов какой-то там старухи или же от особой случайности) потрясло глубоко, даже поразило «жестоковыйного человека». Но если бы так было с Иоасафом Николаевичем, «балованным этим помещиком», (не иначе смотрел на него отец Осип), оно было бы еще понятно, а вот, сей «жестоковыйный», он-то из-за чего стосковался, духом смутился и, как заметно, не ведает что ему предпринять? Хоть бы то было, что бежавшие женщины похитили у него большие деньги или дорогие какие вещи, а то, судя по словам хозяина, и этого нет… Уж не боится ли он, что они явятся куда-нибудь с доносами на него? Последнее предположение, осенившее макшеевского священника, показалось ему весьма вероятным: он внезапно вспомнил темные слухи о том, что этот самый господин Г-в, может статься, атаман целой разбойничьей шайки, да кстати еще сообразил все обстоятельства, которыми так странно сопровождалась теперешняя встреча его с господином Г-вым. И оторопь большая напала на него, так что впору было бы бежать и бежать отсюдова: он даже и очень задумывался было насчет этого побега.

Но, конечно, бежать никак не приходилось уже потому, что в глухую ночную пору, да в такую темь и непогоду, он человек пожилой и имевший зрение слабое, легко бы мог сбиться с дороги ко двору своей сестры. А главное, как по своей воле выбраться из этой горницы, обстановка которой теперь казалась ему такой мрачною, когда «жестоковыйный господин» тут же находится, притом он так расстроен, а может быть, и особенно злобен в эту самую минуту?

Отец Осип, наконец, решился прервать это столь тягостное, внушавшее ему всяческие опасения, молчание. Повод к разговору у него был готов: надо же было добиться сколько-нибудь положительного ответа насчет свидания с Иоасафом Николаевичем. Для подкрепления себя в этой

решимости к разговору макшеевский священник несколько раз повторил про себя слова, с которыми о том самом предмете хотел он обратиться к Г-ву. Слова эти все и вертелись у него на языке, но когда он заговорил, вышло как-то совсем иное, вышло нечто такое, о чем решительно не думал до того.

— Я все думаю теперь, милостивейший государь, — начал он, — я все думаю, на дворе что деется… буря, что ль, а то может статься, послал Господь уже и выяснело.

Михайло Николаич, в это время опять быстро сновавший из угла в угол, вдруг остановился насупротив священника, вперил в него с каким-то тупым недоумением потускневшие от тяжкой думы синие глаза свои и ничего не ответил, продолжая, однако, стоять на одном месте, как бы в ожидании, что еще скажут ему.

Но, хоть и смущаемый упорным диким взором Г-ва, отец Осип все-таки успел справиться с самим собой.

— Уж не взыщите, что эдак-то, воистину нелепо, повел, было, я речь… — продолжал он, — ибо предстоит мне переговорить с вами отнюдь не о погоде, а все о том, о чем уже было говорено. Прошу вас весьма настоятельно объявить мне, где и когда именно мог бы я свидеться с Иоасафом Николаевичем, дабы передать ему про все наказанное через меня усопшею его родительницею? Прямо доложу, важный вопрос сей предлагаю теперича в последний раз, поелику мне и быть-то здесь далее не приходится… Наконец, убедительнейшее прошу вас вникнуть повнимательнее в мое вопрошение, коим, может статься, и наскучаю вам.

— Я слышу, все понял… — отвечал Г-в глухим, прерывающимся голосом, — а что же ответить то вам?.. Вы с той стороны, вы должны хорошо знать… да и как не знать — чем загубил себя Есаф… чем и мать уложил в могилу… Да! Загубил себя… и все через ту свою любовницу!.. Но вы же знаете, нечего много толковать… И вот, она ушла, убежала неизвестно куда… Вы тоже и про это сейчас слышали!..

— Ушла, убежала… да, ведь, «слава Богу!» надо говорить! — возразил с большою горячностью священник. — Воистину, благое дело, что сошла по своему изволению с неправедного пути. И чего было бы ожидать, окромя самого наихудшего конца, когда бы разврат и еще продолжался?.. Восчувствовала та женщина, на грех свой тяжкий взглянула оком душевным… помилосердуйте! По моему простому смыслу, чудо некое совершилось на спасение погибавших во тьме греховной!

— Говорите вы… то-ись, так это по вашему… А тут совсем иное! Что будет… ох! Что будет, когда он узнает!.. Что с ним-то?.. Вот, я о чем… В голове все больше да больше мутится!.. И ничего, ничего не могу придумать…

И опять Г-в поддался чрезвычайному волнению.

Минуты две-три, молча, смотрел на него отец Осип, но смотрел уже иначе, чем прежде, не только безо всяких подозрений, но и без недоумения. Он начинал ясно понимать, что этот господин Г-в истосковался так именно о брате своем. «Ну и что ж! — заключил он в добром своем разуме, — дело это, как есть, настоящее, ибо на сем свете нет у него иных кровных». Поэтому, он вдруг почувствовал большую жалость и к самому «жестоковыйному человеку».

— Михаил Николаевич? — сказал он тихо и приязненно, — выслушайте вы меня со всяким вниманием и с терпением, поелику речь моя, хоша и простая, а будет, как есть, по душе. Признаться, давеча согрешил я мысленно — подумалось нечто неподобное о многом, такожде и о смятении вашем… ну, а теперича, уже твердо вижу, что брата вашего единокровного весьма и весьма вы жалеете… Да воздаст вам за сие Господь премилосердый!.. Поверьте, что жалею и я…

Но он должен был прервать свою речь: «жестоковыйный человек», обернувшись лицом к стене, плакал навзрыд.

«И хорошо это, что всплакнул, — легче будет ему, сердечному!.. А все же, достойно удивления…» — так поду-

малось доброму священнику, и он решился не мешать этим слезам, немало его удивившим.

Михайло Николаевич недолго, впрочем, плакал. Он как-то вдруг успокоился и, усевшись поодаль от отца Осипа, не глядя на него, как будто стыдясь своего малодушия, проговорил почти шепотом:

— Вы, батюшка, не смотрите на это, бывает со всяким… А хоша я сейчас… но могу слушать, могу понять, и лучше давишнего. Вы уж сделайте божескую милость, говорите опять… говорите все, что у вас на сердце. И наперед вам скажу: послушаюсь вас, надо быть, во всем сделаю, как велите! Что ж! Видно, мой-то смысл… Эх, да и нечего о том!..

— А я на прежнее обращусь, — начал опять отец Осип, — очевидно теперича для меня, что жалеете вы по любви вашей Иоасафа Николаевича, и я тоже весьма жалею его. И как же бы я иначе? В селе-то Макшееве священствую уже больше тридцати годов, всех помещиков моего прихода как отец их духовный хорошо знаю, и весьма уважал я покойного Николая Михайловича и Надежду Ивановну, немало сострадал им в тяготах и скорбях ихних… Однако, вот, в теперешнем-то случае жалость жалостью, а рассуждение от разума должно же иметь свою силу, ибо оно не только не воспрепятствует познать в делах, до ближних наших касающихся, самую их сущность, а наипаче — волю Божию, но и весьма таковому познанию можем содействовать. Сие-то самое и хотел я предложить вниманию вашему. Затем проще и ближе к предмету скажу: твердо я уверен, что надлежит просто же поступить с Иоасафом Николаевичем: самолично передам я ему прощение и благословение родительницы и о том передам, что перед христианскою кончиною сама она пожелала и у него испросить христианского прощения. Так быть должно, именно так, первее всего! И на то есть даже немалое указание свыше: не вотще же происшествия, о коих беседуем мы и совещаемся, свер-

шилися, почитай, единовременно и, таким образом, что вот, вскоре же по кончине Надежды Ивановны, там-то, в другом месте, как бы некое внушение — беспременно сокрыться от греха... Воистину, тут воля Божия!

Глубоким убеждением звучали слова доброго макшеевского священника, и, как видно было, они сильно подействовали на Г-ва.

— Да! Верю я вам, — сказал он и, как послышалось отцу Осипу, сказал очень твердо, — точно: чем проще, тем будет лучше... — Но вслед же за тем, он вдруг тоскливо прибавил, — ну, а как же, а что придет ему тогда-то в голову?.. Думается, думается — и всего теперича боюся... Ох, дума эта моя горькая-горькая: и напрасно считали другие, и напрасно сам я считал, что смогу завсегда и все рассудить, наотрез порешить так; чтобы выходило — вот, мол, лихую беду взял и отвел в сторону, вот, мол, устроил, как хотелося... Ан нет! В чужой беде... да нешто и чужая тут беда?.. И сам я... то-то и есть: ихнего же рода-племени!..

Он замолчал, разом на чем-то еще недосказанном оборвав свою речь, внушенную, явно было, очень тяжелою мыслью. Но и в том, что было сказано им, особенно же в последних его словах, выражалось столько печали, какого-то сомнения в самом себе, какого-то бессилия воли, даже отчаяния, что отец Осип и опять подивился и затем опять стало ему жаль своего собеседника — этого сильного молодца по наружному его виду и обращению, этого человека, сейчас столь властно и как-то буйно здесь же распоряжавшегося.

— Михаил Николаевич! — сказал он ему, несколько подумав, — а я дивлюсь, наиболее же сожалею и о вас, о вас самих: очень уж вы прискорбны душою, даже совсем унываете... Зачем же так? Уныние, воистину, смертный грех! И знаете ли по какой причине, грех сей может преодолеть человека, может ввергнуть его в конечную погибель? А все от страсти, коей так легко многие и многие поддаются, —

именно от гордыни душегубительной… Но отчего бы не возникла у вас сия гордыня, — не стану допытываться, а прямо довожу до предмета, предлежащего нам к обсуждению. Вот, вы хотели бы наперед все устроить так предусмотрительно, чтобы по вашей мысли какой-то все вышло, вы хотели бы тоже наперед знать: что и как воспоследует и после разговора моего с Иоасафом Николаевичем и далее; но разве это возможно? Сущность-то дела сего весьма важна, значительна многосторонне, но посему и нельзя предвидеть ничего-таки положительного, и я, по крайней мере, только в одном твердо уверен, что мое объявление по завещанному мне Надеждою Ивановною должно много умилить душу братца вашего…

— Умилить душу! Умилить!.. — вскричал Г-в, — но у него и так душа-то, словно у малого ребенка!.. А тут, тут нужно…

— Оставьте! Оставьте, — прервал и священник, — или не знаете, что сила Божья и в мале совершается?.. Впрочем, Михаил Николаевич, я все-таки на том же стою: первее всего должно быть выполнено завещание покойницы. И сему вы уже не препятствуйте более.

— Хорошо… Я уж сказал, что сделаю по-вашему… Пусть будет что будет!.. — ослабевшим голосом проговорил Г-в и, подойдя ко внутренней двери, кликнул Семкина; но тот лишь после повторного зова явился, вероятно, в знак того, что был далеко и не подслушивал.

— Лошадь в тележку… для батюшки… — сказал Михайло Николаич, еще с большим усилием выговорив эти немногие слова.

Когда лошадь была готова, Г-в, уже отдохнувший несколько от своего волнения, предложил отцу Осипу съездить сейчас же туда, где он остановился в городе, и сказать там хозяевам, что ему надо немедленно отправиться «ну, хоть в село Дедново, откуда, мол, и вернусь завтра же к вечеру». Священник ничего на это не возразил, но все-таки,

подумав, нашел нужным спросить: «А куда же мы поедем потом?»

— После скажу. Я тоже с вами поеду, — коротко отвечал Г-в.

XXXIX

Отец Осип вернулся на семкинский двор очень скоро. Он все-таки спешил пуститься в поездку теперь для него совсем таинственную, о которой невольно уже думалось ему как-то смутно и жутко, хотя он и старался поддерживать в себе то самое убеждение, сейчас твердо высказанное перед Г-вым, что свидание его с Иоасафом Николаевичем произведет на него благодетельное влияние. — Господи помилуй! Господи помилуй нас грешных! — часто твердил старый священник и про себя, и вслух.

Он нашел Г-ва по-видимому совершенно успокоившимся. Лицо его опять было румяно, глаза светились ярким огнем. Однако все движения его были чересчур торопливы, он говорил очень много и как-то резко с хозяином Семкиным и с Макарушкою, хотя речь шла о сущих пустяках; а притом, разговаривая так, все как будто прислушивался к чему-то.

— Вот, это ладно, что проворно вернулись. Ну, а мы тоже отсюда не замешкаем, — сказал он священнику.

И точно: скоро под окном раздались переливчатые звуки бубенчиков ямщицкой тройки. Семкин с поклоном доложил Михайле Николаевичу, что тройка готова. — Не берегом ли поедем? — опасливо промолвил отец Осип.

— А что же? — спросил Г-в.

— Уже куда темно… как бы в реку не свалиться!..

— Ничего… Доехать-то доедем…

На дворе было чрезвычайно темно. Заместо дождя, мокрый снег валил хлопьями. Только ветер совсем стих, и это

обещало, что под утро мороз стянет расступившуюся от дождей вязкую глинистую почву по берегу Оки-реки.

Михайло Николаевич уселся в повозку вместе с отцом Осипом, и им там, в набитой сеном небольшой телеге, под низкой кибиткой с полостью, было тесно и неспокойно. На облучке с ямщиком поместился и Макарушка. — «Его-то зачем берет?» — подумал священник, которого опять стало разбирать какое-то сомнение насчет «жестоковыйного человека».

— В тесноте, да не в обиде, — сказал Г-в, когда тронулись в путь, — впрочем, с вами я проеду недалеко, только верст пять-шесть, а там пересяду на пристяжную и перед возьму: вам-то все время придется ехать шагом, а мне надо гораздо скорее.

— Теперича же и без спросов ваших, — продолжал он после недолгого молчания, — скажу-таки вам, батюшка, каким путем-дорогою поедете и куда дойдете. Сначала, точно, будет берегом Оки, да вы не бойтесь, Егорка о своей голове позаботится, не захочет нырнуть в реку со своей тройкой. А не доезжая до Деднова с версту, повернете вы вправо на село Городец, а там еще верст пяток, и мы с вами опять свидимся.

— Не бывал я в тех местах, но слыхивал, — неспокойным голосом отвечал священник, — слыхивал я, что за городецкой частью тотчас же пребольшой лес начинается и идет вплоть до Злобина, что ль... пески там сыпучие, по ним же ехать скоро никак нельзя, и молва о том лесе в народе нехорошая... Признаться, милостивейший государь, сомнение меня берет...

— Волка-то бояться, в лес не ходить. А коли побаиваетесь, сумневаетесь о чем-то, сидели бы дома. Право слово, так! Да я и переговаривал, что оченно можно бы обойтись и без вашей поездки... Что же, хотите и оглобли назад повернем?

Грубый тон этого возражения разогорчил отца Осипа, но он только произнес вполголоса: «Напрасно! Воистину, напрасно!» и замолчал, решившись, отнюдь уже не пускаться ни в какие объяснения с этим «прегордым господином Г-вым», а во всю дорогу «безотменно бодрствовать и наблюдать за всем недремлющим оком».

Но «наблюдать» оказывалось решительно невозможным. Непроглядная мгла наполнила пространство во все стороны, даже вся ширина большой реки, по берегу которой пробиралась семкинская тройка, поглощена была мглою и никаким очертанием не обозначалась для напряженного взора священника макшеевского, он только чувствовал, что вот слева река очень-очень близко, недаром иной раз явно слышались и всплески ее волн, и шум сбегающих в нее кое-где потоков с косогорья.

Ехали чрезвычайно медленно с довольно частыми остановками, причем ямщик (и Макарушка по его примеру) привставали на облучке и всматривались во тьму; ехали, значит, с крайней осторожностью; отец Осип даже дивился, как хорошо разбирает ямщик Егорка дорогу, а все-таки, не смотря на эту всю исправность Егоркину, ужас все больше и больше донимал старика, и он уже громко и беспрестанно повторял: «Господи! Помилуй! Спаси, спаси нас!..»

А Г-в по-видимому спал спокойно.

Но вдруг он встрепенулся, высунул из-под кибитки огромную свою голову и спросил ямщика: — А что, верст пяток, аль поболе, проехали?

— Не разберешь, Михайло Николаич, вишь, все темновато. А пора бы, кажись, и свету быть, — отвечал ямщик.

Скоро и для незоркого отца Осипа стало заметно, что край неба на восточной стороне светлеет и светлеет, что мгла над Окою разом заклубилась: волнующаяся пелена предутреннего тумана уже обозначала течение реки, хотя и скрывала саму поверхность ее.

— Егорка! — сказал Г-в, — отпрягай-ко левую пристяжную, да и оседлай проворно... Макарка, шельмец! Не смей ты без толку усердствовать: ну, кто тебе велел обтирать лошадь? Грязь не сало, помял, и отстало. А вы, батюшка, прощайте покудова, часика через три, пожалуй, коли хватит у вас еще хотенья да терпенья, — мы и увидимся. — А то и так, — прибавил он насмешливо, — можете проехать прямо в Едново, оттуда же к себе домой. Егорка довезет исправно, сейчас, пожалуй, прикажу... Что вам, в самом деле, беспокоиться!

— И опять все это — напрасно! — отвечал отец Осип, — напрасно, как будто издеваться желаете надо мною, милостивейший государь!.. Я ведь все время не на шутки шел, а что по слабости человеческой убоялся, было, я, это-то может статься, и достойно посмеяния... Только могу вас обнадежить, что, несмотря на слабость мою, твердо выполню все мне предлежащее... Теперича прикажите меня везть, куда вы там знаете.

— Хорошо. Егорка знает дорогу. А я встречу, где нужно, — коротко сказал Г-в и, переведя оседланную лошадь через канаву, отделявшую бечевник, по которому шла проезжая дорога, от далеко и широко покатившегося пространства лугов, шибко поскакал, и скоро скрылся из виду.

Ему можно было скакать: луговая дернина, хоть и продавливалась кой-где, все-таки легко выдерживала верхового; но паре лошадей в повозке с тремя седоками приходилось пробираться по глубоким колеям глинистого берега очень медленно. Затем еще подошла городецкая гать, еле проездная. Всего каких-нибудь десять верст проехали, а времени протекло много, и, по всей вероятности, не совсем-то далеко было уже до полдень, когда выбрались с гати к большому лесу, стоявшему впереди неоглядной, темной стеною.

— Теперича все лесом поедем, — оглянувшись на священника и чему- то ухмыляясь, сказал Егорка-ямщик.

— Вижу я это, милый человек, — отвечал священник, — только… все ли благополучно будет? Ты скажи мне, не утай ничего…

— Не бойтеся! Нас никто не тронет.

Вся песчаная дорога лесом по широкой просеке шла несколько в гору. Очень можно было бы ехать тут и рысью, так как дожди скрепили, сделали твердым сыпучий песок; но почему-то ямщик не погонял лошадей. Странным показалось священнику и то, что Егорка держится все левой стороны, тогда как все наезженные колеи были справа; он хотел было спросить о том, но не успел.

Вдруг с левой же стороны выдвинулся из лесу Михайло Николаич Г-в.

Он был не во вчерашней одежде, а в короткой поддевке и в низенькой шапке; но, несмотря на отсутствие длиннополого кожана и большого картуза, он и под сенью высокорослых сосен казался чрезвычайно коренастым, огромным и страшным человеком. «Ну, как есть сущий разбойник… Вот, скажет: молись Богу!..» — невольно подумалось отцу Осипу.

Но Г-в не то сказал.

— Исправно я встретил, да и ты, Егорка, исправен, — сказал. — Выходите-ко, батюшка! Вы уж стареньки, так я беговые дрожки для вас приготовил, шагов несколько в лес сделаем, увидите. Править будете сами или Макарка, а я пойду подле, ехать-то придется все-таки шагом. Да тут недалечко.

Отец Осип предпочел тоже идти пешком и углубился в лес за Г-вым, твердо пробиравшимся по чуть заметному колесному следу. За ними ехал Макарушка. А ямщик Егорка остался одинешенек на большой дороге, но, оставаясь так, он ни о чем не спросил у Г-ва, что немало удивило священника.

В таком-то порядке по лесу пробирались и недолго, с полчаса, может быть, только. Колесный следок уперся в ма-

лую, ладно расчищенную полянку, с одной избой на ней, с какими-то навесцами подле избы и с крохотным огородцем, высоко и тесно обгороженным жердями. У огорода привязана была оседланная лошадь, как замечалось, с господской конюшни.

— Лесник живет. Но его нет дома и злющих собак своих увел, — промолвил Михайло Николаевич.

Он приказал Макарушке остаться при беговых дрожках, а сам с отцом Осипом вошел в избу просторную, довольно светлую, с дощатым и чистым полом, усыпанным мелкой сосновой и еловой хвоею.

На лавке за столом в переднем углу сидел Иоасаф Николаевич.

Он вздрогнул и испуганно вскочил с места, когда вошли в избу Г-в и священник. И невольно отец Осип приостановился у порога, чтобы получше вглядеться в человека, с которым предстояло ему вести «немаловажный» разговор. Вся наружность человека этого с первого же раза чрезвычайно поразила его.

Иоасаф Николаевич всегда был бледен, но теперь его бледность особенно выдавалась от долговременного небритья бороды, которая и облегла очень резко продолговатое, истомленное, осунувшееся лицо, — эта бледность походила уже на мертвенную, можно бы сказать, если бы большие глаза, обыкновенно тускло-темные, не горели так ярко и не выражали, что несчастный живет еще, живет, сжигая жизнь во всю остальную свою душевную силу… Одет был он не так просто, как его побочный брат, — в синем прекрасном казакине, охваченном глянцевитым поясом; на вышитой шелками перевязи висел через плечо небольшой охотничий рог; на ногах — высокие сапоги с голенищами из глянцевитой кожи; то был щеголеватый костюм молодого барина, собравшегося весело поохотиться с борзыми. Все это хорошо заметил отец Осип и, может быть, очень не понравился бы ему такой наряд

михеевского помещика, зазнаемо выехавшего, как предполагал он для выслушания от духовника его матери последней ее воли, не будь перед ним это страшно бледное, истомленное лицо, этот горящий взор со страдальческим выражением…

Ни от чего не охладело в почтенном священнике постоянно поддерживавшееся в нем чувство обязанности выполнить, как можно достойнее, предсмертную волю Надежды Ивановны; напротив того, в настоящую минуту вся эта странная, еще недавно так подозрительная ему обстановка, при которой устроилось свидание с Иоасафом Николаевичем, совершенно исчезла из его соображения, а то чувство укрепилось в нем еще более. Но все-таки и жалость, охватившая его при виде несчастного молодого человека, была настолько сильна, что он как-то не находил слов, чтобы заговорить с ним.

Заговорил первый Михайло Николаевич.

— Что ж в молчанку-то играть! — сказал он, — Есаф! Спроси же батюшку… Ведь недаром пожаловал.

— Вам в утешенье… — начал священник, — воистину, так … через меня, родительница благословила вас и… и простила… и сама просит…

— Погодите! — тихо, но довольно твердо и как будто совсем спокойно перервал его Иоасаф Николаевич, — зачем же прямо не говорите, что уже скончалась?.. И брат не сказал!.. Но я знаю… знаю!.. А где похоронена она?..

— В Макшееве, рядом с могилою родителя вашего… — отвечал священник и так изумлен он был спокойствием Иоасафа Николаевича при ответе, удостоверяющем о кончине матери, что вдруг позабыл все витиеватые речи, какие столько раз натверживал себе, какие придумал в утешение сыну, горесть которого, как представлялось ему, будет велика чрезвычайно.

В невольном смущении, он ничего более не говорил, даже о том, что еще вертелось на языке, насчет испраши-

вания Надеждою Ивановною у сына христианского прощения. И оба брата молчали. Тихо прошло несколько минут.

— О, батюшка! — вдруг вскричал Иоасаф Николаевич, — теперь я все помню, хорошо помню!.. Но молчите, молчите, ради Бога! Еще будет время…

Он стал на прежнее свое место и, откинув голову к стене, закрыл глаза. Утомление ли одолело его, обдумывал ли он что-то, трудно было бы разобрать. Но бледность, мертвенность лица выдавались теперь еще резче.

И опять жалость сильно шевельнула сердце отца Осипа. Он внезапно и ясно почувствовал, что не спокойно, отнюдь не равнодушно выслушал Иоасаф Николаевич весть о кончине матери, что напротив, что смертельной тоскою потрясена вся душа его, и не сможет он сам совладеть с этой тоскою. Несмотря на запрет, он решился заговорить на утешение ему.

— Иоасаф Николаевич! Прост я человек, но ей-ей от всего сердца уста мои возглаголят… — сказал он, и новые речи, вовсе не те, что придумывались прежде, свободно полились, — ведь, и всем человекам таков предел положен, и всяк в чреду свою должен будет успокоиться вечным упокоением, и родительница ваша, когда пора для ней…

— Довольно, батюшка! Разве я сам не знаю? — тихо перервал Иоасаф Николаевича. — И то еще знаю, ждать мне недолго, упокоюсь и я в земле сырой, все там рядышком… А теперь, — продолжал он и встал, выпрямился, и словно какая-то сила вдруг проблеснула в нем, — теперь полно мыкаться! Туда, к тому месту, к роду-племени надо поближе… Батюшка! Я с вами готов сейчас же, подвезите меня до Михеева.

— Есаф! С ума ты спятил! — грозно вскричал Г-в.

— Нет, Миша! — отвечал он, — я сделаю то, о чем уже вдоволь надумался, с тех самых пор, как все припомнил.

— Надумался ты! Это сейчас-то расчувствовался!.. Ну, мать простила и благословила, умерла там, упокоилась —

и Господь с нею!.. Из-за чего-то тебе на муки идти? Ты знаешь ли: как только приедешь домой, тотчас нагрянет содом приказничий, станут пилить-допрашивать и передопрашивать, на очные ставки ставить, станут по ихним судам таскать да мытарить… Того ль тебе надобно?.. Посылал я справиться и, наверняк, узнаю: обыски там, облавы были, понасажали в острог людей довольно, одно слово, приказные поусердствовали, сплели сеть большущую да крепкую. И я же тебе про все это сказывал! Спроси, вот у батюшки, он тоже знает.

— Напрасно этим-то пугаешь: не боюсь я ни обысков, ни следствий, ни судов ихних… Помню одно и за это ответ буду держать не перед здешним судом. Брат! Я решился!

— Так-то! Ты решился!.. А забыл, что в Коломне осталось?

— О! Не забыл!.. И не забуду!.. Но жива ль еще?..

— Жива… Да, да!..

— Жива… но все-таки скоро… Я еще тогда простился… Ты увез меня и помнишь? Я не поперечил. Степовичка не раз говорила, что недолго жить, и сама она про то знает, да и я… разве я не видел?.. Но если жива, брат! Не покинь ее!.. Ты лучше меня сумеешь распорядиться, а я, как приеду в Михеево, вышлю тебе денег…

— Да какой же ты человек-то? Безумный, что ль… аль… и не знаю, как сказать!.. Нет! Не безумный!.. А нету, нету у тебя жалости ни к кому… Вот, я — и нешто есть ко мне жалость?.. А я-то грешил — наживал!.. Что же! Пущай теперича все прахом идет!..

— Брат!.. Я умирать собрался… Пора к роду-племени… — проговорил шепотом Иоасаф Николаевич и пошел из избы.

Стремительно кинулся к нему Макарушка и старался схватить его руку для облобызания, но барин не допустил до этого и сам обнял его.

— Скажи мне правду сущую, — спросил Иоасаф Николаевич у верного своего малого, — перед отъездом-то сюда видел ты Маринушку?.. Какова теперь, голубка моя бедная?.. Дышит ли?.. Долго ль ей на белом свету жить-маяться?..

Макарушка жалобно посмотрел на подошедшего в эту минуту Михайла Николаевича: он не знал, что ответить барину.

— Я тебе скажу всю правду, — сурово и гневно молвил Г-в, — назад тому три дня, что ли, Степовичка и Марина покинули свою квартиру, о чем сказали, однако ж, хозяйке, и словно бежали, — бежали никому неизвестно куда. Семкин говорит, что, должно быть, отправились к духоборцам, ради спасения, вишь, спасаться захотела… Слышишь, Иоасаф? Слышишь?..

— Да, да!... Наверное они… О, слава Богу! — чуть слышно произнес Иоасаф Николаевич и набожно перекрестился.

Поднял было руку для крестного знамения и макшеевский священник, но удержался, вдруг вспомнив, что беглые те женщины, если и отправились искать спасения, то по всей вероятности, к духоборцам, «этим злейшим врагам православной церкви».

Отойдя несколько в сторону, Иоасаф Николаевич впал в глубокую задумчивость и, казалось, совсем забыл, где и с кем он и о предположенной им поездке в Михеево. Г-в смотрел на него, не сводя глаз, как бы выжидая чего-то. Но он не смог дождаться, сам хотел вызвать какое-то решение и быстро подошел к брату.

— И оставишь так?.. Не станешь разыскивать?.. — спросил он глухим голосом, — ведь следы есть, можно найти, Иоасаф! Не уж-то и тут…

— Оставь, милый брат! Так быть должно… — прервал тот, — так быть должно, потому что я и прежде решился…

А затем, — помолчав с минуту, продолжал он, — прощай, и может быть… Но, просто, прощай!.. Будь во всем счастлив… Меня-то не поминай лихом, нет! Всегда помни, что любил я тебя истинно, по-братски.

Он обнял Г-ва и несколько времени так простоял, обхватив руками широкие его плечи, все заглядывая ему в мрачное лицо и в глаза, отведенные в сторону. Но Г-в не захотел вымолвить своего слова на прощание.

Вздохнув, Иоасаф Николаевич отошел, наконец, от брата, еще раз промолвил ему, уже шепотом: «Прощай!» и тихо побрел по колесному следу в направление к большой дороге. За ним пошел и отец Осип. Макарушка хотел было тронуться на беговых дрожках вслед за барином, но Михайло Николаевич остановил его.

— Отпряги лошадь, — сказал он, — она семкинская, и отведи ее к тройке. Да скажи Егорке, чтобы вез туда, куда прикажут. Ну, и прощай, Макарка!.. А коли ты и впрямь человек верный, послужи твоему барину до конца…

И, не оглядываясь, он ушел в избу.

XL

Остается досказать уже немногое. Но я все-таки должен оговориться еще об одном обстоятельстве, касающемся собственно моего рассказа.

О дяде моем, Иоасафе Николаевиче, я рассказываю только по домашним преданиям, на основании того, что слышал я от лиц, более или менее близко стоявших к нему, имевших возможность не формально, а очень интимно наблюдать за событиями печальной его истории, и потому глядевших на нее с различных точек зрения, под влиянием разнообразных чувств и впечатлений. Довольно рано я успел разобраться в подробностях всего рассказанного мне, даже весь смысл истории для меня уяснился, и уже поэто-

му я мог не заглядывать в официальное «Дело о дворянине 14 класса Иоасафе Николаеве сына, П-ве».

А не раз хотелось мне просмотреть объемистое «дело», сделать из него выписки, поверить по нем рассказанные мне факты, но в конце концов чувство непреодолимого отвращения не допускало меня до этого. И очень жалею о том: из «дела» я увидал бы и мог бы другим показать, как судили и засудили бедного моего дядю тогдашние судьи; да и вообще, тогда я рассказал бы про все, может быть, гораздо точнее, по отношению к формальной стороне дела. Но повторяю: непреодолимое отвращение не допустило меня погрузиться в затхлый ворох бумаг, заключавших в себе приговор человеку, в глазах моих чрезвычайно несчастному и отнюдь не преступному.

Конечно, в следственном деле я не нашел бы разъяснения, ни даже намека насчет того, какие именно причины побудили Иоасафа Николаевича П-ва возвратиться в опустелый михеевский его дом. Но и семейные предания не разъяснили мне этого. А очень странно, как он мог решиться на возвращение, за которым, про что, вероятно, и ему хорошо было известно, должны были немедленно последовать в высшей степени неприятные сношения с разными уездными чиновниками, людьми для него всегда антипатичными, которых, может быть, вследствие воспоминаний об отце своем он даже боялся. Между тем, уклонившись, в течение некоторого времени от чиновничьих придирок и преследований, переждав где-нибудь вне дома, пока скандальное дело собственно о каком-то будто сообществе с беглыми солдатами позатихнет, можно было бы, наверное, надеяться, что дело это закончится решительно ничем, как и многие скандальные дела оканчивались тогда таким же образом; про все это много говорил брату Михайло Николаевич Г-в, для того-то и увозил он его из хижины Степовички и из города Коломны.

Да и это ли одно должно было бы отклонять Иоасафа Николаевича от возвращения в Михеево? Действительно, по всем причинам ему там действительно нечего было делать, особенно же в позднюю, глухую, осеннюю пору; притом слишком печальные воспоминания должны были тесно обступить его при первом же вступлении на порог родительского старого дома, и без того давным-давно постоянно мрачного и неприветного. А вот он все-таки решился возвратиться в этот дом, ради того отвергнув с каким-то странным равнодушием и братнюю помощь, и то нежное, пылко-страстное чувство к любимой женщине, из-за которого еще так недавно он готов был всем, всем пожертвовать!

При прощании с братом Г-вым, жесткой воле которого он так беззащитно всегда предавался и, казалось, так уж привык покоряться, он высказал, что «умирать собрался», что «пора ему к роду-племени». Но мало ль говорится в минуты сильной душевной скорби? Да и не умер же он скоро по возвращению в Михеево, и судьба его порешилась смертью не там. Он проживал тогда в своем доме, относительно говоря, гораздо спокойнее, чем прежде (как будет видно из дальнейшего короткого моего рассказа), и во всех тогдашних его действиях ни почему не заметно, чтобы он думал о самоубийстве, чтобы он старался избыть постылую, одинокую и тяжкую жизнь.

Стало быть, нечто иное побудило Иоасафа Николаевича расстаться с братом Г-вым и с Мариною и возвратиться домой, несмотря на ожидавшие его там многие испытания. Хотелось бы мне усилить тогдашнее состояние этого глубоко расстроенного, напряженно метущегося духа, хотелось бы разгадать, какие чувства и мысли кипели тогда в нем.

Не внушено ли было бедному дяде такое решение внезапно проснувшимся в его душе и чрезвычайно ярким воспоминанием о матери, о родной семье, о родных местах и о тех поступках, в которых выразилось с его стороны столько блажной нерассудительности и бесхарактерности, столько

бестолкового, недостойного подчинения чужой воле и даже всяким случайностям?

Думается, что так и было, что именно это самостоятельное воспоминание, а не мысль о близкой смерти, ни даже свидание с макшеевским священником подвигнуло его к борьбе с тяжелыми обстоятельствами, что оттого-то и жил он тогда в течение довольно долгого времени, спокойно занимаясь устройством семейных дел, а вместе с тем и защищаясь от чиновников. Пошел ли бы он дальше и дальше по пути нравственного возрождения, подавил ли бы он в себе наклонность к мрачной мечтательности, окрепла ли бы воля его, образовался ли бы в нем хоть сколько-нибудь самостоятельный характер? Не знаю: для ответа на эти вопросы нет уже ни малейших указаний; а впрочем, для возрождения в определенном смысле и времени недостало, да и всему помешали роковые обстоятельства, опять нежданно-негаданно обступившие несчастного моего дядю и окончательно его убившие.

Сначала же все шло так ладно.

Приехав в Михеево, Иоасаф Николаевич нашел свой дом не столь мрачным, как можно бы было ожидать. Тут поусердствовал умный староста Павел Селифонтов. После переговоров с отцом Осипом насчет средств к разысканию Иоасафа Николаевича он твердо обнадежился, что барин скоро возвратится домой, и потому настойчиво присоветовал дворовым, опять собравшимся в дворню почти полную, чтобы они дом отапливали ежедневно и держали бы его в порядке к приезду барина. Так и было сделано; мало того, многое и в усадьбе успели исправить.

В доме, в усадьбе, с наружной, собственно, стороны, стало даже получше, попригляднее прежнего, по крайней мере, чем было за последнее время. Но со стороны внутренней, резко выражалась одна разительная перемена — недавно, полный людьми, михеевский дом был пуст совершенно, покинули-то его, правда, немногие, зато все такие

лица, которые придавали ему постоянное оживление; оттого, должно быть, и дворовые, убиравшие в комнатах, всегда робели, спешили уйти и, ходя по усадьбе, как-то сторонились от барского дома.

Заметил ли Иоасаф Николаевич и внешнюю прибранность, и внутреннее запустение своего старого родового гнезда? По всей вероятности, последнее очень заметил и почувствовал, хотя никто о том мне ничего не рассказывал, и, конечно, потому что все домашние увидали его на первых же порах по возвращении довольно спокойным.

Внедрению, поддержанию в нем душевного спокойствия много и больше всего способствовал макшеевский священник. Он с первого же дня не покинул молодого человека, которому предстояла такая тяжкая борьба и с трудными обстоятельствами, и с самим собой: посещал он его очень часто, чуть ли не ежедневно, оставался с ним большею частью подолгу и беседовал тихо, серьезно. Речи его, несмотря на тяжеловатый, семинарский склад их, были теплы и полны искренней участливостью, а потому и действовали всегда успокоительно на Иоасафа Николаевича. Дворовые очень скоро подметили это и, бывало, ожидали посещения отца Осипа с нетерпением. Когда же приходил или приезжал он, домочадцы михеевские, нередко в немалом числе, собирались потихоньку по обе стороны дверей той комнаты, где сидели барин и добрый батюшка, чтобы послушать, о чем они беседуют, и то было не из пустого любопытства. О таких беседах долго сохранилось воспоминание у домочадцев, и по их рассказам мне самому памятна тут одна подробность, довольно ясно намекающая на душевное состояние Иоасафа Николаевича в первое время по возвращении его домой. Тогда, как твердо о том запомнили домашние, отец Осип часто упоминал о «Едином, Безгрешном» и все говорил, что отнюдь не подобает предаваться унынию и отчаянию, и, конечно, говорил он так ради успокоения мятущейся совести несчастного молодого человека.

Но участие почтенного макшеевского священника не ограничивалось одними лишь нравственными утешениями. Он помогал Иоасафу Николаевичу отделываться по возможности от обвинения насчет прикосновенности будто бы к делу о беглых солдатах. У отца Осипа были родственники, служившие в егорьевских судах, уездном и земском — чиновники мелкотравчатые, но настолько наторелые в тогдашнем уголовном судопроизводстве, или лучше сказать, в тогдашних «приказных» порядках, что очень могли дать полезный совет относительно ответов на «вопросные пункты», которые скорехонько были предложены Иоасафу Николаевичу. И в самом деле советы этих мелкотравчатых, заблаговременно преподанные, много облегчили моему дяде первоначальные его объяснения по делу и до такой степени, что все обошлось тогда благополучно. Разумеется отчасти могло это зависеть и оттого, что сочинитель вопросных пунктов, какой-то делец секретарь, кажется, был обнадежен заранее насчет приличной ему «благодарности» со стороны «прикосновенного к делу». А впрочем, благоприятному тогда для Иоасафа Николаевича направлению этого действительно опасного дела посодействовали тоже и особые обстоятельства.

Во-первых, возвращение Иоасафа Николаевича в Михеево повлияло хорошо на чиновников, в руках которых находилось следствие, ибо нельзя же было им не заключить, что человек, добровольно являющийся для дачи показаний и объяснений по опасному для него делу, конечно, очень надеется на полное свое оправдание. Притом же и отец Осип поспешил сообщить в кратких, но ярких чертах помещикам своего прихода: «в каком глубоко сокрушенном настроении духа нашел он михеевского их соседа, когда передавал ему о кончине Надежды Ивановны, с каким очевидным раскаянием сознал сей злополучный молодой человек всю греховность и зазорность прежнего своего жития и с какою тихою покорностью ожидает теперь себе конца

смертного, действительно для него весьма и весьма близкого». С большим участием выслушали про все это близкие к михеевскому соседу помещики, в свою очередь сообщили спешно о том же другим помещикам, и таким образом, все дворянство егорьевское в то время решительно стало на сторону Иоасафа Николаевича, что дошло немедленно до егорьевского чиновничества и подняло-таки немало излишнее его рвение к «открытию во что бы ни стало сообщничества дворянина П-ва с дезертирами, заподозренными в грабежах и разбоях», с дезертирами, впрочем, тогда еще мифическими, так как они были не пойманы. Но в помощь к «общественному мнению» местного дворянства явилось и постороннее влияние, уже гораздо сильнее подействовавшее на тогдашний ход дела.

Михайло Николаевич Г-в укрыл своего брата, да и сам укрылся от преследований егорьевского чиновничества у дальнего родственника П-вых, Алексея Саввича Т-ва, незадолго перед тем женившегося на вдове, помещице из знаменитого рода Л-вых. Этот брак доставил Алексею Саввичу значение в самом губернском городе. Т-в был человек очень добрый, притом признававший родство даже в дальних степенях. Откровенно рассказал ему Г-в всю историю блажного своего брата, и Алексей Саввич, не без удовольствия вошедши в роль старшего родственника, как бы родоначальника, сильно побранил Иоасафа Николаевича за его «беспутное» поведение, но вместе с тем он охотно согласился укрывать в имении жены своей явившихся под его защиту обоих братьев, пока найдутся средства избавить их от «приказнических каверз». Впрочем, вряд ли скоро подыскал бы Алексей Саввич такие средства уже потому, что он был очень ленив на всякие деловые занятия и энергически предавался только псовой охоте, если б не подвинул его к решительным действиям «безумный» поступок Иоасафа Николаевича, преждевременным возвращением своим домой выдававшего себя на жертву чиновникам, и

таким образом подвергавшего все свое родство опасности бесчестья. И вот, Алексей Саввич прибегнул к заступничеству своего уездного предводителя, а тот, по старинным дружеским отношениям к роду Л-вых, тотчас же написал егорьевскому предводителю «об оказании всяческой защиты молодому дворянину П-ву, неповинно привлеченному к кляузному делу». В то время подобные заступничества и ходатайства имели весьма большую силу и при посредстве их многие дела, гораздо поважнее дела моего дяди, прекращались немедленно и без всяких последствий.

Итак, егорьевские чиновники были «взнузданы» по делу Иоасафа Николаевича П-ва, чему егорьевские дворяне очень радовались теперь, непоследовательно забыв, что еще так недавно они же до некоторой степени сочувствовали чиновничьим «видам» на поживу от дела, а так как «взнуздание» это произошло всего скорее «по милости чужого предводителя», то дворяне егорьевцы «поставили на счет» этот неприятный казус своему предводителю. Впрочем, все дворяне вполне искренно радовались тому, что взведенное на Иоасафа П-ва обвинение в сообщничестве с беглыми солдатами должно загаснуть в уездном же суде. Несомненным казалось всем, что и другое дело по жалобе Надежды Ивановны должно было окончиться в совместном суде решительно ничем, ибо многие свидетели могли подтвердить, что мать перед смертью своей простила сына, при том даже себя самое признавала виноватою в столкновении с сыном — и только не успела заявить официально о желании своем, чтобы начатое ею дело было прекращено.

Такое направление всей «михеевской истории» должно было бы окончательно успокаивать Иоасафа Николаевича, но состояние его духа выражалось тогда как-то двойственно. По-видимому он был совершенно спокоен, и уже ровно никаких чудачеств в поступках его, в образе его жизни не проявлялось. Он даже сам начал хлопотать о разделе имения с сестрами, причем обеим сестрам выделил не четы-

рнадцатую (по закону о наследстве) часть, а части, почти равные его собственной. А все-таки прежняя мрачная его нелюдимость была чересчур заметна. Так, никого из соседей он не посещал, а отец Осип не смог уговорить его к тому, даже в приходскую свою церковь он не ездил к обедне по праздничным и воскресным дням, а отправлялся всегда в церковь села Маливы, что явно делалось им во избежание встречи с соседями-помещиками. Снисходя к его нелюдимству, а более считая, что тут причиною печаль вследствие семейных несчастий ближайшие соседи нашли нужным сами сделать первый шаг к сближению с Иоасафом Николаевичем; присылали узнавать о его здоровье, даже настойчиво приглашали к себе, но он наотрез отказывался от этих предложений то по болезни, то за недосугами.

В конце концов такая упорная уклончивость от «доброго знакомства» крайне не понравилась соседям, и мало-помалу общественное чувство опять стало настраиваться очень не в пользу Иоасафу Николаевичу. Это отчуждение его от добрых людей истолковывалось вообще нехорошо. «На душе у этого человека есть что-то, есть, и того гляди, покажет он себя...» — так говорили об нем все. А тут два распоряжения Иоасафа Николаевича еще усилили общее к нему нерасположение, хотя, казалось бы, распоряжениями этими он отнюдь никого не задевал, ибо они касались только собственных его дел.

Тотчас по окончании раздела с сестрами Иоасаф Николаевич, побуждаемый, вероятно, какой-нибудь печальной думою о своем будущем, официально заявил, где надо было, о желании пожертвовать всю свою часть имения на сооружение храма Христа Спасителя в Москве. Вот, к этому-то распоряжению отнеслись соседи помещики очень несочувственно. Все находили, что это просто-напросто нелепая выходка со стороны малоимущего дворянина, выходка, затеянная им, во-первых, в явную обиду своих сестер, особенно же младшей (которая недаром, дескать,

не хочет теперь жить в родительском дому), а во-вторых, даже в некоторый покор всему местному дворянству. Я отнюдь не думаю, чтобы в осуждении Иоасафа Николаевича за такой поступок выражалось несочувствие егорьевских дворян к самой мысли о воздвигнутии храма в возблагодарение Бога за спасение России от наполеоновского нашествия; кажется, тут выразилось неудовольствие на своего брата-дворянина только за тот способ, посредством которого он вдруг и самопроизвольно захотел выйти из владельцев крестьян: действительно, говорят, допущение сначала пожертвований на храм Спасителя населенными имениями многим тогда не нравилось, ибо в этом все-таки видели меру, ведущую если не к полному уничтожению, то к косвенному ослаблению силы крепостного права. Иначе я не могу объяснить себе это неудовольствие соседей на моего дядю, оставшееся даже и после того, как его попытка не удалась (он опоздал, в то время уже прекращен был прием населенных имений на великое дело, совершившееся только в наши дни).

Но второе распоряжение бедного дяди уже окончательно раздражило против него егорьевское дворянство.

Когда не удалось ему пожертвовать свое имение на храм Спасителя, он решился мало-помалу отпустить михеевских крестьян на волю и стал делать не так, как делалось это окольными помещиками. Так, он отпустил самую зажиточную в Михееве и большую семью Шибаевых только за тысячу рублей ассигнациями, предоставив притом вольноотпущенным всю их обширную усадьбу и, кроме того, слишком десять десятин полевой и луговой земли; выходило, стало быть, что он собственно продал Шибелевым землю, да и то очень дешево.

— Этот, молокосос П-в, — рассуждали соседи помещики, — только и делает, что придумывает глупейшие способы размытарить родовое свое имение, да и как еще размытарить? Как бы с нарочною целью насолить всему

дворянству! Ведь, отпуск на волю Шибаевых непременно послужит теперь скверным примером для окольного мужичья: всяк уж захочет выкупаться не иначе как с землею, ну, и возись тут… Вот, полоумный, по своей охоте завел волчье гнездо и у себя, и у сестры в имении, просто-напросто испортил его навсегда… И как он смел сделать это, ни с кем не посоветовавшись! В опеку надо взять его!.. А тут и наш Андрей Иванович кругом виноват: ожирел и знать ничего не хочет… Нет! Из П-ва не будет пути, уж-таки добьется он до конца края, оно и видно, что к тому идет.

Ряд случайностей, скоро затем последовавших, довольно оправдало соседское предсказание. Мало по малу все сложилось так, что даже и отпуск на волю семьи Шибаевых как будто послужил к вреду для несчастного моего дяди.

XLI

Надо сказать, что между тем прошло года полтора, и в это время собою образовались перемены в обстановке Иоасафа Николаевича, тоже не мало повлиявшие на его судьбу.

Во-первых, многократные его поездки в Егорьевск и продолжительное его жилье иногда там как для дачи ответов на вопросные пункты, так и для хлопот по разделу имения, по заявлению о желании пожертвовать свою из имения часть на храм Спасителя и, наконец, по совершению отпускной и дарственной записи на землю Шибаевым, что все вместе протянулось с перерывами на несколько месяцев, отдалили от михеевской усадьбы макшеевского священника, и это повело неминуемо к весьма дурным последствиям. Вообще, больной душою с ранних пор, а в последние два года вовсе расстроенный, чрезвычайно слабый волею, бесхарактерный, и при всем этом без малейшего опыта в жизненных отношениях, Иоасаф Николаевич лишился, таким образом, единственного человека, который мог посове-

товать ему полезное во многом, который мог даже руководить его поступками. Правда, отец Осип являлся в Михеево тотчас же по возвращению его домой, но та нравственная связь, которая образовалась, было, между ними и была так благодетельна для несчастного молодого человека, как-то вдруг ослабла и скоро затем совсем порвалась. И несомненно, что тому виною был сам Иосаф Николаевич.

Почувствовал ли он в себе неодолимое стремление к самостоятельности, отнюдь не допускающее никаких нравоучительных внушений, подействовало ли тут, напротив того, влияние деловых сношений с егорьевскими чиновниками, причем он увидел со стороны этих людей не придирки злостного свойства, а полную готовность всячески облегчить для него объяснения по уголовному делу, а это влияние пробудило ли в нем горделивую самонадеянность (как и предполагал о том отец Осип), как бы там ни было, но дело в том, что он стал выказывать к доброму священнику какую-то холодность и после каждой поездки становился с ним все более необщительнее.

Впрочем, эта необщительность не была чем-то новым с его стороны. Необщительным он был и прежде, даже со всеми. Из-за этого многие, и сама мать, считали его чрезвычайно горделивым человеком. А вряд ли такое предположение основательно; кажется, тут была иная причина, и скорее тут действовало смутное и подавляющее сознание своей слабовольности, мешавшей ему составлять хоть сколько-нибудь твердые понятия о жизни, о людях, об окружающих его обстоятельствах. Но этот несчастный характер был, вообще, сложен, и не очень-то легко разобрать все эти оттенки.

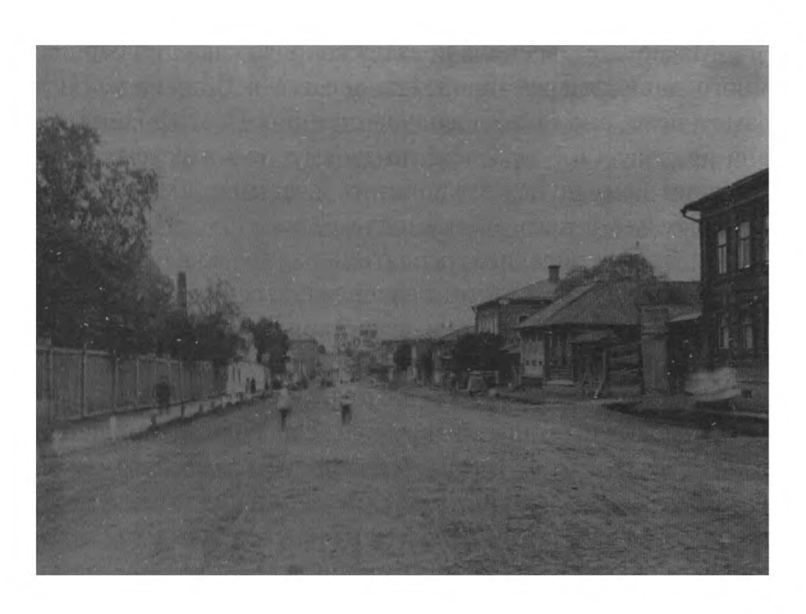
А вот что было ново.

В прежнее время Иоасаф Николаевич всегда и на самом деле выказывал себя отнюдь не трусом. Так, с детских лет он любил бродить в ночное время по пустынным местам. Фантастические представления, являющиеся ему тогда,

раздражали, волновали его, но не пугали. А с тех пор, как отец Осип стал прекращать свои посещения, в дяде моем произошла и в этом отношении разительная перемена. Он стал бояться чего-то. Это было заметно очень его домашним. Как только наступали сумерки, он тревожно приказывал, чтобы скорее зажигали везде лампады перед образами и подавали в главные комнаты свечи, а затем созывались в дом взрослые мужчины дворовые и еще несколько человек из крестьян. Весь этот люд кое-как размещался в передних и вплоть до утра охранял барина, а сам барин оставался один в своей комнате, но несколько раз в течение ночи он выбегал к собранным людям чрезмерно взволнованный, страшно бледный, дрожащий, как бы от сильнейшего внезапного перепуга.

Странные поступки эти, проявившиеся в последние полгода жизни Иоасафа Николаевича в Михееве, очень тревожили и пугали его домочадцев и были бы для них вполне невыносимы, если б блажной этот барин оставался подолгу дома; но к счастью их и на беду себе он стал часто покидать свою усадьбу.

Он ездил только в Егорьевск. И в каждую поездку он все больше привыкал к этому, тогда ничтожному, старообразному, мрачному городку, так что пребывание его там длилось иногда уже по целым неделям. Что привлекало его туда, что могло бы казаться ему там приятным или интересным? Уж конечно, не удобства, не развлечения городской жизни. В отношении удобств для помещика, привыкшего у себя в имении к простору и к некоторому порядку в домашнем обиходе, Егорьевск, в тогдашнем его положении, решительно не представлял ничего сносного — помещение в постоялых дворах городка было из рук вон плохое во всех статьях; насчет и пищи приходилось кое-как перебиваться, продовольствуясь нередко какой-нибудь солянкой самого сомнительного свойства. В отношении же развлечений Егорьевск недаром был горо-



Егорьевск. Улица Набережная.
Фотография из фондов ЕИХМ

дом старообрядцев: так, даже в единственном его трактире, содержимом тоже старообрядцем Шведовым, биллиарда не имелось, посетителей ничем там не тешили, и двери для всех запирались часам к десяти ночи, а под праздники, особенно чтимые старообрядцами, чинный трактир и вовсе не торговал.

Макарушка, всегда в поездах сопровождавший барина, много дивился времяпровождению его в Егорьевске. И в самом деле, оно было довольно странно. Иоасаф Николаевич проживал в Егорьевске по-своему, по-михеевски: если случалось ему по делам хлопотать и заниматься, то все это происходило у него, на постоялом дворе; тут прошения и всякие бумаги писались, тут с раннего утра до начала «присутствия» в судах, а потом с вечерен и часов до девяти ночи толкались столоначальники, секретари, заседатели из «присутственных мест», тут эти господа между делом пили и ели, рассуждали и рассказывали, а сам гостеприимный их хозяин покидал свою квартиру только для подачи прошений и бумаги, да и то не всегда. Надо притом заметить, что он бывал неразговорчив и с чиновникам, и в подпитии с ними отнюдь не участвовал, и, несмотря на усердные их приглашения, никогда не ходил к ним, но вместе с тем нисколько не уклонялся от их общества, напротив, как будто любил и искал его: так, в то время, когда перемежались хлопоты по делам, он все-таки охотно принимал к себе егорьевских своих знакомцев и даже зазывал их к себе, и уж Бог весть, как он тут пересиливал свою нелюдимость, отклонявшую его постоянно от соседей-помещиков. Впрочем, проживая в Егорьевске, он и без общества словоохотливых чиновников не выказывал вовсе того беспокойства, какое мучило его в Михееве: оставаясь один в своем «номере», он по большей части читал старые книги, которые привозил с собою из дому.

— Макарушка! — не раз проговаривал он, — а тут как-то лучше, чем у нас, — тут мне не жутко…

Последние слова подкашивали всякое возражение со стороны Макарушки: он внутренно соглашался с барином, что и точно, ему, барину, в Егорьевске гораздо лучше, чем дома, ибо тут ни разу не проявился странный, ребяческий его страх; притом верный служитель находил, что барин его в Егорьевске все делом занимается: с чиновниками водится «по бумагам», а без чиновников книжки читает (он и чтение книжек считал за очень деловое занятие).

Однажды он решился предложить барину даже совсем основаться для житья в Егорьевске: «Что ж, мол, такое, почему бы нам и здесь не проживать? Вот, только надо бы фатеру нанять да из-под руки хозяйством обзавестись: не в пример, так-то было бы повыгоднее для кармана, а на постоялых дворах подолгу оставаться, — воля ваша, сударь, — ка-быть и непристойно для вашей милости»...

— Ну, а как же насчет вашего Михеева? — спросил Иоасаф Николаевич, видимо заинтересованный предложением.

— Наезжать, хоть бы один только раз в год... но, ведь, это все равно... — после некоторого раздумья возразил Иоасаф Николаевич, — нет! Так не годится, не могу на постоянное житье сюда... Меня все-таки тянет и тянет...

В этом было что-то роковое.

Раз, Иоасаф Николаевич задумал побывать непременно в Михееве — и, однако, дня три не решался на эту поездку, предлогов на задержку не было никаких, а он все откладывал и откладывал. Наконец, он объявил Макарушке, что надо будет выехать как раз за полночь. «Таким образом, — говорил он, — весь путь от города до нас мы сделаем ночью, и, может быть, дорогою я сосну спокойно; к рассвету же мы будем в Михееве, а оттуда пустимся тотчас после обедов и вернемся в Егорьевск еще засветло... В нынешний раз мне не хотелось бы ночевать дома...»

Макарушке очень не понравилось ночное путешествие — и не без основания: от Егорьевска до Михеева

было до тридцати верст; тут приходилось ехать хоть по столбовой, большей частью, дороге, но все почти лесом и лесом; особенно густы и мрачны были леса в трех местностях: начиная чуть не от самого города и вплоть до деревни Михалей (всего на верстах восьми-девяти), потом около Сергиевского Погоста и, наконец, за селом Троицею, на расстоянии четырех-пяти верст; и во всех трех вышеназванных пунктах, наиболее же в последнем, примыкающем, с одной стороны, к знаменитому тогда по худой молве Чанскому лесу, случались нередко большие происшествия: грабежи и даже убийства. Вообще, по съезде с столбовой дороги на проселочную (верст шесть-семь до Михеева) путь становился безопасным вследствие того, что тут не было уже больших лесов да и деревни шли частые, но зато тут же были дурные переезды через топкие ручьи и какие-то ямины с всякой грязью.

Макарушка, привыкший к свободному обращению со своим барином, пустился было в возражения против выезда в ночную пору, но барин упорно держался за свою мысль.

— Вот, пристаешь с этими страхами своими! — перервал он малого, — но больше не говори: я порешил, так тому делу и быть… Впрочем, ты не очень сомневайся, то рассуди: ехать от Егорьевска до нас днем ли, ночью ли, — все равно: проезжих почти никогда не встречается, стало быть, и днем могут напасть… того не миновать.

Пожалуй, что и недаром закончил дядя свою речь этой простой пословицею фаталистического свойства: может быть, тем бессознательно объяснилось то видимое его спокойствие, в которое впадал он как-то периодически.

В прекрасную, летнюю ночь выехали из Егорьевска. Месяц, еще только в начале своего ущерба, высоко стоял на безоблачном, синем небе и несколько слева освещал прямолинейную, ровную дорогу, с обеих сторон тесно обставленную хвойным лесом. На белом песку дороги тени от больших сосен, елей и кудрявых берез в ивовых корзи-

нах (административное изобретение генерал-губернатора Балашова) кой-где пролегали такими красивыми узорами. Глубокая тишина почти совсем не нарушалась тихой рысью михеевской тройки. Иоасаф Николаевич спокойно и даже весело посвистывал да поглядывал по сторонам, и, должно быть, совсем он забыл о сне, о котором задумывал перед поездкою.

И всю столбовую дорогу проехали без всяких приключений. Между тем, сияние месяца много поубавилось, сквозь предрассветный туман оно уже придавало предметам тускло-скользящее, обманчивое освещение. Оттого при съезде на проселочную дорогу Макарушка нехорошо переехал рытвину, и что-то вдруг хрустнуло в тележке, в которой обыкновенно разъезжал Иоасаф Николаевич.

А скоро затем подошла рытвина, еще похуже первой, и дело вышло очень плохое: сломалась совсем-таки передняя ось.

«Ось ли, колесо ли ломается, — хозяин умудряется», — говорит пословица; но тут хозяин-то был барин, вовсе немудрящий человек при всяческих случайностях, да и Макарушка, недаром дворовый, а не простой мужик, — тоже не знал как быть и что делать. Впрочем, про запас не было захвачено в дорогу ни топора, ни большого ножа.

Не оставаться же было в рытвине до бела дня. Барин и Макарушка стали так смекать, что надо, мол, сейчас же отправиться на пристяжной за осью или в деревню Русилову или в Угорную Слободку, которые были близехонько; вопрос только в том состоял: кому ехать, барину или кучеру? Но вдруг нежданно-негаданно явилась помощь на самом месте происшествия — из осиновой рощи, что была с левой стороны, вышел и к бедующим подошел человек, которому, вглядевшись в него, нельзя было обрадоваться.

Оба сразу узнали его. То был беглый солдат Шохин.

Он подошел, однако, чинно: держа в обеих руках огромную свою шапку как бы для того, чтобы показать, что нет

у него ничего для нападения; притом тихим таким голосом спросил он: «А что, мол, ваше благородие, никак бедуете тут, — колесо либо ось поломалися?»

— Вишь, ось пополам, пусто б ей было!.. — сквозь зубы ответил Макарушка.

— Беда из пущих, — ухмыльнувшись, заметил Шохин, — чай, есть же с вами топорик, а слегу можно вырубить: лесок-то поблизости.

— Топора он не захватил, — сказал Иоасаф Николаевич, и при этих словах сильно екнуло сердце у Макарушки. «Ах, Господи! Ну как же можно говорить об этом настоящему, как есть, разбойнику!..» — подумал он.

— Вот и хорошо, что я тут очутился, — продолжал беглый солдат, — у меня топорик тут неподалечку припрятан, мигом деревцо подходящее вырублю… Наш брат, ведь, на все руки годен. А есть ли у вас чем слегу подвязать?

Услыхав про топорик шохинский, Макарушка тоскливо посмотрел на барина и бросился было отпрягать пристяжную. Иоасаф Николаевич понял и выразительный взгляд, и торопливое движение своего служителя.

— Полно тебе мыкаться без толку, — строго сказал он ему и, тотчас обратясь к Шохину, добавил, — ступай! Ладь там что нужно. Я здесь подожду.

— Слушаю, ваше благородие! — отвечал беглый и проворно пошел к осиновой роще.

— Батюшка! Есаф Николаич! — взмолился Макарушка, — помогите и вы другую отпрячь… Авось успеем ускакать!..

— Ведь глупо же это до крайности! — возразил Иоасаф Николаевич, — да ведь ты слышал, — я сказал тому человеку, что подожду здесь, — ну, и буду ждать… А впрочем, коли так боишься, — отпрягай себе и скачи. Я один доеду домой. Только смотри, не болтай там ни слова и никому об этой встрече…

Барин устыдил-таки Макарушку, — бедный малый остался, хотя страх его нисколько не унялся. Озираясь беспрестанно по сторонам, все отыскивая, должно быть, помощи или средства для обороны и решительно не находя ничего такого, он вслух бормотал какие-то молитвы, и в трепещущем голосе его слышалось, что вот-вот и расплачется он, как малый ребенок. А барин, как бы нарочно отвернувшись от рощи, крепко о чем-то задумался.

Между тем, слышно было, что Шохин рубит в роще, и скоро он явился оттуда с жердиной на плече, обчищенной от ветвей и обрубленной на концах.

— Готово, ваше благородие, теперича как раз приладим, — сказал он. — А ты сарафанник, — промолвил он вполголоса Макарушке, — уж не трусь, пожалуйста, вишь топора-то со мной нету... Ну, давай же веревку, подвязать слегу.

Но веревки не оказалось. За эту оплошность солдат, молча, погрозился кулаком на дворового малого; потом отпряг коренную лошадь и вывел ее из оглоблей, да развязав хороший красный кушак, которым был подпоясан его рваный мужичий кафтанишко, кушак-то, может быть, был снят с какого-нибудь купца или мещанина, стал прилаживать слегу под сломанную ось. Он делал все это один, и очень проворно и ловко.

— Готово и тут! — проговорил он, попробовав крепко ли подвязана жердина, — кажись, можно будет доехать, знамо полегоньку. Вишь, кушак-то пригодился, а он и мне нужен про всяк случай... Ваше благородие! Сделайте божескую милость, слезьте с тележки, покуда кучеренок-то запрягать будет, надобно мне с вами словечком перекинуться кое о чем...

Отведя Иоасафа Николаевича почти к самой роще, он тихо и наспех сказал ему что-то, должно быть очень важное.

— Как!.. — вдруг вскричал дядя в величайшем волнении, — но... ради самого Господа!.. Да тут же, тут мне скажи...

— Нельзя, не годится!.. — возразил Шохин резко и громко, так что Макарушка мог уже расслышать его слова, — вон, проснулись, гонят скотину, народ тотчас везде повалит, отсюдова там, за рощей, ползком придется ползти... Нашенское дело такое... Ночью, ваше благородие, у вас, на Облонье...

И он быстро юркнул вглубь осиновой рощи.

В двух близких к дороге деревнях теперь, при свете утренней зари, хорошо видных, точно уже проснулись простые рабочие люди: скрипели ворота во многих дворах, слышались голоса, проникающиеся о чем-то, а еще слышнее раздавалось мычанье скота в двух стадах, хлопанье длинных кнутов подпасков и веселые звуки двух пастушьих рожков. Стало быть, беглый солдат в самую пору убрался куда-то в темную нору.

Иоасаф Николаевич кое-как дотащился до своего Михеева, но уже когда солнце довольно высоко стояло на небе.

XLII

И не только что ночь, но и день этот прошел в Михееве неспокойно. Причиною все был барин. День-деньской он волновался, был «сам не свой», приказывал, отвечал, требовал, сердился без толку. Что и подумать об этом не знали дворовые, кроме одного лишь Макарушки, который несколько догадывался, с чего такого барин волнуется.

К ночи волнение это очень усилилось.

Неожиданно барин пожаловал в главную людскую избу и с дикими какими-то окриками приказал, чтобы никто не приходил к нему в дом, а все тотчас ложились бы спать; затем караульных мужиков с деревни отпустил домой, и толь-

ко Макарушке велел лечь на заднем крыльце да и строго наблюдать, чтобы ни под каким предлогом не расхаживали по двору и отнюдь тем не беспокоили.

Разумеется, барские распоряжения показались дворовому люду диковинными, и в одном отношении барская воля была решительно нарушена: приказано было спозаранку ложиться спать, но никто из взрослых не сомкнул глаз во всю ночь. Любопытство было возбуждено в высшей степени. Ну, и как же в самом деле: «Вот, уж сколько времени на ночь, бывало, барин сгоняет в дом много-много народу, а теперь один-одинехонек остался в целом доме! Что же он там делать-то хочет тайком? Уж не поджидает ли кого к себе. А не приведи Бог, это — Маринку!..»

Хотели было пройти к Макарке и порасспросить его, может, что знает. Но раздумали: барин не велел закрывать окна дома ставнями со стороны заднего крыльца, и, конечно, это недаром: знать, хочет и сам понаблюсти, чтобы никто за ним не подсматривал; как же тут подойдешь к Макарке и пустишься в расспросы?

Хотелось было многим вылезть в окно людской с той именно стороны, что на дорогу из деревни Андреевки, да оттуда и пробраться ползком в сад: «Авось, мол, там откроется какая-нибудь возможность узнать, что такое позатеяно барином и ради чего он прячется от домашних в каком-то деле?» — но опять-таки и на это никто не решился из-за опасения попасться на глаза барину, благо ночь так светла, всюду виднехонько, и он же с ружьем иногда ходит, пожалуй, возьмет да и всадит пулю…

Такие же опасения были и у Макарушки. И он не решился на подсматриванье за барином вблизи, а скрепя сердце, ограничивался только тем, что напряженно вслушивался во всякое движение и в доме, и в саду.

И вот, услыхал он, что старая тяжелая дверь на переднее крыльцо заскрипела, значит, Иоасаф Николаевич вышел

из дому, и, должно быть, в сад; точно: в главной аллее послышались быстрые, все более и более удаляющиеся шаги.

Макарушка догадался: это барин пошел на Облонье, уже давно им покинутое, куда теперь придет к нему Шохин…

«Ох, как бы беды не вышло! — думалось малому, — у барина есть теперь деньги, что получил от Шибаевых, да и луговые тоже, не узнал ли про то разбойник?.. Но, что тут поделаешь? Барин строго-настрого приказал никому не говорить о встрече с Шохиным, ну, и как сказать во дворе, что барин пошел на опасное свидание… А не побежать ли на Облонье, ради помощи? Да ведь и это строжайше воспрещено, притом, как туда бежать с пустыми руками?..»

Скоро и опять послышалось, что спешно кто-то бежит по аллее к дому, шибко на крыльцо вошел, по комнатам шибко пробежал, затем опять вышел из дому — и в сад, и должно быть на Облонье. «Барин, что ль, это? Да зачем бы?.. Господи! Уже не покончил ли там с барином Шохин и не прибегал ли, чтобы деньги заграбить?..»

Макарушка до того утратил всю свою молодую силу от обуявшего его страха, что не мог даже шевельнуться на месте, хотя смутно и представлялось ему, что надо бы тотчас бежать да звать всех дворовых на помощь. И вдруг возле него, на крыльце, очутился барин, возвращения которого домой он теперь и не слыхал.

При лунном свете бледность лица Иоасафа Николаевича была поразительна.

— Приходил… — проговорил он чуть слышным голосом, — и ушел опять к ней… Она присылала… О! Что порассказал!.. И все наспех, наспех… Может, дня через три, вернется… Ни слова, ни слова никому!.. Помилуй Бог! А то…

И, не докончив, он ушел в дом.

Поутру дворня много приставала к Макарушке насчет того: «Что, мол, делал барин ночью? Ты был близко, мол, от него — нельзя, чтобы не подметил». Но Макарушка от-

вечал, что ничего не знает, а должно быть, барин изволил чтением книжек заниматься, как заведено это им с того времени, как стал ездить в Егорьевск.

Томительно прошли для всех три последующие дни и ночи.

Иоасаф Николаевич и днем почти никому не показывался, все сидел, затворившись в своей комнатке. К ночи же он опять приказывал всей дворне ложиться спать, как можно раньше, и отнюдь по двору не расхаживать. Но во вторую же ночь приказание это не было выполнено. Явился ослушник, бывший кучер старой барыни, Петр Леонтьев-младший.

Он три ночи сразу выслеживал — и таки выследил.

В первые две ночи он открыл, что барин все поджидает кого-то на Облонье, именно поджидает, как это было заметно по всему. Но ожидания вплоть до бела-света были напрасны: никто другой на Облонье не приходил. А в третью ночь, наконец, явился и этот другой, столь жданный человек, совсем неизвестный Леонтьичу-младшему, по одежде — словно нищий, по лицу и по ухваткам — как есть разбойник.

Он пришел от деревни Андреевки, а придя, опасливо осмотрелся во все стороны, и Леонтьичу, залегшему в кустах, через которые он ползком пробрался к луговине Облонья, куда как жутко стало от осмотра. Но человек этот не пошел по кустам. Он отвел Иоасафа Николаевича к самому пруду, и оттого нельзя уже было расслушать: о чем речь шла между ними.

Разговаривали немало. Говорил же больше неизвестный человек, а барин все только ахал да вскрикивал.

— Хорошо… Сейчас... — сказал Иоасаф Николаевич, отойдя с неизвестным от пруда к кустам, — пожалуй, подожди здесь, я скоро вернусь. А впрочем, пойдем со мной, в саду отдам, а оттуда тебе поближе и удобнее будет пройти к Андреевке…

— Как бы на глаза кому не попасть? — возразил неизвестный.

— Все улеглися… Никто не вернется. Да я ж провожу, чтоб собаки не лаяли….

И затем оба прошли так близко от Леонтьича, что он чуть не умер от страха.

Леонтьич не потаил от дворни обо всем, что довелось ему увидать на Облонье. Он рассказывал и на деревне. Все узнали в Михееве именно через младшего Леонтьича, — все, кроме Макарушки, с которым по общему согласию береглись о том говорить.

Кстати, младший Леонтьич был туп смыслом, притом крайне обидчивого и сердитого нраву (так, если кто-нибудь осмеливался в шутку назвать его «Малеем», прозвищем почему-то и кем-то ему данным, тот мог поплатиться за это жестоко). Он не забыл про оскорбление, нанесенное ему во время поездки к генералу Измайлову, и вот не без особенной злорадности передавал он теперь встречному и поперечному о тайных свиданиях барина с каким-то подозрительным человеком, по виду с разбойником! Разумеется, смелость Леонтьича-младшего в таких разговорах про барина зависела не от одной его злобы, но и от неуважения к барину за его явную бесхарактерность.

Скоро обо всем спроведали и в соседстве. Нашлось и готовое объяснение для новой тайны в поведении михеевского помещика: вспомнили о всяких слухах насчет сношений его с беглыми солдатами, проживавшими неподалеку от деревни Поповка, у угольщиков.

А тут, как на грех, пошла молва, что там-то и там-то видали какого-то бродягу, может самого Шохина (прозвище этого человека хорошо было известно во всем околотке); говорили еще, что бродяга этот, будто бы, и ограбил уже кой-кого где-то; что однажды в деревне Волковой он целую ночь пропьянствовал в кабаке, — значит, до того стал смел, что не боится показываться уже и везде.

«Михеевская история» опять разыгрывалась именно в том, что касалось до «сношений» михеевского помещика с беглыми солдатами. Шохин появился, Шохин разбойничает и дерзко показывается, стало быть, шайка у него есть, на выручку или в отместку которой, он надеется, чем и пугает простой народ, стало быть, и пристанодержатели для него есть: а тут, и ночные свидания Шохина с этим неугомонным Иоасафом П-вым; в свиданиях же этих никто не сомневался, так как о них везде говорили. Таковы были беспрерывные толки во всем околотке, который разволновался тогда чуть ли не больше прежнего, и они скорехонько дошли до егорьевского чиновного и приказнического люда.

Впрочем, может быть, толки и остались бы толками: посудили бы, порядили, на том бы и кончилось. Влияние постороннего ходатайства за Иоасафа Николаевича все еще было действительно. Самая поимка Шохина, вероятно, не имела бы особенно вредных последствий для бедного моего дяди. Но случились происшествия, которые доканали-таки его.

Косвенной, но большой причиною для этого были именно деньги, полученные дядею от Шибаевых.

Как после оказалось, Шохин проведал, что у михеевского барина завелись деньги, тысяча рублей ассигнациями (сумма тогда немалая), и задумал он повыманить их. Верное средство на то было у него под рукою. Какими-то россказнями о сестре своей Марине он легко возбудил в Иоасафе Николаевиче великую жалость к бывшей его любовнице, которую несчастный, по все вероятности, все еще пылко любил, хотя с чувством его к ней сталкивались теперь и другие сильные чувства. И несомненно, что Шохин выманил много денег у сердечного барина; после двух описанных свиданий на Облоньи, он и еще несколько раз виделся там же с Иоасафом Николаевичем и, конечно, все для выманивания денег на помощь сестре своей. Кстати: свидания эти, происходившие довольно часто, продолжа-

лись, кажется, больше месяца, и только в начале августа прекратились они по неожиданному и странному поводу, к которому тоже примешалось нечто роковое.

В промежутки между свиданиями с Шохиным Иоасаф Николаевич три раза ездил в Егорьевск и, вероятно, не для развлечения умными речами тамошних дельцов, а может быть, потому именно, что кто-нибудь из дельцов же этих сообщал ему, что чиновный люд опять начинает воззриваться в его прикосновенность к делу о беглых солдатах. Впрочем, в городе он оставался ненадолго и все спешил домой.

Четвертая поездка была для него роковая.

На беду пришлось ему ехать не с Макарушкою, с которым обыкновенно он езжал, а с Леонтьичем-младшим, потому что Макарушка после купанья на озере заболел жестокой лихорадкою. Иоасафу Николаевичу очень не хотелось брать с собою Леонтьича, но, видно, нельзя было ему отсрочить поездку хоть на малое время, и он поехал.

Все сложилось как на грех. Сборы в дорогу начались с утра, а за разными хлопотами, всего же более за справками о том: не можете ли Макарушка собраться с силами, чтобы ехать хоть не за кучера, а за лакея, протянулись далеко за полдни; таким образом выбрались из Михеева незадолго до сумерок, которые и захватили как раз перед съездом с проселочной дороги на большую, столбовую. А ночь приближалась безлунная, довольно темная, уже августовская ночь.

И опять на том же самом месте, где была первая встреча с Шохиным, беглый солдат этот, словно нарочно поджидал он проезда михеевкого барина, вдруг выдвинулся из этой же осиновой рощи.

— Ваше благородие! Стойте-ко, обождите!.. — во все горло закричал он, как видно, на этот раз уже ни от кого не оберегаючись.

Иоасаф Николаевич приказал остановиться. Шохин подошел, заметно покачиваясь: он был крепко пьян.

— Ваше благородие! — начал он, — окажите божескую милость, подвезите меня... Ну и что ж поделаешь, вишь, выпимши порядком... а тут, того гляди, здешние черти-галманы схапают по злобе... Мне всего-то неподалечку, верст пяток, что ли, а идти пешкуром невмоготу, ноженьки так и гудут...

Иоасаф Николаевич позадумался. Должно быть, не очень хотелось ему иметь такого путевого товарища. Но нерешимость продолжалась не долго.

— Если только на пять верст... — сказал он, — делать нечего, садись с кучером рядом.

Леонтьич крепко нахмурился, но отговариваться не посмел: он живо помнил, как досталось ему однажды за противоречие воле барина.

Вскарабкавшись кое-как на облучек, беглый тотчас же пустился в разговор с Леонтьичем.

— Ты, дяденька, — начал он, — ты зачем таково лихо на меня поглядываешь? Аль съесть меня хочешь?.. Да нет, братец ты мой! Костист я, пожалуй, подавишься... Ваше благородие! А он у вас, лих человек, право-слово: мне про него многонько сказывали, знаю тоже, как дразнят его... Дяденька! А дяденька! Ведь, ты головой-то вертишь, а не отвечаешь... Эх ты Малей-Малеище!

Леонтьич не вытерпел.

— Есаф Николаевич! — забормотал он, оборачиваясь к барину, — ну, и что ж так-то лаяться будет всяк эдакий, прости Господи!.. А я... да с какой он стати...

Но к пущему своему озлоблению Леонтьич-Малей увидал, что и барин над ним смеется: в самом деле, Иоасафу Николаевичу забавны показались пьяные, задирательные речи Шохина, и он невольно улыбался. Впрочем, он все-таки счел нужным прекратить потеху бродяги, а вместе с тем, успокоить и своего кучера.

— Полно вам! — прикрикнул он на обоих, — и ты, Петр, глупо рассердился; разве не видишь, подгулял чело-

век, с того и болтает вздор... Ну, и ты, молодец, если ты хочешь, чтобы тебя лихом не поминали, сиди-ко посмирней... Знаешь пословицу: на чьем возу сидишь, тому песенку пой... А есть и другая: с чужого коня среди грязи долой.

— Так-то оно! — протянул беглый в ответ, — с чужого коня среди грязи долой… так-то!.. А мне что: чужие эти ваши кони... Вишь: двое на одного... Ох, головушка бедная! Шумит-то, шумит, а то бы я… Эх-ма! Как бы денег тьма, купил бы овин да жил один!

Затем он-таки поунялся, по крайней мере, перестал дразнить Леонтьича и все ворчал что-то сердито, размахивая руками. И, должно быть, рассчитывая, что при таком размаханьи пьяный бродяга может свалиться с облучка, Леонтьич поехал было очень шибко. Но подошел глубокий лог, с длинным и узким мостом через него, место, слывшее очень опасным для проезжающих вследствие нередко случившихся тут грабежей, и кучер разом остановил лошадей.

— Барин! А барин! — заговорил он испуганно, — гляньте-ко: там, на мосту, неладно… что-то положено… аль недобрый человек нарочно…

Иоасаф Николаевич привстал в тележке и посмотрел внимательно. Точно: на мосту, поперек мостовин, лежало что-то темное, довольно большое, может быть, человек. Проехать, не задевши того предмета, решительно было нельзя. Да и как ехать, не удостоверившись досконально: нет ли тут и на самом деле засады?

— Надо там посмотреть, — сказал дядя мой вполголоса кучеру, — слезай-ка да подойди осторожно. Ну, не бойся же: ведь, мы на тройке, — я тебя не выдам.

Леонтьич медленно спустился с облучка, вожжи не отдал Шохину, который все кивал головою из стороны в сторону, как будто совсем раздремался, а медленно прикрепил их к железному круту, отделявшего кучерское сидение от заднего, потом, перекрестившись несколько раз, пошел было по спуску, но вдруг быстро вернулся назад.

— А воля ваша… — пробормотал он, дрожа и заикаясь, — а мочушки моей нету, воля ваша… Не могу… Батюшка! Вернемся домой… Завтра днем поедем…

— Полно врать!... Ну, да я с тобой пойду…

Иоасаф Николаевич тоже сошел с тележки. В сопровождении Леонтьича он без дальней думы направился на мост. Недалеко уже было до лежавшего на мостовых подозрительного предмета, однако не пришлось вглядываться в него вблизи.

Бродяга Шохин, как видно, притворялся спящим: подобрав вожжи, он круто повернул лошадей назад и стремглав поехал по направлению к селу Маливе. Что-то с угрозою крикнул он покидаемым им, но те, ошеломленные неожиданностью, не разобрали его слов.

XLIII

Хоть и ошеломленные, дядя и кучер его, разом, словно взапуски, кинулись вдогонку за Шохиным. Во весь дух они пробежали с полверсты, и, разумеется, совершенно напрасно: где уже было догнать дерзкого похитителя тройки? Скорехонько он исчез из виду, скоро и шумливое гарканье его на лошадей замерло за большим лесом, с правой стороны, считая от Егорьевска, вплоть подходившим к столбовой дороге и сливавшимся с огромным Чанским лесом. Впрочем, невольное движение, побудившее Иоасафа Николаевича и Леонтьича кинуться вдогонку, может быть, спасло их от какой-нибудь опасности, ожидавшей на мосту.

Но и теперь, собственно в настоящую минуту, положение их было очень небезопасно. Измученные погоней, перепуганные, притом пешие и с пустыми руками, что могли бы они поделать при нападении на них даже одного разбойника? Оборониться было нечем, уже вовсе не под силу. Тугой смыслом Леонтьич на ту пору нашелся гораздо скорее своего барина и подал ему совет, несомненно дельный: сой-

ти с большой дороги в мелколесье, примыкавшее к ней с левой стороны, и там, сквозь кустарник, пробираться поневоле домой, да так оно и надо было по тому направлению.

Иоасаф Николаевич послушался без малейших возражений или собственных каких-либо соображений; вряд ли и способен был он тогда придумать что-либо особенное. А притом обоим было отнюдь не до разговоров.

Итак, пошли назад, к Михееву, но не всегда в полной уверенности, что идут именно туда, что не сбиваются с принятого направления: темно было в частом ельнике и березнике, особенно же, когда попадались широко разросшиеся кусты орешника. Шли все время, боясь перемолвиться даже шепотом. И нередко оторопь большая охватывала бедных путников. Казалось им иногда, что вот чуть не рядом с ними пробирается кто-то через кусты, запоздалый ли то и, как они, из-за страха сошедший с большой дороги пешеход, или же хищный зверь какой. Звуков было так много в чаще мелколесья: трещали и гулко ломались раздвигаемые ветви, под ногами шуршали, тоже слишком гулко, опавшие листья, мелкий иссохший валежник, а то еще больше шума производили внезапные скачки спугнутых зайцев и перелеты птиц. Хорошо, что ветер нисколько не заносился в чащу, так что и листва осин не трепетала. Но один раз Иоасаф Николаевич и Леонтьич перепугались до того, что тотчас прилегли к земле: где-то вдали, с правой ли, с левой ли стороны, того они не разобрали, вдруг раздался глухой протяжный рев, должно быть, большого страшного зверя.

Долго они пролежали, и только поуспокоившись тем, что ужаснувший их рев не повторяется, что везде как-то совсем позатихло, встали они и опять пустились в путь, теперь выйдя почти на столбовую дорогу, так как, по предположению Леонтьича, было уже очень недалеко до поворота на проселок.

И в самом деле сквозь поредевшее тут мелколесье при предрассветном мерцании звезд безоблачного неба доволь-

но явственно обозначилась в расстоянии не больше как с версту, столь памятная Иоасафу Николаевичу и его кучеру осиновая роща. Но вместо того, чтобы поспешить к желанному повороту на проселок, оба путника разом приостановились, на обоих внезапно напало тяжелое раздумье.

Уж бог-весть о чем раздумался Иоасаф Николаевич, а Леонтьичу живо и ярко вспомнилось самое начало их ночного похождения, то именно, как у осиновой рощи встретил их бродяга, ругатель и вор конокрад, и Леонтьич, хотя очень не любил разговаривать с молодым барином-обидчиком, не вытерпел, первый заговорил:

— Барин! А, барин!.. Вон и роща виднехонька. Слава тебе, Господи! И до дому теперича не так-то далеко... Только, как бы опять не встретить того разбойника...

— Да! Ты об этом... — ответил барин, — и точно, надо подумать... Но, разумеется, теперь мы не встретим его... Надо подумать о другом... Мы вернемся на глазах у всех, увидят, что пешие — диву дадутся... Тут вот что!

— А как же! Знамо... Всяк поймет: лошади-то какие, хоша и стареньки! Да и упряжь, да и тележка... И все прахом пошло, ищи-свищи!..

— Постой! — прервал барин, — я и не подумал бы о том, у меня иные думы, только две и есть, но... Да, да! Изза них для меня другое прочее, это все равно... Слушай! Пропажа лошадей может сделать много, много помехи... Вот что и важно!.. Ну, и как бы сделать, чтобы болтовни разной не было?.. По крайней мере, ты-то не болтай.

— А мне что! Мое дело таковское: как прикажете, так и говорить стану — соврать-то всяк горазд. И мало ль что можно придумать? На дороге, мол, охотничек купец на лошадей подвернулся, ну, и продали с выгодою... а то разбойники, мол, напали, самих не тронули, только лошадей угнали... Да так оно и было дело.

— Ведь, как все глупо! — сердито возразил Иоасаф Николаевич, — разве я прикажу тебе лгать? Ты у меня не

ври! Не смей придумывать этого хамского вранья! Слышишь? Строго приказываю… Просто-напросто — не болтай! Уклоняйся от ответов на всякие вопросы, как будто ты и не был… Этак-то и лучше, а там, что будет, то будет…

Вертелось было на уме Леонтьича замечание на последнюю сердитую речь барина, именно то замечание: «А что, мол, как чиновники станут допытываться, расспрашивать, тут-то как быть?..» Но об этом он уже не посмел высказаться.

Затем опять тронулись в путь.

Несмотря на душевное и телесное утомление от впечатления, произведенного наглой выходкой Шохина, от путешествия по мелколесью, шли, однако, скоро и добрались до Михеева еще перед восходом солнца, когда на деревне только что начали просыпаться. Но в господской усадьбе двое ночных сторожей таки видели, как барин и кучер не приехали, а пешком припожаловали домой.

Конечно, в Михееве чрезвычайно удивились и не знали что подумать насчет такого внезапного и странного возвращения. За разъяснением дела все обратились к Леонтьичу-младшему; приставаньям с расспросами не было конца. Но Леонтьич был неподатлив на удовлетворение общего любопытства: даже старшему своему брату ничего не высказал, хотя при всяком расспрашивании значительно покачивал головою, разводил руками и, нахмуря брови, посматривал на барские хоромы — из чего само собою выходило: «Знаю-то, мол, я многое, да боюсь рассказывать, а дело, мол, больно плохо!..»

Впрочем, дня три-четыре только темные слухи распространялись по соседству, что в Михееве опять что-то неладно: «Под вечер барин поехал в город на тройке и скорехонько домой вернулся пешком...» Но, вот, еще случилась оказия — и на беду в отсутствие Иоасафа Николаевича, который только что уехал в Егорьевск, взяв с собою за лакея полубольного Макарушку, а за кучера —

деревенского мужика, чем Леонтьич-младший был очень разобижен.

Соседние, кажется малиновские крестьяне, где-то в лесной опушке, около столбовой дороги, нашли брошенную и поломанную тележку и почему-то опознали, что она принадлежит михеевскому барину; из-за того один из нашедших тележку явился в Михеево для оповещения о находке.

Оповеститель, пришедший сначала к знакомому своему михеевцу, рассказал тоже немаловажную новость: что недавно в ихних местах опять проявился Шохин и что кто-то раз подсмотрел, как он, Шохин, по малой лесной стежке пробирался верхом на лошади словно с михеевской барской конюшни. Рассказав это, оповеститель спрашивал: «Не случилось ли грешным делом беды у вас на Михееве, не свели ли барских лошадей конокрады?»

Таким образом, возвращение Иоасафа Николаевича и Леонтьича-младшего пешком вскоре после отъезда их на тройке теперь очень поразъяснялось для михеевцев, и хотя они люди сметливые, не пустились в большие разговоры с оповестителем, чужим человеком, и скорехонько выпроводили его от себя с наказом, чтобы пришел, когда барин воротится из Егорьевска, однако, оставшись одни, порешили, что надо беспременно добиться от кучера Леонтьича всяких подробностей насчет того, как тройка баринова пропала. На этот раз при новых усиленных расспросах ввиду и новостей, принесенных чужим человеком, Леонтьич не вытерпел, и то тому, то другому порассказал уже про все, конечно, обязывая слушателей клятвою, чтобы не выдавали никому о таких нехороших делах, «в которых и сам барин-то не без причины».

А тут и новая оказия.

Через месяц похищения михеевских лошадей, в одно осеннее утро, у ворот михеевской усадьбы оказалась пара совершенных кляч, но то были, несомненно, похищенные Шохиным лошади, как видно, много потерпевшие от бес-

кормицы и худого содержания. Кем они были приведены в Михеево — следов не осталось; никто ничего не видал и не слыхал, и немудрено: ночь, в которую кляч привели, была темна и бурна. Кстати надо сказать: пригнанные лошади были пристяжные, а лучшая в тройке, коренник, осталась у похитителя.

На ту пору Иоасаф Николаевич тоже отсутствовал из дому и уже несколько дней находился в Егорьевске, где ему, бедному, было труднехонько, так как чиновники тамошние уже заводили с ним речь о последних происшествиях. А это отсутствие, разумеется, облегчило распространение по всему околотку известия о приводе кем-то в Михеево двух лошадей из похищенной тройки. Известие было чрезвычайно интересно для всех соседей-помещиков, впрочем, уже давно привыкших смотреть на Михеево как на гнездо каких-то загадочных происшествий.

И странно: как-то ускользнуло от общего внимания, а может быть, и не хотели принять во внимание, что приведенные лошади были совсем-таки замученные клячи; из самого факта привода их было выведено злостное заключение: «Не были ли, дескать, михеевские лошади добровольно отданы Иоасафом П-вым для какого-либо дальнего разбойничьего похождения?» И заключение это казалось тем вероятнее, что, по справкам под рукою, михеевский помещик не заявлял еще до сих пор ни об отнятии у него лошадей, если именно так дело было, ни о простой пропаже их.

«Михеевская история» еще раз позапуталась, осложнилась самым неблагоприятным образом для моего дяди. Но все-таки могло и то статься, что она и не окончилась бы для него гибельно, если бы не подошло обстоятельство, которого, впрочем, рано или поздно надо было ожидать.

Под исход той же осени Шохин, полюбивший кочевать по егорьевскому уезду или кочевавший поневоле для избежания поимки, наконец, был пойман в деревне Волковой. Поимка произошла просто: холодно и жутко стало дер-

жаться в лесах; Шохин принужден был искать себе приюта в местах жилых, но видно, постоянного, верного притона у него не было, и вот, однажды, забрался он опять в волковский кабак, где как-то удалось ему прогулять целую ночь, там-то он и был пойман.

Это повернуло «михеевскую историю» к решительному исходу. В руках у чиновников очутилась нить, распутывавшая все дело.

И как усердно принялись они за него!

Но и легко было чиновникам усердствовать: уж очень говорлив, оказался, попавшийся им бродяга, уж очень помогали при окончании следствия посторонние люди сообщением разных слухов, толков, а также тонких соображений и предположений.

Не знаю, наверное, употребил ли Шохин известную хорошо и тогда между арестантами уловку для сокрытия своего настоящего звания и попытался ли назваться Иваном-Непомнящим, но, должно быть, он скрывал, что он беглый солдат и про то также: каким путем пробрался в егорьевские места; по крайней мере, я слышал, что только впоследствии открылось — откуда он родом. Кажется, никого не оговорил он ни в сообщничестве с ним, ни в пристанодержательстве, и насчет этого чиновники не добились у него признаний. Зато о бродяжничестве своем, о добывании себе при этом средств на прокорм, на одежу, на потешенье с горя, он был разговорчив; дел за ним было немало: «Как же, мол, быть-то, не помирать же с голоду и с холоду, приходилось, мол, протягивать и просовывать руки туда и сюда, так и этак, чего-чего не случалось, только убивать — не убивал, поджогов не делал, разбоем ни на кого не напускался»…

Рассказы Шохина были глумливого, забавного свойства, с шуточками и прибауточками; при допросах его, чиновники не скучали, даже тешились, хотя не раз показания его о том, будто бы там-то обокрал он, со взломом даже, клеть богатого

мужика, или там-то видел он притон шайки разбойников в лесу, оказывались совершенно ложными. Вообще, чиновникам егорьевским пришлось частенько забавляться передопросами Шохина и, вот, как-то случилось, что при одном из таких допросов, он проговорился о моем бедном дяде.

Пожалуй, он и не лгал, рассказывая про то, что в самом деле было: то есть, что михеевский барин несколько раз видел его у веселой, молодой бабенки-солдатки, к которой он-то, бродяга, захаживал «так лишь, по малому знакомству, водицы испить да и перемолвиться словечком позабавней»; что он бродяга, опять-таки, не однажды, виделся с михеевским барином у старухи ворожейки, куда он-то заходил «так себе, погадать, да узнать про свою судьбу-долю», и где барин проживал на ту пору, возле своей полюбовницы хворой, той бабенки-солдатки; что и после того, в недавнее время, он бродяга, виделся с михеевским барином у него в имении, и барин, по милости своей, давал-таки ему деньжонок; что, наконец, «греха, мол, таить нечего — когда, раз, михеевский барин подвозил его, бродягу, а он, побранившись дорогою с кучером Малеем и сочтя, что барин кучеру потакает, рассердился и, как они сошли с тележки посмотреть что-то на мосту, угнал их тройку, из которой двух лошадей возвратил, а третья так и пропала в лесу».

Но во всей этой «правде истинной» было много чего-то злобного, беспощадно жестокого. Шохин уже не шутил, не забавлялся, показывая на моего дядю: выходило, что как будто еще наперед задумал он припутать к делу и погубить михеевского барина своими показаниями, недаром он так настойчиво утверждал, что барин этот хорошо знал и ведал «с какой птицей он знается и чем таким та птица промышляет».

И вот что странно: все время Шохин всячески выгораживал Михаила Николаевича Г-ва, постоянно и твердо отговариваясь, что он с Г-вым никаких сношений не имел, что от Г-ва он прятался, сильно побаиваясь его. Конечно, так оно и было, но на этот же счет носились и иные темные

слухи… Впрочем, кажется в следственном деле и имя побочного брата михеевского помещика не упоминается.

Интеллигенция егорьевского уезда (я уже говорил, из кого она тогда состояла) напряженно следила за ходом следствия по «михеевской истории», ходом быстрым и оживленным со времени поимки Шохина. Следя же так, интеллигенция по-прежнему и вмешивалась в дело, внося в него дрязги всяческих сплетен. И так легко было ей это потому, что старшие чиновники в Егорьевске были все свои люди… Но об этом я не хочу продолжать, было бы тяжело входить тут в какие-либо подробности.

Следствие по «михеевской истории» протянулось все-таки несколько месяцев, и, конечно, даже из-за того много лишних мучений вынес Иоасаф Николаевич. В течение более полугода он мучился без отдыха.

За допросы ему вследствие показаний Шохина почему-то принялись нескоро; но он тотчас же узнал, что бродяга очень старается запутать его в дело. Разумеется, сообщали об этом чиновники из второстепенных, то есть секретари, столоначальники, письмоводители. Весь этот приказный люд, разумеется, тоже недаром, по-своему «доброжелательствовал» дяде: предупреждал, советовал, настаивал и вместе с тем страшно путал его собственные мысли и соображения. В конце концов Иоасаф Николаевич очутился в каком-то чаду и явился к ответу без малейшего понятия насчет того, как надо ему отвечать, чем оправдываться. Он был в недоумении до того, что вначале даже не отвечал на вопросные пункты, отзываясь болезнью.

И то было ему очень не на пользу. Насчет исхода дела спозаранку уже не сомневались.

Но если б и были ожидания иного исхода для михеевской истории, они должны были бы скоро рассеяться в виду поведения Иоасафа Николаевича на следствии. Он только при первом допросе уклонился от разъяснений или опровержений по показаниям Шохина, а затем доброволь-

но выдал самого себя обеими руками, выдал, несмотря на то, что доброжелательствовавшие чиновники усердно подсказывали ему довольно ловкие извороты.

И сталось это так просто.

Михеевцы, дворовые и крестьяне, были притянуты к следствию не для уличения их помещика, как говорили чиновники, твердо помнившие, что по тогдашнему уголовному процессу не допускаются изветы крепостных на своего владельца, а собственно для поверки оговоров бродяги. Для допросов таскали в Егорьевск чуть ли не всех поголовно, и, разумеется, Макарушку и Петра Леонтьева-младшего. Не легки были допросы для михеевцев, и они путались немало. Особенно Макарушка, даже вопреки приказаниям барина, чтобы говорил одну правду, сбивался в показаниях на каждом шагу и много потешился над ним Шохин при очных ставках. Зато Леонтьич-младший не сбивался, говорил твердо, «так и резал барина»; по мнению чиновников, он явился после Шохина главным «доказателем» против Иоасафа Николаевича.

Надо сказать, что Иоасаф Николаевич со временем оговора его Шохиным находился уже на поруках и жил безвыездно в Егорьевске, поэтому тотчас же доходило до него со всеми подробностями, что показывали михеевцы, и все это, как вскоре оказалось, произвело на него совсем иное действие, чем ожидали, вероятно, доброжелатели-чиновники.

Иоасаф Николаевич «сам признался во всем». Так рассказывали мне, не объясняя, однако, в чем именно он признавался. Одно, несомненно, — из признаний его ясно выходило, что ему было известно, кто такой Шохин, с которым он точно имел сношения. Кажется тоже, что и он, в свою очередь, явился против Шохина обличителем: по крайней мере, после его показаний окончательно обнаружилось, что бродяга, пойманный в волковском кабаке, именно Шохин, что он — беглый солдат и родной брат солдатки Марины Прокофьевой, проживавшей одно время в своей хатке, на

самой границе уездов Коломенского и Егорьевского. Не знаю, впрочем, говорил ли что-нибудь несчастный дядя об отношениях своих к Марине, выдал ли, как возникла смута в душе его из-за любви к этой женщине, и, конечно, о том не узнал бы я, прочитав следственное дело.

Не узнал бы я из этого дела, как не знаю из устных рассказов, что побудило вдруг дядю к полному сразу сознанию в неоднократных сношениях с беглым солдатом, вором и грабителем: честь ли и твердое желание отнюдь не нарушить правды или же какое-то непреодолимое стремление к гибели. Могло быть и последнее: недаром, как говорили мне, находясь на поруках, он предавался иногда бешенному и чрезвычайно мрачному разгулу, которым отпугивал от себя всех, даже своих доброжелателей, непугливых чиновников; недаром тоже он ничего не говорил в свою защиту, ничем не хотел оправдываться.

По получении из разных мест сведений, официально подтвердивших происхождение Шохина и побег его из полка, помещик Иоасаф, Николаев сын, П-в был взят с порук и посажен в егорьевский острог.

О, я помню этот егорьевский острог, помню с каким чувством входил в него, при губернаторских ревизиях, и после, по обязанностям службы…

В Рязанской губернии, по числу городов в ней, двенадцать острогов. Все они так устроены, а особенно так приспособлены к содержанию заключенных, что наводят ужас, впрочем, об этом общеизвестно, и все-таки о двух из рязанских острогов, губернском и егорьевском, я скажу здесь несколько слов, потому что в них обоих побывал мой дядя.

И прежде о рязанском, губернском. Это не по порядку, но, так сказать, по чину. Тут не острог, а «тюремный замок». И в самом деле замок: большое каменное здание, на несколько сот человек, окруженное высокими стенами, с башнями по углам, с тяжелыми железными воротами; жаль, что недостает рва и подъемного моста. Оно построено при

генерал-губернаторе Балашове. О постройке его сохранилось любопытное предание.

Рассказывают, что однажды, когда тюремный замок уже был готов вчерне, генерал Балашов, переодетый мещанином, замешался в толпу народа, собравшуюся поглазеть на затейливое здание, и завел разговор о нем с «простым человеком».

— Вишь, малый, — сказал он довольно неосторожно, — вишь, какие важные хоромы построили для вашего брата.

— Ну, любезный, — отвечал простой, но, должно быть, догадливый человек, — для нашего-то брата такие хоромы чересчур хороши, нам нужны гораздо попроще, а вот для тебя, и таких же, как ты, чай они как раз впору…

Вся часть рязанского тюремного замка, в которой содержались «простые» арестанты, была, одним словом, очень мрачна, как и везде; но две камеры, отведенные для помещения «дворян», видом своим не внушали неприятного впечатления. Говорю об этом мельком, собственно ради точности. Но вот что замечательно и до некоторой степени составляет как бы особенность рязанского тюремного замка: во-первых, назад тому двадцать пять лет, грозные его башни пригодились-таки для фабрикации фальшивых денег (четвертаков и другой мелочи), а во-вторых, высокие стены и тяжелые железные затворы далеко не предотвращали арестантских побегов. О последнем обстоятельстве замечено здесь недаром.

Острог в Егорьевске был (теперь, может быть, там уже новый построен) совсем иного вида, или, лучше сказать, иного типа. Он напоминал собою вполне тюрьмы времен очень давнишних, пожалуй, еще допетровских: его окружал высокий частокол, связанный вверху и внизу железными скобами; арестанты помещались в двух-трех избах, с низкими, обвисшими потолками, избах тесных, душных, закоптелых, грязных и темных чрезвычайно, и сколько помню, тут не было особого помещения для лиц привилеги-

рованных сословий. И опять-таки, кстати, скажу: егорьевский острог гораздо более, чем рязанский тюремный замок, был недоступен для побегов арестантов; помехою служил именно этот частокол, высокий, крепкий, с заостренными вверху концами бревен.

XLIV

Посажение Иоасафа Николаевича в острог произвело громадное впечатление на егорьевское дворянство. Все были изумлены, поражены, даже напуганы как чем-то совершенно неожиданным. И в этом со стороны егорьевской интеллигенции не было ничего непоследовательного: в случаях чрезвычайных интеллигентные люди, как и самые простые, находятся под влиянием единственно чувств или страстей, в ту или другую сторону направленных общим жизненным развитием. Впрочем, надо отдать справедливость помещикам-соседям Иоасафа Николаевича, они пожалели-таки его, и до такой степени, что считали и себя несколько задетыми тем, что их брат-дворянин, конечно, очень провинившийся своим безрассудным поведением, посажен в этот мерзостный егорьевский острог, по всему устройству своему только и достойный для помещения в своих черных стенах простых мужиков да мещан-раскольников г. Егорьевска.

Но искренно от всего сердца, во всю силу простого, доброго разумения, жалели об Иоасафе Николаевиче его крепостные михеевцы, и крестьяне, и дворовые; даже тупой смыслом и злопамятный Петр Леонтьев-младший очень жалел и долго совестился «в глаза глянуть своему человеку», когда затевался какой-нибудь разговор о барине. А верный Макарушка просто «с ума сходил» оттого, что подеялось с Иоасафом Николаевичем. Горесть, отчаяние его были в высшей степени сильны, и, тем более, что к ним примешивалось озлобление не только против Леонтьича-младшего, но и против целой дворни. На Леонтьича же он был так зол, что ругал

его за барина чуть ли не при всякой встрече и даже несколько раз подрался с ним, причем оба немало пострадали.

И замечательно, во всем Михееве, кроме одного разве приказчика, впрочем, смирного и неспособного унимать «своевольства», никто не осуждал Макарушку за эту злобу его на пожилого, семейного кучера Леонтьича. Чувство этих простых людей и допускало и оправдывало яростное ожесточение молодого малого против человека, бестолково вредившего барину.

Время шло, и вражда между Макарушкой и младшим Леонтьичем усиливалась так, что михеевцы начинали уже тревожиться из-за того. Но вдруг все пришло в порядок.

Это было за два дня до праздника Казанской Божией Матери (8-го июля), чтимого в нашей стороне, особенно же в селе Деднове, где и собирается тогда особенно большая ярмарка. В Михеево приехал из Коломны ямщик Егорка, верхом и с запасной лошадью в поводу; он объявил приказчику, с которым на тот раз толковал о чем-то брат его, кучер, что Михайло Николаич Г-в, за несколько часов перед тем приехавший в Коломну, требует к себе немедленно дворового человека Макарку.

Приказчик усумнился; брат же его тотчас крикнул:

— А не пускай! Что там за нужда такая!

— И точно, — сказал приказчик, — ну, на что бы это понадобилось? Мало ль что он приказывает и требует? Не больно-то он властен здесь. Да у нас, на Михееве, теперича и не разберешь кого слушаться... И в том у меня сумление есть: Макарку, пожалуй, и в ино место потребуют, вишь тут беда какая... По крайности, хоша бы известно было по что понадобился малый в Коломну?

— Я ничего не знаю, — отвечал сначала ямщик, а потом добавил, — может, Михайло Николаич задумал на Казанскую побывать в Деднове, для того и зовет.

— До Казанской недалеко. Тогда Макарку и я могу взять с собою в Дедново; из Михеева, почитай, все туда

поедут; ну, и тот господин пущай приезжает, — рассудил приказчик и наотрез объявил, что Макарку он не отпустит в Коломну.

На эти переговоры, один по одному, собрались дворовые и кое-кто из деревенских мужиков, в числе первых — Макарушка, а в числе последних — и староста.

Макарушка, как услыхал, что староста его не пускает, сильно заспорил; со своей стороны Леонтьич-младший во весь голос стал поддерживать братнино распоряжение, завязалась брань и чуть не дошло дело опять до драки, но староста сумел-таки прекратить сумятицу: по настойчивому совету его приказчик отпустил, наконец, Макарушку, но со строгим наказом, чтобы непременно воротился домой завтра же, и как можно раньше.

— Ладно! — промолвил малый, быстро вскочив на приведенную ямщиком запасную лошадь, и первым съехал со двора, сразу пустившись вскачь.

Дорогою же, и ямщик, и Макарушка, очень не спешили, от Малявского бора ехали решительно шагом: первый, должно было, по приказанию от того, кем был послан, а последний все добивался на разные лады узнать о Михайле Николаевиче: «И что и как он?» Но Егорка — приказано ли было так ему, отвечал недомолвками, из которых только одно можно было вывести: вот, приедем, сам увидишь и услышишь…

В Коломну приехали, когда уже совсем смеркалось, и у ворот семкинского двора встретил сам Михайло Николаевич.

Сразу бросилась в глаза Макарушке большая перемена в этом бойком, рьяном, во всем «видном» человеке.

Во-первых, он был одет уж слишком запросто, не по-городски, не по веселой поре уборки лугов, в нанковой, синего цвета поддевке, замазанной, истасканной, больно короткой и как бы с чужого плеча: на голове — старая шляпа грешневиком, надвинутая так низко, что из-под ней лба нисколько не было видно, на ногах — огромные мужичьи сапоги с го-

леницами в сборах; самый этот костюм показывал, что господин Г-в словно и одежкой своей хочет отвести отчего-то глаза людям, так сообразил, по крайней мере, Макарушка. А притом выражение лица Г-ва, все его движения, речь его тоже поразила малого. По всему и на первых же порах стало ему заметно, что Г-в — сам не свой; лицо прежде полное и румяное, теперь было чрезвычайно бледно и искажено; руками он беспрестанно разводил и размахивал, и они даже дрожали, как у дряхлого старика, а прежняя твердая, повелительная речь ничуть уже не слышалась; она была гораздо словоохотливее прежнего, но речи-то его текли так неровно и нехорошо, то пуганой скороговоркой, то медленным и невнятным шепотом, то и совсем неразборчивым бормотанием. Впрочем, заметно было очень и то, что он крепко-крепко подвыпил, только вряд ли под веселую руку.

Приказав ямщику Егорке убрать обеих лошадей, Михайло Николаевич отвел Макарушку одаль от семкинского двора и, хотя улица на ту пору была уже совершенно пустынна, стал расспрашивать с особенными предосторожностями.

— Ну, как же, как там?.. — шептал он на ухо дворовому михеевцу, — Есаф-то?.. А?.. Но ты потише, потише, по-моему…

Исполняя, хоть не во всей точности, это приказание, Макарушка тоже шепотом, только не на ухо, начал отвечать отрывистыми выражениями, что дескать, беда страшная стряслась над барином, в острог посадили, и все это от проклятого разбойника Шохина, который, Бог весть, за что, про что, оговорил, запугал барина, и выдал тут еще «свой человек», кучер барынин Петруха, сдуру нагородил много во вред… На том и надо бы кончить ответ, но невольно малый добавил: «Надо быть, да и верно что так, злые люди распроклятые пуще самого разбойника Шохина, захотели погубить барина, а он-то, как есть, ни в чем неповинен и терпит такую беду за доброту свою, за свое смиренство…»

Сначала при рассказе о беде с Иоасафом Николаевичем Макарушка чуть было не расплакался навзрыд, а как только упомянул о Шохине, о «своем человеке» Леонтьиче-младшем и особенно о захотевших сгубить барина злых людях, в числе которых смутно ставил он и самого «петербургского оборотня», злость великая закипела у него на сердце, и последние слова его вырвались с сильнейшим раздражением, в громких на всю улицу возгласах.

Но Г-в не остановил его, не приказал опять, говорить потише. Он вдруг как будто оторопел, вдруг заметался с необычной для него тревогой, и все движения его, это бесцельная ходьба, или, лучше сказать, беготня взад и вперед, это размахивание и всплескивание рук, были так странны и нелепы, а его беспрерывную, теперь уже шумную болтовню почти нельзя было разобрать.

И долго он мыкался таким образом по улице, и много говорил все с увеличивающимся бормотанием.

Впрочем, Макарушка кое-что и понял из этого бормотанья. Очень неясно, а все-таки выходило, что Г-в на кого-то жалуется, кого-то проклинает, кому-то грозит. Но не заметил верный слуга Иоасафа Николаевича, чтобы этот страшно взволнованный человек, у которого тогда должно было быть и на языке то же, что на уме, пожалел бы его барина, а своего родного брата, погоревал бы об его горемычной доле. И опять такое зло взяло Макарушку, что не раз правая рука его судорожно сжималась, и будь в ней на ту пору нож, несдобровать бы Михайле Николаевичу Г-ву.

Но Г-в, наконец-таки, умыкался, ослабел внезапно до такой степени, что Макарушка должен был отвести его в дом Семкина. И опять поразила малого здесь странность. Горница Михайлы Николаевича была уже не в прежнем ее виде: столы, обитые кожею, стулья, а также и ковры куда-то подевались, вместо постели, «по-господски» убранной, составлены были две, ничем не покрытые, скамьи, и на них в изголовье лежала только одна подушка в старенькой, сит-

цевой наволочке. «Что же это так-то? — подивился и подумал Макарушка, — аль этот темный плут Семкин совсем перестал уважать нашего петербургского оборотня и ни во что его теперича не ставит?»

И похоже было на это.

Когда Г-в, допив сразу бутылку с каким-то вином, повалился в одежде и обуви на свою новую постель, Макарушка пошел с хозяином ужинать и тут услышал от него неладные речи о Михайле Николаевиче.

— И уже понадоел он в этот-то приезд! — сердито говорил хозяин, — вот, четвертые сутки идут, как сюда пожаловал, и сразу-таки начал пить, да пить, пьет, словно оглашенный! А допрежь, так-то не бывало, хоша и оченно любил кутнуть, позабавиться… И чего-чего спьяну не придумывает! Вон, горницу свою всю пустехоньку сделал, иные стулья так выкинул, а иные инда переломал… на голых скамьях тоже захотел спать, словно спасается, грешным телесам спокоя не дает. Да и не спит же путем, уснет часок — и начнет куролесить!

— С чего бы так-то, — осторожно спросил малый.

— А невесть с чего. Думалось было с начала: не с того ли, что делишки в Питере по-прежнему дурно пошли? Да нет, кажись: деньгами сорит по-прежнему… А и то: и допрежь, колобродил, хоша на ину стать. Что же! Дворянского помету, и видать было завсегда, что гнет больше в ту сторону. Эх! Нешто он заправский купец!

В эту ночь Г-в, однако, не колобродил, по крайней мере, в горнице его было тихо, как в келье старого монаха. А раным-рано он разбудил Макарушку, сказал ему, что сейчас уезжает «по михеевскому» делу и скоро воротится и приказал непременно его дожидаться.

На памяти у Макарушки было и другое приказание, данное ему в Михееве, но он решил дожидаться возвращения Михайлы Николаевича, хотя и не очень-то верил, чтобы

из теперешней его поездки, по-прежнему будто бы секретной, вышла какая-нибудь польза для Иоасафа Николаевича.

XLV

Михайло Николаевич возвратился в Коломну гораздо раньше, чем полагал хозяин Семкин, в тот же день, как выехал, даже и засветло. Шибко влетел ямщик Егорка на свой двор, но заметно было, что он очень не в духе, может оттого, что дорогою досталось-таки ему от блажного седока (недаром и лошади были так взмылены). Да и сам господин Г-в, отправлявшийся в поездку во всем своем питерском наряде, молодец молодцом, смотрел тоже что-то не бойко и не весело.

— Воротились-то, несолоно хлебавши, — успел шепнуть сметливый хозяин Макарушке, выходя с ним навстречу приехавшему.

Г-в прямо с телеги не пошел в дом, а поманив за собою михеевца, направился на конец города, к Митяевой слободе. Он шел тихо, опустя голову, не оглядываясь и по сторонам не глядя, словно все собирался мыслями. Но как только миновали последний мещанский домишко, на последней глухой улице, он вдруг остановился, и крепко схватив Макарушку за плечо, отчего тот чуть не закричал, сказал ему громко и грозно:

— Да, малый, дело, как есть, пропащее!

— Ох, и пропащее же дело! — повторил он уже жалобно, — и пропадать-то приходится такому человеку… Нешто он сладит с горем-бедою? Нешто есть у него сила да воля?.. А ведь тут надо бы размахнуться во всю силу!.. А?.. Ведь так? Так?.. Ты что ж ни словечка не молвишь?.. Может, вы, там, аль хоша и ты один, ну, как же ты-то смекаешь?

Макарушка не понял, о чем собственно спрашивает его этот человек, от которого ему было теперь и больно и как-

то жутко, но все-таки ответил, высказал, что лежало у него на сердце.

— А я лишь то знаю, — ответил он, — то одно, что Есаф Николаич пропадает от злых людей… Да и все у нас, на Михееве также, окромя только собаки Малея… И я с ним зато… Что ж! И Бог мне простит… Так-то!

— Постой!.. — тревожно прервал Г-в. — Да! Вы там все свое, о злых людях… А их-то, пожалуй, и в счет нельзя брать, ведь, всяк трется промеж всяких людей, ну, и промеж злых тоже. Нет! Не тут та беда!.. Смекаешь ли ты, что такое, значит, потакать самому себе?.. Я, вот, об этом-то иной раз крепко подумывал…

Он замолчал, отнял свою тяжелую руку от плеча Макарушки, быстро пошел по дороге к Митяевой слободе и опять, как по команде, вдруг остановился.

— Вот, я съездил, — заговорил он, — съездил к толсторожему тому сроднику, что теперича стал большим барином, хотел через него защиту найти, а он на нас же вздумал кричать, что, мол, всю родню осрамили… Ну, я плюнул ему в глаза, так-таки и плюнул, не побоялся его лакеев… Да нет! Не об этом я хотел… Что ж теперича делать-то? Что делать?..

И в последних словах его послышалась страшная тоска.

— А я говорил же ему, — продолжал он, заикаясь и опять начав бормотать, как было вчера, в опьянении, — да! Говорил… говорил: «Поедем со мной, дело найду», и есть дело… а хоть бы и пропасть… да то ж дело… и я … и я вместе… Ну и что ж теперича?.. Выручать, что ль станем?.. А?.. Вот, об этом-то…

В эту самую минуту, слева, из придорожной канавы, приподнялся, пошатываясь из стороны в стороны, человек какой-то. Красный, неровный из-под тучки, отблеск погоревшей зари прямо ударил в него, странно отделив голову от канавы. При скользящем этом освещении Г-в и Макарушка не разглядели сначала, кто это явился неожиданным

свидетелем их разговора. Но вдруг закатывающееся солнце прорезало тучку и осветило уже ярко и ясно всю приподнявшуюся фигуру, ее темноцветное, истомленное лицо, ее глаза, устремленные на солнце и широко раскрытые, пряди седых, странных волос, одежу лохмотную.

Лицо это уже можно было узнать, да и голос, который тотчас же раздался, был знаком Г-ву и Макарушке: то была Степовичка, явно теперь нищая, что примечалось и по лохмотной одеже и по деревянной чашечке в левой ее руке.

Может, приподнялась она из своей канавы и не потому, что заслышала подле разговор; может, она только и ждала заката солнечного: оттого, не глядя на тех двух человек, что смотрели на нее теперь с каким-то жутким чувством, протянув правую руку к заходящему солнцу, она, дрожащим голосом, медленно и нараспев говорила:

Солнушко! Солнушко!
Полети до Бога,
Там твои детки
В окно выглядают,
Мед колупают…

И раза три повторила она простенькую детскую песенку, покуда солнушко совсем не закатилось.

Тогда только мельком взглянула она на Г-ва и Макарушку. Но, видно, глаза ее под впечатлением закатного света не распознали, кто это стоит перед нею, и она жалобно затянула:

— Христа ради!.. Нищенке старенькой дайте-подайте!..

— Варварушка!.. Бедняга ты моя горькая!.. — промолвил Г-в и направился было к ней.

— А!.. Жив человек!.. — диким голосом вскричала старуха, — ну, и узнала я… вспомнила… Ох, да и кровопивец же ты!.. Напился крови моей голубоньки, напьешься и моей… На же тебе за это, пригодится!..

Она выбросила из своей чашечки старинный медный пятак, ловко выбросила так, что он упал прямо к ногам

Г-ва, и вдруг юркнула в канаву. С минуту было слышно, как она пробирается там в сухой, сорной траве, а еще через две-три минуты уже в стороне от дороги, во ржаном поле, послышалось, что Степовичка опять поет песню, и словно не совсем русскую; из ней Макарушка мог разобрать только два следующие стиха:

...А теперь — я сама, —
И никого нема...

На Михаила Николаевича внезапное появление Степовички, не многие, но суровые слова ее, и этот подарок ему от ней, произвели чрезвычайное впечатление: опустив голову, тяжко вздыхая, он простоял на одном месте с добрую четверть часа, как ошеломленный. Затем поднял он подаренный пятак, перекрестившись, поцеловал его и дрожащей рукою опустил в кошелек, в котором Макарушка заметил много золотых денег, и назад пошел к семкинскому двору, молча, тихо, нетвердой поступью.

А тем временем сумерки уже понакрыли «нижние» улицы Коломны, но вечер был светел, и довольно людей сидело на завалинках под окнами и у ворот. На этот раз, однако, Михайло Николаевич не обращал внимания, что речи его могут подслушать чужие.

— А слышал ты?.. — сказал он, вдруг остановившись посередь улицы, — напился, вишь, крови ее голубоньки... Значит, Марина ее... уж наверняк умерла...

Макарушка не ответил: жаль-жаль ему было и несчастную Марину Прокофьевну, и даже эту старуху, которой он прежде боялся, как колдуньи.

— Ну, и как же теперича быть? — продолжал Г-в, — выручать ли того... выручать ли, как я было задумал?.. Да узнает же он... первым делом, справится, и тогда ему все равно.

Но малый опять не ответил.

Г-в постоял еще минуты две, словно все ждал ответа, потом махнул рукою и шибко пошел к семкинскому двору. Войдя же в дом, он велел принести вина, и когда подали

ему несколько бутылок, заперся в своей горнице. Уже ничего не приказав дворовому михеевцу насчет того: оставаться ли еще в Коломне или же отправляться домой.

Но Макарушка ни в каком случае не остался бы. Назавтра, еще до свету, он выбрался с семкинского двора. У него была своя мысль в голове.

XLVI

Мысль, не дававшая теперь Макарушке покоя ни днем, ни ночью, зародилась у него не самостоятельно, но он считал ее своею и готов был бы уверять в том всенародно. И до такой степени обуяла она его, что он уже не обращал внимания на выговоры приказчика за долгое пребывание в Коломне. Он не сообщил тоже зачем требовал его Михайло Николаевич, за что опять-таки ему досталось, и особенно от Леонтьича-младшего, но и тут не отвлекся он от своей мысли и в первую же удобную минуту отправился в село Макшеево, к отцу Осипу, за советами насчет всего, что он надумал для барина.

Но отец Осип, хоть и похвалил малого за усердие к господину, а ничего-таки не одобрил.

— И как ты мог дерзнуть на сие? — говорил, даже волнуясь, священник, — просто удивления достойна сметливость малая. Знаешь ли, что неразумным предприятием весьма возможно причинить конечную гибель твоему господину, и без того столь злополучному? Нет! Единое остается: с терпением переносить испытание да надеяться на милость Господню, ну, и на праведный тоже суд. Не моги о сем и думать больше!

Но Макарушка думал и думал, и чувствуя, что без совета умных людей сам ничего не поделает, обратился к своему старосте, а тот рассудил иначе, чем отец Осип. Староста видел, что дело надуманное малым больно трудное и страховитое, ну, а все-таки можно попытаться, так как причина на то большая, да и «на милость и образца нету». Словом, старо-

ста одобрил план Макарушки и даже обещал на исполнение его своих деньжонок дать, да вытянуть сколько-нибудь и от старшего Шибаева, которому во всем можно довериться.

План Макарушки был очень прост по замыслу. Мельком сказанные Г-вым слова: «Выручать, что ль, теперича станем?», сильно врезались в сердце малого и на них-то он замыслил сначала выручить Иоасафа Николаевича из тюрьмы, доставив ему средства для побега, а потом свезти его в Питер, где он через своего крестного Апухтина должен будет просить, чтобы послали «большого генерала» навести по его делу справедливое следствие. Все это казалось малому возможным, а главное — совершенно необходимым, дабы не мучился больше барин в тюрьме, дабы не помер там с нужды и горя!

С помощью старосты Макарушка без труда был отпущен в Егорьевск спроведать барина и узнать: не нужно ли ему чего из Михеева? Об этом, грешным делом, доселе както не надумались. Но в Егорьевске, как в этот раз, так и во все последующие, верный слуга ничего не мог сделать, частокол острога оказывался непереступаемым препятствием, да и караул был очень исправен. К тому же, вероятно, и Иоасаф Николаевич не был готов тогда к мысли о побеге и, может быть, все еще надеялся на хороший исход дела, каковой надеждой соблазняли его, кажется, и чиновники-доброжелатели. Кстати: Макарушка, все-таки был допускаем к барину, и, должно быть, в одно из таких свиданий барин передал ему немалую часть из денег, только что полученных им за проданное уже имение.

В Егорьевском уездном суде дело по «михеевской истории» было решено тяжело и затем по порядкам судопроизводства, перешло в уголовную палату. С тем вместе Иоасаф Николаевич был переведен в рязанский тюремный замок.

Тогда Макарушка без спроса отлучился из Михеева и уже не возвратился в него. Он ушел в Рязань и там-то устроил-таки побег барина.

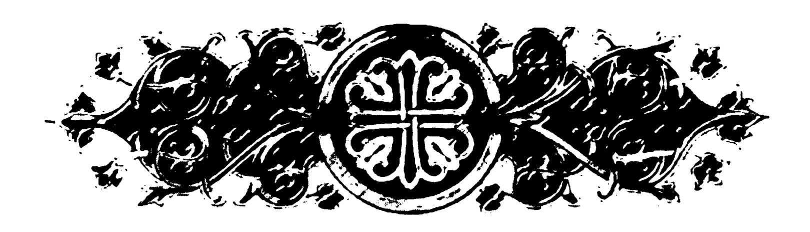
Но побег не удался и будто бы по причине самого Иоасафа Николаевича. В решительную минуту, когда двое или трое арестантов, товарищей по побегу (без них нельзя было обойтись) успели перелезть через стену «замка», несчастный дядя мой не захотел последовать их примеру и отдался караулу. Тем не менее, покушение на побег при обсуждении дела в палате было поставлено ему на счет.

Вскоре после того Макарушка бежал в «*Адест*»*, а через пять-шесть лет пронеслись у нас слухи, что где-то в степях Новороссийского края во время разъездов с каким-то товаром он был убит.

В палате дело решили беспощадно: Иоасаф, Николаев сын, П-в «был написан в солдаты, с лишением дворянского достоинства». Кажется, такому решению много поспособствовало и прошение Надежды Ивановны П-вой.

В 1829 г., после кончины моего отца, товарищ его по военной службе, *Василий Васильевич Рославлев**, не скрыл от моей матери, что Иоасаф Николаевич умер в киевском военном госпитале от злой чахотки.

Так окончилась история моего дяди. С ним угас старый дворянский род — род несчастный, ибо многие его представители погибли бедственно.



КОММЕНТАРИИ

С. 79 ...другого отрывка моих записок — имеется в виду «История моего дяди», опубликованная в журнале «Исторический Вестник» (1883, №№ 1–7).

С. 79 ...прошлого столетия — повесть была написана в 1850-х годах, действие повести происходит в последней четверти XVIII века.

С. 79 ...Николай Михайлович Туренин — под этим именем писатель вывел своего деда — Николая Михайловича Прямоглядова (1756–181?).

С. 80 ...Иоасафа Туренина — под этим именем писатель вывел своего дядю Иоасафа Николаевича Прямоглядова (1798–182?).

С. 80 ...Прусской войне — Семилетняя война (1756–1762), в которой Россия выступала на стороне Австрии и Франции протии Пруссии и Англии. Военные победы русского войска не были использованы при заключении мирных договоров по окончании войны. Тем не менее, они определили роль России в европейской политике второй половины XVIII века.

С. 80 ...Зиновия Туренина — под этим именем писатель вывел Зиновия Семеновича Прямоглядова, дядю своего прадеда. Он в действительности служил в Сибири в 1740-х годах.

С. 80 ...премьер-майор — один из высших офицерских чинов в русской армии в середине XVIII века. Соответство-

вал 8-му классу Табеля о рангах и гражданскому чину коллежского ассесора.

С. 80 ...билетов сохранной казны на неизвестного — векселя на предъявителя, выданные владельцем вклада в сохранной казне. Сохранная казна — ссудно-сберегательное учреждение, появившееся в конце XVIII века.

С. 81 ...граф Т. — Александр Дмитриевич Толстой (1794–1856), владевший луговыми дачами села Дедново.

С. 81 ...генерала И-ва — Льва Дмитриевича Измайлова (1764–1834), героя документальной повести С. Т. Славутинского «Генерал Измайлов и его дворня».

С. 81 ...поход до Серебряных прудов — семейное предание Прямоглядовых. По документам, хранящимся в ГАРО, Николай Михайлович Прямоглядов был уволен из 2-го Московского пехотного полка в чине прапорщика 16 ноября 1774 г. В драгунах служил прадед писателя Михаил Ерофеевич Прямоглядов.

С. 82 ...помещиком Зарудиным — в документах Прямоглядовых упоминается губернский секретарь Максим Михеев, сын Шонуров, которому Зиновий Прямоглядов заложил за сто рублей сельцо Михеево.

С. 82 ...Надежде Ивановне Д-ной — Дворюшиной, дочери регистратора Ивана Харитоновича Дворюшина, ее приданое составило 14 душ.

С. 82 ...сельце Малееве — имеется в виду сельцо Михеево, родовое поместье Прямоглядовых. Сельцом называлось поселение, в котором имелась помещичья усадьба.

С. 82 ...села Драчева — имеется в виду село Дедново, принадлежавшее Л. Д. Измайлову.

С. 83 ...сел Мохова и Лимавы — имеются в виду села Макшеево и Малива.

С. 83 ...на оброке — помещик взимал с крестьян установленную сумму частями, дважды в год, и не имел права привлекать их к иным работам. Оброк был в ходу в малоземельных или неплодородных имениях.

С. 84 ...губернский город — Рязань. После административной реформы 1778 г. коломенские и егорьевские земли перешли в подчинение Рязанской губернии.

С. 85 ...Сергей Андреевич Берсенев — возможно, Николай Андреевич Беклемишев. В «Истории моего дяди» Славутинский называет Берсенева Николаем Андреевичем, и, указывая, что настоящая фамилия лица, о котором идет речь, — иная, оставляет ему вымышленную фамилию. Беклемишевы владели сельцом Барсуки в Крутинской волости Егорьевского уезда.

С. 85 ...князь Александр Александрович Любецкий — князь А. А. Черкасский. В 1782–1787 гг. — егорьевский уездный предводитель дворянства, владел селами Малива и Двойня в Егорьевском уезде.

С. 86 ...бригадирский чин — чин 5 класса по Табелю о рангах, соответствует гражданскому чину статского советника.

С. 86 ...сплин — унылое, подавленное состояние психики, скука.

С. 87 ...уездным предводителем дворянства — выборная должность сословного главы уезда, налагавшая широкий круг административных обязанностей и не предполагавшая жалованья.

С. 87 ...московским генерал-губернатором, графом О. — граф Григорий Григорьевич Орлов (1734–1783), фаворит императрицы Екатерины II.

С. 89 ...косных лодках — лодки на 6–12 весел, с двумя съемными мачтами, использовавшиеся для переездов; косными назывались оттого, что на них можно было «косо», под крутым углом к ветру, идти по воде.

С. 90 ...села Ловцова — села Ловцы на Оке.

С. 90 ...сотские — выборные низшие чины полиции в сельской местности; избирались от 100 дворов.

С. 90 ...десятские — выборные низшие чины полиции в сельской местности; избирались от 10 дворов.

С. 90 ...инвалидных солдат — категория военнослужащих в русской армии, неспособных нести строевую службу по старости или болезни, не выслужившие всего срока (25 лет); использовались во внутренних войсках.

С. 92 ...Фомино воскресенье — антипасха, православный праздник, приходящийся на следующее после Пасхи воскресенье

С. 92 ...в застольную — комнату, где обедают дворовые люди, общую столовую.

С. 95 ...Успеньев день — православный праздник, 15 августа.

С. 97 ...квинтич — азартная карточная игра, распространенная в XVIII веке.

С. 98 ...бекасинником — мелкой дробью.

С. 102 ...при К-ском имении — Коломенском имении. Сведений об этих владениях Прямоглаядовых не сохранилось.

С. 102 ...Бучнеихи — деревни Тарбеихи (ныне — часть города Шатура), принадлежавшей Н. М. Прямоглядову.

С. 111 ...заседатель нижнего земского суда — чиновник нижней судебной инстанции, в чьи обязанности входило поддержание порядка в уезде, разбор мелких правонарушений, обеспечение исполнения повинностей и государственных указов. В Адрес-календаре за 1779 г. заседателями нижнего земского суда Егорьевского уезда числятся: поручик Михаил Михайлов и прапорщик Леонтий Кондырев.

С. 111 ...отцу моего деда, а своему родному брату — капитану Ерофею Анисимовичу Прямоглядову. Писатель ошибся в родстве — Е. А. Прямоглядов приходился Зиновию Семеновичу Прямоглядову двоюродным братом и был дедом героя повести — Н. М. Прямоглядова.

С. 113 ...в уездный город — в Егорьевск.

С. 113 ...судья и капитан-исправник — в Адрес-календаре за 1779 г. судьей Егорьевского уезда указан полковник

Иван Дмитриев, а исправником — капитан Семен Гололобов. Судья председательствовал в уездном суде, а исправник — в нижнем земском.

С. 114 ...секретаря уездного суда — в Адрес-календаре за 1779 г. секретарем егорьевского уездного суда указан Александр Рогожин.

С. 115 ...процентами и рекамбией — с процентами по ссуде и процентами, начисленными на проценты.

С. 122 ... Г... монастырь — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь в Коломне, основан в конце XIV века Сергием Радонежским, ближайший монастырь от Михеева — усадьбы Прямоглядовых.

С. 123 ...один был И-в — Измайлов (см. выше).

С. 123 ...знаменитый князь З. — Платон Александрович Зубов, фаворит Екатерины II.

С. 123 ...семпелем — простая ставка в карточных играх.

С. 133 ...симпатические средства — разного рода талисманы или ритуалы, применявшиеся для лечения нервных болезней; необходимым условием благотворного воздействия таких средств была вера больного в их исцеляющую силу.

С. 137 ...Иоасафа Николаевича П-ва — Прямоглядова (см. выше).

С. 137 ...князе ...ском — князе Черкасском.

С. 138 ...сельцо Михеево — родовое поместье Прямоглядовых. В 1811 г. в нем числилось 20 душ за Надеждой Прямоглядовой и 20 — за Иоасафом Прямоглядовым.

С. 138 ...П-ская — Прямоглядовская. Эта усадьба была разрушена при родителях писателя.

С. 142 ...ревизских душ мужского пола — единица налогообложения. С каждой ревизской души помещику следовало платить 70 коп. в год.

С. 143 ...Миша Г-в — Михаил Николаевич Глядов, петербургский купец 3-й гильдии, внебрачный сын Н. М. Прямоглядова.

С. 146 ...Николай Захарович Апухтин — подполковник Николай Захарович Апухтин (1739 — ?), егорьевский уездный предводитель дворянства в 1791–1796 гг.

С. 146 ...известному Руничу — сенатору Павлу Степановичу Руничу, ставшему известным по своему отношению к расследованию пугачевского бунта. Жены Н. З. Апухтина и П. С. Рунича были родными сестрами, урожденными Бутурлиными.

С. 158 ...Четьи-Минеи — христианская религиозная книга, в которой излагаются жития святых в порядке празднования их дней в календаре.

С. 171 ...предводителю дворянства Андрею Ивановичу Повалишину — егорьевскому помещику, жившему в селе Раменки. Происходил из старинного рязанского рода, восходящего к XV в. Был избран предводителем дворянства Егорьевского уезда в 1818–1820 гг.

С. 171 ...соседям Змеевым — егорьевским помещикам. Они происходили из старинного рода от Федора Васильевича Беклемишева, прозванного «Змей». Змеевы владели сельцом Афанасьевым Раменской волости.

С. 171 ...нашей речки — Михеево расположено на берегу речки Щелинки, левого притока Оки.

С. 174 ...горецкой усадьбы генерала Измайлова — усадьбы Л. Д. Измайлова в сельце Горки Зарайского уезда. Измайлов жил там с 1830 по 1834 г. В 1820-х годах хозяин в усадьбе бывал редко.

С. 187 ...«под красную шапку» — быть отданным в солдаты.

С. 198 ...Радоницкий монастырь — правильно Николо-Радовицкий монастырь, расположенный в восточной части Егорьевского уезда, на озере Святом, основан в первой половине XV в. сподвижником митрополита Фотия. В 1584 г. Иван Грозный пожаловал монастырю окрестную землю и селения, официально закрепив статус монастыря.

С. 198 ...Голутвин — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь (см. выше).

С. 203 ...прасол — торговец скотом, ездивший по уездам и скупавший скот у крестьян.

С. 203 ...чекмень — мужская верхняя одежда, вроде кафтана, татарского происхождения.

С. 203 ...казакин — мужская верхняя одежда европейского происхождения, короткий кафтан со сборками на талии сзади.

С. 204 ...отаве — трава, выросшая на лугах после сенокоса.

С. 208 ...со «штучным» ... полом — пол, покрытый наборным паркетом.

С. 219 ...во фризовой ... шинели — шинель из грубого сукна.

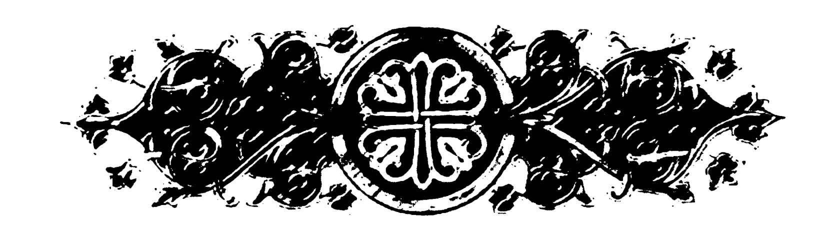
С. 242 ...«бакалдинами» — колдобинами, выбоинами на дороге.

С. 245 ...на плашкотах, «живой мост» — временный мост на плавучих опорах — плашкоутах.

С. 249 ...«бекетов» — (простореч.) пикетов, постов.

С. 471 ...«Адест» — Одессу.

С. 471 ...Василий Васильевич Рославлев — подполковник, егорьевский помещик, в 1839–1850 гг. был предводителем дворянства Егорьевского уезда.



СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Степан Тимофеевич Славутинский

Егорьевская старина

Редактор *Л. А. Королева*
Корректор *Е. Н. Клитина*
Компьютерная верстка *С. Н. Авилкина*
ООО «Издательство ''Гелиос АРВ''»
Юридический адрес: 107140, Москва, Верхняя Красносельская ул., 16.
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный пр-д, д. 6.
Тел./факс: +7 (495) 361–20–21, e-mail: info@gelios-arv. ru,
Адрес в Internet: http://www.gelios-arv.ru.
Формат 84x108/32. Объем 15 п. л. Бумага офсетная.
Заказ № К-4875.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.

Гелиос АРВ